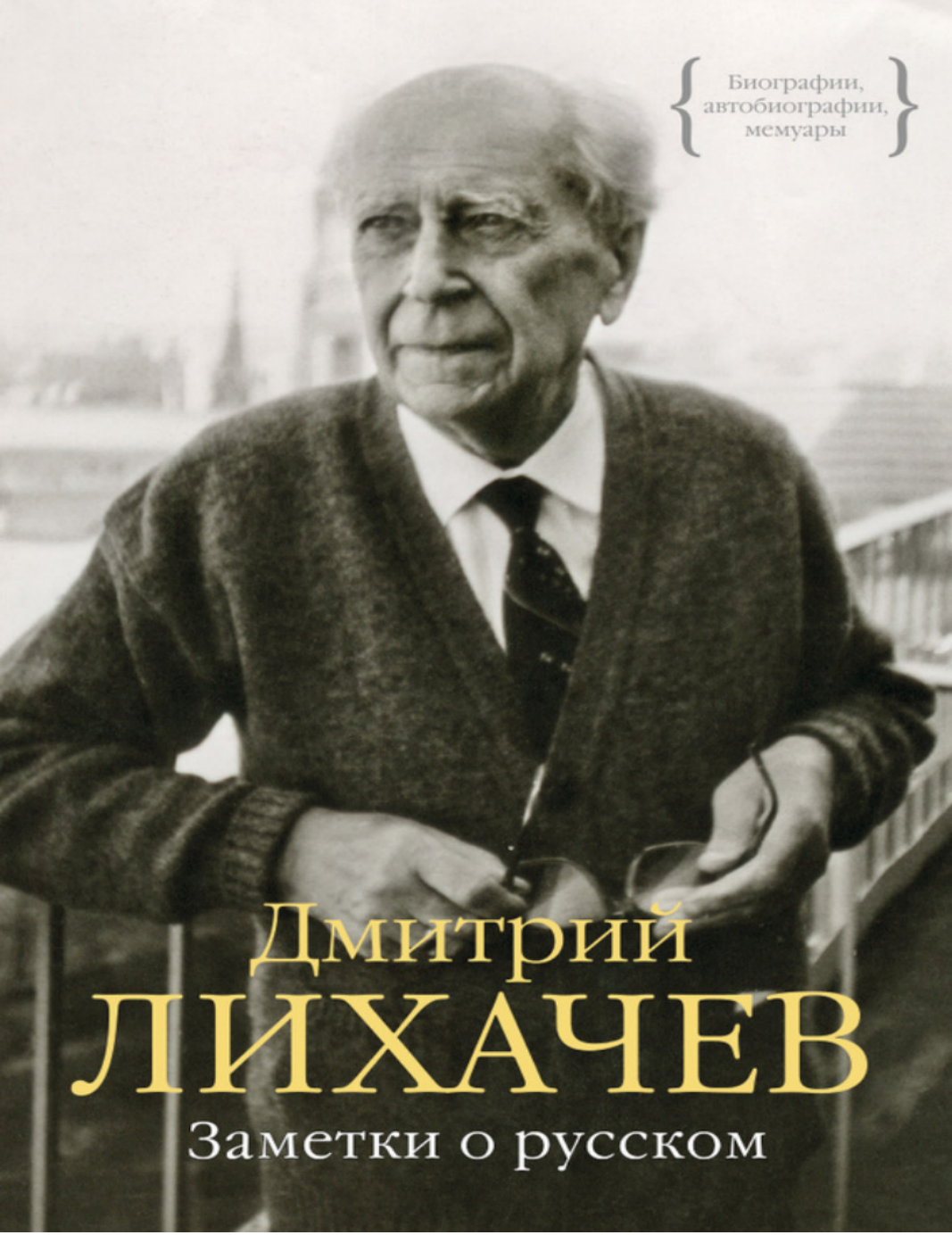
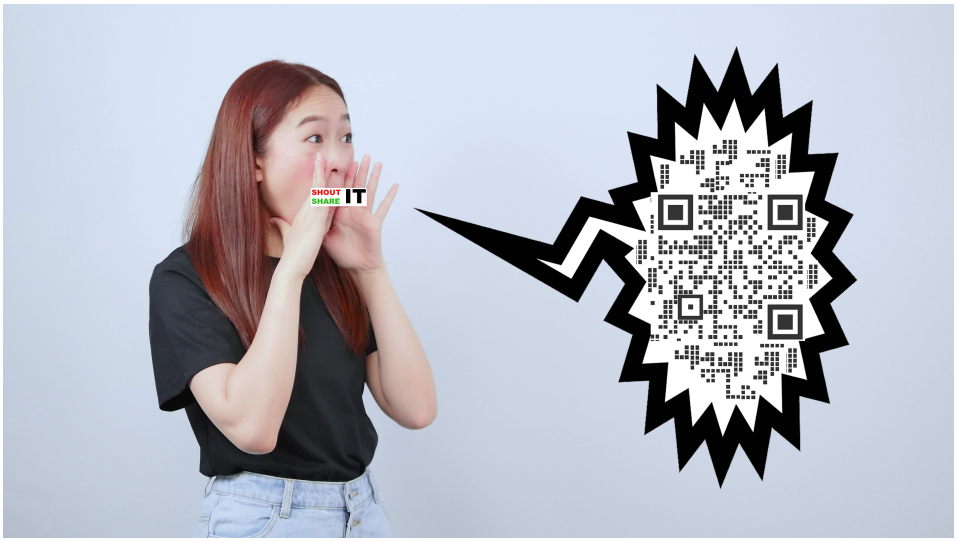

Биографии,
автобиографии,
мемуары
Дмитрий
ЛИХАЧЕВ
Заметки о русском


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый XX века. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его исследования, публицистические статьи и заметки касались различных аспектов истории культуры – от древнерусской литературы, в изучение которой он внес огромный вклад, до садово-парковых стилей XVIII–XIX веков. В этой книге собраны статьи и заметки Д. С. Лихачева разных лет. Извлеченные автором из записных книжек и далеко выходящие за пределы «чистой науки», эти материалы объединены сквозной темой – исторического прошлого и будущего России. В них раскрывается личность автора не только как выдающегося ученого, но и как подлинного гражданина, никогда не остававшегося равнодушным к происходящим вокруг событиям и ставшего нравственным символом эпохи.

- Дмитрий Сергеевич Лихачев
  -
  - Заметки о русском
    - Природа, родник, родина, просто доброта
    - Природа и доброта
    - Просторы и пространство
    - Еще о доброте
    - Русская природа и русский характер
    - О русской пейзажной живописи
    - Природа других стран
    - Ансамбли памятников искусства
    - Сады и парки
    - Природа России и Пушкин
    - Национальный идеал и национальная действительность
    - Патриотизм против национализма
    - Экология культуры
  - Заметки и наблюдения
    - «Для предисловия»
    - Из воспоминаний
      -
      - Воспоминания детства
      - Катеринушка закатилась
      - О Петербурге моего детства
      - Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого

- века[18]
  - Куоккала
  - Еще о Куоккале
  - Крым
  - Гимназия Человеколюбивого общества
  - Гимназия и реальное училище К. И. Мая
  - Уроки рисования в училище Мая
  - Умный «ручной труд»
  - Внешние впечатления
  - Жизнь в Первой государственной типографии
  - Школа Лентовской
  - Университет
  - Соловки
  - Издательство Академии наук СССР
  - Попытки писать
  - Работы в Пушкинском Доме
- Разное о литературе
  -
  - Древнерусская литература
  - Пушкин
  - Случай в Тригорском
  - Достоевский
  - Л. Толстой
  - Лесков
- Непрофессионально об искусстве
  -
  - Народное искусство
- О культуре
- О науке и ненауке
- «Мелочи» поведения
- Про то и про се…
  -
  - О книге
  - Сон
  - Успехи медицины
- Из прошлого и о прошлом
- О природе для нас и о нас для природы
- О языке устном и письменном, старом и новом
  -
  - О хорошем языке научной работы
- Заметки об архитектуре
  -
  - В защиту древнего Новгорода!

- О жизни и смерти
  -
  - Мне приснилось, что я сочиняю рассказ
  - Человек-художник
- Вокруг разговоров об интеллигентности
- О русском и чужестранном

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

Дмитрий Сергеевич Лихачев
Заметки о русском (сборник)

© Д. Лихачев (наследники), 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство КоЛибри®
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Заметки о русском

Природа, родник, родина, просто доброта

Очень много у нас пишется о наших корнях, корнях русской культуры, но очень мало делается для того, чтобы по-настоящему рассказать широкому читателю об этих корнях, а наши корни – это не только древняя русская литература и русский фольклор, но и вся соседствующая нам культура. У России, как у большого дерева, большая корневая система и большая лиственная крона, соприкасающаяся с кронами других деревьев. Мы не знаем о себе самых простых вещей. И не думаем об этих простых вещах.

Я собрал у себя различные заметки, делавшиеся мной по разному поводу, но все на одну тему – о русском, и решил их предложить читателю.

Естественно, что раз заметки делались по разным поводам, то и характер их различный. Сперва я думал их привести к какому-то единству, придать стройность композиционную и стилистическую, но потом решил: пусть сохранится их нестройность и незаконченность. В нестройности моих заметок отразилась случайность поводов, по которым они писались: то это были ответы на письма, то заметки на полях прочитанных книг или отзывы по поводу прочитанных рукописей, то просто записи в записных книжках. Заметки должны остаться заметками: так в них будет меньше претенциозности. О русском можно писать очень много и все-таки нельзя исчерпать эту тему.

Все, что я пишу далее в своих заметках, – это не результат проведенных мною исследований, это только «негромкая» полемика. Полемика с чрезвычайно распространившимся и у нас, и на Западе представлением о русском национальном характере как о характере крайности и бескомпромиссности, «загадочном» и во всем доходящем до пределов возможного и невозможного (и, в сущности, недобром).

Вы скажете: но и в полемике следует доказывать! Ну а разве распространившееся ныне на Западе, да и частично у нас представление о русском национальном характере, о национальных особенностях русской культуры, и в частности литературы, доказано кем-либо?

Мне мое представление о русском, выросшее на основе многолетних занятий древнерусской литературой (но и не только ею), кажется более убедительным. Конечно, я здесь только коснусь этих своих представлений и лишь для того, чтобы опровергнуть другие – ходячие, ставшие своего рода «исландским мхом», мхом, который осенью отрывается от своих корней и «бродит» по лесу, подтолкнутый ногой, смытый дождями или

сдвинутый ветром.

Национальное бесконечно богато. И нет ничего удивительного в том, что каждый воспринимает это национальное по-своему. В этих заметках о русском я и говорю именно о своем восприятии того, что может быть названо русским – русским в характере народа, русским в характере природы, городов, искусства и пр.

Каждое индивидуальное восприятие национального не противоречит другому его индивидуальному восприятию, а скорее дополняет, углубляет. И ни одно из этих личных восприятий национального не может быть исчерпывающим, бесспорным, даже просто претендовать на то, чтобы быть восприятием главного. Пусть и мое восприятие всего русского не исчерпывает всего главного в национальном русском характере. Я говорю в этих заметках о том, что кажется для меня лично самым драгоценным.

Читатель вправе спросить меня: почему же я считаю свои заметки о русском достойными его внимания, если я сам признаю их субъективность? Во-первых, потому, что во всяком субъективном есть доля объективного, а во-вторых, потому, что в течение всей жизни я занимаюсь русской литературой – древней в особенности – и русским фольклором. Этот мой жизненный опыт, как мне представляется, и заслуживает некоторого внимания.

Природа и доброта

Как-то приезжала ко мне в Комарово молодая переводчица из Франции. Она переводит две мои книги – «Поэтику древнерусской литературы» и «Развитие русской литературы X–XVII вв.». Естественно, что у Франсуазы много затруднений с цитатами из древнерусских текстов и русского фольклора. Есть затруднения, так сказать, обычные: как передать все оттенки, которые имеются в русском, разные ласкательные, уменьшительные – всю ту вибрацию чувств, которая так хорошо отражена в русском фольклоре в отношении окружающего – людей и природы? Но вот одно место ее уж очень серьезно затруднило. Арина Федосова говорит в одном из своих причитаний о том, что после смерти своего мужа снова вышла замуж:

Я опять, горе-бедна, кинулась,
За друга сына да за отцовского…

Франсуаза спрашивает: «Что же это значит: она вышла за брата своего мужа? За другого сына отца своего прежнего мужа?» Я говорю: «Да нет, это просто такое выражение, Федосова хочет сказать, что у ее второго мужа тоже был отец». Франсуаза еще больше удивляется: «Но разве не у каждого человека есть или был отец?» Я ей отвечаю: «Да, это так, но когда хочешь вспомнить о человеке с ласкою, то мысль невольно кружится вокруг того, что у него были родные – может быть, дети, может быть, братья и сестры, жена, родители. Зимой я увидел, как погиб под грузовиком человек. В толпе больше всего говорили не о нем, а о том, что, может быть, у него дома остались дети, жена, старики… Жалели их. Это очень русская черта. И приветливость у нас часто выражается в таких словах: родненький, родименький, сынок, бабушка…» Франсуаза вспыхивает: «А, вот что это значит! Я на улице спросила одну пожилую женщину, как найти нужную мне улицу, а она сказала мне „доченька“». – «Вот именно, Франсуаза, она хотела обратиться к вам ласково». – «Значит, она хотела сказать, что я могла бы быть ее дочерью? Но разве она не заметила, что я иностранка?» Я рассмеялся: «Конечно же, она заметила. Но она именно потому и назвала вас доченькой, что вы иностранка, чужая в этом городе – вы же ее спросили, как пройти куда-то». – «Ах!» – Франсуаза заинтересована. Я продолжаю: «Если вы иностранка, вы, значит, одна в Ленинграде. Пожилая

женщина, называя вас доченькой, не хотела непременно сказать, что вы ее дочь. Она называла вас так потому, что у вас есть мать или была мать. И именно этим она вас приласкала». – «Как это по-русски!»

И дальше разговор пошел о том, где и когда в русской поэзии или в русской литературе ласковость к человеку выражается в том, что у него есть родные. Вот, например, «Повесть о Горе-Злочастии». В ней выражается необыкновенная ласка к беспутному ее герою – мóлодцу, и начинается она с того, что у молодца этого были родители, которые берегли его и холили да жить «научали». А когда молодцу в «Повести о Горе-Злочастии» становится особенно худо, то поет он «хорошую напевочку», которая начинается так:

Безпечална мати меня поро́дила,
гребешком кудерцы розче́сывала,
драгими порты меня оде́яла
и отшед под ручку посмо́трила,
хорошо ли мое чадо в драгих портах? —
а в драгих портах чаду и цены нет!

Значит, и красивым-то молодец вспоминает о себе с матерью – как мать на него «отшед под ручку посмотрила».

Франсуаза вспомнила, что в ее родном Безансоне поставлены «Три сестры» Чехова и французы очень любят эту пьесу. Ведь и тут речь идет именно о трех сестрах, а не о трех подругах, трех разных женщинах. То, что героини – сестры, это ведь особенно и нужно русскому зрителю, чтобы им сочувствовать, возбудить к ним симпатии. Чехов замечательно угадал эту черту русского читателя, русского зрителя.

И дальше мы стали вспоминать, сколько в русском языке слов с корнем «род»: родной, родник, родинка, народ, природа, родина… И «порода» – лучшее, что дает природа в совокупных усилиях с человеком. Даже камни принадлежат к какой-нибудь породе.

Слова эти как бы сами слагаются вместе – родники родимой природы, прирожденность родникам родной природы. Исповедь земле. Земля – это главное в природе. Земля рождающая. Земля урожая. И слово «цвет» – от цветов! Цвета цветов! Рублевское сочетание – васильки среди спелой ржи. А может быть, голубое небо над полем спелой ржи? Все-таки васильки – сорняк, и сорняк слишком яркий, густо-синий, не такой, как в рублевской «Троице». Крестьянин не признает васильки своими, и рублевский цвет не синий, а скорее небесно-голубой. И у неба сияюще синий

цвет, цвет неба, под которым зреют колосистые поля ржи (в этом слове тоже корень, связанный с ростом, урожаем, рождением; рожь – это то, что рожает земля).

Просторы и пространство

Для русских природа всегда была свободой, волей, привольем. Прислушайтесь к языку: погулять на воле, выйти на волю. Воля – это отсутствие забот о завтрашнем дне, это беспечность, блаженная погруженность в настоящее.

Широкое пространство всегда владело сердцами русских. Оно выливалось в понятия и представления, которых нет в других языках. Чем, например, отличается воля от свободы? Тем, что воля вольная – это свобода, соединенная с простором, с ничем не прегражденным пространством. А понятие тоски, напротив, соединено с понятием тесноты, лишением человека пространства. Притеснять человека – это прежде всего лишать его пространства, теснить. Вздох русской женщины: «Ох, тошнехонько мне!» Это не только означает, что ей плохо, но что ей тесно – некуда деваться.

Воля вольная! Ощущали эту волю даже бурлаки, которые шли по бечеве, упряженные в лямку, как лошади, а иногда и вместе с лошадьми. Шли по бечеве, узкой прибрежной тропе, а кругом была для них воля. Труд подневольный, а природа кругом вольная. И природа нужна была человеку большая, открытая, с огромным кругозором. Поэтому так любимо в народной песне полюшко-поле. Воля – это большие пространства, по которым можно идти и идти, брести, плыть по течению больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом, воздухом открытых мест, широко вдыхать грудью ветер, чувствовать над головой небо, иметь возможность двигаться в разные стороны – как вздумается.

Что такое воля вольная, хорошо определено в русских лирических песнях, особенно разбойничьих, которые, впрочем, создавались и пелись вовсе не разбойниками, а тоскующими по вольной волюшке и лучшей доле крестьянами. В этих разбойничьих песнях крестьянин мечтал о беспечности и отплате своим обидчикам.

Русское понятие храбрости – это удаль, а удаль – это храбрость в широком движении. Это храбрость, умноженная на простор для выявления этой храбрости. Нельзя быть удалым, храбро отсиживаясь в укрепленном месте. Слово «удаль» очень трудно переводится на иностранные языки. Храбрость неподвижная еще в первой половине XIX века была непонятна. Грибоедов смеется над Скалозубом, вкладывая в его уста такие слова: «…за третье августа; засели мы в траншею: Ему дан с бантом, мне на шею». Для современников Грибоедова смешно – как это можно «засесть», да еще в «траншею», где уж вовсе не

пошевельнешься, и получить за это боевую награду?

Да и в корне слова «подвиг» тоже «застряло движение»: «по-двиг», то есть то, что сделано движением, побуждено желанием сдвинуть с места что-то неподвижное.

В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае – июне 1945 года и хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: «Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире; например, слова „указ“ и „совет“ упомянуты в этом словаре. Следовало добавить еще одно слово – непереводимое, многозначительное, русское слово „подвиг“. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения…» И далее: «Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, всезавершающую мысль, вложенную в русское слово „подвиг“. Героический поступок – это не совсем то, доблесть – его не исчерпывает, самоотречение – опять-таки не то, усовершенствование – не достигает цели, достижение – имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем как подвиг безграничен. Соберите из разных языков ряд слов, означающих идеи передвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжатому, но точному русскому термину „подвиг“. И как прекрасно это слово: оно означает больше, чем движение вперед, – это „подвиг“…» И еще: «Подвиг не только можно обнаружить у вождей нации. Множество героев есть повсюду. Все они трудятся, все они вечно учатся и двигают вперед истинную культуру. „Подвиг“ означает движение, проворство, терпение и знание, знание, знание. И если иностранные словари содержат слова „указ“ и „совет“, то они обязательно должны включить лучшее русское слово – „подвиг“…»

В дальнейшем мы видим, насколько глубок Н. Рерих в своем определении оттенков слова «подвиг», слова, выражающего какие-то сокровенные черты русского человека.

Но продолжим о движении.

Помню в детстве русскую пляску на волжском пароходе компании «Кавказ и Меркурий». Плясал грузчик (звали их крючниками). Он плясал, выкидывая в разные стороны руки, ноги, и в азарте сорвал с головы шапку, далеко кинув ее в столпившихся зрителей, и кричал: «Порвусь! Порвусь! Ой, порвусь!» Он стремился занять своим телом как можно больше места.

Русская лирическая протяжная песнь – в ней также есть тоска по простору. И поется она лучше всего вне дома, на воле, в поле.

Колокольный звон должен был быть слышен как можно дальше. И когда вешали на колокольню новый колокол, нарочно посылали людей послушать, за сколько верст его слышно.

Быстрая езда – это тоже стремление к простору.

Но то же особое отношение к простору и пространству видно и в былинах. Микула Селянинович идет за плугом из конца в конец поля. Вольге приходится его три дня нагонять на молодых бухарских жеребчиках.

Услыхали они в чисто́м поли пахаря,
Пахаря-пахарюшка.
Они по день ехали в чисто́м поли,
Пахаря не наехали,

И по дру́гой день ехали с утра до ве́чера.
Пахаря не наехали.
И по третий день ехали с утра до вечера,
Пахаря и наехали.

Ощущение пространства есть и в зачинах к былинам, описывающих русскую природу, есть и в желаниях богатырей, Вольги например:

Похотелось Вольги-то много мудрости:
Щукой рыбою ходить Вольги во синих морях,
Птицей соколом летать Вольги под облока,
Волком рыскать во чистых полях.

Или в зачине былины «Про Соловья Будимировича»:

Высота ли, высота поднебесная,
Глубота, глубота акиян-море,
Широко раздолье по всей земли,
Глубоки омоты днепровския…

Даже описание теремов, которые строит «дружина хорубрая» Соловья Будимировича в саду у Забавы Путятичны, содержит этот же восторг перед огромностью природы:

Хорошо в теремах изукрашено:
На небе солнце – в тереме солнце,
На небе месяц – в тереме месяц,

На небе звезды – в тереме звезды,
На небе заря – в тереме заря
И вся красота поднебесная.

Восторг перед пространствами присутствует уже и в древней русской литературе – в летописи, в «Слове о полку Игореве», в «Слове о погибели Русской земли», в «Житии Александра Невского», да почти в каждом произведении древнейшего периода XI–XIII веков. Всюду события либо охватывают огромные пространства, как в «Слове о полку Игореве», либо происходят среди огромных пространств с откликами в далеких странах, как в «Житии Александра Невского». Издавна русская культура считала волю и простор величайшим эстетическим и этическим благом для человека.

А теперь взгляните на карту мира: Русская равнина самая большая на свете. Равнина ли определила русский характер, или восточнославянские племена остановились на равнине потому, что она пришлась им по душе?

Еще о доброте

Мне не кажутся правильными банальные характеристики новгородских и псковских церквей как преисполненных только силы и мощи, как грубых и лаконичных в своей простоте. Для этого они прежде всего слишком невелики.

Руки строителей словно вылепили их, а не «вытягивали» кирпичом и не вытесывали их стены. Поставили их на пригорках – где виднее, позволили им заглянуть в глубину рек и озер, приветливо встречать «плавающих и путешествующих». Их строили в единении с природой, не чертили предварительно планы на пергамене или бумаге, а делали чертеж прямо на земле и потом уж вносили поправки и уточнения при самом строительстве, присматриваясь к окружающему пейзажу.

И вовсе не противоположны этим простым и веселым строениям, побеленным и по-своему «приневестившимся», московские церкви. Пестрые и асимметричные, как цветущие кусты, золотоглавые и приветливые, они поставлены точно шутя, с улыбкой, а иногда и с кротким озорством бабушки, дарящей своим внукам радостную игрушку. Недаром в древних памятниках, хваля церкви, говорили: «Храмы веселуются». И это замечательно: все русские церкви – это веселые подарки людям, любимой улочке, любимому селу, любимой речке или озеру. И как всякие подарки, сделанные с любовью, они неожиданны: неожиданно возникают среди лесов и полей, на изгибе реки или дороги.

Московские церкви XVI и XVII веков не случайно напоминают игрушку. Недаром у церкви есть глаза, шея, плечи, подошва и «очи» – окна с бровками или без них. Церковь – микрокосм, как микромир – игрушечное царство ребенка, а в игрушечном царстве ребенка человек занимает главное место.

Среди многоверстных лесов, в конце длинной дороги возникают северные деревянные церкви – украшение окружающей природы.

Не случайно так любили в Древней Руси и некрашеное дерево – теплое и нежное при прикосновении. Деревенская изба и до сих пор полна деревянных вещей – в ней не ушибешься больно и вещь не встретит руки хозяина или гостя неожиданным холодком. Дерево всегда теплое, в нем есть что-то человеческое.

Все это говорит не о легкости жизни, а о той доброте, с которой человек встречал окружающие его трудности. Древнерусское искусство преодолевает окружающую человека косность, расстояния между людьми, мирит его с окружающим

миром. Оно – доброе.

Стиль барокко, проникший в Россию в XVII веке, особенный. Он стал особенным именно в России. Он лишен глубокой и тяжеловатой трагичности западноевропейского барокко. В русском барокко нет интеллектуальной трагедии. Он более, казалось бы, поверхностный и вместе с тем более веселый, легкий и, может быть, даже чуть легкомысленный. Русское барокко заимствовало у Запада лишь внешние элементы, использовав их для разных архитектурных затей и выдумок. Это необычно для церковного искусства, и нигде в мире нет такого радостного и веселого религиозного сознания, такого веселого церковного искусства. Царь Давид Псалмопевец, пляшущий перед ковчегом Завета, слишком серьезен сравнительно с этими развеселыми и пестрыми, улыбчатыми строениями.

Так было и при барокко, и до появления барокко в России. Не надо далеко ходить за примерами: церковь Василия Блаженного. Называлась она сперва церковью Покрова на Рву, а потом народ окрестил ее церковью Василия Блаженного – юродивого, святого, в честь которого был создан один из ее приделов. Василий – это святой-глупец. И действительно, стоит зайти внутрь этого храма, чтобы поразиться его дурашливости. Внутри его тесно и можно легко запутаться. Не случайно этот храм не впустили в Кремль, а поставили на посаде, среди торга. Это баловство, а не храм, но баловство святое и святая радость. Что же касается до дурашливости, то недаром в русском языке «ах ты мой глупенький», «ах ты мой дурачок» – самые ласковые из ласкательств. И дурак в сказках оказывается умнее самого умного и счастливее самых удачливых: «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак». Так сказано в ершовском «Коньке-Горбунке», и сказано очень по-народному. Дурак женится в конце концов на царевне, и помогает ему в этом последняя из всех лошадок – нелепый и некрасивый Конек-Горбунок. Но достается Иванушке все же только полцарства, а не целое. И что он с этим полцарством делать будет дальше – неизвестно. Должно быть, бросит. И царство, в котором царствуют дураки, – не от мира сего.

Дурашливость архитектуры Василия Блаженного – в ее непрактичности. Как будто церковь, а зайти помолиться почти что и некуда. Если зайдешь – заблудишься. И сколько в ней украшений без практических целей, просто так: вздумалось зодчему – и сделал (чуть-чуть не сказал «сделалось», в церкви и в самом деле много такого, что получилось как бы само собой).

Спрашивается: почему зодчие делали так, а не иначе? А ответ, должно быть, у зодчих был такой: «Чтобы чуднóе было». И

стоит эта чу́дная церковь, чу́дная и чудна́я одновременно, и чудесит среди Москвы на самом видном и доступном месте. По-древнерусски доступное место – это то, с которого легче всего доступа́ть, брать крепость приступом. Тут бы врагам и в самом деле доступать – штурмовать Кремль, а церковь веселит собой народ, противореча соседнему лобному месту, где казнили и объявляли указы.

Во времена Грозного она была построена как своего рода вызов порядку и строгости. Русские дураки и юродивые не столько о своей глупости свидетельствовали, сколько чужую выявляли, а особенно боярскую и царскую.

Место дураков было в Древней Руси по соседству с царями, сидели они на ступеньках трона, хотя это царям и не особенно нравилось. Тут на троне царь со скипетром, а рядом дурачок с кнутиком и у народа любовью пользуется. Того и гляди Иванушка-дурачок Иваном-царевичем станет.

Но в Кремле в свое время Василия Блаженного не удалось построить, а Иванушке – царством овладеть, хоть и владел он человеческими сердцами, но полцарства, которое он получает в сказке, женившись на царевне, не настоящее царство.

Кажется, сам «батюшка» Иван Грозный завидовал славе Иванушки-дурачка и юродствовал вовсю. И женился без конца, и царство надвое делил, чтобы с полцарством остаться, и опричный двор в Александровском заводил со всяким шутовством. Даже от царства отрекался, шапку Мономаха на касимовского царевича Симеона Бекбулатовича надевал, а сам на простых дровнях в оглоблях к нему ездил (то есть проявлял высшее смирение – в простой мужицкой упряжке) и сам челобитные ему униженные писал. Балагурил в своих посланиях боярам и иностранным государям и в монастырь якобы собирался… Но все же Иванушкой Иван не становился. Шуточки у него были самые людоедские. В своих челобитных царю Симеону просил он разрешения «людишек перебрать», а в оглоблях по Москве не ездил, а носился во весь опор, давя народ на площадях и улицах. Любви народной не заслужил, хотя и пытались его когда-то изображать почти что народным царем.

Зато ходили дураки по всей Руси, странствовали, с дикими зверями и птицами разговаривали, балагурили, учили царя не слушать. Скоморохи подражали дуракам, шутки шутили, будто не понимая, будто над собой смеясь, но учили народ, учили…

Учили они любить волюшку, не принимать чужого важничания и спеси, не копить много добра, легко отрываться от своего, нажитого, легко жить, как и легко странствовать по родной земле, принимать у себя и кормить странников, но не

принимать всяческой кривды.

И совершали скоморохи и юродивые подвиг – тот подвиг, который делал их почти что святыми, а часто и святыми. Юродивых нередко народная молва объявляла святыми, да и скоморохов тоже. Вспомните замечательнейшую новгородскую былину «Вавило скоморох».

А скоморохи люди не простые —
Скоморохи люди святые.

Кое-что из скоморошьей науки откладывалось в сердце народа, ибо народ сам создает себе своих учителей. Идеал существовал еще до того, как он ясно воплотился. В опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» народ обращается к медведю: «Покажи-ка, мишенька, покажи, дурашливый…» Составитель либретто оперы В. Бельский понял здесь эту важную черту народа.

Хороший в русском языке – это прежде всего добрый. «Пришли мне чтения доброго», – пишет своей жене в берестяной грамоте один новгородец. Доброе чтение – хорошее чтение. И товар добрый – это хороший товар, добротный. Доброта – это человеческое качество, ценнейшее из всех. Добрый человек уже самой своей добротой превозмогает все человеческие недостатки. В старое время, в Древней Руси, доброго не назовут глупым. Дурак русских сказок добрый, а следовательно, поступает по-умному и свое в жизни получит. Дурачок русских сказок уродливого коня-горбунка приласкает и жар-птицу, прилетевшую пшеницу воровать, отпустит. Те за него потом и сделают в трудную минуту все, что нужно. Доброта – она всегда умная. Дурак всем правду говорит, потому что для него не существует никаких условностей и нет у него никакого страха.

А в эпоху Грозного, в самый террор, нет-нет да доброта народная скажется. Сколько добрых о́бразов в образах-иконах создали древнерусские иконописцы второй половины XVI века: умудренных философией (то есть любовью к мудрости) Отцов Церкви, толпы святых, завороженных песнью, сколько нежного материнства и заботы о людях в небольших семейных иконах того же времени! Следовательно, не ожесточалось сердце всех в XVI веке. Были люди и добрые, и человечные, и бесстрашные. Доброта народная торжествовала.

Во фресках Андрея Рублева во владимирском Успенском соборе изображено шествие людей на Страшный суд. На адские муки люди идут с просветленными лицами: возможно, на белом свете еще хуже, чем в преисподней…

Любит русский народ дураков не за то, что они глупые, а за то, что умные: умные высшим умом, который не в хитрости и обмане других заключен, не в плутовстве и удачном преследовании своей узкой выгоды, а в мудрости, знающей истинную цену всякой фальши, показной красивости и скопидомству, видящей цену в совершении добра другим, а следовательно, и себе, как личности.

И не всякого дурака и чудака любит русский народ, а только такого, который некрасивого конька-горбунка приголубит, голубка не обидит, деревце говорящее не сломает, а потом и свое другим отдаст, природу сбережет и родимых родителей ува́жит. Такому «дураку» не просто красавица достанется, а царевна из окошечка перстень обручальный отдаст, а с ним вместе и полцарства-государства в приданое.

Русская природа и русский характер

Я отмечал уже, как сильно воздействует русская равнина на характер русского человека. Мы часто забываем в последнее время о географическом факторе в человеческой истории. Но он существует, и никто никогда его не отрицал.

Сейчас я хочу сказать о другом – о том, как, в свою очередь, воздействует человек на природу. Это не какое-нибудь открытие с моей стороны, просто я хочу поразмышлять и на эту тему.

Начиная с XVIII века и ранее, с XVII века, утвердилось противопоставление человеческой культуры природе. Века эти создали миф о «естественном человеке», близком природе и потому не только не испорченном, но и необразованном. Открыто или скрытно естественным состоянием человека считалось невежество. И это не только глубоко ошибочно, это убеждение повлекло за собой представление о том, что всякое проявление культуры и цивилизации неорганично, способно испортить человека, а потому надо возвращаться к природе и стыдиться своей цивилизованности.

Это противопоставление человеческой культуры как якобы «противоестественного» явления «естественной» природе особенно утвердилось после Ж.-Ж. Руссо и сказалось в России в особых формах развившегося здесь в XIX веке своеобразного руссоизма: в народничестве, толстовских взглядах на «естественного человека» – крестьянина, противопоставляемого «образованному сословию», просто интеллигенции.

Хождения в народ в буквальном и переносном смысле привели в некоторой части нашего общества в XIX и XX веках ко многим заблуждениям в отношении интеллигенции. Появилось и выражение «гнилая интеллигенция», презрение к интеллигенции якобы слабой и нерешительной. Создалось и неправильное представление об «интеллигенте» Гамлете как о человеке, постоянно колеблющемся и нерешительном. А Гамлет вовсе не слаб: он преисполнен чувства ответственности, он колеблется не по слабости, а потому что мыслит, потому что нравственно отвечает за свои поступки.

Врут про Гамлета, что он нерешителен.
Он решителен, груб и умен,
Но когда клинок занесен,
Гамлет медлит быть разрушителен
И глядит в перископ времен.
Не помедлив, стреляют злодеи

В сердце Лермонтова или Пушкина…

(Из стихотворения Д. Самойлова Оправдание Гамлета»)

Образованность и интеллектуальное развитие – это как раз суть, естественные состояния человека, а невежество, неинтеллигентность – состояния ненормальные для человека. Невежество или полузнайство – это почти болезнь. И доказать это легко могут физиологи.

В самом деле, человеческий мозг устроен с огромным запасом. Даже народы с наиболее отсталым образованием имеют мозг «на три Оксфордских университета». Думают иначе только расисты. А всякий орган, который работает не в полную силу, оказывается в ненормальном положении, ослабевает, атрофируется, «заболевает». При этом заболевание мозга перекидывается прежде всего в нравственную область.

Противопоставление природы культуре вообще не годится еще по одной причине. У природы ведь есть своя культура. Хаос вовсе не естественное состояние природы. Напротив, хаос (если только он вообще существует) – состояние природы противоестественное.

В чем же выражается культура природы? Будем говорить о живой природе. Прежде всего она живет обществом, сообществом. Существуют растительные ассоциации: деревья живут не вперемешку, а известные породы совмещаются с другими, но далеко не всеми. Сосны, например, имеют соседями определенные лишайники, мхи, грибы, кусты и т. д. Это помнит каждый грибник. Известные правила поведения свойственны не только животным (об этом знают все собаководы, кошатники, даже живущие вне природы, в городе), но и растениям. Деревья тянутся к солнцу по-разному – иногда шапками, чтобы не мешать друг другу, а иногда раскидисто, чтобы прикрывать и беречь другую породу деревьев, начинающую подрастать под их покровом. Под покровом ольхи растет сосна. Сосна вырастает, и тогда отмирает сделавшая свое дело ольха. Я наблюдал этот многолетний процесс под Ленинградом в Токсове, где во время Первой мировой войны были вырублены все сосны и сосновые леса сменились зарослями ольхи, которая затем прилелеяла под своими ветвями молоденькие сосенки. Теперь там снова сосны.

Природа по-своему «социальна». «Социальность» ее еще и в том, что она может жить рядом с человеком, соседствовать с ним, если тот, в свою очередь, социален и интеллектуален сам.

Русский крестьянин своим многовековым трудом создавал

красоту русской природы. Он пахал землю и тем задавал ей определенные габариты. Он клал меру своей пашне, проходя по ней с плугом. Рубежи в русской природе соразмерны труду человека и лошади, его способности пройти с лошадью за сохой или плугом, прежде чем повернуть назад, а потом снова вперед. Приглаживая землю, человек убирал в ней все резкие грани, бугры, камни. Русская природа мягкая, она ухожена крестьянином по-своему. Хождения крестьянина за плугом, сохой, бороной не только создавали «полосыньки» ржи, но ровняли границы леса, формировали его опушки, создавали плавные переходы от леса к полю, от поля к реке или озеру.

Русский пейзаж в основном формировался усилиями двух великих культур: культуры человека, смягчающего резкости природы, и культуры природы, в свою очередь смягчавшей все нарушения равновесия, которые невольно вносил в нее человек. Ландшафт создавался, с одной стороны, природой, готовой освоить и прикрыть все, что так или иначе нарушил человек, и с другой – человеком, мягчившим землю своим трудом и смягчавшим пейзаж. Обе культуры как бы поправляли друг друга и создавали ее человечность и приволье.

Природа Восточно-Европейской равнины кроткая, без высоких гор, но и не бессильно плоская, с сетью рек, готовых быть «путями сообщения», и с небом, не заслоненным густыми лесами, с покатыми холмами и бесконечными, плавно обтекающими все возвышенности дорогами.

И с какой тщательностью гладил человек холмы, спуски и подъемы! Здесь опыт пахаря создавал эстетику параллельных линий – линий, идущих в унисон друг с другом и с природой, точно голоса в древнерусских песнопениях. Пахарь укладывал борозду к борозде, как причесывал, как укладывал волосок к волоску. Так лежит в избе бревно к бревну, плаха к плахе, в изгороди – жердь к жерди, а сами избы выстраиваются в ритмичный ряд над рекой или вдоль дороги – как стадо, вышедшее к водопою.

Поэтому отношения природы и человека – это отношения двух культур, каждая из которых по-своему «социальна», общежительна, обладает своими «правилами поведения». И их встреча строится на своеобразных нравственных основаниях. Обе культуры – плод исторического развития, причем развитие человеческой культуры совершается под воздействием природы издавна (с тех пор, как существует человечество), а развитие природы сравнительно с ее многомиллионнолетним существованием – сравнительно недавно и не всюду под воздействием человеческой культуры. Одна (культура природы)

может существовать без другой (человеческой), а другая (человеческая) не может. Но все же в течение многих минувших веков между природой и человеком существовало равновесие. Казалось бы, оно должно было оставлять обе части равными, проходить где-то посередине. Но нет, равновесие всюду свое и всюду на какой-то своей, особой основе, со своею осью. На севере в России было больше природы, а чем ближе к степи, тем больше человека.

Тот, кто бывал в Кижах, видел, вероятно, как вдоль всего острова тянется, точно хребет гигантского животного, каменная гряда. Около этого хребта бежит дорога. Этот хребет образовывался столетиями. Крестьяне освобождали свои поля от камней – валунов и булыжников – и сваливали их здесь, у дороги. Образовался ухоженный рельеф большого острова. Весь дух этого рельефа пронизан ощущением многовековья. И недаром жила здесь на острове из поколения в поколение семья сказителей былин Рябининых.

Пейзаж России на всем ее богатырском пространстве как бы пульсирует, он то разряжается и становится более природным, то сгущается в деревнях, погостах и городах, становится более человечным. В деревне и в городе продолжается тот же ритм параллельных линий, который начинается с пашни. Борозда к борозде, бревно к бревну, улица к улице. Крупные ритмические деления сочетаются с мелкими, дробными. Одно плавно переходит к другому.

Город не противостоит природе. Он идет к природе через пригород. «Пригород» – это слово, как нарочно созданное, чтобы соединить представление о городе и природе. Пригород – при городе, но он и при природе. Пригород – это деревня с деревьями, с деревянными полудеревенскими домами. Он прильнул огородами и садами к стенам города, к валу и рву, но прильнул и к окружающим полям и лесам, отобрав от них немного деревьев, немного огородов, немного воды в свои пруды и колодцы. И все это в приливах и отливах скрытых и явных ритмов – грядок, улиц, домов, бревнышек, плах мостовых и мостиков[1].

О русской пейзажной живописи

В русской пейзажной живописи очень много произведений, посвященных временам года: осень, весна, зима – любимые темы русской пейзажной живописи на протяжении всего XIX века и позднее. И главное, в ней не неизменные элементы природы, а чаще всего временны́е: осень ранняя или поздняя, вешние воды, тающий снег, дождь, гроза, зимнее солнце, выглянувшее на мгновение из-за тяжелых зимних облаков, и т. п. В русской природе нет вечных, не меняющихся в разные времена года крупных объектов вроде гор, вечнозеленых деревьев. Все в русской природе непостоянно по окраске и состоянию. Деревья – то с голыми ветвями, создающими своеобразную «графику зимы», то с листвой яркой, весенней, живописной. Разнообразнейший по оттенкам и степени насыщенности цветом осенний лес. Разные состояния воды, принимающей на себя окраску неба и окружающих берегов, меняющихся под действием сильного или слабого ветра («Сиверко» Остроухова), дорожные лужи, различная окраска самого воздуха, туман, роса, иней, снег – сухой и мокрый. Вечный маскарад, вечный праздник красок и линий, вечное движение – в пределах года или суток.

Все эти изменения есть, конечно, и в других странах, но в России они как бы наиболее заметны благодаря русской живописи, начиная с Венецианова и Мартынова. В России континентальный климат, и этот континентальный климат создает особенно суровую зиму и особенно жаркое лето, длинную, переливающуюся всеми оттенками красок весну, в которой каждая неделя приносит с собой что-то новое, затяжную осень, в которой есть и ее самое начало с необыкновенной прозрачностью воздуха, воспетое Тютчевым, и особой тишиной, свойственной только августу, и поздняя осень, которую так любил Пушкин. Но в России, в отличие от юга, особенно где-нибудь на берегах Белого моря или Белого озера, необыкновенно длинные вечера с закатным солнцем, которое создает на воде переливы красок, меняющиеся буквально в пятиминутные промежутки времени, целый «балет красок», и замечательные – длинные-длинные – восходы солнца. Бывают моменты (особенно весной), когда солнце «играет», точно его гранил опытный гранильщик. Белые ночи и «черные», темные дни в декабре создают не только многообразную гамму красок, но и чрезвычайно богатую палитру эмоциональную. И русская поэзия откликается на все это многообразие.

Интересно, что русские художники, оказываясь за границей,

искали в своих пейзажах эти перемены времени года, времени дня, эти «атмосферические» явления. Таков был, например, великолепный пейзажист, остававшийся русским во всех своих пейзажах Италии именно благодаря этой своей чуткости ко всем изменениям «в воздухе», – Сильвестр Щедрин.

Характерная особенность русского пейзажа есть уже у первого, по существу, русского пейзажиста Венецианова. Она есть и в ранней весне Васильева. Она мажорно сказалась в творчестве Левитана. Это непостоянство и зыбкость времени – черта, как бы соединяющая людей России с ее пейзажами.

Но не стоит увлекаться. Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными. Национальные особенности – это только некоторое акценты, а не качества, отсутствующие у других. Национальные особенности сближают людей, заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают людей из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе. Народы – это не окруженные стенами сообщества, а гармонично согласованные между собой ассоциации. Поэтому если я говорю о том, что свойственно русскому пейзажу или русской поэзии, то эти же свойства, но, правда, в какой-то иной степени, свойственны и другим странам и народам. Национальные черты народа существуют не в себе и для себя, а для других. Они выясняются только при взгляде со стороны и в сравнении, поэтому должны быть понятны для других народов, они в какой-то другой аранжировке должны существовать и у иных.

Если я говорю сейчас о том, что русский художник особенно чуток к изменениям годовым, суточным, к атмосферным условиям и почему, то сразу же на память приходит великий французский художник К. Моне, писавший лондонский мост в тумане, или Руанский собор, или один и тот же стог сена при разной погоде и в разное время дня. Эти «русские» черты Моне отнюдь не отменяют сделанных мною наблюдений, они лишь говорят, что русские черты в какой-то мере являются чертами общечеловеческими. Различие в степени.

Относится ли сказанное *только* к реалистической живописи XIX и начала XX века, например к живописцам круга «Мира искусства»? Я очень ценю живопись различных направлений, но должен сказать, что «искусство чистой живописи», какой мне представляется живопись «Бубнового валета», «Ослиного хвоста», «Голубого рыцаря» и пр., меньше связано с национальными чертами того типа, о котором я только что говорил, и все ж таки связано с русским «материальным фольклором» – с искусством вышивки, даже вывески, глиняной игрушки и вообще игрушки,

поскольку в этой живописи много игрового момента, много выдумки, вымысла. Выверт для этого искусства – похвала, потому что оно насквозь озорное и веселое. Не случайно это искусство требовало выставок, было так связано с шумными вернисажами. Его надо было демонстрировать на большой публике, оно должно было поражать и возбуждать толки. В русской культуре начала XX века вообще было много маскарадного и театрального, что так хорошо подчеркнуто Ахматовой в «Поэме без героя».

Природа других стран

Я уже давно чувствую, что пора ответить на вопрос: а разве у других народов нет такого же чувства природы, нет союза с природой? Есть, разумеется! И я пишу не для того, чтобы доказать превосходство русской природы над природой других народов. Но у каждого народа свой союз с природой.

Для того чтобы провести сравнение разных созданных совместными усилиями людей и стихий ландшафтов, надо, как мне кажется, побывать на Кавказе, в Средней Азии, а также в Испании, Италии, Англии, Шотландии, Норвегии, Болгарии, Турции, Японии, Египте. По фотографиям и по пейзажной живописи судить о природе нельзя.

Из всех перечисленных мною краев и стран я смогу поверхностно судить только о Кавказе и еще об Англии, Шотландии, Болгарии. И в каждой из этих «этноприрод» свои, своеобразные взаимоотношения природы и человека – всегда трогательные, всегда волнующие, свидетельствующие о чем-то очень духовно высоком в человеке, вернее, в народе.

Сельскохозяйственный труд, как и в России, формировал собой природу Англии. Но природа эта создавалась не столько земледелием, сколько овцеводством. Поэтому в ней так мало кустов и такие хорошие газоны. Скот «выщипывал» пейзаж, делал его легко обозримым: под пологом деревьев не было кустов и было далеко видно. Англичане сажают деревья по дорогам и дорожкам, а между ними оставляют луга и лужайки. Не случайно скот был непременной принадлежностью пейзажных парков и английской пейзажной живописи. Это заметили и в России. И даже в русских царских пейзажных садах, вкус к которым был принесен в Россию из Англии, ставились молочни и фермы, паслись коровы и овцы.

Англичане любят парки почти без кустов, любят оголенные берега рек и озер, где граница воды и земли создает четкие и плавные линии, любят «уединенные дубы» или группы старых деревьев, боскеты, стоящие среди лужаек как гигантские букеты.

В пейзажах Шотландии, в Хайленде, которые многие считают (признаюсь, и я тоже) красивейшими, поражает необыкновенная лаконичность лирического чувства. Это почти обнаженная поэзия. И не случайно там родилась одна из лучших мировых поэзий – английская «озерная школа». Горы, поднявшие на свои мощные склоны луга, пастбища овец, а вслед за ними и людей, внушают какое-то особое доверие. И люди доверили себя и свой скот горным полям, оставили скот без хлева и укрытия. В горах

пасутся коровы с необыкновенно теплой и густой шерстью, привыкшие к ночному холоду и горной подоблачной сырости, овцы, дающие лучшую в мире шерсть и умеющие ночевать, сбившись в гурты, ходят люди, которые носят простые килты, чтобы их было удобно распрямить и высушить перед кострами, и пледы, которые не менее удобно сушить перед кострами и кутаться в них в сырые ночи. Поля перегорожены хайками – изгородями из камней. Их строили терпеливые руки. Шотландцы не хотели строить их из материала иного, чем родные горы. Поэтому каменные хайки – такая же часть природы, как и наши северные изгороди из жердей. Только ритм в них иной.

В Болгарии в характере взаимоотношения природы и человека есть одна удивительная черта: черта их взаимообращенности друг к другу, взаимооткрытости. Эта черта еще слабо выражена в первой столице Болгарии – Плиске. В основе названия города Плиска лежит тот же корень, что и в основе имени одного из старейших городов России – Пскова (в древности это Плесков – «побратим» именем с Плиской). Оба города расположены на ровном, *плоском* месте, от чего и получили свои имена. В остатках великолепного дворца в Плиске, его стен, дорог Плиски и мостовых лежат большие каменные блоки. Своею монументальностью, тяжестью эти каменные блоки как бы утверждают могучие горизонтали окружающего пространства. Болгары, основывая Плиску, только что перешли от кочевой жизни к оседлой. В Плиске они «бросили якорь», закрепились на равнине, перестали кочевать, но еще любили кочевую жизнь, от которой хотели оторваться, любили эту равнину. Они дали скоту, коням пастбища, а сами укрылись за стенами из гигантских камней. Плиска остановила движение, приведшее их с Волги и Северного Кавказа на Балканы.

Вторая столица Болгарии – Преслав расположена иначе: в огромной чаше окружающих гор. В центре чашевидной долины знаменитая Круглая церковь. Окружающие горы любуются Преславом с его центром – Круглой церковью, а Преслав любуется могучей оградой окружающих его лесистых гор.

Еще своеобразнее и сильнее эта взаимообращенность природы и человека в третьей столице Болгарии – Велико-Тырнове. Велико-Тырново своими основными районами расположен на высоких холмах – таковы два важнейших – Ца́ревец с неприступной крепостью и Трапе́зица с многочисленными церквами и монастырями. А между холмами сложными петлями вьется Янтра, повторяющая в своих водах дрожащую красоту города. А над всем этим сложным взаимоотношением гор, города и реки высятся еще более высокие

горы. Одну из них тырновцы окрестили названием Момина крепость: Девичья крепость – крепость, которую могли бы защищать и девушки, – настолько она сама по себе неприступна. Гора как город, город как горы… Горы и города слиты в единство до неразличимости, как бы живут вместе. Горы вознесли болгар на свои могучие вершины. Не только приняли своих обитателей, но подняли и восславили.

Даже сравнительно новые, «возрожденческие» города Болгарии такие же – союзные природе. Один из них – Копривщица. Копривщица – город «первой пушки». Здесь началось освободительное восстание против многовекового османского ига. Восстание это было поддержано самой природой – окружающими Копривщицу горами и темными лесами. И посмотрите: в каком союзе живут здесь до сих пор город, лес и горы. В центре города среди двухэтажных типично болгарских домов живут темные, могучие, необыкновенно высокие лесные ели. Это лес вошел в город… А из каждого дома видны горные луга со стадами овец; видна окружающая город местность; именно из *каждого* (разумеется, старого, ибо современные архитекторы этого не понимают) дома. Дело в том, что болгары изобрели удивительные дома. Этажи в этих домах поставлены свободно друг к другу, и второй, жилой этаж повернут всегда так, чтобы из его окон открывалась перспектива улицы и был вид на окружающую город природу: в горных – на горы, в приморских – на море. С высоким художественным смыслом повторяется в домах, оградах и воротах плавная линия – «кобылица» (коромысло), как бы вторящая линии болгарских гор.

Может быть, потому, что замечательный болгарский архитектор XIX века Колю Фичето нигде не учился, он так по-своему и так по-народному, по-болгарски понимал архитектуру. Архитектура для него была продолжением природы и быта людей. Арки его мостов не только описывают вместе со своим отражением в воде идеальные эллипсы, овалы, круги, но и с удивительной плавностью переходят в своды устоев моста, а колонны его других строений не столько «несут» над собою своды, сколько просто и дружелюбно их «дорисовывают».

Сколько вообще мира, тишины и спокойствия в любой архитектуре мира, как мало в народной архитектуре модного сейчас «брутализма» и урбанистической агрессивности!

Обратимся к природе нашего родного Закавказья.

В Грузии человек ищет защиты у мощных гор, иногда тянется за ними (в башнях Сванетии), иногда противостоит горным вертикалям горизонталями своих жилищ. Но самое главное – в Грузии природа так огромна, что она уже не в простом союзе с

человеком, она мощно ему покровительствует, обнимает его, вдыхает в него богатырский дух.

О Грузии писали многие. Не буду перечислять великих русских поэтов XIX века, но о советских поэтах напомню: П. Антокольский, Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Н. Заболоцкий, О. Мандельштам, А. Межиров, Ю. Мориц, Б. Пастернак, А. Тарковский и др. Но чтобы представить себе отношения природы и человека в Грузии, приведу одно стихотворение Н. Заболоцкого. Да не посетует на меня читатель за то, что я процитирую это стихотворение полностью. Перечесть стихи Н. Заболоцкого всегда большое удовольствие.

Ночь в Пасанаури

Сияла ночь, играя на пандури,
Луна плыла в убежище любви,
И снова мне в садах Пасанаури
На двух Арагвах пели соловьи.

С Крестового спустившись перевала,
Где в мае снег и каменистый лед,
Я так устал, что не желал нимало
Ни соловьев, ни песен, ни красот.

Под звуки соловьиного напева
Я взял фонарь, разделся догола,
И вот река, как бешеная дева,
Мое большое тело обняла.

И я лежал, схватившись за каменья,
И надо мной, сверкая, выл поток,
И камни шевелились в исступленье
И бормотали, прыгая у ног.

И я смотрел на бледный свет огарка,
Который колебался вдалеке,
И с берега огромная овчарка
Величественно двигалась к реке.

И вышел я на берег, словно воин,
Холодный, чистый, сильный и земной,
И гордый пес, как божество, спокоен,
Узнав меня, улегся предо мной.

И в эту ночь в садах Пасанаури,
Изведав холод первобытных струй,
Я принял в сердце первый звук пандури,
Как в отрочестве – первый поцелуй.

Природа Грузии и в самом деле мощно принимает человека и делает его сильным, величественным и рыцарственным.

Свежие впечатления от природы Армении заставляют меня несколько подробнее сказать и о ее пейзажах. Многовековая культура Армении победила даже горы. «Хоровод веков», – пишет Андрей Белый в «Ветре с Кавказа». «Впаяны древности в почву; и камни природные – передряхлели скульптуру; и статуи, треснувши, в землю уйдя, поднимают кусты; не поймешь, что ты видишь: природа ль, культура ль? Вдали голорозовый, желто-белясый и гранный хребетик сквозным колоритом приподнят над Гегаркуником, Севан отделяющим; почвы там храмами выперты, храмы – куски цельных скал»[2].

Не могу удержаться, чтобы не привести из той же книги отрывок, где Белый описывает свои первые впечатления от Армении, полученные им ранним утром из окна вагона.

«Армения!

Верх полусумерки рвет; расстояние сложилось оттенками угрюмо-синих, сереющих, бирюзоватых ущелий под бледною звездочкой: в дымке слабеющей зелень; но чиркнул под небо кривым лезвием исцарапанный верх, как воткнувшийся нож; и полезла гребенкой обрывин земля, снизу синяя, в диких разрывинах; будто удары ножей, вылезающих из перетресканных камневоротов – в центр неба; мир зазубрин над страшным растаском свисающих глыб, где нет линий без бешенства!»[3]

Что это не мимолетное впечатление Белого, показывает тот факт, что на него откликнулся и сам гениальный армянский живописец Мартирос Сарьян, а что может быть авторитетнее именно такого отклика художника. В своем письме Белому, вызванном впечатлением от очерка «Армения», Сарьян пишет, что он хранит воспоминание о тех днях, когда они вместе «разъезжали или расхаживали по этой обожженно-обнаженной нагорной стране, любуясь громоздящимися камнями голубовато-фиолетового цвета, ставшими на дыбы в виде высочайших вершин Арарата и Арагаца»[4].

Я не смею поправлять Сарьяна, и все-таки порой мне кажется, что пейзаж Восточной Армении суровее, чем на картинах Сарьяна. Безлесные горы, изборожденные дождями, ручьями и

полосами виноградников, горы, с которых скатывались камни, густые плотные краски: это природа, точно впитавшая в себя народную кровь. Выше я писал, что для русской природы, очеловеченной крестьянином, очень характерен ритм вспаханной земли, ритм изгородей и бревенчатых стен. Ритм характерен и для пейзажей Армении, но в Армении он другой. Огромное впечатление оставляет картина того же Сарьяна «Земля» (1969). Она вся состоит из полос, но полос ярких, волнистых – совсем других, чем ритм, созданный человеком в России.

Этот же волнообразный ритм схвачен и в картинах замечательнейшего армянского художника Минаса Аветисяна. В его картине «Родители» (1962) отец и мать изображены на фоне армянского пейзажа. Поразительно, что ритм армянской природы как бы повторяется в душевном ритме людей. Даже горы в картине «Родители» стали волнами трудового ритма.

Трудовые ритмы Армении удивительно разнообразны, как разнообразен и труд ее народа. В картине Сарьяна «Полуденная тишина» (1924) на землю как бы наложены квадраты возделанных полей, словно расстелены разноцветные ковры для просушки. Ритмы гор и полей сочетаются и одновременно противостоят друг другу.

Совсем свободен и легок ритм в картине Акопа Кождояна «Араратская долина». Горы в ней – волны, полосы долины – только легкая морская зыбь.

О богатстве природы Армении свидетельствует и то, что в живописи она отражена удивительно разнообразно. Один и тот же художник видел ее по-разному. И вместе с тем мы всегда скажем: это Армения —

Страна москательных пожаров
И мертвых гончарных долин…

Раз уж пришли на память эти строки О. Мандельштама, то невозможно не вспомнить и стихи Валерия Брюсова, обращенные к армянам:

Да! Вы поставлены на грани
Двух разных спорящих миров,
И в глубине родных преданий
Вам слышны отзвуки веков.

Все бури, все волненья мира,
Летя, касались вас крылом, —
И гром глухой походов Кира,

И Александра бранный бой…

Как это хорошо! – величие народа в касании к мировым событиям! В этой страдальческой причастности дух армянского народа.

Гранился он, как твердь алмаза,
В себе все отсветы храня:
И краски нежных роз Шираза,
И блеск Гомерова огня.

Даже бедный пастушеский посох у подножия Арарата становится похож на скипетр царя.

Внизу на поле каменистом
Овец ведет пастух седой,
И длинный посох, в свете мглистом,
Похож на скипетр вековой.

И в том же ключе говорит об армянской природе Николай Тихонов:

В ладонях гор, расколотых
Стозвучным ломом времени,
Как яблоко из золота,
Красуется Армения…

Золотое яблоко, то есть царский знак – держава, и скипетр – все это вручено русскими поэтами многострадальной и своею значительностью счастливой Армении. Это ли не царский подарок?

Уже после того, как я отослал текст этой книжки в издательство, я прочел «Из дневниковых записей искусствоведа» М. В. Алпатова[5]. Написанное им там о Греции удивительным образом продолжает, разнообразя, то, что я пишу выше о Шотландии, Грузии и Армении. Позволю себе с его разрешения привести некоторые из этих записей.

«Страна не имеет ясно подчеркнутой доминанты. В этом Греция решительно отличается от маленькой Армении, которую отовсюду осеняет белоснежная вершина Арарата, от Сицилии с ее огнедышащей Этной. У подножия Парнаса можно признать его

очень величественным и огромным. Но стоит удалиться от него, и уже он включается в цепь других гор, другие вершины начинают преобладать, оттеснять его. Здесь постоянно происходит смещение осей, одно уступает место другому, большое отступает, малое выходит. Силуэты гор то складываются, то расступаются, то складываются вновь. Трудно передать словами, как прекрасен этот хоровод горных вершин, когда двигаешься по дорогам Греции. Горы вздымаются над морем. Море со своей стороны врезается в материк. Здесь воочию видишь, что значат слова из учебника географии „изрезанные берега“. Горы уносятся в небо. Море отражает небесную синеву. Горы отгораживают одно от другого. Море их связывает вновь. Недаром самое слово „море“ – „понтос“ по-гречески означало „дорога“».

«При ясном сиянии дня здесь явственно звучит мерное дыхание земной коры. К ним обращается все вновь и вновь как к чему-то возвышенному, чистому, прекрасному своей отрешенностью от обыденной прозы жизни».

«Вулканы говорят о внутренней жизни архипелага. Карта страны со сползающими с севера к югу горными кряжами позволяет уловить общий его ритм. Но даже в том, что может заметить глаз малосведущего в географии путешественника, ясно проступает своя последовательность и закономерность. Горы обламываются или оседают, и тогда на поверхности их образуются глубокие кольцевые складки. Иногда из-под скудных кустарников выпирают острые светлые камни, словно это оскал зубов Дракона, посеянных Кадмом и превратившихся в воинов».

«Греки обладали редким даром образного выражения плодов своих раздумий. Периклу принадлежит метафорическое выражение, величие которого постигаешь на Марафонском поле: „Могилою людей служит вся земля“».

«Греческая природа помогала человеку создавать формы общежития. Море, бухты, заливы, горы разделяли, но и помогали выработке самостоятельности каждой местной общине. Но преграды эти не были непроходимыми: люди переплывали через моря, переходили горы, каждый крестьянин жил, укрытый за горами, а в трудные дни вторженья врагов они завлекали их в узкую теснину и уничтожали их, несмотря на их превосходство. В стране, изрезанной морем, раздробленной горными кряжами, возникали небольшие государства, но в смертельной опасности они могли позабыть взаимные претензии, объединить свои силы и дружно двинуться на врага. Здесь действовали и кровные связи, и общность интересов, и общий язык, но не последним доводом было и то, что человек всю страну видел как бы накрытой одним голубым небосводом. В Греции человек никогда не чувствует себя

раздавленным необъяснимой тайной мира».

Народ не создается природой, но он живет там, где природа больше всего созвучна его характеру. М. В. Алпатов приводит слова Гегеля о том, что природой Греции нельзя объяснить расцвет греческой культуры. Недаром она не изменила своего характера во времена турецкого владычества и позднее (а все ж таки изменила – леса сменились кустарниками), но не породила второго Гомера.

Природа не порождает Гомеров, но, чтобы культура расцвела, они должны быть в союзе и взаимопомощи…

Я жалею, что мало бывал в республиках нашей страны и не могу написать о каждой. Каждая обладает своей красотой – надо только увидеть. Но и из приведенных примеров ясно следующее: пейзаж страны – это такой же элемент национальной культуры, как и все прочее. Не хранить родную природу – это то же, что не хранить родную культуру, не любить родителей. Она – выражение души народа.

Ансамбли памятников искусства

Каждая страна – это ансамбль искусств. Грандиозным ансамблем культур или памятников культуры является и Советский Союз. Города в Советском Союзе, сколь бы они ни разнствовали между собой, не обособлены друг от друга. Москва и Ленинград не просто не похожи друг на друга – они *контрастируют* друг другу и, следовательно, взаимодействуют. Не случайно они связаны железной дорогой столь прямой, что, проехав в поезде ночь без поворотов и только с одной остановкой и попадая на вокзал в Москве или Ленинграде, вы видите почти то же вокзальное здание, которое вас провожало вечером: фасады Московского вокзала в Ленинграде и Ленинградского в Москве одинаковые. Но одинаковость вокзалов подчеркивает резкое несходство городов, несходство не простое, а дополняющее друг друга.

Даже предметы искусства в музеях не просто хранятся, а составляют некоторые культурные ансамбли, связанные с историей городов и страны в целом. Состав музеев далеко не случаен, хотя в истории их собраний и немало отдельных случайностей. Недаром, например, в музеях Ленинграда так много голландской живописи (это Петр I), а также французской (это петербургское дворянство XVIII и начала XIX века).

А посмотрите в других городах. В Новгороде стоит посмотреть иконы. Это третий по величине и ценности центр древнерусской живописи.

В Костроме, Горьком и Ярославле следует смотреть русскую живопись XVIII и XIX веков (это центры русской дворянской культуры), а в Ярославле еще и «волжскую» XVII века, которая представлена здесь так, как нигде.

Но если вы возьмете всю нашу страну, вы удивитесь разнообразию и своеобразию городов и хранящейся в них культуры: в музеях и частных собраниях, да и просто на улицах ведь почти каждый старый дом – драгоценность. Одни дома и целые города дуроги своей деревянной резьбой, другие – удивительной планировкой, набережными, бульварами (Кострома, Ярославль), третьи – каменными особняками, четвертые – затейливыми церквами, пятые – «небрежно» наброшенной на холмы сетью улиц.

Но многое их объединяет. Одна из самых типичных черт русских городов – их расположение на высоком берегу реки. Город виден издалека и как бы втянут в движение реки: Великий Устюг, волжские города, города по Оке. Есть такие города и на

Украине: Киев, Новгород-Северский, Путивль. Это традиции Древней Руси – Руси, от которой пошли Россия, Украина, Белоруссия, а потом и Сибирь с Тобольском и Красноярском…

Город на высоком берегу реки – в вечном движении. Он «проплывает» мимо реки. И это тоже присущее Руси ощущение родных просторов.

Страна – это единство народа, природы и культуры.

Сохранить разнообразие наших городов и сел, сохранить в них историческую память, их общее национально-историческое своеобразие – одна из важнейших задач наших градостроителей. Вся страна – это грандиозный культурный ансамбль. Он должен быть сохранен в своем поразительном богатстве. Воспитывает не только историческая память в своем городе и в своем селе – воспитывает человека его страна в ее целом. Сейчас люди живут не только в своем «пункте», но во всей стране и не своим веком только, но всеми столетиями своей истории.

Сады и парки

Взаимодействие человека с природой, с ландшафтом не всегда длится столетиями и тысячелетиями и не всегда носит «природно-бессознательный» характер. След в природе остается не только от сельского труда человека, и труд его не только формируется природой: иногда человек сознательно стремится преобразовать окружающий его ландшафт, сооружая сады и парки.

Сады и парки создают своего рода «идеальное» взаимодействие человека и природы, «идеальное» для каждого этапа человеческой истории, для каждого творца садово-паркового произведения.

И здесь мне хотелось бы сказать несколько слов об искусстве садов и парков, которое не всегда до конца понималось в своей основе его истолкователями, специалистами (теоретиками и практиками садоводства).

Садово-парковое искусство – наиболее захватывающее и наиболее воздействующее на человека из всех искусств. Такое утверждение кажется на первый взгляд странным. С ним как будто бы трудно согласиться. Почему, в самом деле, садово-парковое искусство должно быть более действенным, чем поэзия, литература в целом, философия, театр, живопись и т. д.? Но вдумайтесь беспристрастно и вспомните собственные впечатления от посещения наиболее дорогих нам всем исторических парков, пусть даже и запущенных.

Вы идете в парк, чтобы отдохнуть – без сопротивления отдаться впечатлениям, подышать чистым воздухом с его ароматом весны или осени, цветов и трав. Парк окружает вас со всех сторон. Вы и парк обращены друг к другу: парк открывает вам все новые виды – поляны, боскеты, аллеи, перспективы, – и вы, гуляя, только облегчаете парку его показ самого себя. Вас окружает тишина, и в тишине с особой остротой возникает шум весенней листвы вдали или шуршание опавших осенних листьев под ногами или слышится пение птиц или легкий треск сучка вблизи, какие-то звуки настигают вас издали и создают особое ощущение пространства и простора. Все чувства ваши раскрыты для восприятия впечатлений, и смена этих впечатлений создает особую симфонию – красок, объемов, звучаний и даже ощущений, которые приносят вам воздух, ветер, туман, роса…

Но при чем же тут человек? – спросят меня. Ведь это то, что приносит вам природа, то, что вы можете воспринять, и даже с большей силой, в лесу, в горах, на берегу моря, а не только в

парке.

Нет, сады и парки – это тот важный рубеж, на котором объединяются человек и природа. Сады и парки одинаково важны – и в городе, и за пределами города. Не случайно так много чудеснейших парков в родном нашем Подмосковье. И не случайно столько помещиков вконец разорилось, устраивая парки в своих усадьбах. Нет ничего более захватывающего, увлекающего, волнующего, чем вносить человеческое в природу, а природу торжественно, «за руку» вводить в человеческое общество: смотрите, любуйтесь, радуйтесь.

И чем более дика природа, тем острее и глубже ее сообщество с человеком. Вот почему такое огромное впечатление производят Крымский парк в Алупке, устраивавшийся Воронцовым, и выборгский парк «Монрепо» в типично русском имении баронов Николаи́. В Алупке над парком громоздятся и «показывают себя» горы, а под парком бьются о гигантские камни волны Черного моря. В парке «Монрепо» на голых красных гранитных скалах растут сосны, открываются бесконечные виды на шхеры с их плывущими в водной голубизне островами. Но и в том и другом парке при всей оссиановской грандиозности природы всюду видна разумная рука человека и уютные дворцы хозяев приветливо венчают окружающую первозданную дикость ландшафта.

Не случайно и Петр каналами подводил море к своим загородным и парковым дворцам – в Новом Петергофе, Стрельне, Ораниенбауме. Каналы соединяли дворцы и парки с морем не только водой, но и воздухом – открывавшейся на море перспективой – и вводили морскую воду в окружение деревьев и любимых Петром душистых цветов.

Есть и еще одна сфера, которую человеку дарит по преимуществу парк, или даже только парк. Это сфера исторического времени, сфера воспоминаний и поэтических ассоциаций.

Исторические воспоминания и поэтические ассоциации – это и есть то, что больше всего очеловечивает природу в парках и садах, что составляет их суть и специфику. Парки ценны не только тем, что в них есть, но и тем, что в них было. Временна́я перспектива, которая открывается в них, не менее важна, чем перспектива зрительная. «Воспоминания в Царском Селе» – так назвал Пушкин лучшее из наиболее ранних своих стихотворений.

Отношение к прошлому может быть двух родов: как к некоторому зрелищу, театру, представлению, декорации и как к документу. Первое отношение стремится воспроизвести прошлое, возродить его зрительный образ. Второе стремится сохранить

прошлое хотя бы в его частичных остатках. Для первого в садово-парковом искусстве важно воссоздать внешний, зрительный образ парка или сада таким, каким его видели в тот или иной момент его жизни. Для второго важно ощутить свидетельство времени, важна документальность. Первое говорит: таким он выглядел; второе свидетельствует: это *тот самый,* он был, может быть, не таким, но это подлинно *тот,* это *те* липы, *те* садовые строения, *те* самые скульптуры. Второе отношение терпимее к первому, чем первое ко второму. Первое отношение к прошлому требует вырубить в аллее старые деревья и насадить новые: «так аллея выглядела». Второе отношение сложнее: сохранить все старые деревья, продлить им жизнь и подсадить к ним на места погибших молодые. Две-три старые дуплистые липы среди сотни молодых будут свидетельствовать: это та самая аллея – вот они, старожилы. А о молодых деревьях не надо заботиться: они растут быстро, и скоро аллея приобретет прежний вид.

Но в двух отношениях к прошлому есть и еще одно существенное различие. Первое будет требовать: только одна эпоха – эпоха создания парка, или его расцвета, или чем-либо знаменательная. Второе скажет: пусть живут все эпохи, так или иначе знаменательные, ценна вся жизнь парка целиком, ценны воспоминания о различных эпохах и о различных поэтах, воспевших эти места, – и от реставрации потребует не восстановления, а сохранения. Первое отношение к паркам и садам открыл в России Александр Бенуа с его эстетским культом времени императрицы Елизаветы Петровны и ее Екатерининского парка в Царском. С ним поэтически полемизировала Ахматова, для которой в Царском была важна не Елизавета, а Пушкин: «Здесь лежала *его* треуголка и растрепанный том Парни».

Да, вы поняли меня правильно: я на стороне второго отношения к памятникам прошлого. И не только потому, что второе отношение шире, терпимее и осторожнее, менее самоуверенно и оставляет больше природе, заставляя уважительно отступать внимательного человека, но и потому еще, что оно требует от человека бóльшего воображения, бóльшей творческой активности. Восприятие памятника искусства только тогда полноценно, когда оно мысленно воссоздает, творит вместе с творцом, исполнено историческими ассоциациями.

Первое отношение к прошлому создает, в общем-то, учебные пособия, учебные макеты: смотрите и знайте. Второе отношение к прошлому требует правды, аналитической способности: надо отделить возраст от объекта, надо вообразить, как тут было, надо в некоторой степени исследовать. Это второе отношение требует бóльшей интеллектуальной дисциплины, бóльших знаний от

самого зрителя: смотрите и воображайте. И это интеллектуальное отношение к памятникам прошлого рано или поздно возникает вновь и вновь. Нельзя убить подлинное прошлое и заменить его театрализованным, даже если театрализованные реконструкции уничтожили все документы, но место осталось: здесь, на этом месте, на этой почве, в этом географическом пункте, было – он был, оно, что-то памятное, произошло.

И еще одно попутное замечание о садах. Стремиться к восстановлению садов в их первоначальном виде невозможно по одной причине: сад неразрывно связан с садовым бытом и социальным устройством общества. В Царском Селе работало 400 садовников, в многочисленных оранжереях разводились редчайшие цветы, стволы деревьев мылись мылом, а для гуляний в Петергофском саду придворные обязаны были носить так называемые «петергофские платья» темно-зеленого цвета с серебряным шитьем. Темно-зеленый цвет – чтобы гармонировал с цветом деревьев, а серебро – чтобы гармонировало с белой пеною фонтанов. Имитировать первоначальный придворный облик садов без двора и дворцовых приемов в садах – совершенно невозможно: слишком тесно был связан сад и садовый быт с классовым строением общества.

Театрализация старины захлестывает собой мемориальные квартиры-музеи. В подлинные места вносят мебель и вещи под стиль эпохи, и среди них теряются и прячутся подлинные предметы. Их не только не узна́ют посетители, но они часто путаются с вещами того же времени, будь то чернильница или шкаф. Купили книжный шкаф точно такой, как и подлинный, купили для ансамбля, а через некоторое время спутали подлинный с купленным и не знают, какой из двух принадлежал владельцу мемориальной квартиры. Этот случай не выдумка. И, кроме того, подбирая для мемориальной квартиры вещи «той эпохи», разве мы не ошибаемся уже в самом принципе такой подборки? Разве обязательно было писателю или политическому деятелю жить среди вещей только своего времени? Разве не могло быть в его доме, в его квартире вещей его детства или просто старых? И кто может ручаться за то, что эпоха восстановлена правильно; кто может ручаться за то, что правильно восстановлены индивидуальная манера расставлять вещи, домашний обиход, характер которого определяется множеством слагаемых?

Театральность проникает и в реставрации памятников архитектуры. Подлинность теряется среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить

этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлена в Новгороде Евфимиевская часозвоня: получился маленький храмик на столпе. Нечто совершенно чуждое Новгороду и XV веку.

Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени. Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому духу стиля – романскому или готическому, – пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически, и т. п. Так засушены и Кельнский собор, и Нотр-Дам в Париже, и аббатство Сен-Дени. Засушены, законсервированы были целые города в Германии – особенно в период идеализации немецкого прошлого.

Все это я пишу не зря. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть его истории. Не сохраняя в себе самом память прошлого, он губит часть своей личности. Отрывая себя от национальных, семейных и личных корней, он обрекает себя на преждевременное увядание. А если заболевают беспамятностью целые слои общества? Тогда это неизбежно сказывается и в нравственной области, на их отношениях к семье, детям, родителям и к труду, именно к труду и трудовым традициям.

Ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области – в селах Михайловском, Тригорском, Петровском – частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых-Вульф в Тригорском нет Тригорского. И восстановление этого дома, как и домов в Михайловском и Петровском, не уничтожает подлинности. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а не старые. В этом принципиальное различие между восстановлением старых домов в михайловских местах и омоложением парков в городе Пушкине, выполненным несколько лет назад. В пушкинских местах восстанавливали, в Пушкине вырубали…

В самом себе можно театрализовать ту или иную сторону. Можно носить бороду и поддевку а-ля рюсс, стричься в кружок, превратить в зрелище самого себя. Но возможно и другое отношение к своей национальности: ценить в себе подлинную связь со своим селом, городом и страной, сохранять и развивать в себе благую сторону, добрые национальные черты своего народа, развивать глубокую ментальность, чутье языка, знание истории, родного искусства и пр. Вся историческая жизнь своей страны, а

на более высоких ступенях – развитие и всего мира должны быть введены в круг духовности человека.

А при чем тут сад и парк, с которых я начал эту заметку? Да притом, что культура прошлого и настоящего – это тоже сад и парк. Недаром «золотой век», «золотое детство» человечества – средневековый «рай» – всегда ассоциировались с садом. Сад – это идеальная культура – культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым к ней человеком.

Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад: соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился, засадить Марсово поле и соединить его с Летним садом, протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр и там, где жила старуха-процентщица и Родион Раскольников, создать своего рода рай на земле. Для Достоевского было два полюса на земле – Петербург у Сенной и природа в духе пейзажа Клода Лоррена, изображающих «золотой век», – Лоррена, которого он очень любил за райскую идеальность изображаемой жизни.

Заметили ли вы, что самый светлый эпизод «Идиота» Достоевского – свидание князя Мышкина и Аглаи – совершается в Павловском парке утром? Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти. Именно для этого свидания нужен Достоевскому Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска.

Самый счастливый момент в жизни Обломова – его объяснение в любви – также совершается в саду.

В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой тоже происходит именно в «лорреновской» части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях оно только и могло совершиться.

Природа России и Пушкин

Клод Лоррен? А при чем тут, спросите, русский характер и русская природа?

Потерпите немного – и все нити сойдутся снова.

У нас примитивно представляют себе историю садово-паркового искусства: регулярный парк, пейзажный парк; второй тип парка резко сменяет собой первый где-то в 70-х годах. XVIII века в связи с идеями Руссо, а в допетровской Руси были якобы только утилитарные сады: выращивали в них плоды, овощи и ягоды. Вот и все! На самом же деле история садово-паркового искусства гораздо сложнее.

В «Слове о погибели Русской земли» XIII века в числе наиболее значительных красот, которыми была дивно удивлена Русь, упоминаются и монастырские сады. Монастырские сады на Руси в основном были такими же, как и на Западе. Они располагались внутри монастырской ограды и изображали собой земной «рай», эдем, а монастырская ограда – ограду райскую. В райском саду должны были быть и райские деревья – яблони или виноградные лозы (в разное время порода «райского дерева познания добра и зла» понималась по-разному), в них должно было быть все прекрасно для глаза, для слуха (пение птиц, журчание воды, эхо), для обоняния (запахи цветов и душистых трав), для вкуса (редкостные плоды). В них должно было быть изобилие всего и великое разнообразие, символизирующее разнообразие и богатство мира. Сады имели свою семантику, свое значение. Вне монастырей существовали священные рощи, частично сохранившиеся еще от языческих времен, но освященные и «христианизированные» каким-нибудь явлением в них иконы или другим церковным чудом.

Мы имеем очень мало сведений о русских садах до XVII века, но ясно одно – что «райские сады» были не только в монастырях, но и в княжеских загородных селах. Были сады в кремлях, у горожан при всей тесноте городской застройки.

В XVII веке под голландским влиянием появляются в России сады барочного типа.

Дело в том, что сады по своему характеру вовсе не разделяются только на сады регулярные и пейзажные. Это старый искусствоведческий миф, который сейчас, в общем, развеян многочисленными исследованиями искусствоведов. Садово-парковое искусство развивается в ногу с другими искусствами и особенно в связи с развитием поэзии. Есть сады ренессансные, сады барокко, сады рококо, сады классицизма, сады романтизма.

В пределах каждого великого стиля есть свои национальные особенности, а внутри национального стиля – почерк отдельных садоводов (Джон Эвелин писал в конце XVII века: «Каков садовод, таков и сад»). Есть, например, сады французского классицизма (Версальский сад, созданный Ленотром), есть сады голландского барокко.

Те многочисленные материалы о русских садах XVII века, которые опубликовал в XIX веке, но искусствоведчески не осмыслил историк И. Забелин, отчетливо свидетельствуют, что к нам в Москву с середины XVII века проник в садоводство стиль голландского барокко.

Сады в Московском кремле делались на разных уровнях, террасами, как того требовал голландский вкус, огораживались стенами, украшались беседками и теремами. В садах устраивались пруды в гигантских свинцовых ваннах, также на разных уровнях. В прудах плавали потешные флотилии, в ящиках разводились редкостные растения (в частности, астраханский виноград), в гигантских шелковых клетках пели соловьи и перепелки (пение последних ценилось наравне с соловьиным), росли там душистые травы и цветы, в частности излюбленные голландские тюльпаны (цена на луковицы которых особенно возросла именно в середине XVII века), пытались держать попугаев и т. д. и т. п.

Барочные сады Москвы отличались от ренессансных своим ироническим характером. Их, как и голландские сады, стремились обставлять живописными картинами с обманными перспективными видами (tromp l'oeil), местами для уединения и т. д. и т. п.

Все это впоследствии Петр стал устраивать и в Петербурге. Разве что прибавились в петровских садах скульптуры, которых в Москве боялись из «идеологических» соображений: их принимали за идолов. Да прибавились еще эрмитажи – разных типов и различного назначения.

Такие же иронические сады с уклоном к рококо стали строиться в Царском Селе. Перед садовым фасадом Екатерининского дворца был разбит Голландский сад, и это свое определение – голландский – сад сохранял еще в начале XX века (в Голландке назначались свидания). Это было не только название сада, но и определение его типа. Это был сад уединения и разнообразия, сад голландского барокко, а затем и рококо с его склонностью к веселой шутке и уединению, но не философскому, а любовному. Вскоре Голландский сад, сад рококо, был окружен обширным предромантическим парком, в котором «садовая идеология» вновь обрела серьезность, где значительная доля

принадлежала уже воспоминаниям – героическим, историческим и чисто личным, – где получила свое право на существование чувствительность (sensibility of gardens) и была реабилитирована изгнанная из садов барокко или пародированная в них серьезная медитативность.

Если мы обратимся от этого кратчайшего экскурса в область русского садово-паркового искусства к лицейской лирике Пушкина, то мы найдем в ней всю семантику садов рококо и периода предромантизма. Пушкин в своих лицейских стихах культивирует тему своего «иронического монашества» («Знай, Наталья! – я… монах!»), садового уединения – любовного и с товарищами. Лицей для Пушкина был своего рода монастырем, а его комната – кельей. Это чуть-чуть всерьез и чуть-чуть с оттенком иронии. Сам Пушкин в своих лицейских стихах выступает как нарушитель монашеского устава (пирушки и любовные утехи). Эти темы – дань рококо. Но есть и дань предромантическим паркам – его знаменитые стихи «Воспоминания в Царском Селе», где «воспоминания» – это памятники русским победам и где встречаются оссианические мотивы (скалы, мхи, «седые валы», которых на самом деле на Большом озере в Царском и не бывало).

Открытие русской природы произошло у Пушкина в Михайловском. Михайловское и Тригорское – это места, где Колумб русской поэзии Пушкин открыл русский простой пейзаж. Именно здесь пристали «поэтические каравеллы»[6] Пушкина. Вот почему Михайловское и Тригорское так же святы для каждого русского человека, как свято было для первых переселенцев в Америку то место берега, на которое впервые ступила нога Колумба и его испанских спутников. Хранить природу Михайловского и Тригорского мы должны со всеми деревьями, лесами, озерами и рекой Соротью с особым вниманием, ибо здесь, повторяю, совершилось поэтическое открытие русской природы.

Пушкин в своем поэтическом отношении к природе прошел путь от Голландского сада в стиле рококо и Екатерининского парка в стиле предромантизма до чисто русского ландшафта Михайловского и Тригорского, не окруженного никакими садовыми стенами и по-русски обжитого, ухоженного, «обласканного» псковичами со времен княгини Ольги, а то и раньше, то есть за целую тысячу лет. И не случайно, что именно в обстановке этой русской «исторической» природы (а история, как вы заметили уже из моих заметок, есть главное слагаемое русской природы) родились подлинно исторические произведения Пушкина – и прежде всего «Борис Годунов».

Хочу привести одну большую и исторически пространную

аналогию. Вблизи дворца всегда существовали более или менее обширные регулярные сады. Архитектура связывалась с природой через архитектурную же часть сада. Так было и во времена, когда пришла мода на романтические пейзажные сады. Так было при Павле и в дворянских усадьбах XIX века, в частности и в знаменитых подмосковных. Чем дальше от дворца, тем больше естественной природы. Даже в эпоху Ренессанса в Италии за пределами ренессансных архитектурных садов существовала природная часть владений хозяина для прогулок – природа римской Кампаньи. Чем длиннее становились маршруты человека для гуляний, чем дальше он уходил от своего дома, тем больше для него открывалась природа его страны, тем шире и ближе к дому – природная, пейзажная часть его парков. Пушкин открыл природу сперва в царскосельских парках вблизи дворца и лицея, но дальше он вышел за пределы «ухоженной природы». Из регулярного лицейского сада он перешел в его парковую часть, а затем в русскую деревню. Таков пейзажный маршрут пушкинской поэзии. От сада к парку и от парка к деревенской русской природе. Соответственно нарастало и национальное и социальное видение им природы (вспомним его стихи «Деревня» с их обличением «рабства тощего»).

Изменить что-либо в Михайловском и Тригорском, да и вообще в пушкинских местах бывшей Псковской губернии (новое слово «Псковщина» к этим местам не идет совсем) нельзя, так же как и во всяком дорогом нашему сердцу памятном предмете. Даже и драгоценная оправа здесь не годится, так как пушкинские места – это только центр той обширной части русской природы, которую зовем Россией.

Национальный идеал и национальная действительность

А как же с концепцией русского человека у Достоевского с его, русского человека, безудержностью, метаниями из одной крайности в другую, с его «интеллектуальной истерикой», бескомпромиссностью, нелегкой для себя и других, и т. д. и т. п.?

Но тут я отвечу вопросом на вопрос: а откуда вообще взято мнение, что такова концепция русского человека у Достоевского? Что там судят о русском человеке отдельные действующие лица его произведений? Так разве можно судить по действующим лицам, по их высказываниям о взглядах автора? Мы бы повторили ошибку многих философов, писавших о мировоззрении Достоевского и отождествлявших высказывания его героев с его собственными взглядами.

Русские люди вроде Мити Карамазова, конечно, были в русской действительности, но *идеалом* русского человека для Достоевского был Пушкин. Об этом он твердо и ясно заявил в своей знаменитой речи о Пушкине. Для Достоевского русский человек прежде всего «всеевропеец» – человек, для которого родная и близкая вся европейская культура. Следовательно, русский для Достоевского – человек высокого интеллекта, высоких духовных запросов, приемлющий все европейские культуры, всю историю Европы и вовсе внутренне не противоречивый и не такой уж загадочный.

Если для Достоевского идеалом русского был гений, и при этом такой гений, как Пушкин, так ведь это и понятно: самое ценное в народе – в его вершинах.

Сказать можно еще многое, многое еще надо обдумать, раскрыть. Идеал ведь вряд ли был один, одинаковый у всех. Для одних, кто меньше задумывался над судьбами и особенностями великого народа, типичный образец всего русского – это ухарь купец Никитина, для других – Стенька Разин (не реальный Степан Разин, а Стенька Разин из известной песни Д. Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень»), для третьих – это радищевский молодец из главы «София» его «Путешествия из Петербурга в Москву» и т. д. А я говорю – не надо забывать о русской природе и о человеке в природе: это крестьяне Венецианова, русские пейзажи Мартынова, и Васильева, и Левитана, и Нестерова, бабушка из «Обрыва», гневный и все ж таки добрый Аввакум, милый, умный и удачливый Иванушка-дурачок, а где-то на втором плане картин Нестерова его мерцающие вдали тонкие белые стволы берез… Все

вместе, всё вместе: природа и народ.

Мне кажется, следует различать национальный идеал и национальный характер. Идеал не всегда совпадает с действительностью, даже всегда не совпадает. Но национальный идеал тем не менее очень важен. Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу. А мерить культуру, ее высоту мы должны по ее высочайшим достижениям, ибо только вершины гор возвышаются над веками, создают горный хребет культуры.

Русские национальные черты в русских людях стремились найти и воплотить в своих творениях и Аввакум, и Петр I, и Радищев, и Пушкин, и Достоевский, и Некрасов, и Стасов, и Герцен, и Горький, и многие, многие другие. Находили – и все, кстати, по-разному. Это не умаляет значения их поисков. Потому не умаляет, что все эти писатели, художники, публицисты вели за собой людей, направляли их поступки. Вели иногда в различных направлениях, но *уводили* всегда от одного общего: от душевной узости и отсутствия широты, от мещанства, от «бескомпромиссной» погруженности в повседневные заботы, от скупости душевной и жадности материальной, от мелкой злости и личной мстительности, от национальной и националистической узости во всех ее проявлениях (но о последней потом).

Если национальный идеал был у нас всегда разнообразен и широк, то национальный антиидеал – то, от чего отталкивались писатели, художники, – всегда в той или иной мере устойчив.

И все-таки я буду говорить о национальном идеале, хоть он и менее определенен, чем антиидеал. Это для меня важнее, важнее еще и потому, что вдруг я найду единомышленников, а это так важно! Пусть со мной согласятся хоть двое-трое.

И прежде всего мне хочется говорить об идеале, которым жила Древняя Русь.

Чем ближе мы возвращаемся к Древней Руси и чем пристальнее начинаем смотреть на нее (не через окно, прорубленное Петром в Европу, а теперь, когда мы восприняли Европу как свою, оказавшуюся для нас «окном в Древнюю Русь», на которую мы глядим как чужие, извне), тем яснее для нас, что в Древней Руси существовала своеобразная и великая культура – культура глубокого озера Светлый Яр, как бы незримая, плохо понятая и плохо изученная, не поддающаяся измерению нашими европейскими мерами высоты культуры и не подчиняющаяся нашим шаблонным представлениям о том, какой должна быть настоящая культура.

В прошлом мы привыкли думать о культуре Древней Руси как об отсталой и «китайски замкнутой» в себе. Шутка ли:

приходилось «прорубать окно в Европу», чтобы мало-мальски придать русской культуре «приличный» вид, избавить русский народ от его «отсталости», «серости» и «невежества».

Если исходить из современных представлений о высоте культуры, признаки отсталости Древней Руси действительно были, но, как неожиданно обнаружилось в XX веке, они сочетались в Древней Руси с ценностями самого высокого порядка – в зодчестве, иконописи и стенописи, в декоративном искусстве, в шитье, а теперь стало еще яснее: и в древнерусской хоровой музыке, и в древнерусской литературе. А высокие трудовые традиции русского крестьянства – особенно северного и сибирского, не знавшего прикрепления к земле? А народное творчество – особенно исключительно богатый эпос и проникновенная лирика?

Не вернее ли думать, что те области, где эта отсталость замечается, просто менее характерны для культуры Древней Руси и не по ним следует о ней судить?

Для того чтобы яснее представить себе нравственные идеалы Древней Руси, большим подспорьем мог бы служить «Измарагд» – одно из любимейших и авторитетнейших чтений в Древней Руси, а впоследствии у старообрядцев. «Измарагд» был, несомненно, более распространен, чем «Домострой». В. П. Адрианова-Перетц тридцать лет назад исследовала нравственные идеалы Древней Руси по «Измарагду». Исследование это она почему-то не смогла напечатать.

Я не собираюсь ни повторять выводы этого исследования, ни занимать вас своими. Думаю вообще, что исследование нравственных идеалов Древней Руси должно было бы быть сделано на более широких материалах, чем текст одного «Измарагда». Эта работа не для одного поколения ученых. Но, предваряя выводы будущих исследований, отмечу только, что огромная роль в создании этих идеалов принадлежит литературе исихастов, идеям ухода от мира, самоотречения, удаления от житейских забот, помогавшим русскому народу переносить его лишения, смотреть на мир и действовать с любовью и добротой к людям, отвращаясь от всякого насилия. Именно эти идеи в сильно трансформированном виде заставили Аввакума сопротивляться насилию только словом и убеждением, а не вооруженной силой, идти на неслыханное мученичество, проявляя одновременно и удивительную твердость, и незлобивость. В Аввакуме и его писаниях поражает не только его нравственная стойкость, но способность подняться над самим собой, взглянуть с доброй и всепрощающей усмешкой на своих мучителей, которых он, отвлекаясь от ненавистных ему взглядов и действий, готов даже

пожалеть, зовет их «горюнами», «бедненькими», «дурачками». Аввакума иногда изображают мрачным фанатиком. Это глубоко неверно, он умел смеяться, с улыбкой смотреть на тщетные усилия своих мучителей. Он мягок и одновременно поразительно силен духовно.

В этих условиях, «в условиях» таких идеалов, у людей Древней Руси была удивительная любовь к миру при одновременном признании этого мира греховным, суетным, «мимотекущим» и злым.

Во всякой культуре есть идеал и есть его реализация: действительность, порождая некие идеалы, сама является одновременно попыткой их осуществления, очень часто их искажающей и обедняющей. Характеризуя и оценивая любую культуру, мы должны оценивать то и другое порознь. Это необходимо потому, что осуществление идеалов в действительности может оказаться в резком диссонансе с самими идеалами. Это расхождение может быть в степени их осуществления или даже в самом характере осуществления. Идеал и действительность могут оказаться при этом типологически различны, этически различны, различны эстетически. Они могут принадлежать, наконец, в одном народе различным географическим странам света: Востоку и Западу, Азии и Европе.

«Двойная жизнь» культуры также обычна, как двойственность человеческой личности, ибо национальная культура тоже личность.

Идеал – мощный регулятор жизни[7], но при всей мощности далеко не всесильный, а иногда направляющий культуру в сторону, отличную от той, в которую движет его исторический процесс со всеми его экономическими основами. Силы идеала, пробиваясь к своему осуществлению, встречаются с сопротивлением «культурной материи», которая может заставить большой парусный корабль культуры лечь в бейдевинд.

Именно такой случай мы имеем в культуре Древней Руси. Между идеалом культуры и действительностью оказался огромный разрыв. И не только потому, что идеал с самого начала был очень высок и становился все выше, не будучи накрепко привязан к действительности, но и потому, что реальность была порой чересчур низкой и жестокой. В древнерусском идеале была какая-то удивительная свобода от всякого рода претворений в жизнь. Это не значит, что этих претворений не было. Воплощались и высокие идеалы святости, и нравственная чистота.

Судить о народе мы должны по преимуществу, по тому

лучшему, что он воплощал или даже только стремится воплотить в жизнь, а не по худшему. Именно такая позиция самая плодотворная, самая миролюбивая и самая гуманистическая. Добрый человек замечает в других прежде всего хорошее, злой – дурное. Геолог ищет ценную породу…

А как все-таки быть с братьями Карамазовыми? Пушкин один, а их все же трое, и стоят они перед нами сплоченным рядом. Идеал должен быть один, а Карамазовы – характеры. Типичные для русских людей? – да, типичные. Это «законные» братья, но есть у них еще и четвертый братец, «незаконный»: Смердяков.

В «законных» Карамазовых смешаны разные черты: и хорошие, и плохие. А вот в Смердякове нет хороших черт. Есть только одна черта – черта чёрта. Он сливается с чертом. Они друг друга подменяют в кошмарах Ивана. А черт у каждого народа не то, что для народа характерно или типично, а как раз то, от чего народ отталкивается, открещивается, не признает. Смердяков не тип, а антипод русского.

Карамазовых в русской жизни много, но все-таки не они направляют курс корабля. Матросы важны, но еще важнее для капитана парусника румпель и звезда, на которую ориентируется идеал.

Было у русского народа не только хорошее, но и много дурного, и это дурное было больши́м, ибо и народ велик, но виноват в этом дурном был не всегда сам народ, а смердяковы, принимавшие обличье государственных деятелей: то Аракчеева, то Победоносцева, то других… Не случайно так много русских людей уходило на север – в леса, на юг – в казаки, на восток – в далекую Сибирь. Искали счастливое Беловодское царство, искали страну без урядников и квартальных надзирателей, без генералов, посылавших их отнимать чужие земли у таких же крестьян, как и они сами. Но оставались все же в армии Тушины, Коновницыны и Платоны Каратаевы: это когда войны были оборонительные или освобождать приходилось «братушек» – болгар и сербов.

«Братушки» – слово это придумал народ, и придумал хорошо.

Следовательно, меньше было в русском народе национального эгоизма, чем национальной широты и открытости.

Что делать! – каждый предмет отбрасывает в солнечный день тень, и каждой доброй черте народа противостоит своя недобрая.

Патриотизм против национализма

Существуют совершенно неправильные представления о том, что, подчеркивая национальные особенности, пытаясь определить национальный характер, мы способствуем разъединению народов, потакаем шовинистическим инстинктам.

Великий русский историк С. М. Соловьев в начале седьмой книги своей «Истории России с древнейших времен» писал: «Неприятное восхваление своей национальности… не может увлечь русских…» Это совершенно верно. Восхвалением самих себя *по-настоящему русские* никогда не «хворали». Напротив, русские очень часто, а особенно в XIX и начале XX века, были склонны к самоуничижению – преувеличивали отсталость своей культуры.

Русские хоть и не всегда, но по большей части жили в мире с соседними народами. Мы можем отметить это уже для древнейших веков существования Руси. Мирное соседство русских и карельских деревень на севере в течение тысячелетия – факт очень показательный. Соседство с русскими мери, веси, ижоры и т. д. не было окрашено кровопролитиями. В Киеве был Чудин двор – какого-то знатного представителя чуди (будущих эстонцев). В Новгороде была Чудинцева улица. Там же в недавние годы найден древнейший памятник финского языка – финская берестяная грамота, лежавшая рядом с написанными по-русски. Несмотря на все войны со степью, иные из которых носили отнюдь не национальный, а сугубо феодальный характер, русские князья женились на знатных половчанках. Не было, значит, расовой отчужденности. Да и вся история русской культуры показывает ее преимущественно открытый характер, восприимчивость и в массе своей отсутствие национальной спеси. О том же писал и Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков…»: «Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, истине… С какой, например, силой эта способность осуждения, самобичевания проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем положительная литература времен очаковских и покорений Крыма.

И неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни…

Сила самоосуждения прежде всего – сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни – предполагает страстную тоску о здоровье»[8].

Это свойство русской литературы находить какие-то дурные стороны во временном бытии нации, в злободневности, в том, что свойственно только сегодняшнему дню и может быть в будущем преодолено, характерно, конечно, не только для Гоголя и Щедрина. Прежде всего оно свойственно самому Достоевскому, а затем – длинному ряду писателей-революционеров: Радищеву, поэтам-декабристам, революционным демократам и т. д. и т. д. И это свойство стоит рядом с умением замечать лучшее у других народов. Это тоже черта очень ценная, если только, конечно, она не переходит в самоохаивание, в злорадство и злопыхательство по поводу своих же собственных недостатков.

Сразу по взятии Казани в середине XVI века составляется «История Казанского взятия», где рассказывается и о храбрости татарских защитников Казани, и с сочувствием передается плач казанской царицы Сююмбеки о потере Казанью своей независимости. Это поразительное произведение… Но вот, как будто бы с другого конца, я занялся восхвалением своей национальности? Но нет, ведь то же самое свойство открытости и миролюбия отличало и финские племена, жившие в соседстве с русскими. Эта открытость – черта определенного, донационального, существования народов. Однако на Руси эта черта пережила все временны́е границы, она утвердилась идеологически, стала сознательным и определенным принципом в жизни лучшей части русской литературы и исторической мысли. Принципы эти были унаследованы восточнославянскими народами у болгар. Кирилл (или Мефодий) говорил в своем споре с триязычниками (сторонниками богослужебной практики только на трех языках – греческом, еврейском и латинском) в Венеции: «Разве не идет дождь для всех равно? Разве не для всех сияет солнце? Не дышим ли мы все единым воздухом?»

Этой мысли вторит в середине XI века русский митрополит Иларион в своем замечательном «Слове о Законе и Благодати», где говорится о том, что все народы равноправны и все совершают общее дело для человечества.

Национальные особенности – достоверный факт. Не существует только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некоторой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих национальных и общенациональных черт. Отрицать наличие

национального характера, национальной индивидуальности – значит делать мир народов очень скучным и серым.

В самом деле, представьте себе, что вы путешествуете в вагоне и видите из окна один и тот же пейзаж. Скучно! Пропадает интерес к путешествию, и исчезает любовь к стране, по которой вы проезжаете. Ребенок не полюбит куклу, если он будет знать, что все куклы совершенно одинаковы и их множество. Надо в своей кукле найти индивидуальные особенности, отличающие ее от других кукол, и надо назвать ее своим именем. Имя как признак индивидуальности, неповторимости играет огромную роль в привязанности к чему бы то ни было и к кому бы то ни было. Если нет индивидуальных особенностей, отличающих одну местность от другой, одно село от другого, один город от другого и ваш собственный дом от соседних, – вся страна превращается в пустыню, скучную, неинтересную, а люди в ней – в людей, лишенных любви к родным местам.

Именно индивидуальные особенности народов связывают их друг с другом, заставляют нас любить народ, к которому мы даже не принадлежим, но с которым столкнула нас судьба. Следовательно, выявление национальных особенностей характера, знание их, размышления над историческими обстоятельствами, способствовавшими их созданию, помогают нам понять другие народы. Размышление над этими национальными особенностями имеет общественное значение. Оно очень важно.

Со времени, когда и жил и работал Достоевский, утекло немало воды – не той воды, что живит и растит, а той «мертвой воды», которая часто являет собой форму пустословия и не дает дышать мысли. Однако эта мертвая вода пустословия не коснулась многих мыслей Достоевского. Они остались в высшей степени современны.

Вот, например, что писал Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков (по поводу «Дня» и кой-чего другого)»: «Говоря, впрочем, о национальности, мы не разумеем под нею ту национальную исключительность, которая весьма часто противоречит интересам всего человечества. Нет, мы разумеем тут истинную национальность, которая всегда действует в интересе всех народов. Судьба распределила между ними задачи: развить ту или другую сторону общего человека… только тогда человечество и совершит полный цикл своего развития, когда каждый народ, применительно к условиям своего матерьяльного состояния, исполнит свою задачу. Резких различий в народных задачах нет, потому что в основе каждой народности лежит один общий человеческий идеал, только оттененный местными

красками. Потому между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко и народы ищут своей славы только в пустом первенстве пред своими соседями. Разные народы, разрабатывающие общечеловеческие задачи, можно сравнить со специалистами науки; каждый из них специально занимается своим предметом, к которому, предпочтительно пред другими, чувствует особенную охоту. Но ведь все они имеют в виду одну общую науку. И отчего наука всего более идет в широту и глубь, как не от специализации ее предметов и частной разработки их отдельными личностями?»[9]

Осознанная любовь к своему народу не соединима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою семью, скорее будешь любить другие народы и другие семьи и людей. В каждом человеке существует общая настроенность на ненависть или на любовь, на отъединение себя от других или на признание чужого – не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом, – неотделимая от умения заметить это лучшее. Поэтому ненависть к другим народам (шовинизм) рано или поздно переходит и на часть своего народа – хотя бы на тех, кто не признает национализма. Если доминирует в человеке общая настроенность к восприятию чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясному осознанию ценности своей собственной. Поэтому в высших, осознанных своих проявлениях национальность всегда миролюбива, *активно* миролюбива, а не просто безразлична к другим национальностям.

Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. Заражаются национализмом по большей части слабые народы, пытающиеся сохранить себя с помощью националистических чувств и идеологии. Но великий народ, народ со своей большой культурой, со своими национальными традициями, *обязан* быть добрым, особенно если с ним соединена судьба малого народа. Великий народ *должен* помогать малому сохранить себя, свой язык, свою культуру.

Необязательно сильный народ многочислен, а слабый малочислен. Дело не в числе людей, принадлежащих к данному народу, а в уверенности и стойкости его национальных традиций.

Лет пятнадцать назад, еще до образования Общества охраны памятников культуры и истории, я встретился с тремя милыми и думающими молодыми людьми, которые, как и я, были обеспокоены тем небрежением, в котором находились, особенно тогда, памятники культуры. Вместе мы перечисляли, чту мы теряем и чту можем еще потерять, вместе были обеспокоены,

делились своей тревогой о будущем. Я стал говорить о том, что мы недостаточно заботимся о памятниках малых народов: ижора ведь исчезают бесследно. И вдруг мои молодые люди насупились: «Нет, мы будем заботиться только о русских памятниках». – «Почему?» – «Мы русские». – «Но разве не долг России помогать тем народам, которые волею истории связали свою судьбу с судьбой России?»

Мои мальчики быстро согласились со мной. «Вы поймите, – говорил я, – делать доброе гораздо отраднее, чем плохое. Приятно делать подарки. В покровительстве другим, в добром отношении к ним есть сознание силы, уверенность в себе и есть настоящая мощь». Лица мальчиков просветлели. Точно груз спал с их плеч.

Я говорил, между прочим, и о том, как много ценного для мировой культуры дают народы Поволжья. Поволжья – поймите это! – то есть народов, живущих по великой *русской* реке Волге. А разве Волга не река и других народов – татар, мордвы, марийцев и пр.? Далеко ли от нее до народа коми или башкир? Сколько мы, русские, получили культурных ценностей от других народов именно потому, что сами давали им много! А культура – это как неразменный рубль: расплачиваешься этим рублем, а он все у тебя в кармане и даже, глядишь, денег становится больше.

Какие крупные русские ученые изучали языки Средней Азии, Сибири, Кавказа! Сколько у нас было выдающихся востоковедов и как выросла сама русская филология благодаря изучению культур народов Востока, какой авторитет завоевала во всем мире…

А искусствоведение, историческая наука, фольклористика, литературоведение, да и многое другое? Русская наука не проиграла, оттого что русские ученые принимали участие в организации национальных научных центров в нашей стране, национальных высших учебных заведений. Она обогатилась и продолжает обогащаться изучением идей, возвращающихся к нам в Россию обогащенными из Еревана, Тарту, Ташкента, Алма-Аты, Тбилиси, Баку, Киева, Минска, Петрозаводска, Вильнюса, Риги…

Вряд ли в этом беспорядочном перечислении научных центров я упомянул всех и вся. Дело не в полноте перечисления, а в полноте осознания той роли, которую играет национальный обмен научным опытом между народами.

Истинный патриотизм в том, чтобы обогащать других, обогащаясь сам духовно. Национализм же, отгораживаясь стеной от других культур, губит свою собственную культуру, иссушает ее.

Культура *должна* быть открытой.

Несмотря на все уроки XX века, мы не научились по-

настоящему различать патриотизм и национализм. Зло маскируется под добро.

Патриотизм – это благороднейшее из чувств. Это даже не чувство – это важнейшая сторона и личной, и общественной культуры духа, когда человек и весь народ как бы поднимаются над самими собой, ставят себе сверхличные цели.

Национализм же – это самое тяжелое из несчастий человеческого рода. Как и всякое зло, оно скрывается, живет во тьме и только делает вид, что порождено любовью к своей стране. А порождено оно на самом деле злобой, ненавистью к другим народам и к той части своего собственного народа, которая не разделяет националистических взглядов.

Национализм порождает неуверенность в самом себе, слабость, и сам, в свою очередь, порожден этим же.

В тех слоях русского общества, которые всегда были связаны с русской национальной культурой, – в крестьянстве, в интеллигенции и у потомственных рабочих (подчеркиваю: именно трудовые традиции делают людей подлинно интеллигентными, и нельзя путать интеллигенцию с ее прямой противоположностью – полуинтеллигенцией) – меньше всего национализма.

Читатели мне подсказывают: «Хорошо известны факты из сравнительно недавней истории XVII века, когда русский землепроходец Е. П. Хабаров, обосновавшись вблизи места впадения реки Киренги в Лену, организовал там бурение на соль и научил местные народности пользоваться солью, избавил их от мучительной операции, необходимой из-за отсутствия соли, – подвергать себя периодически обкусыванию муравьями[10].

Миссия Баранова на Аляске тоже была дружественной (начало XIX века). Русские организовали самые хорошие отношения с аборигенами Аляски. Когда русские ушли – многое изменилось».

Но те же авторы письма возражают мне по поводу «пацифизма русского характера». Но, во-первых, я вовсе не утверждаю, что русский характер – это характер пацифиста. И слова-то такого я не употребляю. Примеры, приводимые читателями, вовсе не идут к делу: «войны донских казаков в XVII веке», «войны Петра I за низовья Невы», «среднеазиатский поход Скобелева». Нельзя делать народ ответственным за действия властителей – испанцев за инквизицию и жестокий захват Перу и Мексики, французов за Варфоломеевскую ночь, русский народ за жестокости Грозного, за подавление восстания Пугачева Суворовым… Да и примеры, приводимые авторами письма, не совсем верны. Донские казаки отстаивали Азов от турок и именно

в этом просили поддержки московского правительства. Низовья Невы с X века и по Столбовский мир в начале XVII века принадлежали Руси. Скобелев со своими войсками выполнял свой воинский долг не против среднеазиатских народов, а против соперничества Великобритании в этом районе – соперничества очень в тот момент опасного для России. Конечно, примеры жестокого отношения царизма к другим народам могли бы быть приведены другие, но разве не страдал сам русский народ, и в первую очередь именно русский, от жестокости своего правительства?

Русская история в прошлом – это история бесконечных испытаний, несмотря на которые народ сохранял и достоинство, и доброту.

Будем любить свой народ, свой город, свою природу, свое село, свою семью.

Если в семье все благополучно, то и в быту к такой семье тянутся другие семьи – навещают, участвуют в семейных праздниках. Благополучные семьи живут социально, гостеприимно, радушно, живут вместе. Это сильные семьи, крепкие семьи.

Так и в жизни народов. Народы, в которых патриотизм не подменяется национальным «приобретательством», жадностью и человеконенавистничеством национализма, живут в дружбе и мире со всеми народами.

Можно только радоваться, живя в стране, где встречаются и сходятся самые различные народы – различные по обычаям, культурным традициям и национальному характеру.

Как ученый, я занимаюсь древней русской литературой, то есть именно тем периодом русской литературы, в котором ее русскость была выражена с наибольшей отчетливостью. И вот что достойно внимания: в древней русской литературе наряду с русскими писателями выступали болгары (Киприан, Григорий Цамблак), сербы (Пахомий Логофет, Аникита Лев Филолог), греки (Максим Грек и многие другие), хорваты (Юрий Крижанич), поляки (Андрей Белобоцкий), мордвины (по-видимому, «протопоп богатырь» Аввакум и его недооцененный противник – патриарх Никон), белорусы, украинцы (их много в XVII веке, их не перечислишь)… Все они включались в созидательный процесс развития русской литературы.

Мы все граждане своего народа, граждане нашего великого Союза и граждане всего земного шара. Пусть это не звучит напыщенно. Это сказано мною от всего сердца, а то, что сказано от сердца, не может быть пустой фразой.

О национализме, основанном на ненависти к другим

народам, и о патриотизме, основанном на любви к своему, хочется сказать словами одной грузинской песни:

То, что ненависть разрушит,
То любовь восстановит…

Величие Киева[11]

Когда князь Олег, прозванный Вещим, сел в Киеве на княжение, он сказал, как пишет летописец: «Се буди мати градом русьским». Этим он утвердил значение Киева как столицы всей Русской земли – от Ладоги и Новгорода на севере и Полоцка на северо-востоке до Тмуторокани на Черном море, от Карпат на западе до Волги на востоке.

«Мать городов» – это именно «столица», метрополия. Но «мать городов русьских» имеет и другое значение, специфически древнерусское[12]: Киев *породил* многие города, основанные киевскими князьями и частично названные в честь этих князей, – Владимир-на-Клязьме, названный по имени Владимира Святославича, и Владимир-Волынский – в его же честь, Ярославль на Волге – в честь Ярослава Мудрого. А затем – Изяславль, Всеволож, Глебль, Кснятин, Василев, два Юрьева (один на Чудском озере, другой во Владимирской земле) и пр., и пр. Одной из княжеских забот было основание городов – как укрепленных пунктов и административных центров. Укрепленную полосу городов строил против степи на юге от Киева уже Владимир I Святославич. И сам он, и его преемники строили также города на северо-востоке и на юго-западе Русской земли. Насколько быстро и интенсивно шло строительство городов, можно судить по следующим цифрам, приведенным в свое время академиком М. Н. Тихомировым: для IX–X веков летописи упоминают 24 русских города, в XI веке упомянуто уже 88 городов, в XII веке летописи называют еще 119 новых городов, а в XIII веке до Батыева нашествия, то есть за одну только треть века, еще 32 новых города.

Несмотря на постоянно возникавшие с XI века попытки к политическому обособлению отдельных княжеств, несмотря ни на что, Русская земля на всем своем огромном пространстве никогда полностью не утрачивала своего единства вплоть до Батыева нашествия и установления ордынского ига.

Единство *Русьской* земли крепилось разными путями. *Русьская* земля находилась в политической власти единого княжеского рода. И хотя князья враждовали, но не сидели только на одном княжеском столе – переходили из княжества в княжество, стремясь занять более высокое место, чтобы в конце концов

попытаться достигнуть золотого киевского стола. Следовательно, *Русьская* земля была для них единой. Единой она была и для русьской церкви с Киевом во главе. Киево-Печерская обитель была такой же «матерью» *русьских* монастырей, как и сам Киев – *русьских* городов. Монахи Киево-Печерского монастыря становились епископами в древнерусских епископиях – в Новгороде и Владимире, Галиче и Переяславле, основывали монастыри и закладывали церкви.

Другой важной и действенной силой, сохранявшей единство *Русьской* земли на всем ее огромном пространстве, был язык и фольклор. Различия в разговорном языке в отдельных областях были сравнительно незначительными. Язык повсюду был в сущности единый, и то же следует сказать о фольклоре – особенно об эпосе. Не случайно, что былины о киевских богатырях в XVIII и XIX веках, то есть спустя более полутысячелетия, сохранялись лучше всего на севере России: туда эти былины проникли уже в очень раннее время, там продолжали развиваться, там были памятью о далеких временах единства восточного славянства. И Киев при этом сохранял во всех них название и значение «стольного города» – столицы Руси. В народном, фольклорном сознании Киев был столицей всей Древней Руси – на всем ее пространстве, а не одной только Украины, в этом величие Киева, его огромнейшая культурно-историческая и политическая заслуга.

В образовании древнерусской (восточнославянской) народности языковое единство также имело совершенно исключительное значение. Разные факторы образуют народность, но среди этих разных факторов отдельные играют то большую, то меньшую роль. Для древнерусской народности язык играл первую роль; и не случайно в древнерусском языке одно из значений слова «язык» было именно «народ».

Сравнение с Византией может продемонстрировать мою мысль. Византия была многоязычным государством, и когда под ударами турок Византийское государство пало, оно уже не смогло возродиться. Иначе было с Древней Русью. Батыево нашествие не смогло разрушить народного единства и народного самосознания Древней Руси, Древняя Русь возродилась, но появившиеся языковые различия отметили собой образование двух наций, а впоследствии – трех (имею в виду Белоруссию). Но при этом сохранившаяся близость языков объединяла все три народа и продолжает объединять их до сих пор.

Еще одной силой, помогавшей культурному сплочению всех княжеств и областей *Русьской* земли, была литература. Даже в большей степени, чем разговорный язык, един был язык

литературный. По происхождению своему это был язык староболгарский, постоянно впитывавший в себя элементы русского языка, не сильно от него отличавшегося. Литературный язык никак не различался по областям, ибо литературные произведения, в какой бы части *Русьской* земли ни были они созданы, постоянно перевозились из города в город, из монастыря в монастырь, из княжества в княжество. Литература была единой не только потому, что литературные произведения широко распространялись по всему пространству *Русьской* земли, но и потому, что они создавались очень часто не совсем обычным для нового времени путем. Так, например, из переписки двух монахов – одного, жившего в Киеве в Киево-Печерском монастыре, а другого – на северо-востоке – во Владимире на реке Клязьме, возник замечательный памятник литературы XII века – Киево-Печерский патерик. Обычный путь, который проходили при своем создании летописные своды, – это путь соединения в одном произведении записей, делавшихся в различных городах и монастырях *Русьской* земли, часто очень отдаленных друг от друга. Так, записи, сделанные в Новгороде, на севере, присоединялись к записям, составленным в Киеве. Киевские записи и целые большие исторические произведения включались в летописи во Владимире-на-Клязьме. Уже в XI веке в киевские летописные своды входили записи о событиях в Тмуторокани на Черном море, несомненно сделанные именно там – с точным указанием дат событий. Мы могли бы привести множество примеров того, каким интенсивным литературным обменом жила *Русьская* земля и какое огромное значение в Киевской Руси имел обмен посланиями, письмами, летописными сочинениями, произведениями проповеднической литературы между самыми отдаленными географическими точками. Литература покоряла пространство самой крупной равнины мира. Словно и не было многодневных и многонедельных переездов, трудных путей сообщения, частой и продолжительной непогоды весной и осенью, прекращавшей полностью связи между отдельными княжествами и отрезавшей от Киева города, селения и монастыри. В этом литературном общении центром связей все время оставался Киев. Это была столица древнерусской литературы.

Но самой замечательной особенностью литературы было то сознание национального, политического и культурного единства, которое было свойственно всем произведениям Киевской Руси без исключения. Наиболее знаменитыми памятниками в этом отношении являются «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, Киево-Печерский патерик и «Слово о полку

Игореве». Рядом с этими памятниками были десятки других, в которых сознание исторического единства и необходимости политического и оборонного единения было чрезвычайно выраженным, как, например, произведение того же XII века, что и «Слово о полку Игореве», – «Слово о князьях». Не было ни одного литературного произведения, которое проповедовало бы раздробленность, обособление княжеств. Если один князь выступал против другого, это оправдывалось борьбой за единство. Борьба за разъединение Руси не могла быть популярной.

И особенно, о чем следует сказать, подчеркивая единство самой большой страны в Европе XI – начала XIII века, – это единство ее искусства. Искусство было едва ли не самой важной составной частью древнерусской культуры. Киев, как и во всем, был в этой области столицей, центром, законодателем и огромным университетом. Его роль была не столь интенсивной, но все же очень сходной с ролью Константинополя в искусстве Византийской империи. Различие с Константинополем состояло в том, что к XII веку Киев перестал быть самым могучим на Руси военным центром. Во второй половине XII века военное могущество Киева пало очень низко, однако духовная, культурная власть его над страной оставалась по-прежнему необыкновенно сильной. Не случайно каждый из русских князей, где бы он ни княжил, мечтал со временем достигнуть золотого киевского стола. Сюда устремляли свои взоры и князья Чернигова, и князья Смоленска, и князья Владимира-на-Клязьме, и князья Галицко-Волынской земли. Многие приходили сюда и, как это ни парадоксально, подвергали иногда Киев страшному разорению, ревнуя к киевской славе и его духовному владычеству над *Русьской* землей, стремясь унести какую-то часть этой славы в свой княжой город, увозя с собой святыни и произведения искусства. В 1200 году особенно сильному разорению подверг Киев Рюрик Ростиславич. Но Киев оставался Киевом до самого его захвата ордами Батыя. Он возрождался вновь и вновь из всех разорений и никогда не терял своей славы центра *Русьской* земли.

Конечно, в искусстве местные особенности сказывались значительно больше, чем в литературе или в других областях культуры. Объяснялось это тем, что строители зависели от местных материалов и от местных мастеров. От местных материалов зависели и художники, для которых красками служили не только привозные материалы, но и местные – особенно когда приходилось расписывать огромные стены храмов. Некоторые производства нельзя было организовать на месте. Поэтому мозаики существовали только в Киеве. Их не было ни в новгородских, ни в псковских, ни во владимирских храмах.

Но тем не менее артели строителей, художников, различных ремесленников переезжали из княжества в княжество, и этот «кочевой» характер артелей мастеров, как и «кочевой» характер средневековой интеллигенции вообще, крепил единство культуры Киевской Руси.

Наконец, скажем несколько слов о том, что особенно могущественно идейно и эмоционально объединяло русскую культуру XI–XIII веков во всех ее различных областях и отраслях. Вся *русьская* культура XI–XIII веков была во власти единого стиля – стиля динамического монументализма. Мы можем называть это явление своеобразной *стилистической формацией*[13], которой подчинялось все искусство, вся литература, вся политическая, богословская и философская мысль, весь «стиль жизни». Корни этой мощной стилистической формации были в Византии и Болгарии – двух странах, откуда Киевская Русь получила свою духовную культуру и успешно ее развила, придав ей своеобразные черты.

Главная черта эстетической формации динамического монументализма состояла в тяготении к мышлению широкими масштабами, в попытках разрешения основных проблем бытия, в стремлении к осмыслению исторического существования *Русьского* государства, в стремлении к преодолению больших пространств, к передвижению больших масс, в ощущении красоты тяжести и красоты преодоления этой тяжести, в значительности и «вечности» образов, в том, что можно назвать «ландшафтным зрением» в литературе и взглядом как бы «из вечности» в живописи, в том, что утверждало храмы как своеобразные маяки, светящиеся в огромных пространствах и осваивающие эти пространства своими массивными формами.

Динамический монументализм сказался и в значительнейшем из «слов» XI века – в «Слове о Законе и Благодати», в котором делалась глубокая попытка осмыслить историческое существование Руси, и в грандиозном историческом произведении рубежа XI–XII веков – «Повести временных лет», где русская история была вставлена в оправу всемирной истории и выяснялся вопрос, как и откуда пошла Русская земля. В XII веке динамический монументализм проявляется в «Слове о полку Игореве», где действие разворачивается на всем пространстве Руси – от Новгорода и до Черного моря, от Галича и Полоцка и до Волги. Тот же динамический монументализм отчетливо виден в сочинениях киевского князя Владимира Мономаха, в проповедях Кирилла Туровского, Серапиона Владимирского, в многочисленных летописях и т. д. и т. п.

В искусстве динамический монументализм особенно ярко

сказался, разумеется, в идейном центре Руси – Киеве. Монументальны образы его храмов, образы городов, основанных киевскими князьями, всегда поставленных на крутом берегу рек над заливными лугами противоположного берега, с вереницей храмов, видных издалека всем подъезжающим по реке. Монументальностью охватывается вся страна, где города строились как своеобразные «подворья» Киева, воспроизводили Киев в своем внешнем облике, в посвящениях своих храмов Успению (по главной святыне Киево-Печерского монастыря, откуда Успенские храмы распространились по многим городам Руси – во Владимире, Ростове, Суздале, Смоленске и т. д.), в названиях ворот (как, например, во Владимире, где так же, как и в Киеве, были выстроены Золотые ворота и Медные).

Важно отметить, что отдельные линии княжеского рода стремились иметь в Киеве «свои» храмы (так, например, Кирилловская церковь XII века на Киевском Подоле была родовой церковью Ольговичей).

Широкое ви́дение, свойственное искусству XI–XIII веков, Киевской Руси в целом, объединяло Древнюю Русь вокруг Киева и делало искусство и литературу важным фактором сохранения единства Руси.

Люди Киевской Руси мыслили широкими масштабами, глобальными проблемами *своего* существования и существования своей *страны,* ощущали себя частицами огромной вселенной, ориентируя свои храмы и жилища по странам света, вставая «до света», чтобы не пропустить восход солнца (как этого требовал Владимир Мономах в своем «Поучении»), воспроизводя в своих храмах, в их внутреннем устройстве всю вселенную, всю мировую историю в ее тогдашнем понимании.

В одном из своих поучений знаменитый киевский проповедник Феодосий Печерский высказывает своеобразный взгляд на произведения искусства. Он утверждает, что они созданы не столько человеком – художником, зодчим, – сколько *для* человека, *во имя* человека, *во славу* человека.

Феодосий Печерский говорит: входя в храм и поклонившись трижды до земли, следует со страхом безмолвно стать «при стене», «гласы немолчны воспевающи к Всевышнему», ибо не имеющие себе подпоры стены и столпы храмов «*нам* суть на честь сотворены».

«На честь» человеку созданы, конечно, не только стены храмов, но и все изображенное на них и все украшающее их – иконы и паникадила, утварь храма и его роскошные мозаичные полы. Отсюда – высокое представление о человеке, о его достоинстве, несуетном уме, высокой мудрости и щедрой

доброте. Эти представления воплощены в образах людей на мозаиках, фресках и иконах – в их лицах, как бы озаренных внутренним светом «горнего ума», «ликования», означавшего в Древней Руси не только изображение ликов, но и торжествование, радование, а также хоровое пение. Почему именно хоровое? Потому, очевидно, что самым важным в существе ликов была их соборность и «собранность» в единое сообщество, их причастность к единому, составляющему мир целому.

Лицо человека, согласно «Поучению» Владимира Мономаха, – это самое большое чудо во всей вселенной, ибо в мире нет двух одинаковых лиц: «И этому чуду подивимся, – пишет киевский князь Владимир Мономах, – как из земли созданный человек имеет столь разнообразные лица. Если и всех людей собрать, то не все они на одно лицо, но каждый имеет свое обличье, по Божьей мудрости».

Удивление перед человеческим лицом – «ликом» пронизывает собой все искусство Киевской Руси. Человек – это микрокосм, а храм – это своего рода человек. Не случайно поэтому основные части храма названы по подобию человека: окна – это очи человека (корень «окна» – око), купол – глава, поставлена эта глава храма на шее, основание храма – его подошва. А выступы в городских стенах – перси. Защитные от дождя выступы над окнами-очами – бровки. Двери домов и крепостей – их уста.

Тот же ликоподобный и человекоподобный облик имеет и мир. Солнце на миниатюрах изображается с ликом – лицом. Звезды в целом составляют лик – единое лицо и целый хор: небо венчает «лик звездный». Лик и множествен, и един одновременно: это и неповторимый облик человеческого лица, и вся их совокупность – лик монашеский, лик святых, лик поющих в церкви, лик и отдельных изображений, и всей совокупности изображенного на стенах церкви мозаикой и фресками, икон и самих предстоящих перед ними. «Ликом», своеобразным хором была и вся совокупность ***русьских*** городов с Киевом как их духовной столицей.

Вот почему искусство Киевской Руси одновременно и глубоко лично, и соборно. Каждый художник ощущал себя как бы выполняющим некоторую чужую, высшую волю, и имена художников поэтому в основном затерялись, хотя имена заказчиков храмов, жертвователей, ктиторов и сохранились до нас. Но, не чувствуя себя инициатором-творцом, каждый художник стремился тем не менее воплотить в своих творениях нечто неповторимое, индивидуальное, показать зрителям первое диво дивной и удивительной вселенной – разнообразие и красоту человеческих лиц.

Мы сказали – «красоту», но в чем состояла эта красота? К какому бы сословию Древней Руси или предшествующих веков мировой истории ни принадлежал изображенный, основным идеалом Древней Руси был идеал воинский. Это кажется удивительным, ибо изображения до нас дошли в основном церковные и изображенные на фресках, мозаиках и иконах и принадлежат главным образом к членам церкви (монахи или церковные иерархи). Но с кем сравниваются церковные деятели в сочинениях своего времени? Прежде всего с воинами. Христианские подвижники – это «воины Христовы», а потому в лицах их ярче всего отражено мужество и чувство чести, воинской чести, воинской осторожности и мудрости. Каждый праведник – это воин, совершающий подвиги. Книги для него все равно что оружие для воина: «Красота воину оружие и кораблю ветрила, тако и праведнику – почитание книжное»[14]. Вот отчего и праведники на изображениях, если они не воины, имеющие в руках оружие, стоят по большей части с книгами или свитками, как с мечами и щитами, а лица их преисполнены мудрости и мужественного спокойствия.

Объясняя идеал праведника, древнерусский книжник писал: «Любит князь воина, стоящего и борющегося с врагами, иногда получающего раны, иногда же наносящего раны противнику, – больше, чем убегающего и оружие бросающего. Так и Бог сочувствует тому, что „страдает“ (трудится. – *Д. Л.*) за правду, не слабеет и борется с врагами, не заботясь о себе»[15].

Воинский идеал не означал особой воинственности древних русичей: в воине привлекало к себе чувство собственного достоинства, готовность к самопожертвованию и чувство чести. Вот почему в древнейшем законодательстве Руси, в «Русской Правде» за удар мечом плашмя в драке полагалось большее наказание, чем за удар острием: он был более оскорбителен, ибо он как бы означал, что противник не считался равным.

Хотя идеалом святого был в той или иной степени воин, это не значит, что лики изображаемых на иконах, фресках и мозаиках однообразны. «Разнообразие человеческих лиц», отмеченное Владимиром Мономахом в его «Поучении», остается самым примечательным феноменом окружающего мира для любого древнерусского художника. И хотя художники стремятся изобразить людей, как бы познавших тайну мира, а потому мудрых, их мудрость необычайно разнообразна. Среди ликов Древней Руси есть лики мудрые страданием, мудрые знанием и книжной мудростью, мудрые мужеством и мудрые силой, мудрые жизненным опытом и мудрые дерзостью юности, мудрые смирением и мудрые пониманием других людей, мудрые

предвидением будущего, мудрые добротой и мудрые просто мудростью. Нет не только двух схожих лиц, но нет и схожих человеческих индивидуальностей. Представления историков, вообразивших себе Средние века временем подавления личности, – не более чем миф, развившийся на почве самоуверенности людей Нового времени.

В истории культуры каждая стилистическая формация не была просто эстетическим явлением, результатом сформировавшихся новых вкусов, просто эстетических представлений и настроений. Эстетическая формация отвечала *нуждам* общества, нуждам народа, нации, историческим потребностям.

Эстетическая формация, которая была характерна для эпохи Киевской земли, в высшей степени точно отвечала нуждам сохранения единства народа, рассеянного по колоссальной территории, она служила целям объединения, умению видеть в малом большое и в большом единое. Эта эстетическая формация динамического монументализма создала идеал людей и человеческой деятельности, который лучше всего соответствовал потребностям обширнейшей страны. Это одно из удивительнейших явлений в истории культуры вообще.

Эстетический монументализм создал идеал людей, ценивших и любивших быстрые и долгие походы, военные успехи в защите огромной территории, умение переноситься мыслью из одного пункта *Русьской* земли в другой, мечту о перелетах – как в «Слове о полку Игореве», людей, ощущавших свое языковое и культурное единство, чувствовавших себя частью европейской культуры, трансплантировавших к себе все лучшее, что было в других странах – Балканских, соседних на Западе и соседних на Востоке[16]. Стилистическая формация динамического монументализма способствовала не только консолидации общенародных сил и самосознания восточного славянства, но и осознанию восточным славянством своей общности со всем человечеством – росту основ будущего интернационализма восточных славян.

Киевская Русь, ее идеалы и ее стилистическая формация, позволившая осознавать всю Русскую землю как огромное и единое целое, сыграли выдающуюся роль во всей последующей истории Руси. В XIV веке в период перед Куликовской битвой, послужившей началом освобождения Руси от монголо-татарского ига, существенное значение имело обращение к традициям эпохи независимости, то есть к традициям Киевской Руси, – в политике, в литературе, в живописи, в зодчестве, в фольклоре, в церковной

жизни и т. д. В литературе это обращение ко временам независимости Киевской Руси заметно во многих произведениях – в московском летописании, в «Задонщине», в «Сказании о Мамаевом побоище», в «Слове инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу», в поздних редакциях «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Слове великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому» и т. д. В искусстве обращение ко временам независимости Руси сказалось в реставрациях домонгольских храмов во Владимире, в Твери, в Новгороде, в подновлениях домонгольских фресок во Владимире, отчасти в самом стиле живописи Андрея Рублева, как бы продолжающем стиль живописи XI–XIII веков.

В политике обращение сказалось в притязаниях московских князей на наследие киевских князей, в сохранении московским митрополитом титула «киевского и всея Руси» и пр.[17]

Обращение к Киевской Руси в XIV–XV веках сыграло в Московской Руси действенную роль в культурном и политическом возрождении, а в XVII веке привело в конце концов к объединению трех братских народов – великорусского, украинского и белорусского в единое государство, а в культуре – к объединению культурному, в котором относительно позднее украинско-белорусское искусство, искусство барокко, заняло свое достойное место.

Разрубленная ударами ордынских сабель и хитрой политикой разъединения, Русь и после своего распада на Украину и Великороссию оставалась единой – как остаются едиными вращающиеся вокруг невидимого центра, вокруг друг друга небесные тела.

Культуру Северной Руси все время тянуло к культуре Южной Руси – не только древней, общей, но и новой. С юга в Северную Русь проникает украинское барокко – в зодчестве, поэзии, музыке. Приезжают деятели украинской культуры, занимают ответственные посты в Русском государстве и церкви украинцы.

На русский литературный язык оказывает постоянное влияние украинский язык, украинизмы в лексике и в произношении. Обратное влияние хорошо известно – особенно в XIX и XX веках.

Историки литературы и искусства очень часто не учитывают творческого участия, творческого соседства в историко-литературном процессе двух великих культур. Мы не просто шли вместе – мы шли в ногу, соизмеряя свои шаги, их темп, их направление.

Россия и Украина составляли в течение веков после своего

разделения не только политическое, но и культурное двуединство. Русская культура немыслима без украинской, как и украинская без русской.

Художники Д. Левицкий, В. Боровиковский, А. Лосенко, А. Куинджи происходили с Украины, а мыслима ли без них история русской живописи? В Петре Ильиче Чайковском и в Маяковском текла украинская кровь. Может быть, она текла и в Достоевском. С Украины Чехов, А. Ахматова, К. Паустовский. С Украины композиторы Д. Бортнянский и С. Прокофьев. А какое значение Украина и украинский язык и фольклор имели для Лермонтова, Некрасова, Лескова (вот кто удивительно почувствовал красоту украинской речи, украинского характера, природы, да и самого Киева!). На Украине писал Пушкин, работали И. Айвазовский, И. Вишняков, В. Антропов, Виктор Васнецов и Врубель.

Без Украины невозможна была бы вся русская культура XVII века, без Киева, Киево-Печерской лавры и Киево-Могилянской академии, без украинского барокко, без Ивана Зарудного в зодчестве и прикладном искусстве и украинского школьного барокко в литературе, в театре.

А разве можно писать историю русской поэзии XIX века, не учитывая Шевченко? Возможен ли Гоголь без Украины, без широко и по-доброму повлиявшего на него украинского юмора, украинского фольклора, украинской сочной и цветистой речи?

Но ведь и Украина невозможна без России! Разве в Киеве не строили русские архитекторы? Разве не одно из лучших украшений Киева Андреевская церковь, построенная воспитанным в русских архитектурных традициях сыном петровского скульптора В. В. Растрелли? Разве не несут в себе русских градостроительных традиций многие города Украины, и в первую очередь Киев? Разве может быть украинская поэзия (Леси Украинки, М. Рыльского и др.) без Пушкина, без Лермонтова и Некрасова?

Разве не воспитался Шевченко-художник в петербургской Академии художеств?

Украина – цветущая, поющая, привольная – всегда привлекала к себе сердца русских – россиян. Влекли к себе украинские степи, белые украинские хаты, вышитые украинские рушники, украинские сады и украинская мягкая речь, украинский юмор и широта украинского национального характера.

И Киев всегда вызывал чувство ностальгии у русских: как древняя столица Русской земли, как «мать городов русьских», как центр самых больших русских святынь, никогда не противопоставляемых украинским.

Тысячи простых русских людей со всех концов Русской земли,

даже с Крайнего Севера, во все века пешком месяцами шли поклониться Киеву, а такие сказители, как Кривополенова, искали в Киеве места, связанные с событиями, описанными в былинах. Люди шли не только в Киево-Печерскую лавру, но и в стольный город Руси, город, где у князя Владимира собирались русские богатыри, где Илья, Добрыня, Алеша защищали его от врагов.

В Киеве при всем его национальном своеобразии есть общие градостроительные принципы с другими украинскими и русскими городами, есть отдельные здания, созданные гениями тех, кто создавал Москву и Петербург, а в Москве – сколько неучтенного и незамеченного еще киевского, даже в Петербурге был уголок Киева – знаменитая церковь Успения на Сенной площади, построенная в духе украинского барокко.

Невский проспект был увиден и описан глазами Гоголя, а Киев 1918 года – глазами Михаила Булгакова.

Существует неправильное и очень распространенное мнение о том, что национальные особенности и национальные ценности зреют и крепнут в уединении, отделенные стенами от других культур. Напротив того: в оранжереях растут слабые растения, растения, не выдерживающие вольного наружного климата. Сильные культуры, к которым несомненно принадлежат и русская, и украинская, и белорусская, получают свои национальные особенности от общения между собой и с другими культурами, от взаимовлияний и взаимообщения, позволяющих творчески усваивать и перерабатывать на свой лад достижения соседей.

Будем ценить наше родство, взаимно поддерживающее нас, – оно ценно, ибо своеобразие каждого из наших народов родилось и развилось во взаимообщении, а динамический монументализм древнего Киева – стилистическая формация Древней Руси – до сих пор сказывается в национальном характере как русских, белорусов, так и украинцев. Сказывается и открытый характер восточнославянских культур, их связи со многими народами Советского Союза.

Экология культуры

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого – с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепенно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь к своей стране – к ее истории, ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре.

Истинный патриотизм – это первая ступень к действенному интернационализму. Когда я хочу себе представить истинный интернационализм, я воображаю себя смотрящим на нашу Землю из мирового пространства. Крошечная планета, на которой мы все живем, бесконечно дорогая нам и такая одинокая среди галактик, отделенных друг от друга миллионами световых лет!

Человек живет в определенной окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает его жизни, грозит гибелью человечеству. Всем известны те гигантские усилия, которые предпринимаются нашим государством, отдельными странами, учеными, общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воздух, водоемы, леса, чтобы охранить животный мир нашей планеты, спасти становища перелетных птиц, лежбища морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не задохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также природу, которая дает людям возможность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо известна.

Наука, которая занимается охраной и восстановлением окружающей природы, называется экологией и как дисциплина начинает уже сейчас преподаваться в университетах.

Но экологию нельзя ограничивать только задачами сохранения природной биологической среды. Для жизни человека не менее важна среда, созданная культурой его предков и им самим. Сохранение культурной среды – задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его привязанности к родным местам, для его нравственной самодисциплины и социальности. А между тем вопрос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для человека. Изучаются отдельные виды культуры и остатки культурного прошлого, вопросы реставрации памятников и их

сохранения, но не изучается нравственное значение и влияние на человека всей культурной среды во всех ее взаимосвязях, хотя сам факт воспитательного воздействия на человека его окружения ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения.

Вот, к примеру, после войны в Ленинград вернулось, как известно, далеко не все довоенное население, тем не менее вновь приехавшие быстро приобрели те особые, ленинградские черты поведения, которыми по праву гордятся ленинградцы. Человек воспитывается в определенной, сложившейся на протяжении многих веков культурной среде, незаметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих предков. История открывает ему окно в мир, и не только окно, но и двери, даже врата. Жить там, где жили революционеры, поэты и прозаики великой русской литературы, жить там, где жили великие критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, которые так или иначе получили отражение в великих произведениях русской литературы, посещать квартиры-музеи – значит обогащаться духовно.

Улицы, площади, каналы, дома, парки – напоминают, напоминают… Ненавязчиво и ненастойчиво творения прошлого, в которые вложены талант и любовь поколений, входят в человека, становясь мерилом прекрасного. Он учится уважению к предкам, чувству долга перед потомками. И тогда прошлое и будущее становятся неразрывными для него, ибо каждое поколение – это как бы связующее звено во времени. Любящий свою родину человек не может не испытывать нравственной ответственности перед людьми будущего, чьи духовные запросы будут все множиться и возрастать.

Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саду, который они возделывали, в вещах, которые им принадлежали, – значит он не любит их. Если человек не любит старые улицы, старые дома, пусть даже и плохонькие, – значит у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны – он, как правило, равнодушен и к своей стране.

Итак, в экологии есть два раздела: экология биологическая и экология культурная, или нравственная. Убить человека биологически может несоблюдение законов биологической экологии, убить человека нравственно может несоблюдение законов экологии культурной. И нет между ними пропасти, как нет четко обозначенной границы между природой и культурой.

Человек – существо нравственно оседлое, даже и тот, кто был кочевником, для него тоже существовала «оседлость» в просторах

его привольных кочевий. Только безнравственный человек не обладает оседлостью и способен убивать оседлость в других.

Все мною сказанное не значит, что надо приостановить строительство новых сооружений в старых городах, держать их «под стеклянным колпаком» – так искаженно хотят представить позицию защитников исторических памятников некоторые не в меру рьяные сторонники перепланировок и градостроительных «улучшений».

А это значит только, что градостроительство должно основываться на изучении истории развития городов и на выявлении в этой истории всего нового и достойного продолжать свое существование, на изучении корней, на которых оно вырастает. И новое должно также изучаться с этой точки зрения. Иному архитектору, может, и кажется, что он открывает новое, в то время как он только разрушает ценное старое, создавая лишь некоторые «культурные мнимости».

Не все то, что воздвигается нынче в городах, есть новое по своему существу. Подлинно новая ценность возникает в старой культурной среде. Новое ново только относительно старого, как ребенок – по отношению к своим родителям. Нового самого по себе, как самодовлеющего явления, не существует.

Так же точно следует сказать, что простое подражание старому не есть следование традиции. Творческое следование традиции предполагает поиск живого в старом, его продолжение, а не механическое подражание иногда отмершему.

Возьмем, скажем, такой древний и всем хорошо знакомый русский город, как Новгород. На его примере мне легче всего будет показать свою мысль.

В древнем Новгороде не все, конечно, было строго продумано, хотя продуманность в строительстве древнерусских городов существовала в высокой мере. Были случайные строения, были случайности и в планировке, которые нарушали облик города, но был и его идеальный образ, как он представлялся в течение веков его строителям. Задача истории градостроительства – выявлять эту «идею города», чтобы продолжать ее творчески в современной практике, а не глушить новой застройкой, противоречащей старой.

Новгород строился по обоим низким берегам Волхова, у самих полноводных его истоков. В этом его отличие от большинства других древнерусских городов, стоявших на крутых берегах рек. В тех городах бывало тесно, но из них всегда виднелись на другом берегу заливные луга, столь любимые в Древней Руси широкие просторы. Это ощущение широкого пространства вокруг своих жилищ было характерно и для

древнего Новгорода, хотя и стоял он не на крутом берегу. Волхов мощным и широким руслом вытекал из Ильмень-озера, которое хорошо было видно из центра города.

В новгородской повести XVI века «Видение пономоря Тарасия» описывается, как Тарасий, забравшись на кровлю Хутынского собора, видит оттуда озеро, как бы стоящее над городом, готовое пролиться и затопить Новгород. Перед Великой Отечественной войной, пока еще был собор, я проверял это ощущение: оно действительно очень острое и могло повести к созданию легенды о том, что Ильмень грозил затопить город.

Но Ильмень-озеро виднелось не только с кровли Хутынского собора, но прямо от ворот Детинца, выходящих на Волхов.

В былине о Садко поется, как Садко становится в Новгороде «под башню проезжую», кланяется Ильменю и передает поклон от Волги-реки «славному Ильмень-озеру».

Вид на Ильмень из Детинца, оказывается, не только замечался древними новгородцами, но и ценился. Он был воспет в былине…

Кандидат архитектуры Г. В. Алферова в своей статье «Организация строительства городов в русском государстве в XVI–XVII веках» обращает внимание на «Закон градский», известный на Руси начиная по крайней мере с XIII века. Восходит он к античному градостроительному законодательству, заключающему четыре статьи: «О виде на местность, который представляется из дома», «Относительно видов на сады», «Относительно общественных памятников», «О виде на горы и море». «Согласно этому закону, – пишет Г. В. Алферова, – каждый житель в городе может не допустить строительства на соседнем участке, если новый дом нарушит взаимосвязи наличных жилых сооружений с природой, морем, садами, общественными постройками и памятниками. Византийский закон апопсии (вид, открывающийся от здания) ярко отразился в русском архитектурном законодательстве „Кормчих книг…“».

Русское законодательство начинается с философского рассуждения о том, что каждый новый дом в городе влияет на облик города в целом. «Новое дело творит некто, когда хочет или разрушить, или изменить прежний вид». Поэтому новое строительство или перестройка существующих ветхих домов должны производиться с разрешения местных властей города и согласовываться с соседями: в одном из параграфов закона запрещается лицу, обновляющему старый, ветхий двор, изменять его первоначальный вид, так как если будет надстроен или расширен старый дом, то он может отнять свет и лишить вида («прозора») соседей.

Особое внимание в русском градостроительном законодательстве обращается на открывающиеся из домов и города виды на луга, перелески, на море (озеро), реку.

Связь Новгорода с окрестной природой не ограничивалась только видами. Она была живой и реальной. Концы Новгорода, его районы, подчиняли себе окружающую местность административно. Прямо от пяти концов (районов) Новгорода веером расходились на огромное пространство подчиненные Новгороду новгородские «пятины» – области. Город со всех сторон был окружен полями, по горизонту вокруг Новгорода шел «хоровод церквей», частично сохранившийся еще и сейчас. Один из наиболее ценных памятников древнерусского градостроительного искусства – это существующее еще и сейчас и примыкающее к Торговой стороне города Красное (красивое) поле. По горизонту этого поля, как ожерелье, виднелись на равных расстояниях друг от друга здания церквей – Георгиевский собор Юрьева монастыря, церковь Благовещения на Городце, Нередица, Андрей на Ситке, Кириллов монастырь, Ковалево, Волотово, Хутынь. Ни одно строение, ни одно дерево не мешало видеть этот величественный венец, которым окружил себя Новгород по горизонту, создавая незабываемый образ освоенной, обжитой страны – простора и уюта одновременно.

Сейчас по горизонту Красного поля появляются какие-то бесформенные хозяйственные постройки, само поле зарастает кустарником, который скоро превратится в лес и заслонит собою вид, вал, который издавна служил местом прогулок, особенно прекрасных вечером, когда косые лучи солнца особенно высвечивали белые строения по горизонту, не восстанавливается вид на Ильмень с Торговой стороны Новгорода, не только от Кремля, закрыт валами бесцельно вырытой земли для строительства предполагавшегося водноспортивного канала, по середине русла Волхова стоят громадные быки еще в 1916 году начатого, но так, к счастью, и не осуществленного железнодорожного моста.

Долг современных градостроителей перед русской культурой – не разрушать идеальный строй наших городов даже в самом малом, а поддерживать его и творчески развивать.

…Стоит вспомнить о предложении академика Б. Д. Грекова, высказанном им еще в конце войны, после освобождения Новгорода: «Новый город следует строить несколько ниже по течению Волхова в районе Деревяницкого монастыря, а на месте древнего Новгорода устроить парк-заповедник. Ниже по течению Волхова и территория выше, и строительство будет дешевле: не надо будет нарушать многометровый культурный слой древнего

Новгорода дорогостоящими глубокими фундаментами домов».

Это предложение следовало бы учитывать при проектировании новой застройки во многих старых городах. Ведь строительство легче осуществлять там, где оно не будет врезаться в старое. Новые центры древних городов должны строиться вне старых, а старые должны поддерживаться в своих наиболее ценных градостроительных принципах. Архитекторы, строящие в давно сложившихся городах, должны знать их историю и бережно сохранять их красоту.

А как все-таки строить, если это необходимо, рядом со старыми зданиями? Единого метода предложено быть не может, одно бесспорно: новые здания не должны заслонять собой исторические памятники, как это случилось в Новгороде и в Пскове (церковь Сергия с Залужья, застроенная домами-коробками, против «Октябрьской» гостиницы в центре города или громадное здание кинотеатра, поставленное вплотную к Кремлю). Невозможна также никакая стилизация. Стилизуя, мы убиваем старые памятники, вульгаризуем, а иногда невольно пародируем подлинную красоту.

Приведу такой пример. Один из архитекторов Ленинграда считал самой характерной для города чертой шпили. Шпили в Ленинграде действительно есть, главных три: Петропавловский, Адмиралтейский и на Инженерном (Михайловском) замке. Но когда на Московском проспекте появился новый, довольно высокий, но случайный шпиль на обыкновенном жилом доме, семантическая значимость шпилей, отмечавших в городе главные сооружения, уменьшилась. Была разрушена и замечательная идея Пулковского меридиана: от Пулковской обсерватории прямо по меридиану шла математически прямая многоверстная магистраль, упиравшаяся в Адмиралтейскую иглу. Адмиралтейский шпиль был виден от Пулкова, он мерцал золотом вдали и притягивал к себе взор путника, въезжавшего в Ленинград со стороны Москвы. Теперь этот неповторимый вид перебит стоящим посередине Московского проспекта новым жилым домом со шпилем над ним.

Поставленный по необходимости среди старых домов новый дом должен быть «социален», иметь вид современного здания, но не конкурировать с прежней застройкой ни по высоте, ни по прочим архитектурным модулям. Должен сохраняться тот же ритм окон; должна быть гармонирующей окраска.

Но бывают иногда случаи необходимости «достройки» ансамблей. На мой взгляд, удачно закончена застройка Росси на площади Искусств в Ленинграде домом на Инженерной улице, выдержанным в тех же архитектурных формах, что и вся площадь.

Перед нами не стилизация, ибо дом в точности совпадает с другими домами площади. Есть смысл в Ленинграде так же гармонично закончить и другую площадь, начатую, но не завершенную Росси, – площадь Ломоносова: в дом Росси на площади Ломоносова «врезан» доходный дом XIX века.

Культурную экологию не следует смешивать с наукой реставрации и сохранения отдельных памятников. Культурное прошлое нашей страны должно рассматриваться не по частям, как повелось, а в его целом. Речь должна идти и о том, чтобы сохранить самый характер местности, «ее лица необщее выражение», архитектурный и природный ландшафт. А это значит, что новое строительство должно возможно меньше противостоять старому, с ним гармонировать, сохранять бытовые навыки народа (это ведь тоже «культура») в своих лучших проявлениях. Чувство плеча, чувство ансамбля и чувство эстетических идеалов народа – вот чем необходимо обладать и градостроителю, и в особенности строителю сел. Архитектура должна быть социальной. Культурная экология должна быть частью экологии социальной.

Пока же в науке об экологии нет раздела о культурной среде, позволительно говорить о впечатлениях.

Вот одно из них. В сентябре 1978 года я был на Бородинском поле вместе с замечательнейшим энтузиастом своего дела реставратором Николаем Ивановичем Ивановым. Обращал ли кто-нибудь внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью.

Именно такой, внутренне богатый человек и был со мной на Бородинском поле – Николай Иванович. Пятнадцать лет он не уходит в отпуск: он не может без Бородинского поля. Он живет несколькими днями Бородинской битвы: двадцать шестым августа (по старому стилю) и днями, которые предшествовали битве. Поле Бородина имеет колоссальное воспитательное значение.

Я ненавижу войну, я перенес ленинградскую блокаду, нацистские обстрелы мирных жителей из теплых укрытий в позициях на Дудергофских высотах, я был очевидцем героизма, с каким защищали советские люди свою Родину, с какой непостижимой стойкостью сопротивлялись врагу. Может быть, поэтому Бородинская битва, всегда поражавшая меня своей нравственной силой, обрела для меня новый смысл. Русские солдаты отбили на батарее Раевского восемь ожесточеннейших атак, следовавших одна за другой с неслыханным упорством. Под конец солдаты обеих армий сражались в полной тьме, на ощупь.

Нравственная сила русских была удесятерена необходимостью защитить Москву. И мы с Николаем Ивановичем обнажили головы перед памятниками, что были воздвигнуты на Бородинском поле благодарными потомками.

И здесь, на этой национальной святыне, политой кровью защитников Родины, в 1932 году был взорван чугунный памятник на могиле Багратиона. Те, кто это сделал, совершили преступление против самого благородного из чувств – признательности герою, защитнику национальной свободы России, признательности русских брату-грузину, командовавшему с необыкновенным мужеством и искусством русскими войсками в самом опасном месте битвы. Как расценить тех, кто в те же годы намалевал гигантскую надпись на стене монастыря, построенного на месте гибели Тучкова-четвертого его вдовой: «Довольно хранить остатки рабского прошлого!»? Понадобилось вмешательство газеты «Правда» в 1938 году, чтобы надпись эта была уничтожена.

И еще о чем хотелось бы вспомнить. Город, в котором я родился и живу всю жизнь, – Ленинград – связан прежде всего в своем архитектурном облике с именами Растрелли, Росси, Кваренги, Захарова, Воронихина. По дороге с главного ленинградского аэродрома стоял Путевой дворец Растрелли. Прямо в лоб: первое большое здание Ленинграда и Растрелли! Оно было в очень плохом состоянии – стояло близко от линии фронта, но советские бойцы сделали все, чтобы сохранить его. И если бы его реставрировать, какой праздничной была бы эта увертюра к Ленинграду. Снесли! Снесли в конце шестидесятых годов. И ничего нет на этом месте. Пусто на его месте, пусто в душе, когда это место проезжаешь.

Кто же эти люди, убивающие живое прошлое, прошлое – которое является и нашим настоящим, ибо культура не умирает? Иногда это сами архитекторы – из тех, которым очень хочется поставить «свое творение» на выигрышном месте.

Иногда это реставраторы, заботящиеся о том, чтобы выбирать себе наиболее «выгодные» объекты, о том, чтобы восстановленное произведение искусства принесло им славу, и восстанавливающие старину по своим собственным, иногда очень примитивным представлениям о красоте.

Иногда же это совсем случайные люди: «туристы», разводящие костры вблизи памятников, оставляющие свои надписи или выковыривающие изразцы «на память». И за этих случайных людей ответственны все мы. Мы должны позаботиться о том, чтобы таких случайных убийц не было, чтобы вокруг памятников был нормальный нравственный климат, чтобы все –

от школьников и до работников городских и областных организаций – знали, какие памятники доверились их знаниям, их общей культуре, их чувству ответственности перед будущим.

Одних запрещений, инструкций и досок с указанием «Охраняется государством» недостаточно. Надо, чтобы факты хулиганского или безответственного отношения к культурному наследию неукоснительно разбирались в судах и виновных строго наказывали. Но и этого мало. Совершенно необходимо в программе средней школы ввести преподавание краеведения с основами биологической и культурной экологии, шире создавать в школах кружки по истории и природе родного края. К патриотизму нельзя призывать, его нужно заботливо воспитывать.

Итак, *экология культуры*!

Есть большое различие между экологией природы и экологией культуры, к тому же весьма принципиальное.

До известных пределов утраты в природе восстановимы. Можно очистить загрязненные реки и моря, можно восстановить леса, поголовье животных, конечно, если не перейдена известная грань, если не уничтожена та или иная порода животных целиком, если не погиб тот или иной вид растений. Удалось же восстановить зубров – и на Кавказе, и в Беловежской Пуще, даже поселить в Бескидах, то есть там, где их раньше и не было. Природа при этом сама помогает человеку, ибо она «живая». Она обладает способностью к самоочищению, к восстановлению нарушенного человеком равновесия. Она залечивает раны, нанесенные ей извне – пожарами, вырубками, ядовитой пылью, сточными водами.

Иначе обстоит дело с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники культуры всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с определенными мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится навечно.

«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды крайне ограничен в мире, и он истощается со все прогрессирующей скоростью. Техника, которая сама является продуктом культуры, служит иногда в большей мере умерщвлению культуры, чем продлению ее жизни. Бульдозеры, экскаваторы, строительные краны, управляемые людьми бездумными, неосведомленными, уничтожают и то, что в земле еще не открыто, и то, что над землей, – уже служившее людям. Даже сами реставраторы, руководствуясь своими собственными, недостаточно проверенными теориями или современными представлениями о красоте, становятся иногда в большей мере разрушителями, чем охранителями памятников прошлого.

Уничтожают памятники и градостроители, особенно если они не имеют четких и полных исторических знаний. На земле становится тесно для памятников культуры не потому, что земли мало, а потому, что строителей притягивают к себе старые места, обжитые и оттого кажущиеся особенно красивыми и заманчивыми для градостроителей.

Градостроителям, как никому, нужны знания в области экологии культуры.

В первые годы после Великой Октябрьской революции краеведение переживало бурный расцвет. По различным причинам в тридцатые годы оно почти прекратило свое существование, специальные институты и многие краеведческие музеи были закрыты. А краеведение как раз и воспитывает живую любовь к родному краю и дает те знания, без которых невозможно сохранение памятников культуры на местах. На его основе можно серьезнее и глубже решать местные экологические проблемы. Давно высказывалось мнение, что краеведение следует ввести в качестве дисциплины в школьные учебные программы. До сих пор этот вопрос остается открытым.

Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для «нравственной оседлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь должна быть действенной.

А для этого нужны знания, и не только краеведческие, но и более глубокие, объединяемые в особую научную дисциплину – экологию культуры.

1984

Заметки и наблюдения

Из записных книжек разных лет

«Для предисловия»

К книгам полагается писать предисловия. А что напишешь об этой книге? И я стал писать заметки, которые вкладывал в конверт с надписью «Для предисловия». А так как ничего цельного не получилось, то я так и оставил название: «Для предисловия». Оно подходит к стилю всей книги, состоящей из беспорядочных заметок.

Идея этой книги родилась из случайного обстоятельства. Я привык писать книги и собирать материалы для книг на листах бумаги канцелярского формата, а делать записи для памяти, для себя – в записных книжках и в общих тетрадях (до революции они назывались брульонами). И вдруг я заметил в продаже общие тетради большого канцелярского формата. А что, если сделать книгу из своих записей? Ведь это может оказаться интересным.

Может показаться, что я пишу о мелочах, и, может быть, ко мне будет обращен упрек: «В наше ответственное время о чем он пишет! Среди прочего и о походке петербургских дам, и о меблировке английских сельских домов, и о стиле бидермейер?..» Спросят: «Неужели не нашлось более важных тем, более значительных, необходимых?» В том-то и дело, что все важно. Человек живет в сфере своих интересов, впечатлений. Если сужать его интересы и впечатления только самым важным, ему придется балансировать на острие гигантского ножа. Если он имеет большой круг интересов и умеет расширить свои интересы, для него сильно ограничена опасность соскользнуть со своего пути в бездуховность, в эгоцентризм. Малые темы спасут большие. В малом надо увидеть значительное. Это почва.

И самое главное. Я делал заметки для себя. Я не рассчитывал на публикацию. Если они читателя не устраивают – отложите их, но в глубине души я думаю: кому-то они пригодятся.

Перечел свои заметки («интервью с самим собой») и обнаружил, что многим не понравится: ничего сложного и «острого», ставшего в последнее время привычным, как привычна многим густо наперченная или круто посоленная пища, – просто и общепонятно. И все же в моих записях есть многое «от меня», мое собственное. Может быть, именно это, а не их модность и составит интерес книги?

В моих последующих записях, может быть, не все ясно и законченно. Пусть останется так, а разъяснения ищет сам читатель, если это ему понадобится.

Всю жизнь я не оставался наблюдателем. Мне всегда надо было быть участником. Всегда вмешивался и получал шишки. Но если бы шишек не было, был бы несчастнее. А когда добивался – получал радость.

Из воспоминаний

Воспоминания открывают нам окно в прошлое. Они не только сообщают нам сведения о прошлом, но дают нам и точки зрения современников событий, живое ощущение современников. Конечно, бывает и так, что мемуаристам изменяет память (мемуары без отдельных ошибок – крайняя редкость) или они освещают прошлое чересчур субъективно. Но зато в очень большом числе случаев мемуаристы рассказывают то, что не получило и не могло получить отражения ни в каком другом виде исторических источников.

Тимковский писал: «Судьба украсила мою жизнь событием редким, незабываемым: я видел Китай» («Путешествие в Китай через Монголию». СПб., 1824). Сколько подарков от судьбы имею я: представьте, я видел две революции, три войны, блокаду, Соловки, Англию, Сицилию, Болгарию. И многое другое.

Дм. Ник. Чуковский рассказывал мне, что на ночном столе у его деда, Корнея Ивановича, лежала папка, на которой было написано «Что вспомнилось». Я решил превратить это название в жанр мемуаристики, в серию заметок, больших и малых, расположенных в хронологическом порядке, но не претендующих на систематический рассказ о прошлом.

Вспоминается то, что запомнилось. Для каждого же возраста есть свое запоминающееся в жизни, что в свое время произвело сильное на вас впечатление. Детские воспоминания всегда носят отрывочный характер, и это можно почувствовать, читая любые воспоминания – даже и те, что претендуют на систематичность. Но ведь та же отрывочность характерна и для воспоминаний взрослых, только последних воспоминаний больше и их легче вытянуть в линию рассказа. А я этого делать не буду, ибо больше всего неправды именно в этих связках между яркими воспоминаниями, в обобщениях, в попытках восстановить в памяти – «а что же было потом!».

Первые детские воспоминания наивны и таят в себе стремление к будущему; взрослые воспоминания могут быть мудры, это брызги на поворотах; стариковские, вернее, те, что относятся к пожилой жизни, – печальны. Это жалобы. Они мало интересны. Да и самим старикам хочется обратиться к далекому прошлому и, каким бы оно ни было страшным, в нем искать утешение и даже радость.

Итак, «что вспомнилось»!

С рождением человека родится и его время. В детстве оно молодое и течет по-молодому – кажется быстрым на коротких расстояниях и длинным на больших. В старости время точно останавливается. Оно вялое. Прошлое в старости совсем близко, особенно детство. Вообще же из всех трех периодов человеческой жизни (детство и молодость, зрелые годы, старость) старость – самый длинный период и самый нудный.

Воспоминания детства

Он шел со станции с двумя подростками, радостно глядел по сторонам и объяснял – где и что было.

Подростки с любопытством слушали, о многом они уже слышали раньше.

Наконец пришли «туда».

Он огляделся и поразился, что все стало меньше.

Младший из его «пары» разочарованно сказал: «Тут?» – «Да!»

И с тех пор трещина между ним и его подростками стала расти.

Через год он уже шутил: «Я-то деревенский, а они городские!»

И знакомым было неловко.

Катеринушка закатилась

Мою няню звали Катеринушка.

Единственное, что сохранилось от Катеринушки, – фотография, на которой она снята с моей бабушкой Марией Николаевной Коняевой. Фотография плохая, но характерная. Обе смеются до слез. Бабушка просто смеется, а Катеринушка и глаза закрыла, и видно, что слова вымолвить не может от смеха. Я знаю, отчего обе так смеются, но не скажу… Не надо!

Кто снял их во время приступа такого неудержимого смеха – не знаю. Фотография любительская, и в нашей семье она давно-давно. Катеринушка нянчила мою мать, нянчила моих братьев. Мы хотели, чтобы помогла она нам и с нашими «рунчиками» – Верочкой и Милочкой, но что-то ей помешало. Помех у нее, притом неожиданных, было немало.

Помню в детстве, что жила она на Тарасовой в одной со мной комнате, а было мне тогда лет шесть, и я открыл тогда впервые, к своему удивлению, что у женщин есть ноги. Юбки носили такие длинные, что видна бывала только обувь. А тут по утрам за ширмой, когда Катеринушка вставала, появлялись две ноги в толстых чулках разного цвета (чулок все равно под юбкой не

видно). Я смотрел на эти разноцветные чулки, появлявшиеся передо мной до щиколоток, и удивлялся.

Катеринушка была как родная и для нашей семьи, и для семьи моей бабушки по матери. Чуть что нужно – и появлялась в семье Катеринушка: заболеет ли кто серьезно и нужно ухаживать, ожидается ли ребенок и нужно готовиться к его появлению на свет – шить свивальнички, подгузнички, волосяной (нежаркий) матрасик, чепчики и тому подобное; заневестилась ли девушка и нужно готовить ей приданое – во всех этих случаях появлялась Катеринушка с деревянным сундучком, устраивалась жить и как своя вела всю подготовку, рассказывала, говорила, шутила, в сумерки пела со всем семейством старинные песни, вспоминала про старое.

В доме с ней никогда не было скучно. И даже когда кто-нибудь умирал, она умела внести в дом тишину, благопристойность, порядок, тихую грусть. А в благополучные дни она играла и в семейные игры – с взрослыми и детьми: в лото цифровое (с бочоночками), причем, выкликая цифры, давала им шуточные названия, говорила приговорками и поговорками (а это не одно и то же – приговорок сейчас никто не знает, фольклористы их не собирали, а они часто бывали «заумными» и озорными в своей бессмысленности – хорошей, впрочем).

Кроме нашей семьи, семьи бабушки и ее детей (моих теток), были и другие семьи, для которых Катеринушка была родная и попав в которые не сидела сложа руки, вечно что-то делала, сама радовалась и радость эту и уют распространяла вокруг.

Легкий она была человек. Легкий во всех смыслах, и на подъем тоже. Соберется Катеринушка в баню и не возвращается. Сундучок ее стоит, а ее нет. И не очень о ней беспокоятся, так как знают ее обычаи – придет Катеринушка. Мать спрашивает свою матушку (а мою бабушку): «Где Катеринушка?», а бабушка отвечает: «Катеринушка закатилась». Такой был термин для ее внезапных уходов. Через несколько месяцев, через год Катеринушка так же внезапно появляется, как перед тем исчезла. «Где ж ты была?» – «Да у Марьи Иванны! Встретила в бане Марью Иванну, а у той дочь заневестилась: пригласили приданое справить!» – «А где же Марья Иванна живет?» – «Да в Шлюшине!» (Так в Питере называли Шлиссельбург – от старого шведского «Слюсенбурх».) «Ну а теперь?» – «Да к вам. Свадьбу третьего дня справили».

Вспоминала она и про мою маму разные смешные истории. Пошли они вместе в цирк. Мама маленькой девочкой была с Катеринушкой в цирке в первый раз и пришла в такой восторг, что вцепилась Катеринушке в шляпу да вместе с вуалькой

содрала с нее…

Катеринушка только при своих ходила в платке, а на улице, да еще в цирке, бывала в шляпке. И в Александрийский театр она со всей семьей дедушки и бабушки ходила. Помню, рассказывала, как в антрактах в аванложу приносили кипящий самовар и вся бабушкина семья пила чай. Таков был обычай в «купеческом» Александрийском театре, где и пьесы подбирались на вкус купеческий и мещанский (потому-то «Чайка» там и провалилась – ждали ведь фарса, тем более что и Чехов в этой среде был известен как юморист).

Так вот о шляпке. Шляпка не была случайностью. Катеринушка была вдовой мастера, погибшего во время какой-то заводской аварии. Она гордилась своим мужем, гордилась, что его ценили. У ней был и собственный дом в Усть-Ижоре. Обращен он был окнами на Неву, то есть на север, и так она любила свою Усть-Ижору и дом, что, бывало, рассказывала: «В мой дом солнышко два раза в день заглядывает – утром раненько поздоровается, а вечером к закату попрощается». Если учесть, что летом восход и закат сдвинуты к северу, то это, наверное, так и было. Но не зимой.

Никто не знал ее фамилии. Я у мамы спрашивал – не знала, но в паспорте у Катеринушки стояло отчество – Иоакимовна, и очень она не любила, если кто-нибудь называл ее Акимовной. Даже с обидой об этом рассказывала.

Как определить профессию этой милой вечной труженицы, приносившей людям столько добра (счастье входило вместе с ней в семью)? Я думаю, назвать бы ее следовало «домашней портнихой». Профессия эта совершенно сейчас исчезла, а когда-то она была распространенной. Домашняя портниха поселялась в доме и делала работу на несколько лет: перекраивала, перешивала, ставила заплатки, шила и белье и пиджак хозяину – на все руки мастер. Появится такая домашняя портниха в доме, и начинают перебирать все тряпье и всей семьей советоваться, как и что перешить, что бросить, что татарину отдать (татары-тряпичники ходили по дворам, громко кричали «халат-халат» и в доме всякую ненадобность покупали за гроши).

Умерла она так же, как и жила: никому не доставив хлопот. Закатилась Катеринушка в 1941 году слабой одноглазой старухой. Услыхала она, что немцы подходят к любимой ее Усть-Ижоре, встала у моей тети Любы с места (жила тетя Люба на улице Гоголя) да и пошла в Усть-Ижору к своему дому. Дойти она не смогла и где-то погибла, верно по дороге, так как немцы уже подошли к Неве. Привыкла она всю жизнь помогать тем, кто нуждался в ее помощи, а тут несчастье с ее Усть-Ижорой…

Закатилась Катеринушка последний раз в жизни.

* * *

Я не считаю таким уж важным мое собственное развитие – развитие моих взглядов и мироощущения. Важен здесь не я, своей собственной персоной, а как бы некоторое характерное явление.

Отношение к миру формируется мелочами и крупными явлениями. Их воздействие на человека известно, не вызывает сомнений, и самое важное – мелочи, из которых складывается работник, его мировосприятие, мироотношение. Об этих мелочах и случайностях жизни и пойдет речь в дальнейшем. Все мелочи должны учитываться, когда мы задумываемся над судьбой наших собственных детей и нашей молодежи в целом. Естественно, что в моей своего рода «автобиографии», представляемой сейчас вниманию читателя, доминируют положительные воздействия, ибо отрицательные чаще забываются. Я лично, да и каждый человек крепче хранит память благодарную, чем память злую.

Интересы человека формируются главным образом в его детстве. Л. Н. Толстой пишет в «Моей жизни»: «Когда же я начался? Когда начал жить? <…> Разве я не жил тогда, эти первые года, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить… Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и $1/_{100}$ того?»

Поэтому в этих своих воспоминаниях я уделю главное внимание детским и юношеским годам. Наблюдения над своими детскими и юношескими годами имеют некоторое общее значение. Хотя и последующие годы, связанные с работой в Пушкинском Доме Академии наук СССР, также важны.

Мой дед по отцу Михаил Михайлович Лихачев, потомственный почетный гражданин Петербурга и член Ремесленной управы, был старостой Владимирского собора и жил в доме на Владимирской площади с окнами на собор. На тот же собор смотрел из углового кабинета своей последней квартиры Достоевский. Но в год кончины Достоевского Михаил Михайлович не был еще церковным старостой. Старостой был будущий тесть его – Иван Степанович Семенов. Дело в том, что первая жена моего деда и мать моего отца Прасковья Алексеевна умерла от чахотки (тогда не говорили «туберкулез»), когда отцу было лет пять, и похоронена на дорогом Новодевичьем кладбище, где не удалось похоронить Достоевского. Отец родился в 1876 году. Михаил Михайлович (или, как его звали у нас в семье,

Михал Михалыч) женился на дочери церковного старосты Ивана Степановича Семенова – Александре Ивановне. Иван Степанович принимал участие в похоронах Достоевского. Отпевали его на дому священники из Владимирского собора, и давалось все необходимое для домашнего отпевания. Сохранился один документ, любопытный для нас – потомков Михаила Михайловича Лихачева. Документ этот приводит Игорь Волгин в рукописи книги «Последний год Достоевского».

И. Волгин пишет:

«Анна Григорьевна желала похоронить мужа по первому разряду. И все же похороны обошлись ей сравнительно недорого: большинство церковных треб совершалось безвозмездно. Более того: часть истраченной суммы была возвращена Анне Григорьевне, в чем удостоверяет весьма выразительный документ:

„Честь имею препроводить к Вам деньги 25 рубл. серебром, сегодня предоставленные мне за покров и подсвечники каким-то неизвестным мне гробовщиком, и при этом объяснить следующее: 29 числа утром лучший покров и подсвечники отправлены были из церкви в квартиру покойного Ф. М. Достоевского по распоряжению моему безвозмездно. Между тем неизвестный гробовщик, не живущий даже в пределах Владимирского прихода, взял с Вас деньги за церковные принадлежности самовольно, не имея на то ни права, ни резона, да и сколько он взял их, неизвестно. А потому как деньги взяты самовольно, я препровождаю Вам обратно и прошу принять уверения в глубоком уважении к памяти покойного.

Церковный староста Владимирской церкви
Иван Степанов Семенов“».

См. в бумагах А. Г. Достоевской папку, озаглавленную «Материалы, относящиеся к погребению». ГБЛ, ф. 33, щ. 5.12, л. 22».

Дед мой по отцу, Михаил Михайлович Лихачев, не был купцом (звание «потомственного и почетного» давалось обычно купцам), а состоял в Петербургской ремесленной управе. Был он главой артели.

Дочери моей Вере как-то сказали, что в архиве Зимнего дворца видели прошение моего деда о вспомоществовании его артели золотошвейного мастерства, работавшей для двора с 1792 года. Расшивали серебром и золотом, очевидно, мундиры.

Но в моем детстве артель деда была уже не золотошвейной.

Дедушку мы посещали на Рождество, на Пасху и в Михайлин день. Дедушка обычно лежал на диване в своем огромном

кабинете, где потолок, помню, был в трещинах, и я всякий раз, входя к нему, боялся, что он обрушится и задавит дедушку. Выходил дедушка из своего кабинета редко. В семье его боялись до ужаса. Дочери не выходили из дому и никого не приглашали к себе. Только одна из моих теток, тетя Катя, вышла замуж. Другая, тетя Настя, умерла от чахотки, окончив с золотой медалью Педагогический институт. Я ее очень любил: она со мною хорошо играла. Третья, тетя Маня, окончила Медицинский институт и уехала под Новгород на Фарфоровый завод: думаю, чтобы избавиться от гнетущей обстановки в семье. Дядя Вася стал служащим Государственного банка, а дядя Гаврюша метался: то уходил на Афон, то пропадал где-то на юге России. Тетя Вера жила после смерти дедушки в Удельной, отличалась фанатической набожностью и такой же добротой. Отдала в конце концов свою квартиру какой-то бедной многодетной семье, переселилась в сарай и умерла от голода и мороза во время блокады Ленинграда.

А отца дед хотел сделать своим преемником и обучать в коммерческом училище. Но отец поссорился с отцом, ушел из дому, поступил самостоятельно в реальное училище, жил уроками. Потом стал учиться в только что открывшемся Электротехническом институте (он помещался тогда на Новоисаакиевской улице в центре города), стал инженером, работал в Главном управлении почт и телеграфов. Он был красив, энергичен, одевался щеголем, был прекрасным организатором и известен как удивительный танцор. На танцах в Шуваловском яхт-клубе он и познакомился с моей матерью. Оба они получили приз на каком-то балу, а затем отец стал ежедневно гулять под окнами моей матери и в конце концов сделал предложение.

Мать была из купеческой среды. По отцу она была Коняева (говорили, что первоначально фамилия семьи была Канаевы и неправильно записана в паспорт кому-то в середине XIX века). По матери она была из Поспеевых, имевших старообрядческую молельню на Расстанной улице у Раскольничьего моста близ Волкова кладбища: там жили старообрядцы федосеевского согласия. Поспеевские традиции и были самыми сильными в нашей семье. У нас никогда не было собак в квартире, но зато мы все любили птиц. По семейным преданиям, мой дед из Поспеевых ездил на парижскую выставку, где поражал великолепными русскими тройками. В конце концов и Поспеевы, и Коняевы стали единоверцами, крестились двумя перстами и ходили в единоверческую церковь – где теперь Музей Арктики и Антарктики.

Отец матери Семен Филиппович Коняев был одним из первых

бильярдистов Петербурга, весельчак, добряк, певун, говорун, во всем азартный, легкий и обаятельный. Никого он не угнетал, проиграв все – мучился и стеснялся, но неизменно отыгрывался. В квартире постоянно бывали гости, кто-то непременно гостил. Любил Некрасова, Никитина, Кольцова, прекрасно пел русские народные песни и городские романсы. По-старообрядчески сдержанная бабушка любила его беззаветно и все прощала.

Мои первые детские воспоминания восходят ко времени, когда я только учился говорить. Помню, как в кабинете отца на Офицерской сел на подоконник голубь. Я побежал сообщить об этом огромном событии родителям и никак не мог объяснить им, зачем я их зову в кабинет. Другое воспоминание. Мы стоим на огороде в Куоккале, и отец должен ехать в Петербург на службу. Но я не могу этого понять и спрашиваю его: «Ты едешь покупать?» (отец всегда что-то привозил из города), но слово «покупать» у меня никак не выговаривается и получается «покука́ть». Мне так хочется сказать правильно! Еще более раннее воспоминание. Мы живем еще на Английском проспекте (потом проспект Мак Лина, превратившегося теперь в обыкновенного русского Ма́клина). Я с братом смотрю волшебный фонарь. Зрелище, от которого замирает душа. Какие яркие цвета! И мне особенно нравится одна картина: дети делают снежного деда-мороза. Он тоже не может говорить. Эта мысль приходит мне в голову, и я его люблю, деда-мороза, – он мой, мой. Я только не могу его обнять, как обнимаю любимого плюшевого и тоже молчащего медвежонка – Берчика. Мы читаем «Генерала Топтыгина» Некрасова, и нянька шьет Берчику генеральскую шинель. В этом генеральском чине Берчик воспитывал в блокаду и моих дочерей. Уже после войны генеральскую шинель на красной подкладке мои маленькие дочери перешили в женское пальто для одной из кукол. Уже не в генеральском чине он воспитывал потом мою внучку, неизменно молчащий и ласковый.

Мне было два или три года. Потом я получил в подарок немецкую книжку с очень яркими картинками. Была там сказка о «Счастливом Гансе». Одна из иллюстраций – сад, яблоня с крупными красными яблоками, ярко-синее небо. Так радостно было смотреть на эту картинку зимой, мечтая о лете. И еще воспоминание. Когда ночью выпадал первый снег, комната, где я просыпался, оказывалась ярко освещенной снизу, от снега на мостовой (мы жили на втором этаже). На светлом потолке двигались тени прохожих. По потолку я знал: наступила зима с ее радостями. Так весело от любой перемены, время идет, и хочется, чтобы шло еще быстрее. И еще радостные впечатления от запахов. Один запах я до сих пор люблю: запах разогретого солнцем

самшита. Он напоминает мне о крымском лете, о поляне, которую все называли «Батарейка», так как тут во время Крымской войны располагалась русская батарея, чтобы предотвратить высадку англо-французских войск в Алупке. И такой близкой казалась эта война, точно она была вчера, – всего 50 лет назад!

Одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. Мама лежит на кушетке. Я забираюсь между ней и подушками, ложусь тоже, и мы вместе поем песни. Я еще не ходил в приготовительный класс.

Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно.
Попроворней одевайтесь!
Смотрит солнышко в окно.

Человек, и зверь, и пташка —
Все берутся за дела,
С ношей тащится букашка;
За медком летит пчела.

Ясно поле, весел луг;
Лес проснулся и шумит;
Дятел носом: тук да тук!
Звонко иволга кричит.

Рыбаки уж тащат сети;
На лугу коса звенит…
Помолясь, за книгу, дети!
Бог лениться не велит.

Из-за последней фразы, верно, вывелась эта детская песенка из русского быта. А знали ее все благодаря хрестоматии Ушинского «Родное слово».

А вот и другая песенка, которую мы пели:

Травка зеленеет,
Солнышко блестит;
Ласточка с весною
В сени к нам летит.
С нею солнце краше
И весна милей…
Прощебечь с дороги
Нам привет скорей!
Дам тебе я зерен;

А ты песню спой,
Что из стран далеких
Принесла с собой.

Ясно помню, что слово «прощебечь» я пел как «прощебесь» и думал, что это кто-то кому-то говорит «прочь с дороги» – «прощебесь с дороги». Только уже на Соловках, вспоминая детство, я понял истинный смысл строки!

Жили мы так. Ежегодно осенью мы снимали квартиру где-нибудь около Мариинского театра. Там родители всегда имели два балетных абонемента. Достать абонементы было трудно, но нам помогали наши друзья – Гуляевы. Глава семьи Гуляевых играл на контрабасе в оркестре театра и поэтому мог доставать ложи на оба балетных абонемента. В балет я стал ходить с четырехлетнего возраста. Первое представление, на котором я был, – «Щелкунчик», и больше всего меня поразил снег, падавший на сцене, понравилась и елка. Потом я уже бывал вечерами и на взрослых спектаклях. Было у меня в театре и свое место: наша ложа, которую мы абонировали вместе с Гуляевыми, помещалась в третьем ярусе рядом с балконом. Тогда балкон имел места с железными, обтянутыми голубым плюшем поручнями. Между нашей ложей и первым местом балкона оставалось маленькое клиновидное местечко, где сидеть мог только ребенок, – это место и было моим. Балеты я помню прекрасно. Ряды дам с веерами, которыми обмахивались больше для того, чтобы заставлять играть бриллианты на глубоких декольте. Во время парадных балетных спектаклей свет только притушивался, и зал и сцена сливались в одно. Помню, как «вылетала» на сцену «коротконожка» Кшесинская в бриллиантах, сверкавших в такт танцу. Какое это было великолепное и парадное зрелище. Но больше всего мои родители любили Спесивцеву и были снисходительны к Люком.

С тех пор балетная музыка Пуни и Минкуса, Чайковского и Глазунова неизменно поднимает мое настроение. «Дон Кихот», «Спящая» и «Лебединое» (именно так сокращала названия балетов и Ахматова), «Баядерка» и «Корсар» неразрывны в моем сознании с голубым залом Мариинского, входя в который я и до сих пор ощущаю душевный подъем и бодрость.

В моем кабинете, отделяя кабинет от холла, висит сейчас на стеклянной двери бархатный голубой занавес: он из старого Мариинского театра, куплен в комиссионном магазине еще тогда, когда мы жили в конце 40-х годов на Басковом переулке и шел ремонт зрительного зала театра после войны (там попала бомба в

фойе, и обивку и занавеси обновляли).

Слушая разговоры о Мариэсе Мариэсовиче и Марии Мариусовне Петипа, мне казалось, что речь идет об обыкновенных знакомых нашей семьи, которые только почему-то не приходят к нам в гости.

Раз в год поездка в Павловск «пошуршать листьями», раз в год посещение Домика Петра Великого перед началом учебного года (таков был петербургский обычай), прогулки на пароходах Финляндского пароходного общества, бульон в чашках с пирожком в ожидании поезда на элегантном Финляндском вокзале, встречи с Глазуновым в зале Дворянского собрания (теперь Филармонии), с Мейерхольдом в поезде Финляндской железной дороги – были достаточными, чтобы стереть границы между городом и искусством…

По вечерам дома мы играли в любимое цифровое лото, называя бочоночки с цифрой непременно с прибаутками; играли в шашки; отец обсуждал прочитанное им накануне на ночь – произведения Лескова, исторические романы Всеволода Соловьева, романы Мамина-Сибиряка. Все это в широкодоступных дешевых изданиях – в приложениях к «Ниве».

О Петербурге моего детства

Петербург – Ленинград – город трагической красоты, единственный в мире. Если этого не понимать – нельзя полюбить Ленинград. Петропавловская крепость – символ трагедий, Зимний дворец на другом берегу – символ плененной красоты.

Петербург и Ленинград – это совсем разные города. Не во всем, конечно. Кое в чем они «смотрятся друг в друга». В Петербурге прозревался Ленинград, а в Ленинграде мелькает Петербург его архитектуры. Но сходства только подчеркивают различия.

Первые впечатления детства: барки, барки, барки. Барки заполняют Неву, рукава Невы, каналы. Барки с дровами, с кирпичом. Ка́тали выгружают барки тачками. Быстро, быстро катят их по железным полосам, вкатывают снизу на берег. Во многих местах каналов решетки раскрыты, даже сняты. Кирпичи увозят сразу, а дрова лежат сложенными на набережных, откуда их грузят на телеги и развозят по домам. По городу расположены на каналах и на Невках дровяные биржи. Здесь в любое время года, а особенно осенью, когда это необходимо, можно купить дрова. Особенно березовые, жаркие. На Лебяжьей канавке у Летнего сада пристают большие лодки с глиняной посудой – горшками, тарелками, кружками, – а бывают и игрушки, особенно

любимы глиняные свистульки. Иногда продают и деревянные ложки. Все это привозят из района Онеги. Лодки и барки чуть-чуть покачиваются. Нева течет, покачиваясь мачтами шхун, боками барж, яликами, перевозящими через Неву за копейку, и буксирами, кланяющимися мостам трубами (под мостом трубы полагалось наклонять к корме). Есть места, где качается целый строй, целый лес: это мачты шхун – у Крестовского моста на Большой Невке, у Тучкова моста на Малой Неве.

Есть что-то зыбкое в пространстве всего города. Зыбка поездка в пролетке или в извозчичьих санках. Зыбки переезды через Неву на яликах (от Университета на противоположную сторону к Адмиралтейству). На булыжной мостовой потряхивает. При въезде на торцовую мостовую (а торцы были по «царскому» пути от Зимнего к Царскосельскому вокзалу, на Невском, обеих Морских, кусками у богатых особняков) потряхивание кончается, ехать гладко, пропадает шум мостовой.

Барки, ялики, шхуны, буксиры снуют по Неве. По каналам барки проталкивают шестами. Интересно наблюдать, как два здоровых молодца в лаптях (они упористее и, конечно, дешевле сапог) идут по широким бортам барки от носа к корме, упираясь плечом в шест с короткой перекладинкой для упора, и двигают целую махину груженной дровами или кирпичом барки, а потом идут от кормы к носу, волоча за собой шест по воде.

Архитектура заслонена. Не видно реки и каналов. Не видно фасадов за вывесками. Казенные дома в основном темно-красного цвета. Стекла окон поблескивают среди красных дворцовых стен: окна мылись хорошо и было много зеркальных окон и витрин, полопавшихся впоследствии во время осады Ленинграда. Темно-красный Зимний, темно-красный Генеральный штаб и здание Штаба гвардейских войск. Сенат и Синод красные. Сотни других домов красные – казарм, складов и различных «присутственных мест». Стены Литовского замка красные. Эта страшная пересыльная тюрьма – одного цвета с дворцом. Только Адмиралтейство не подчиняется, сохраняет самостоятельность – оно желтое с белым. Остальные дома также выкрашены добротно, но в темные тона. Трамвайные провода боятся нарушить «право собственности»: они не крепятся к стенам домов, как сейчас, а опираются на трамвайные столбы, заслоняющие улицы. Что улицы! – Невский проспект. Его не видно из-за трамвайных столбов и вывесок. Среди вывесок можно найти и красивые, они карабкаются по этажам, достигают третьего – повсюду в центре: на Литейном, на Владимирском. Только площади не имеют вывесок, и от этого они еще огромнее и пустыннее. А в небольших улицах висят над тротуарами золотые булочные крендели,

золотые головы быков, гигантские пенсне и пр. Редко, но висят сапог, ножницы. Все они огромные. Это тоже вывески. Тротуары перегорожены подъездами: козырьками, держащимися на металлических столбиках, опирающихся на противоположный от дома край тротуара. По краю тротуара нестройные ряды тумб. У очень многих старых зданий встречаются вместо тумб вкопанные старинные пушки. Тумбы и пушки оберегают прохожих от наезда телег и пролеток. Но все это мешает видеть улицу, как и керосиновые фонари единого образца с перекладиной, к которой прислоняют фонарщики свои легкие лесенки, чтобы зажечь, потушить, снова зажечь, потушить, заправить, почистить.

В частые праздники – церковные и «царские» – вывешиваются трехцветные флаги. На Большой и Малой Морских трехцветные флаги свешиваются на перетянутых через улицы от дома к противоположному канатах.

Но зато какие красивые первые этажи главных улиц. Парадные двери содержатся в чистоте. Их полируют. У них красивые начищенные медные ручки (в Ленинграде их снимут в 20-е годы в порядке сбора меди для Волховстроя). Стекла всегда чистые. Тротуары чисто метут. Они украшены зелеными кадками или ведрами под водосточными трубами, чтобы дождевая вода меньше выплескивалась на тротуары. Дворники в белых передниках выливают из них воду на мостовую. Из парадных изредка появляются швейцары в синих с золотом ливреях – передохнуть воздухом. Они не только в дворцовых подъездах – но и в подъездах многих доходных домов. Витрины магазинов сверкают чистотой и очень интересны – особенно для детей. Дети оттягивают ведущих их за руки мам и требуют посмотреть в игрушечных магазинах оловянных солдатиков, паровозики с прицепленными вагончиками, бегущие по рельсам. Особенно интересен магазин Дойникова в Гостином Дворе на Невском, славящийся большим выбором солдатиков. В окнах аптек выставлены декоративные стеклянные вазы, наполненные цветными жидкостями: зелеными, синими, желтыми, красными. По вечерам за ними зажигают лампы. Аптеки видны издалека.

Особенно много дорогих магазинов по солнечной стороне Невского («солнечная сторона» – это почти официальное название четных домов Невского). Запомнились витрины магазина с поддельными бриллиантами – Тэта. Посередине витрины устройство с вечно крутящимися лампочками: бриллианты сверкают, переливаются.

Асфальт – это теперь, а раньше – тротуары из известняка, а мостовые булыжные. Известняковые плиты добывались с большим трудом, но зато выглядели красиво. Еще красивее огромные

гранитные плиты на Невском. Они остались на Аничковом мосту. Многие гранитные плиты перенесены сейчас к Исаакию. На окраинах бывали тротуары из досок. Вне Петербурга, в провинции, под такими деревянными тротуарами скрывались канавы, и, если доски изнашивались, можно было угодить в канаву, но в Петербурге даже на окраинах тротуары с канавами не делались. Мостовые по большей части были булыжные, их надо было держать в порядке. Летом приезжали крестьяне подрабатывать починкой булыжных мостовых и сооружением новых. Надо было подготовить грунт из песка, утрамбовать его вручную, а потом вколачивать тяжелыми молотками каждый булыжник. Мостовщики работали сидя и обматывали себе ноги и левую руку тряпками, случайно можно было попасть себе молотком по пальцам или по ногам. Смотреть на этих рабочих без жалости было невозможно. А ведь как красиво подбирали они булыжник к булыжнику, плоской стороной кверху. Это была работа на совесть, работа художников своего дела. В Петербурге булыжные мостовые были особенно красивы: из разноцветных обкатанных гранитных камней. Особенно нравились мне булыжники после дождя или поливки. О торцовых мостовых писалось много – в них также была своя красота и удобство. Но в наводнение 1924 года они погубили многих: всплыли и потащили за собой прохожих.

Цвет конок и трамваев легко забудется. Цветной фотографии еще не было, а на картинах они не так часто изображались: поди ищи! Конки были довольно мрачные по цвету; темно-сине-серые с серыми деталями. А трамваи очень оживляли город: они были покрашены в красный и желтый цвет, и краски были всегда яркие и свежие.

Сперва трамваи ходили по одному, прицепных не было. Оба конца не различались, и на обоих было поставлено управление. Доехав до конечной станции, кондуктор сходил с передней площадки, снимал снаружи большой белый круг, означавший перед, и переносил его назад; там ставил. Во время Первой мировой войны понадобились прицепные вагоны: население увеличилось. Вагоны конки переделывались: снимались империалы и перекрашивались в желтый и красный цвет, и их прицепляли к моторным вагонам, вскоре исчезли и белые круги для обозначения передней части: перед был виден и так. Но ехать в прицепном вагоне было неприятно: в них трясло, скорость для них была необычной и плохо закрепленные стекла отчаянно дребезжали.

Кстати, площадки трамваев были открытыми: летом ехать – удовольствие, зимой – холодно. Но все военные и революционные

годы пассажиры набивались в вагоны, висели на ступеньках, держась за поручни, висели на «колбасе» и иногда разбивались о трамвайные столбы.

Звуки Петербурга! Конечно, в первую очередь вспоминаешь цокание копыт по булыжной мостовой. Ведь и Пушкин писал о громе Медного Всадника «по потрясенной мостовой». Но цокание извозчичьих лошадей было кокетливо-нежным. Этому цоканию мастерски умели подражать мальчишки, играя в лошадки и щелкая языком. Игра в лошадки была любимой игрой детей. Цокание копыт и сейчас передают кинематографисты, но вряд ли они знают, что звуки цокания были различными в дождь или в сухую погоду. Помню, как с дачи, из Куоккалы, мы возвращались осенью в город и площадь перед Финляндским вокзалом была наполнена этим «мокрым цоканием» – дождевым. А потом – мягкий, еле слышный звук катящихся колес по торцам и глуховатый «вкусный» топот копыт по ним же – там, за Литейным мостом. И еще покрикивание извозчиков на переходящих улицу: «Э-эп!» Редко кричали «берегись» (отсюда – «брысь»): только когда лихач «с форсом» обгонял извозчичью пролетку. Ломовые, размахивая концом вожжей, угрожали лошадям (погоняли их) с каким-то всасывающим звуком. Кричали газетчики, выкликали названия газет, а во время Первой мировой войны и что-нибудь из последних новостей. Приглашающие купить выкрики («пирожки», «яблоки», «папиросы») появились только в период нэпа.

На Неве гудели пароходы, но характерных для Волги криков в рупоры в Петербурге не было: очевидно, было запрещено. По Фонтанке ходили маленькие пароходики Финляндского пароходного общества с открытыми машинами. Виден был кочегар. Тут и свист, и шипение пара, и команды капитана.

Одним из самых «типичных» уличных звуков Петербурга перед Первой мировой войной было треньканье трамваев. Я различал четыре трамвайных звонка. Первый звонок – перед тем как трамваю тронуться. Кондуктор (до войны – всегда мужчина в форме) на остановках выходил с задней площадки, пропускал всех садящихся вперед, сам садился последним и, когда становился на ступеньку вагона, дергал за веревку, которая шла от входа к звонку у вагоновожатого. Получив такой сигнал, вагоновожатый трогал вагон. Эта веревка шла вдоль всего вагона по металлической палке, к ней были прикреплены кожаные петли, за которые могли держаться стоящие в трамвае. В любом месте трамвая кондуктор мог позвонить вагоновожатому. И это был второй тип звонка. Вагоновожатый предупреждал неосторожных прохожих с помощью еще одного звонка,

действовавшего от ножной педали. Здесь вагоновожатый звонил иногда довольно настойчиво, и звук этот часто слышался на улицах с трамвайными линиями. Потом появились и электрические звонки. Довольно долго ножные педальные звонки действовали одновременно с ручными электрическими. Грудь кондуктора была украшена многими рулонами с разноцветными билетами. Билеты разных цветов продавались по «станциям» – на участки пути, и, кроме того, были белые пересадочные билеты, с которыми можно было пересесть в определенных местах на другой маршрут. Все эти маршруты указаны в старых путеводителях по Петербургу. Время от времени, когда кончался тот или иной отрезок пути и надо было брать новый билет, кондуктор громко возглашал на весь вагон: «Желтым билетам станция!», или «Зеленым билетам станция!», или «Красным билетам станция!». Интонации этих «возглашений» запомнились мне на всю жизнь: в школу я ездил на трамваях.

Очень часто были слышны на улицах звуки военных оркестров. То полк шел по праздникам и воскресным дням в церковь, то хоронили генерала; ежедневно шли на развод караула к Зимнему преображенцы или семеновцы. На звуки оркестра сбегались все мальчишки: потребность в музыке была большая. Особенно интересно было, когда выделенные для похорон войсковые подразделения возвращались с кладбища: тогда полагалось играть веселую музыку. С веселыми маршами шли и в церкви, но, разумеется, не в Великий пост. Были и «тихие звуки»: звенели шпоры военных. За звоном своих шпор офицеры следили. Шпоры часто делались серебряными. На Невском и на прилегающих улицах (особенно у Гостиного на углу Невского и Садовой) торговцы продавали детям надутые легким газом взлетавшие шарики: красные, зеленые, синие, желтые и самые большие – белые с нарисованными на них петухами. Около этих продавцов всегда было оживление. Продавцов всегда было издали видно по клубившимся над их головами связкам веселых шариков.

В моем детстве на улицах уже не продавали сбитень, но отец помнил и любил рассказывать о сбитне. Он хорошо подкреплял прохожих, особенно в мороз. Сбитенщик закутывал самовар в особый ватник, чтобы не остыл, и носил его на спине, а кран открывал из-под левого локтя. Сбитень – это смесь кипятка с медом и разными специями, чаще всего с корицей. По словам отца, сбитенщики в старину кричали: «Сбитню горячего!» Я запомнил со слов отца: не «сбитня», а именно «сбитню».

А по утрам с окраин города, особенно с Выборгской стороны, доносились фабричные гудки. Каждый завод можно было узнать

по гудку. Гудели три раза, созывая на работу, – не у всех были часы. Эти гудки были тревожными, призывными…

Зимой – самые элегантные сани с воронымиконями под темной сеткой, чтобы при быстрой езде в седоков не летели комья снега из-под копыт. Простые извозчичьи сани были тоже красивыми.

Как ребенка, меня всегда тянуло заглянуть за фасады домов: что там? Но об этом я больше узнавал из рассказов взрослых. Магазины, впрочем, помню – те, в которые заходил с матерью: «колониальные товары» (кофе, чай, корица, еще что-то), «бакалея», «суровский магазин» (ткани, нитки), «булочные», «кондитерские», «писчебумажные». Сло́ва «продукты» в нынешнем значении не было («продукты» – только продукция чего-то; «продукты сельского хозяйства» стали говорить на моей памяти). На рынок ходили за «провизией». Продавцы назывались приказчиками. Помню дисциплину этих приказчиков в магазине «Масло». Стояли они на шаг назад от прилавка, заложив руки за спину. При появлении покупателя приказчик делал шаг ему навстречу и опускал руки. Это невольно заставляло покупателя к нему подойти. Масло и сыр давали пробовать на кончике длинного ножа.

Первые кинематографы. Совсем забыли, что на узкой Офицерской против нашего дома был кинематограф «Мираж». Он был сделан из нескольких магазинов, соединенных вместе. Но по субботам мы всей семьей ездили на Невский в кинематограф «Солейль». Он помещался в том же доме, что и «Пассаж», – около Садовой. Этот кинематограф был сделан из нескольких квартир, соединенных вместе. Кроме основной картины (помню «Сто дней Наполеона», «Гибель „Титаника“» – это документальный фильм, оператор снимал всю пароходную жизнь и продолжал снимать кораблекрушение до того момента, когда погас свет, а потом снимал даже в спасательной лодке), обязательно давалась комическая (с участием Макса Линдера, Мациста и др.) и «видовая». Последняя раскрашивалась часто от руки – каждый кадр, и непременно в яркие цвета: красный, зеленый – для зелени, синий – для неба. Однажды были на Невском в «Парижиане» или «Пикадилли» – не помню. Поразили камердинеры в ливреях и чуть ли не в париках.

Родители часто брали меня с собой в Мариинский театр. У родителей было два балетных абонемента в ложе третьего яруса. Спектакли были праздниками. На праздничность они и были рассчитаны. Снобы-офицеры приходили, как правило, ко второму акту. В «Дон Кихоте» пропускали пролог. В антрактах красовались у барьера оркестра, а после спектакля офицеры стояли у

артистического выхода перед подъездом, рассматривая дам.

На Страстной и к пасхальной заутрене ходили на Почтамтскую улицу в домовую церковь Главного управления почт и телеграфов, где служил отец столоначальником. Пальто снимали в гардеробе, поднимались на второй этаж. Паркетные полы в церкви были хорошо натерты. Электричество спрятано за карнизы, и лампады горели электрические, что некоторые ортодоксально настроенные прихожане осуждали. Но отец гордился этим нововведением – это был его проект. Когда входила семья (наша или другая), служитель сразу нес венские стулья и ставил позади, чтобы в дозволенных для того местах службы можно было присесть отдохнуть. Позже я узнал, что в ту же церковь ходила и семья Набоковых. Значит, мы встречались с Владимиром. Но он был старше меня.

Неравенство жителей Петербурга бросалось в глаза. Когда возводились дома, строители носили кирпичи на спине, быстро поднимаясь по доскам лесов с набитыми на доски планками вместо ступеней. По черным лестницам доходных домов дворники носили дрова тоже на спине, ловко забирая дрова со специальных козел, стоявших во дворе. Во двор приходили старьевщики-татары; кричали «халат-халат!». Заходили шарманщики, и однажды я видел «петрушку», удивляясь ненатуральному голосу самого Петрушки (петрушечник вставлял себе в рот пищик, изменявший его голос). Ширма у петрушечника поднималась от пояса и закрывала его со всех сторон: он как бы отсутствовал.

Ходили мы смотреть столетних гренадер из Золотой роты у памятника Николаю Первому. Это были солдаты, служившие еще Николаю Первому. Их, оставшихся, собирали со всей России и привозили в Петербург. Ходили мы и на разводы караула к Зимнему. Вся церемония происходила во дворе на специальной платформе, мы ее не видели. Но на развод семеновцы и преображенцы шли с музыкой, игравшей бравурные марши – оглушительно под аркой Генерального штаба, отзывавшейся эхом.

Петербург был городом трагической и скрытой (во дворцах и за вывесками) красоты. Зимний – сплошь темный ночами (государь с семьей жили в Александровском дворце в Царском Селе). Веселое рококо дворца теряло свою кокетливость, было тяжелым и мрачным. Напротив дворца утопала во тьме крепость-тюрьма. Взметнувшийся шпиль собора – и меч и флюгер одновременно – кому-то угрожал. Вьющиеся среди регулярно распланированных улиц каналы нарушали государственный порядок города. В Александровском саду против Адмиралтейства существовали разные развлечения для детей (зимой катания на

оленях, летом – зверинец и пруды с золотыми рыбками), среди дворцов – словно под присмотром бонн и гувернанток. Марсово поле пылило в глаза при малейшем ветре, а Михайловский замок словно прищуривался одним среди многих единственным замурованным окном комнаты, где был задушен император Павел.

О старом Петербурге вспоминает В. Вейдле в книге «Зимнее солнце». Дом, принадлежавший Вейдле, находился на Большой Морской около арки Генерального штаба. Если идти по левой стороне от арки Генерального штаба, то первый дом № 6 – гостиница «Франция» с рестораном «Малый Ярославец», а дальше французская булочная с круассанами и шоссонами – такими же, как в Париже. Французские булки из Испании – там они тоже назывались «французскими», но во Франции не пеклись. Затем ювелир Боли́н со швейцаром. На углу табачная лавочка. Тут же посыльные в красных фуражках. Напротив дом мебельной фабрики Тонет – фабрика венских стульев, легких и удобных.

Перейдя Невский – закусочная Смурова. В бельэтаже – Английский магазин, где продавалось английское темно-бурое глицериновое мыло. На Невском напротив «Цветы из Ниццы», даже зимой. Наискось от сигар – «Дациаро: поставщик всего нужного для художеств». Над ним «Генрих Циммерман» (для музыкантов). Посредине возле окон второго этажа над улицей на чугунном укрепе «Павел Буре» – часы, показывавшие точное время.

Далее по Большой Морской ресторан Кюбб с тяжелыми кремовыми гардинами. Это, по воспоминаниям Юлии Николаевны Данзас, единственный ресторан такого хорошего тона, что туда можно было зайти приличной даме без сопровождения кавалера. Затем магазин Мюллера – лучших сундуков и саквояжей. В 1916 году драгоценности Эрмитажа решили эвакуировать в чемоданах этой фирмы. Хранитель – барон Фелькерзам.

На гранитной облицовке по Большой Морской было золотыми буквами начертано «Fabergé». Напротив – важный портной Калина́. Далее Большая Морская встречалась с Мойкой Реформатской киркой (перестроена ныне в Дом связи).

М. Добужинский пишет в своих «Воспоминаниях», что его жена «была одета с „петербургским“ вкусом в темно-синее, носила маленькую изящную шляпку с вуалькой в черных мушках и белые перчатки». «Часто на улицах я видел, – продолжает Добужинский, – как она обращает на себя внимание, выделяясь среди старомодных немок, как „иностранка“». О петербургских

элегантных дамах пишет и Вадим Андреев в своих воспоминаниях «Отец». Рассказывал мне о них с восхищением и известный библиограф А. Г. Фомин. Он особенно подчеркивал изящество походки. Когда я был в Белграде в 1964 году, профессор Радован Лалич указал мне на одну пожилую даму: «Сразу видна русская из Петербурга». Почему «сразу»? Держалась очень прямо и имела прекрасную легкую походку.

Ночная жизнь была типична для петербургской интеллигенции: петербургский «noctambulisme» («лунатизм»). «Монд» ложился не ранее трех часов ночи. Редко поднимались раньше 11 утра. От этого процветали ночные кабачки, и «Бродячая собака» в особенности. Здесь было «le rendez-vous des distingués» («встреча избранных»).

Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого века [18]

Как известно, старые города имели социальную и этническую дифференциацию отдельных районов. В одних районах жила по преимуществу аристократия (в дореволюционном Петербурге аристократическим районом был, например, район Сергиевской и Фурштатской), в других мелкое чиновничество (район Коломны), в третьих рабочие (Выборгская сторона и другие районы заводов, фабрик и окраины). Довольно компактно жили в Петербурге немцы (Васильевский остров: см. роман Н. Лескова «Островитяне»; немцы населяли отдельные пригороды – Гражданку, район Старого Петергофа, район в Царском Селе и пр.). Этими же чертами отличались и дачные местности (например, на Сиверской жило богатое купечество; квалифицированные мастеровые жили на даче с дешевым пароходным сообщением – по Неве, а также на Лахте, в Келломяках около Сестрорецкой узкоколейной железной дороги, и пр.). Были районы книжных магазинов и «холодных букинистов» (район Литейного проспекта, где со времен Н. А. Некрасова располагались и редакции журналов), кинематографов (Большой проспект Петербургской стороны) и др.

Социальной и национальной топографии Петербурга посвящено довольно много очерков, выросших на основе «физиологических очерков» в середине XIX века и продолжавших появляться вплоть до 1917 года.

Обращает на себя внимание попытка Н. В. Гоголя в повести «Невский проспект» обрисовать смену социального лица Невского проспекта в разные часы дня и ночи.

Моя задача состоит в том, чтобы наметить наличие в Петербурге в первой четверти XX века районов различной творческой активности.

Четкая «интеллектуальная граница» пролегала в Петербурге первой четверти XX века по Большой Неве. По правому берегу, на Васильевском острове, располагались учреждения с традиционной академической научной и художественной направленностью – Академия наук с Пушкинским Домом, Азиатским музеем, Кунсткамерой, Библиотекой Академии наук, являвшейся в те годы значительным научным центром, Академия художеств, Университет, Бестужевские курсы и… ни одного театра, хотя именно здесь, на Васильевском острове, на Кадетской линии с 1756 года стал существовать первый профессиональный театр – Театр Шляхетского корпуса – того корпуса, где учились М. М. Херасков, Я. Б. Княжнин, В. А. Озеров и др.

Иным был интеллектуальный характер левого берега Большой Невы. Здесь в соседстве с императорскими дворцами и особняками знати нашли себе место не только императорские театры, кстати сказать не чуждые экспериментов (достаточно напомнить интенсивную балетную деятельность Мариинского театра, постановки В. Э. Мейерхольда в Мариинском и Александринском театрах, театральную активность Малого драматического театра на Фонтанке и Михайловского театра в начале 20-х годов). На левом берегу Большой Невы на Большой Морской находился и выставочный зал Общества поощрения художеств. У Таврического сада существовала знаменитая «Башня» Вячеслава Иванова с журфиксами, на которых бывал весь интеллектуальный Петербург и даже осуществлялись небольшие постановки и интересные выступления. На Литейном проспекте ее сменил известный «Дом Мурузи», где собирались поэты. На Надеждинской (теперь Маяковского) располагался Союз поэтов. На Троицкой улице функционировал «Зал Павловой», где выступал Маяковский. На Моховой улице в зале Тенишевского училища происходили дискуссии, в частности формалистов с «академистами». В зале городской думы выступали поэт А. Туфанов и художник К. С. Малевич и были, если не ошибаюсь, постановки Экспериментального театра. В Калашниковской бирже выступал Маринетти при своем приезде в Петербург. Городская дума и Соляной городок были центрами интеллектуальной активности с конца XIX века. У Нарвских ворот были выступления Молодежного экспериментального театра. На левом же берегу Большой Невы в 1909–1911 годах существовал театрик «Голубой глаз», где впервые была поставлена

«Незнакомка» А. Блока. Некоторое время существовало артистическое кабаре «Летучая мышь» (см.: А. Кугель. «Артистические кабачки». – «Театр и искусство», 1906, № 33). Значительную роль играл на левом берегу Драматический театр В. Ф. Комиссаржевской (1904–1910), в обиходе называвшийся «театром на Офицерской». В другом «театре на Офицерской», располагавшемся на пустыре в деревянном строении, была осуществлена постановка оперы «Победа над солнцем» (Крученых, Малевич, Матюшин). На левом же берегу существовало возглавлявшееся А. Р. Кугелем «Кривое зеркало» (1908–1910–1918; возобновлено в 1922–1928), кроме того – «Старинный театр» (1911–1912). Напомним и о знаменитом артистическом кабаре на Михайловской площади – «Бродячая собака» (1910–1912) и сменившем «Собаку» «Привале комедиантов» на Марсовом поле. Там же, на Марсовом поле, существовало «Художественное бюро» Н. Е. Добычиной, где были художественные выставки и первое выступление супрематизма в 1915–1916 годах. Почти все выставки «Союза молодежи», в которых участвовали и петербургские и московские молодые художники, проходили на левом берегу – главным образом в районе Невского проспекта.

К институтам, находившимся на Исаакиевской площади, мы еще вернемся. Обращаясь к правобережной части Большой Невы, отметим, что на Петербургской стороне, помимо улицы кинематографов – Большого проспекта и Народного дома со случайной, эпизодической творческой активностью, существовал Каменноостровский проспект (ныне Кировский) с сетью ресторанов дурного вкуса, преимущественно для «фармацевтов» (так называли в «Собаке» богатых буржуазных посетителей): «Аквариум», «Вилла Эрнест», «Вилла Родэ» (последний – ресторан с цыганами на отрезке Каменноостровского уже в Новой Деревне). Из немногих поздних интеллектуальных исключений на Петроградской стороне – это дом художника Михаила Матюшина и Елены Гуро на Песочной (ныне Попова) улице на левом берегу Малой Невы. Здесь бывали Филонов, Крученых, Бурлюки и многие другие. На Большой Пушкарской улице интерес представляло в начале 20-х годов «Общество художников», помещавшееся в деревянном доме с выставочным помещением, где была, кстати, выставка П. Н. Филонова (среди произведений последнего помню знаменитую картину «Формула пролетариата»).

Представляется любопытным следующий факт. А. А. Блок ни разу, по всем данным, в отличие от Л. Д. Блок, не бывал в «Бродячей собаке». Зато его любимыми прогулками, даже после

переезда на Офицерскую, были на правом берегу, по Большой Зелениной с мостом, ведшим на Крестовский остров (здесь, на Большой Зелениной улице, происходит действие его «Незнакомки» и, как утверждает Л. К. Долгополов, действие «Двенадцати»; см. факсимильное переиздание: Александр Блок. «Двенадцать». Рисунки Ю. Анненкова, Алконост. Петербург, 1918, с. 5 и далее). Любимыми прогулками Блока являлись и другие места на правом берегу Большой Невы – Новая Деревня, Лесной, Парголово, Озерки, но не дальше устья Сестры-реки (о северном береге Финского залива – ниже). Блок не любил изысканно-интеллектуальной публики.

Теперь перейдем к самому важному для литературоведов и искусствоведов факту. На левом берегу Невы на Исаакиевской площади располагались два центра интеллектуальной жизни Петербурга – Ленинграда: Институт истории искусств (в разговорном названии – «Зубовский институт») и через дом от него на углу Почтамтской (ныне Союза Связи) улицы – «Дом Мятлевых». История и значение Института истории искусств достаточно хорошо известны и в данных заметках не нуждаются в освещении. Между тем не менее важен для интеллектуальной жизни города «Дом Мятлевых», история которого за первые годы советской власти известна литературоведам мало.

Вот некоторые факты. В «Доме Мятлевых» в 1918 году был организован Отдел народного просвещения, вошедший затем в состав Комиссариата народного просвещения до переезда советского правительства в Москву. Здесь бывал и руководил А. В. Луначарский. Тогда же усилиями Н. И. Альтмана здесь был создан первый в мире Музей художественной культуры (открыт в 1919 году). В экспозиции находились произведения Кандинского, Татлина, Малевича, Филонова, Петрова-Водкина. На базе музея по инициативе П. Н. Филонова здесь в 1922 году были организованы исследовательские отделы музея. В следующем году отделы были преобразованы в Институт художественной культуры (директором был К. С. Малевич, живший в том же доме с входом из подворотни с Почтамтской улицы; в его квартире собирались художники и поэты – бывал В. Хлебников, приходили М. Матюшин с Эндерами, поэты-обэриуты; заместителем К. С. Малевича был Н. Н. Пунин). В институте были отделы: живописной культуры (руководил К. С. Малевич), материальной культуры (руководил М. В. Матюшин), Отдел общей идеологии (первоначально руководил П. Н. Филонов, его сменил Н. Н. Пунин). Экспериментальным отделом руководил П. А. Мансуров. В 1923 году в «Доме Мятлевых» в годовщину смерти В. Хлебникова была поставлена Татлиным «Зангези» с

«хлебниковской» выставкой П. В. Митурича. В 1925 году этот институт, утвержденный Советом народных комиссаров, стал именоваться Государственным институтом художественной культуры (ГИНХУК; не смешивать с московским ИНХУКом).

В 1926 году в институте была организована последняя художественная выставка, на которую пришел некий критик Серый (Гингер) и, возмущенный недружелюбным приемом Татлина (последний, стоя в дверях, не пропустил Серого, явившегося на следующий день переодетым), выступил с резкой и несправедливой критикой в газете. В конце того же 1926 года институт был закрыт, Н. Н. Пунин передал материалы музея в Государственный Русский музей, а Н. М. Суетин, А. А. Лепорская, М. В. Матюшин, К. С. Малевич перешли в соседний Институт истории искусств и здесь организовали «Лабораторию изучения формы и цвета».

Из изложенного ясно, что правый и левый берег Большой Невы резко различались между собой в интеллектуальном отношении, настолько, что попытки Ф. Сологуба и А. Чеботаревской организовать на Петербургской стороне собственное артистическое кабаре не увенчались успехом с самого начала.

Впрочем, различие между правым и левым берегом Большой Невы не выходило за пределы ее устья. Правый и левый (южный) берег Финского залива резко расходились по своему значению. На южном (левом) берегу располагались дачные места, где в окружении исторических дворцов жили по преимуществу художники с ретроспективными устремлениями (вся семья Бенуа – Николай, Леонтий, Александр; семья Кавос; Е. Е. Лансере, К. А. Сомов, А. Л. Обер, бывал С. Дягилев и пр.). На северном (правом) берегу Финского залива располагались дачные места, где жила по преимуществу интеллигенция, склонная к творческому бунтарству. В Дюнах жил В. Б. Шкловский. В Куоккале были репинские «Пенаты», вокруг которых организовывалась молодежь, жил К. И. Чуковский, были дачи семей Пуни и Анненковых, жил Горький, жил Кульбин, один год жил А. Ремизов в пансионате около «Мельницы», на Сестре-реке. Взрослые и подростки устраивали празднества, спектакли, писали озорные стихи и пародии. В Териокском театре работали В. Э. Мейерхольд, Н. Н. Сапунов, Л. Д. Блок (о Блоке в Териокском театре см.: Собр. соч. в 8 т., т. 7, с. 151 и далее; т. 8, с. 391 и далее). Нельзя и перечислить всего того, чем примечательны в интеллектуальной жизни России северные дачные места Финского залива.

Вернемся в Петроград.

В 1922 году наметился частичный отход В. М. Жирмунского

от Института истории искусств и сближение его с академическим направлением в науке о литературе. В. М. Жирмунский переезжает жить на Васильевский остров (в Горный институт) и начинает больше преподавать в университете на факультете общественных наук по романо-германской секции. Начались острые расхождения, отразившиеся в дискуссиях в зале Училища Тенишевой на Моховой и в Институте истории искусств. На левом берегу Большой Невы В. М. Жирмунского обвиняли в «академизме».

На титульном листе своей «Мелодики русского лирического стиха», вышедшей весной 1922 года, Б. М. Эйхенбаум написал следующее дарственное стихотворение В. М. Жирмунскому:

Ты был свидетель скромной сей работы.
Меж нами не было ни льдов, ни рек;
Ах, Витя, милый друг! Пошто ты
На правый преселился брег?

Б. Эйхенбаум,

2 марта 1922 г.

Книга со стихами Б. М. Эйхенбаума хранится у Н. А. Жирмунской. Различие правого и левого берега Большой Невы ясно осознавалось в свое время.

Итак, в городах и пригородах существуют районы наибольшей творческой активности. Это не просто «места жительства» «представителей творческой интеллигенции», а нечто совсем другое. Адреса художников различных направлений, писателей, поэтов, актеров вовсе не группируются в некие «кусты». В определенные «кусты» собираются «места деятельности», куда тянет собираться, обсуждать работы, беседовать, где обстановка располагает к творческой откровенности (прошу извинения за это новое вводимое мной понятие), где можно быть «без галстуха», быть во всех отношениях расторможенным и в своей среде.

Примечательно, что тяга к творческому новаторству возникает там, где появляется группа людей – потенциальных или действительных единомышленников. Как это ни парадоксально на первый взгляд может показаться, но новаторство требует коллективности, сближений и даже признания, хотя бы в небольшом кружке людей близкого интеллектуального уровня. Хотя и принято считать, что новаторы по большей части люди,

сумевшие подняться над общим мнением и традициями, это не совсем так. К этому стоит приглядеться.

Удивительная «связь времен». Знал ли я, садясь в конке на империал со своей нянькой, чтобы прокатиться в Коломну и обратно, что на остановке против Никольского собора на Екатерингофском я могу заглянуть прямо в окна квартиры Бенуа. Что я буду учиться в старшем приготовительном классе в гимназии Человеколюбивого общества, где первоначально учился и А. Н. Бенуа. Что потом я перейду в гимназию и реальное училище К. И. Мая на Васильевском острове, куда перед тем задолго до меня перешел и он. Что моим любимым местом в Петергофе будет площадка Монплезира со стороны моря, которую и А. Н. Бенуа считал красивейшим местом под Петербургом. Что затем я буду долго и упорно хлопотать об издании в серии «Литературные памятники» его воспоминаний, переписываться с его дочерью Анной Александровной.

И еще. А. Н. Бенуа жил в Лондоне в 1899 году в «Boarding place» на «Montague street», очень вероятно – там же, где я останавливался в 1967 году. Если бы я это знал, я бы совсем иначе отнесся к своей староанглийской гостинице с Библией, детективами на полочке над кроватью и камином, впрочем переделанным на газ. В этой же гостинице, по-видимому, останавливался и Владимир Соловьев, когда приезжал в Лондон работать в библиотеке Британского музея.

Все так близко и рядом. Даже в пространстве истории. Ведь А. Н. Бенуа видел в детстве маленького столетнего старичка – пажа Екатерины II, жившего в одном из служебных корпусов Петергофского дворца.

Связи небольшие, слабые, но они есть, и они удивительны.

До чего же привлекательны для детей обычаи, традиции! На вербную неделю в Петербург приезжали финны катать детей в своих крестьянских санках. И лошади были хуже великолепных петербургских извозчичьих лошадей, и санки были беднее, но дети их очень любили. Ведь только раз в году можно покататься на «вейке»! «Вейка» по-фински значит «брат», «братишка». Сперва это было обращение к финским извозчикам (кстати, им разрешалось приезжать на заработки только в вербную неделю), а потом сделалось названием финского извозчика с его упряжкой вообще.

Дети любили именно победнее, но с лентами и бубенцами – лишь бы «поигрушечнее».

Куоккала

Квартира из пяти комнат стоила половину отцовского жалованья. Весной мы рано уезжали на дачу, отказываясь от квартиры и нанимая в том же районе Мариинского театра осенью. Так семья экономила деньги.

Ездили мы обычно в Куоккалу за финской границей, где дачи были относительно дешевы и где жила петербургская интеллигенция – преимущественно артистическая.

Сейчас мало кто себе представляет, какими были дачные местности и дачная жизнь. Постараюсь рассказать о местности, с которой связано мое детство, – о Куоккале (теперь Репино).

В «Спутнике по Финляндии» К. Б. Грэнхагена о Куоккале сказано мало и сухо: «Куоккала (42 килом. от СПб.). Станция находится в одной версте от берега залива. В летнее время местность густо населена дачниками. Однако скученность построек и отсутствие хороших дорог являются крупным недочетом в ряду прочих более или менее удовлетворительных условий дачной жизни. В особенности плохи дороги к северу от ж.-д. станции. Песчаная местность, покрытая сосновым лесом, в общем вполне пригодна для дачной жизни. Имеются лавки, аптека и даже театр. Лучшие дачи расположены вдоль береговой линии и отдаются внаем за высокую плату. Недорогие дачи находятся к северу от ж.-д. станции. Многие из них также заняты зимою. Имеется прав. церковь». Далее мелким шрифтом напечатано любопытное сообщение: «В последние годы русской революции (имеется в виду революция 1905 года. – *Д. Л.*) здесь находили приют эмигранты, преследуемые русским правительством. Однако после обнаружения в окрестностях Куоккала (Хаапала) „фабрики бомб“ финляндская администрация в силу закона 1826 г. пошла навстречу требованиям русских властей, ввиду чего многие эмигранты были арестованы и доставлены в петербургское охранное отделение».

О Куоккале, как интереснейшей дачной местности Петербурга, я писал и говорил (по телевидению в фильме о К. И. Чуковском «Огневой вы человек»). Здесь жила летом малобогатая часть петербургской интеллигенции. Две дачи принадлежали зимогорам Анненковым (из этой дворянской семьи, сыгравшей большую роль в русской культуре, вышел и художник Юрий Анненков); на самом берегу против Куоккальской бухты была дача Пуни. Владелец ее Альберт Пуни, принявший православие с именем Андрей (поэтому часть его детей были Альбертовичи, а другие – Андреевичи), виолончелист Мариинского театра, был сыном автора балетной музыки и владельцем большого

доходного дома на углу Гатчинской улицы и Большого проспекта Петроградской стороны. Его сын стал известным живописцем во Франции и до конца жизни любил писать пляжи, напоминавшие ему о его счастливом детстве.

Папу встречаем.

Мама с куоккальскими дамами сидит на скамейке, а я, как обычно, хожу, балансируя по рельсине. Рельсовый путь уходит в бесконечность – к Петербургу, откуда должен на поезде приехать отец. Он привезет павловскую гигантскую землянику или еще что-нибудь вкусное, а иногда игрушку: серсо, игрушечную парусную яхточку, заводной пароходик (играть в воде мне особенно нравилось, и сохранилась даже фотография – я на море, по щиколотку в воде, в панамке и коротких штанишках, а у ног парусная игрушечная лодочка).

Жду, смотрю вдаль. И вот появляется мой человечек: пузатенький, с большой головой, в юбочке и курит. Это паровоз поезда. Круглое туловище – это котел. Большая голова – труба с раструбом, она дымится. А странная юбочка (паровоз несомненно мужчина, господин) – это предохранительная сетка, расширяющаяся книзу, к рельсам.

Приближается. Тонко, на заграничный лад, свистит (русские паровозы гудят басом, как пароходы). Потом подкатывает, работая колесами (любимая игра детей моего, пятилетнего, возраста – изображать собой паровоз, двигая локтями, как поршнями). Тянутся вагоны – синие, зеленые и красные, но значение цветов другое, чем русских. Сейчас я уже точно не помню. Кажется, синие вагоны – первого класса. Из синих вагонов выходят первыми финские кондукторы в черной форме, становятся у лесенки и помогают пассажирам выходить. Появляется отец и, целуя маму, рассказывает, с кем ехал. Однажды в окне вагона мне показали барона Мейерхольда, он ехал дальше в Териоки. Чудится, что я его запомнил, и запомнил именно как барона. Как барона его знали и средние дачники – инженеры, чиновники. Другие дачники и зимогоры были художниками: Пуни, Анненковы, Репины и пр. Почему-то они представлялись мне другой породы – итальянцами, брюнетами, заводилами разных забав. Постепенно все разъезжаются на финских двуколках. Несутся двуколки с быстротой ветра, а если пассажиров несколько, финн-хозяин стоит на оси колеса и управляет с ловкостью циркача. Но главное – скорость.

На границе с Оллилой (ныне Солнечное) были репинские «Пенаты». Около «Пенат» построил себе дачу К. И. Чуковский (помог ему в этом – и деньгами, и советами – И. Е. Репин). На

мызе Лентулла по Аптекарской дорожке (теперь ее именуют Аптекарской аллеей) жил Горький. В те или иные летние сезоны жил Маяковский, наезжал Мейерхольд, жил художник и врач Кульбин (он, кстати, лечил и меня), приезжали к Репину Леонид Андреев, Шаляпин, Стасов и многие другие. Некоторых я встречал на Большой дороге – главной улице Куоккалы и в чудесном общедоступном парке сестер Ридингер, о котором не удосужился упомянуть автор путеводителя. По вечерам мы гуляли либо по самому берегу залива, по сырому укатанному волнами песку, либо по бетонной дорожке, которая шла в глубине пляжа около заборов выходивших к морю дач.

Куоккальские дачи имели заборы: всегда деревянные и всегда различные, пестро окрашенные. У заборов останавливались разносчики и финские возки: «молоко, метана, ливки» (финны не произносили двух согласных впереди слова: только вторую согласную). Разносчики часто бывали ярославцы, торговавшие зеленью, булками, пирожными. Корзинки с товарами носили на голове, подкладывая мягкий круг. Цыгане били в котел и кричали: «Лудить, паять…» – и еще что-то третье, что – я уже забыл. За пределами дачной местности часто стоял цыганский табор. Работали честно и честно возвращали заказы.

Если погода безветренная, особенно утром – в предвестии жары, то, прислушавшись, на берегу можно было слышать как бы басовитые гудки: у-у-у, у-у-у, у-у-у! Это в Куоккале слышен на пляже звон большого колокола Исаакиевского собора. Звонят во все колокола, но слышен только большой, самый большой в городе. И в определенный час, пока еще пляж не наполнится людьми, мы бегали к морю послушать Исаакий.

А днем в жару пляж гудел, как улей, роем детских голосов, радостных, испуганных, когда окунались, озорных при игре, но всегда точно приглушенных водой, расплывающихся, нерезких. Эта музыка пляжа слышна и до сих пор, и до сих пор я ее очень люблю.

Но море становилось торжественным и значительным, когда еле слышно через воду долетал звук тяжкого колокола Исаакия. С тех пор я знаю, что такое «пуститься во все тяжкие». И я запомнил двойное значение этого выражения: мы бежали к морю «во все тяжкие» и слышали «тяжкий» колокол Исаакия.

Что за чудо веселья, развлечений, озорства, легкости общения, театральных и праздничных экспромтов была эта Куоккала!

Куоккала была царством детей. На пляже слышался гомон детских голосов. К морю уходили на целый день, брали с собой молоко и завтрак, пропуская обеденное время, принятое зимой, –

в час. Игрушки, весла, спасательные пояса, зонты, купальные костюмы – все это хранилось в деревянных будках, стоявших на берегу иногда в два и даже в три ряда. У каждой дачной семьи была своя будка, часто своя лодка. От пляжа в море шли мостки, с которых было весело кувыркаться в воду. Мостки были и частные, и общественные – за деньги. По воскресеньям на пляже где-нибудь играл оркестр: это значило – было благотворительное представление. Представления были и в куоккальском театре. Небольшой оркестрик из четырех отставных немецких солдат ходил по улицам Куоккалы, останавливался перед какой-нибудь дачей и начинал играть – начинал с «Ойры», любимой финнами песенки. Если им махали рукой, они прекращали игру, но часто мы просили записать – в какой день прийти, играть танцы на дне рождения или на именинах, когда собирались дети со всей округи.

В дни рождения и именин детей иллюминировали сад китайскими фонариками, обязательно жгли фейерверк; впрочем, Горький на своей даче зажигал фейерверки и просто костры без всякого повода. Он любил огонь. Покупали фейерверки в пиротехническом магазине под городской думой на Невском. На такие веселые вечера сбегались дети со всех дач. Дети бегали веселыми стайками по Куоккале и продавали благотворительные значки (в день Ромашки – в пользу туберкулезных, во время Первой мировой войны – в пользу раненых).

Интересы детей, их развлечения господствовали. Взрослые с удовольствием принимали участие в детских играх. Дух озорства проявлялся в местном театре, где выступал иногда и Маяковский, читали Репин, Чуковский, ставились подростками фарсы. Мальчишки пели озорные песни про пупсика, «большую крокодилу», матчиш. И дети и взрослые (иногда вместе, разновозрастными компаниями, а иногда небольшими группами) ходили на длинные прогулки. Раз в лето непременно ходили на музыку в Сестрорецкий курорт (выходили очень рано утром). Чаще ходили «на мельницу»: на Сестре-реке была мельничная запруда (там жил как-то на даче А. Ремизов). «Мельница» (так мы называли всю местность) казалась мне красивейшим местом в мире. Молодежь ездила компаниями на велосипедах.

Вот в этой обстановке расцветала озорная живопись, озорное сочинительство (пьес и стихов), по преимуществу для детей. Без этого детского и юношеского озорства нельзя понять многое в Чуковском, в Репине, в Пуни и в Анненкове.

И какие только национальности не жили в Куоккале: русские, финны-крестьяне, сдававшие дешевые дачи (с финскими мальчиками мы играли в прятки и другие шумные игры),

петербургские немцы, финляндские шведы, петербургские французы и итальянская семья Пуни – с необыкновенно темпераментным стариком Альбертом Пуни во главе, вечным заводилой различных споров, в которых он всегда и вполне искренне выступал как отчаянный русский патриот.

На благотворительных спектаклях стремились поразить неожиданностями. Ставились фарсы, шутили над всеми известными дачниками. Мой старший брат Миша играл в куоккальском театре в фарсе Е. А. Мировича (Дунаева) «Графиня Эльвира». Но были и «серьезные» спектакли. Репин читал свои воспоминания. Чуковский читал «Крокодила». Жена Репина учила травоедению.

Почти все (кроме новичков) были знакомы друг с другом, ходили друг к другу в гости. Создавали благотворительные сборы, детские сады на общественных началах. Взрослые и дети вместе играли в крокет, в серсо, в рюхи. На даче у Пуни большими компаниями катались на гигантских шагах, делали на них «звездочку», при которой «закрученный» другими катающийся взлетал очень высоко – почти вровень с макушкой столба. Пожилые играли в саду в винт и преферанс. Неторопливо беседовали. Церковь была общественным местом, где собирались все, в том числе лютеране и католики, но стояли в ней не всегда полностью всю службу, а выходили на лужайку, где были врыты деревянные скамейки и можно было поговорить, посплетничать. Во время войны Репин стал особенно религиозен и пел на клиросе. Религиозен стал и зять Пуни – Штерн. Он был немцем, но в начале Первой мировой войны переменил фамилию на Астров, принял православие. С Мишей Штерном я дружил.

Одевались весело. Приятельница моей матери Мария Альбертовна Пуни, красивая черноглазая итальянка, носила на щиколотке ноги золотую браслетку (платья к четырнадцатому году поднялись и стали только чуть-чуть нависать над стопой). Девочки Анненковы смущали всех, нося брюки в своем саду. Сам Корней Иванович, вернувшись в 1915 году из Англии, куда он ездил с какой-то делегацией, стал ходить босиком, хотя и в превосходном костюме. А писатели – те все выдумывали себе каждый свои костюмы: Горький одевался по-своему, красавец Леонид Андреев по-своему, Стасов по-своему, Маяковский по-своему… Всех их можно было встретить на Большой дороге в Куоккале (теперь Приморское шоссе), они либо жили в Куоккале, либо приезжали в Куоккалу.

Люди искусства стали для нас всех если не знакомыми, то легко узнаваемыми, близкими, встречаемыми.

Свой куоккальский озорной характер К. И. Чуковский

сохранял до конца жизни. Вот что мне рассказывала старый врач санатория Академии наук «Узкое» Татьяна Александровна Афанасьева. Жил К. И. Чуковский обычно в центральном корпусе, в комнате 26. Возвращаясь с прогулки, ловил ужей, которых в Узком (по-старинному «Ужское») было много. Навешивал ужей себе на шею и на плечи штук по пять, а затем, пользуясь тем, что двери в комнаты не запирались, подбрасывал их отдыхающим и наслаждался их испугом. Не позволял мешать себе во время работы и поэтому вывешивал на дверях своей комнаты плакат: «Сплю». Такой лист висел часов до трех дня. Приезжавшие к Корнею Ивановичу из Москвы ждали, ждали и в конце концов уезжали. Татьяна Александровна рассказывала и о следующей проделке. Бывало, он бросался на колени перед сестрами, приносившими ему лекарства (обычно – травные настойки: сердечные, успокаивающие, снотворные), и умолял их с трагическими жестами забрать лекарства назад.

Давняя подавальщица в столовой Антонина Ивановна тоже хорошо помнит Корнея Ивановича: «Ох и чудил же», а сама смеется.

Веселая и озорная дачная жизнь Куоккалы приобрела в 1914 году тревожные нотки. В сентябре ждали германского десанта в Финляндии. Финские полицейские заколачивали досками вышки дач (дачи в начале века строились непременно с башенками, откуда было видно море). Из фортов Кронштадта доносилась учебная стрельба, которой море придавало какой-то булькающий звук, – точно хлопали открываемые бутылки шампанского. Было видно, как буксиры везли мимо фортов барки со щитами, по которым и шла учебная стрельба.

Сам я озорником не был, но озорников в искусстве любил с мальчишеских лет, разумеется – талантливых озорников. Я в детстве жил в Куоккале недалеко от «Пенат» Репина. Он очень покровительствовал Чуковскому, Пуни, Анненкову, Кульбину. С семьями Пуни и Анненкова наша семья дружила. Помню Мейерхольда, красавца Леонида Андреева. Все они оригинальничали и озорничали, играли в рюхи, запускали змеев на пляже, жгли костры, увлекались фейерверками, домашними театрами, шутливыми выставками. Недавно Д. Н. Чуковский подарил мне афишу выступления куоккальских озорников в местном театре. О Куоккале как о родине европейского авангардизма стоило бы мне написать отдельно. Но тут надо потратить много времени на розыски материалов, а времени становится все меньше и меньше. В студенческие годы огромное впечатление произвели на меня «Столбцы» Н. А. Заболоцкого. Я и до сих пор их очень люблю. Люблю веселое искусство – в том

числе праздничный балет, классический, «мариинский». Люблю веселое искусство природы: цветы, бабочек, тропические растения, водопады, фонтаны и бури (воду во всех ее шумных проявлениях). И еще люблю большие корабли, особенно парусные, «мирные» пушечные выстрелы в 12 часов с Петропавловской крепости.

Летом 1915 года в Куоккале появились новые «зимогоры» – беженцы-поляки. И от них я получил первый урок уважения к другим нациям. Мы, мальчики, дразнили поляков словами «цо́то бе́ндзе» («что-то будет!»), которые они часто произносили в своих тревожных разговорах. И вот однажды изящная полька обернулась к нам с улыбкой и ласково сказала: «Да, мальчики! „Цото бендзе“ – и для вас и для нас в этой войне». Нам стало стыдно. Мы не обсуждали между собой этот случай, но дразнить перестали.

И еще одно сильное впечатление в Куоккале. В Пасхальную неделю, как и во всех русских православных церквах, разрешалось звонить всем и в любое время. Отец и мы, два брата, однажды (приезжали на дачи рано весной) ходили на колокольню звонить. До какой же степени было восхитительно слушать звон под самыми колоколами!

Был в Куоккале один случай, который «прославил» нас с братом среди всех дачников. Ветер дул с берега (самый опасный). Мой старший брат снял синюю штору у нас в детской, водрузил ее на нашей лодке и предложил прокатиться под «парусом» вполне домашнему мальчику – внуку сенатора Давыдова. Домашний мальчик Сережа (он впоследствии после Второй мировой войны работал архитектором-реставратором в Новгороде) пошел к своей бабушке и спросил у нее разрешения прокатиться. Бабушка была франтиха с фиолетовыми глазами, сидела в шелковом платье стального цвета под зонтиком от солнца. Она спросила только – не промочит ли Сережа ноги: в лодке ведь всегда есть на дне вода. Велела Сереже надеть галоши. Сережа надел новые блестящие галоши и сел в лодку. Все это происходило на моих глазах. Поехали. Ветер, тихий, как всегда, у берега, усилился вдали. Лодку погнало. Я наблюдал с берега и увидел: синий парус медленно наклонился и исчез. Бабушка, как была в корсете и с зонтиком, пошла по воде, простирая руки к любимому Сереже. Дойдя до глубокой воды, бабушка с фиолетовыми глазами упала без чувств. А на берегу за загородкой из простыней загорал проректор Петербургского университета – красавец Прозоровский. Он наблюдал за бабушкой и, когда та упала, бросился ее спасать. И – о ужас! – в одних трусах. Он поднял бабушку с фиолетовыми глазами и

понес ее к берегу. А я изо всех сил побежал домой. Подбежав к нашей даче, я замедлил шаг и постарался быть спокойным. Мать спросила, очевидно догадавшись все же, что что-то случилось: «На море все спокойно?» Я немедленно ответил: «На море все спокойно, но Миша тонет». Эти мои слова запомнились и вспоминались потом в нашей семье сотни раз. Они стали нашей семейной поговоркой, когда внезапно что-либо случалось неприятное.

А в море в это время происходило следующее. Домашний мальчик Сережа, конечно, не умел плавать. Брат стал его спасать и велел сбросить галоши. Но Сережа не хотел – то ли чтобы не ослушаться бабушки, то ли потому, что было жаль блестящих галош с медными буковками «С. Д.» («Сережа Давыдов»). Брат пригрозил: «Сбрасывай, дурак, или я сам тебя брошу». Угроза подействовала, а от берега уже гребли лодки и лодки.

Вечером приехал отец. Брата повели на второй этаж пороть, а затем отец, не изменяя своим привычкам, повел нас гулять вдоль моря. Как полагалось, мы с братом шли впереди родителей. Встречные говорили, указывая на моего брата: «Спаситель, спаситель!», а «спаситель» шел мрачный, с зареванной физиономией.

Хвалили и меня за «мудрую» выдержку. А однажды в особенно сильную бурю кто-то из встречных сказал мне: «На море все спокойно, но четыре будки подмыло и опрокинуло». Я немедленно побежал на море смотреть. Бури я люблю и до сих пор, не люблю обманчивого берегового ветра.

Лето длилось бесконечно долго. И в город я возвращался каждый раз повзрослевшим.

И опять «связь времен». Дачевладелец серб А. Шбе́кович, у которого мы снимали дачу последние три года перед революцией, оказывается, переводил «Слово о полку Игореве» на сербский язык. После революции он был югославским консулом в Финляндии и издал свой перевод «Слова» на сербский язык в Гельсингфорсе.

Часть Финского залива, отделенная сейчас от остальной его части дамбой, до сих пор называется Маркизовой лужей: в первые годы XIX века здесь обычно устраивал морские учения маркиз де Траверсе.

Еще о Куоккале

У садовницы-финки, к которой я недавно зашел, чтобы купить цветов для кладбища, я спросил: не помнит ли она пансионат «Юлия» на Церковной улице в Келомяках, где мы

жили, кажется, в 1915 году. «Юлии» она не вспомнила, а о пансионатах и Куоккале мы разговорились. Вот что она рассказывала:

«Когда здесь русские господа жили, как здесь было весело, сколько было праздников. На Троицу, бывало, все березками украшено – даже поезда с березками ходили. На берегу вечерами оркестр играл. Компании водили. В ветреную погоду змеи пускали. А теперь есть ли змеи? А тогда и взрослые и дети пускать змеи любили. На Иванов день костры жгли, бочки со смолой. В крокет играли. А теперь и крокет забыли. Наверное, и не продается? На станции встречать поезда ходили. Около всех станций садики были. С поезда разъезд был. Много таратаек ехали. Финские лошадки маленькие, но быстрые и выносливые.

Финны русских господ любили… Русские вежливые были, приветливые».

Когда в первую финскую войну финны отсюда уходили, Александра Яновна спряталась – хотела с русскими остаться. Между двумя финскими войнами ее вывезли куда-то – может быть, в Вологду. Там она замуж вышла. Первую ее дачу отобрали пожарные, но другую дали, и она разводит цветы, ягоды, огурцы. С того и живет. К ней мы постоянно заходим. И с дочерью Верой заходили.

Я был рад поговорить о Куоккале. Мои впечатления совпали с ее. Значит, я не преувеличивал.

24. VI.1984

* * *

В мае 1914 года мы ездили по Волге – от Рыбинска до Саратова и обратно. Мои родители, старший брат Михаил и я. До Рыбинска от Петербурга – поездом. Как ехали поездом – не помню. Смутные впечатления сохранились только от вокзала в Петербурге. Скорее всего, это был Николаевский (теперь Московский). Там, где прибывали и отходили поезда, в крытой части вокзала и где обрывались рельсы, всегда помещалась икона. Отъезжающие молились перед ней. Жарко горели десятки свечей.

Был май месяц. Утром Рыбинск встретил нас дождем и холодом. Мы направились в суровский магазин купить мне длинные чулки, на которые мне надо было сменить мои носочки. Разумеется (дети всегда одинаковы!), мне этого очень не хотелось. Весной надо было быть одетым как можно более легко: таково было мальчишеское франтовство. А тут еще оскорбление в магазине. Приказчица-девушка, которая взялась мне примерить

чулки, обратилась ко мне со словами: «Барышня, дайте мне вашу ножку!» Меня приняли за девочку! Ужас!

В те времена на Волге лучшими пароходными компаниями считались две: «Самолет» (розовые красавцы-теплоходы, с двумя красными полосами на трубе и полукруглым зеркальным стеклом спереди в ресторане) и «Кавказ и Меркурий» (белые суда). Суда «Самолета» ходили от Нижнего до Астрахани. До Нижнего надо было добираться на колесных «кашинских». А суда общества «Кавказ и Меркурий» шли от самого Рыбинска. Мы взяли каюту на одном из судов «Кавказ и Меркурий». На Волге погода потеплела, и мы в первый же день обедали на носу парохода на воздухе. До сих пор помню вкус хлеба и свежих весенних огурцов. Замечали ли вы, что еда на воздухе имеет другой вкус? Гораздо лучший.

Волга тогда была другая, чем сейчас. Я уже не говорю о том, что она была без «морей» и разливов, без плотин и шлюзов. На ней было множество мелких судов разных типов. Буксиры тянули канатами караваны барок. Сплавляли лес плотами. На плотах ставили шатры и даже маленькие домики для плотогонов. Вечером ярко горели костры, на которых плотогоны готовили пищу и у которых сушили выстиранную одежду. Раза два-три встретились красавицы-«беляны». Беляны назывались так потому, что они были некрашеные. Бель – это некрашеное дерево. Эти огромные высокие барки плыли по течению, управлялись длинными веслами. По прибытии в нижнее безлесное течение Волги их разбирали на строительный материал. И строились беляны в верховьях Волги так, чтобы не портить бревна и доски.

Волга была наполнена звуками: гудели, приветствуя друг друга, пароходы. Капитаны кричали в рупоры, иногда – просто чтобы передать новости. Грузчики пели.

Существовали специально волжские анекдоты, где главную роль играли голоса кричавших друг другу с больших расстояний людей, плохо и по-своему понимавших друг друга. Но были и детские байки, и звукоподражания. Помню такое «звукоподражание» перекликающимся друг с другом петухам. Первый петух кричит: «В Костроме был». Второй спрашивает: «Каково там?» Первый отвечает: «Побывай сам». Этот «диалог» довольно хорошо передавал по интонации петушиную перекличку.

А вот сцена, которую я сам наблюдал. Была она в духе Островского. Сел к нам на пароход богатый купец, не устававший хвастаться своим богатством. Встречающиеся плоты он приветствовал, приложив ко рту ладони рупором: «Чьи плоты-те?» С плотов ему непременно отвечали: «Панфилова». Тогда

купчишка с гордостью оборачивался к стоявшей на палубе публике и с важностью говорил: «Плоты-те наши!»

Была и такая сцена. По Волге обычно плавал бывший борец Фосс. Был он огромного роста и необыкновенной толщины. Говорили, что он под рубашку подвязывал себе подушку, чтобы казаться еще толще. Хвастался он дружбой с кем-то из великих князей и поэтому считал себя вправе ни за что не платить. Во время обедов он съедал множество всего. Волжские пароходы славились тогда великолепной кухней, особенно рыбной (стерляди, осетрина, икра паюсная, зернистая, ястычная и пр.).

Фосс сел к нам на пароход вечером в Нижнем. Пассажиры встревожились: будет скандал. А шутники пугали: «Съест все, и ресторан закроют». Капитан знал, однако, как бороться с Фоссом. Отказать Фоссу заказывать блюда было нельзя. Капитан шел на расход. Но когда Фосс отказался платить, ему предложили сойти с парохода. Фосс упрямился. Тогда собрали всех матросов и они, подпирая Фосса с обоих боков, выдавили его. Мы с верхней палубы следили за тем, как выставляли Фосса. Он долго стоял на пристани и сыпал угрозами.

Много пели. Песни слышались с берега. Пели и на нижней палубе, в третьем классе: пели частушки и плясали. Мать не вынесла, когда плясала беременная женщина, и ушла. Вдогонку беременная плясунья спела нам частушку об инженерах (отец неизменно носил инженерскую фуражку).

На пристанях грузчики («крючники») помогали своему тяжелому труду возгласами и пением. Помню, ночью тащили из трюма (пароход был грузопассажирский) какую-то тяжелую вещь; грузчики дружно в такт кричали: «А вот пойдет, а вот пойдет!» Когда вещь сдвинулась, дружно кричали: «А вот пошла, а вот пошла, пошла, пошла!» Этот ночной крик хорошо запомнился мне.

На каждой остановке у пристани собирался маленький базар. Капитан говорил, где и что покупать – где ягоды, где корзины, где икру, где палочки-тросточки. Палочки мы с братом жадно выбирали. Брат купил себе палочку с рукояткой в виде головы турка, а я – с птичкой. Эти палочки долго у нас хранились. Не то эти покупки тросточек были в Кинешме, не то в Плёсе. Помню точно, что берег был очень зеленый, лесистый и круто поднимался вверх.

В Троицу капитан остановил наш пароход (хоть и был он дизельный, но слова «теплоход» еще не было) прямо у зеленого луга. На возвышенности стояла деревенская церковь. Внутри она вся была украшена березками, пол усыпан травой и полевыми цветами. Традиционное церковное пение деревенским хором

было необыкновенным. Волга производила впечатление своей песенностью: огромное пространство реки было полно всем, что плавает, гудит, поет, выкрикивает. В городах пахло рыбой, разного рода снедью, лошадьми, даже пыль пахла ванилью. Люди ходили, громко разговаривая или перебраниваясь, торговцы выкликали свои товары, заманивали покупателей. Мальчишки – продавцы газет выкликали их названия, а иногда и заголовки статей, сообщения о происшествиях. На рынках встречались персы, кавказцы, татары, калмыки, чуваши, мордвины – все одетые по-своему, говорившие на своих языках. В Сарепте и Саратове слышалась немецкая речь.

В Саратове мы пересели на обратный пароход той же компании «Кавказ и Меркурий», которую мы, мальчишки, дружно стали считать лучше бледно-розового пароходства «Самолет».

Как возвращались поездом, не помню. Помню только, что обратный пароход назывался «1812 год» и встретился нам «Кутузов». Это было на 101-й год после Бородинской битвы.

От прежнего остаются картины, своеобразные фотографические снимки. От путешествия по Волге я яснее всего помню одну. Мы сидим с дочкой капитана на ковре в капитанской каюте и играем во что-то скучное (дочка моложе меня, да она и девочка, а я не умею играть в куклы). От палубы нас отделяет решетка от потолка до полу. Родители кричат мне: «Посмотри – Жигули! Соловьи поют». Я вижу через решетку высокий лесистый берег и слышу щелканье соловьев, но мне неловко не играть с дочкой капитана. Я долго потом жалел, что плохо видел и плохо слушал соловьев. Это ощущение упущенной возможности сохранилось и до сих пор. Но может быть, в этом случае мое сознание не «сфотографировало» бы этот вид на Жигули через решетку? И все же я могу сказать про себя с гордостью: «Я видел Волгу».

Крым

Огромную роль в эстетическом воспитании нашей семьи сыграло пребывание на юге. Отец год работал в Одессе (1911–1912), и два лета мы провели в Крыму в Мисхоре. Мне вспоминается запах разогретого на солнце самшита, вид от Байдарских ворот, где помещался тогда монастырь, Алупкинский парк и дворец, купания в Мисхоре среди камней (впоследствии по фотографиям я установил, что это было как раз то место, где перед тем купался после болезни Лев Толстой, спускаясь сюда из имения графини Паниной в Гаспре). Особенно эмоционально воспринималась мною маленькая полянка над морем с

необыкновенно душистыми цветами. Полянку эту все называли «Батарейка», и туда чаще всего мы ходили гулять. Во время Крымской войны там размещалась небольшая батарея, чтобы воспрепятствовать возможному десанту англо-французских войск в Алупке. Здесь для меня все было слито: чувство природы и чувство истории. Последнее появилось у меня в возрасте пяти-шести лет – и прежде всего на памятниках Севастопольской обороны, по которым я любил лазать, и на Малаховом кургане, воображая себя артиллеристом у стоявших среди укреплений орудий; поражение русских войск воспринималось мною уже тогда как личное горе.

Месяцы, проведенные в Крыму, в Мисхоре, в 1911 и в 1912 годах, запомнились мне как самые счастливые в моей жизни. Крым был другой. Он был каким-то «своим Востоком», Востоком идеальным. Красивые крымские татары в национальных нарядах предлагали верховых лошадей для прогулок в горы. С минаретов раздавались унылые призывы муэдзинов. Особенно красив был белый минарет в Кореизе на фоне горы Ай-Петри. А татарские деревни, виноградники, маленькие ресторанчики! А жилой Бахчисарай и романтический Чуфут-Кале! В любые парки можно было заходить для прогулок, а дав на чай лакеям, осматривать в отсутствие хозяев алупкинский дворец Воронцовых, дворец Паниной в Гаспре, дворец Юсуповых в Мисхоре. Никаких особых запретов в отсутствие хозяев не существовало, а так как хозяева почти всегда отсутствовали, то парадные комнаты (кроме сугубо личных) были доступны.

Береговая полоса не могла находиться в частной собственности. От Мисхора по берегу шла бетонированная дорожка до Ливадии, по которой мы всей семьей гуляли по вечерам за маяк Ай-Тодор. Никаких частновладельческих пляжей! По берегу нельзя было пройти только от Мисхора до Алупки, из-за скал. Но по высокой части шла прекрасная дорога. Все эти прогулки прекрасно сохранились в моей памяти благодаря отличным фотографиям отца. Теперь многого уже нет, нет и чудесной дорожки по берегу от Алупки. «Царская тропа» к Ореанде тоже укоротилась и изменила свой вид.

В 60-е годы мы ездили в Дом творчества, в Ялту. После уже не захотелось ехать туда во второй раз – разрушать тот «маленький рай», который еще существовал в моей памяти.

Когда эта заметка была уже написана, я прочел статью Т. Братковой «Город Солнца» («Дружба народов», 1987, № 6). Ее надо прочесть и не забывать: она нужна всем, кто любит Крым.

Может быть, с тех пор у меня начала укрепляться любовь к различным «музеям под открытым небом» – будь то знаменитый

памятник-«пушка» в Одессе, усадьбы-музеи, петровские домики в Петербурге, да и просто маленькие лирические памятники вроде памятника Жуковскому в Петербурге в Александровском саду, где я чаще всего гулял до «вечернего колокольчика» сторожа, когда сад запирался на ночь, или небольших памятников Петру, которых было несколько в Петербурге: например, Петр, мастерящий лодку, – на набережной у Адмиралтейства. Уже тогда в Крыму меня поразили старые деревья в Никитском саду, а в Петербурге во время неизменных праздничных прогулок на Острова я благоговейно смотрел на Петровский дуб, огороженный скромной решеткой. Стоя перед этим дубом, я шептал ему свои заветные желания: например, получить в подарок еще одну лучиночную коробочку с оловянными солдатиками или «настоящую» паровую машину, паровозик, который видел у приятеля. Странно – желания мои исполнялись, и я приписывал исполнение их не внимательности родителей, которые, конечно, о них догадывались, но доброму и всесильному дубу. Язычество проснулось у меня вместе с чувством истории очень рано.

Гимназия Человеколюбивого общества

Осенью 1914 года я поступил в школу – в гимназию Человеколюбивого общества, ту самую, в которой одно время учился А. Н. Бенуа. Она находилась на Крюковом канале против колокольни Чевакинского, недалеко от дома Бенуа – того самого, от которого отходила конка в Коломну. На этой конке я любил ездить со своей нянькой, забравшись на империал. Какой волшебный вид на город открывался с империала!

Учиться я поступил восьми лет и сразу в старший приготовительный класс. Родители выбирали не школу, а классного наставника. И он в этом старшем приготовительном классе был действительно замечательным. Капитон Владимирович! Он был строг, представителен, умен и отечески добр, когда это было можно. Это был воспитатель с большой буквы. Ученики его уважали и любили. Ученики! Но они были со мной совсем другими, и у меня с ними сразу пошли конфликты. Я был новичок, а они уже учились второй год, и многие перешли из городского училища. Они были «опытными» школьниками. Однажды они на меня накинулись с кулачками. Я прислонился к стене и, как мог, отбивался от них. Внезапно они отступили. Я почувствовал себя победителем и стал на них наступать. Но я не видел инспектора, которого заметили они. В результате в дневнике у меня появилась запись: «Бил кулаками товарищей. Инспектор Мамай». Как я был поражен этой несправедливостью! В

другой раз они бросали в меня на улице снежками и подвели к маленькому оконцу, из которого за поведением учеников наблюдал все тот же инспектор Мамай. В дневнике появилась вторая запись: «Шалил на улице. Инспектор Мамай». И родителей вызвали к директору.

Как я не хотел ходить в школу! По вечерам, становясь на колени, чтобы повторять вслед за матерью слова молитв, я еще прибавлял от себя, утыкаясь в подушку: «Боженька, сделай так, чтобы я заболел». И я заболел: у меня стала подниматься каждый день температура – на две-три десятых градуса выше 37. Меня взяли из школы, а чтобы не пропустить год, наняли репетитора. Это была польская школьница-беженка (была зима 1915 года). Маленькая, худенькая. И нанималась она заниматься со мной за плату вместе с обедом. За обеденным столом она казалась совсем маленькой, и отец из жалости к ней подпилил ножки обеденного стола. Потом этот обеденный стол всегда приходилось ставить на стеклянные подножки от рояля, чтобы вернуть ему прежнюю высоту. От этой польской девочки я получил еще один урок национального воспитания. Рассказывая мне русскую историю, она увлеклась и стала говорить про польскую историю, а я взял да и выпалил ей в лицо: «Никакой польской истории нет». Я, очевидно, спутал историю с учебником истории. Учебника истории Польши действительно на русском языке не было. Но польская школьница стала мне возражать и вдруг заплакала. Этих слез мне и сейчас стыдно…

Гимназия и реальное училище К. И. Мая

В 1915 году я поступил в гимназию и реальное училище К. И. Мая на 14-й линии Васильевского острова. К этому времени мой отец получил в заведование электрическую станцию при Главном управлении почт и телеграфов и казенную квартиру при этой станции. День и ночь квартира наша содрогалась от действия паровой машины. Сейчас этой станции и в помине нет. Двор пуст, нет и нашей квартиры. Но тогда посещение станции доставляло мне большое удовольствие. Громадное колесо вращалось поршнем, оно блестело от масла, было необычайно красивым. В училище Мая мне надо было ездить на трамвае, но пробиться в трамвай было чрезвычайно трудно: площадки были забиты солдатами («нижними чинами», как их называли). Им разрешалось ездить бесплатно, но только на площадках вагонов. Жили мы рядом с Конногвардейским бульваром, и я наслаждался тогда вербными базарами, где можно было потолкаться около букинистических ларьков, купить народные игрушки и игрушки специально вербные (вроде «американских жителей», чертей на булавках для прикалывания к пальто, акробатов на трапециях, «тещиных языков» и проч.) и полакомиться вербными кушаньями.

Вербная неделя была лучшей неделей для детей в старом Петрограде, и именно здесь можно было почувствовать народное веселье и красоту народного искусства, привозимого сюда из всего Заонежья.

Ведь Петербург – Петроград не только стоял лицом к Европе, что ощущалось прежде всего в его пестром населении (немцы, французы, англичане, шведы, финны, эстонцы наполняли собой и школу К. И. Мая), но за его спиной находился весь Русский Север с его фольклором, народным искусством, народной архитектурой, с поездками по рекам и озерам, близостью к Новгороду и проч., и проч.

О гимназии и реальном училище К. И. Мая написано много. Есть специальные юбилейные издания, много написано в «Воспоминаниях» А. Н. Бенуа, изданных в серии «Литературные памятники», есть и статья в журнале «Нева» (1983, № 1, с. 142–195). Не буду повторять всего того хорошего, что о ней уже сообщалось; отмечу только, что школа эта сыграла большую роль в моей жизни. Я чувствовал себя там прекрасно и, если бы не трудности дороги, не мог бы и желать лучшего.

Я взрослел и был как раз в таком возрасте, когда особенно тяжело переживаются военные неудачи. Обсуждение военных неудач и всех возмутительных неурядиц в правительстве и в

русской армии занимало изрядное место в вечерних семейных разговорах, тем более что все происходившее было как будто тут же, рядом. Распутин появлялся в ресторанах и домах, которые я видел, мимо которых гулял, солдат обучали совсем рядом на любой свободной площади, спектакли начинались с томительного исполнения всех гимнов союзных России держав, и прежде всего с бельгийского гимна «Барбансон». Национальное чувство и ущемлялось, и подогревалось. Я жил известиями с «театра военных действий», слухами, надеждами и опасениями.

Школа К. И. Мая наложила сильный отпечаток и на мои интересы, и на мой жизненный, я бы сказал, мировоззренческий опыт. Класс был разношерстный. Учился и внук Мечникова, и сын банкира Рубинштейна, и сын швейцара. Преподаватели тоже были разные. Старый майский преподаватель Михаил Григорьевич Горохов обучал нас два года перспективе почти как точной науке; преподаватель географии изумительно рассказывал о своих путешествиях и по России, и за границей, демонстрируя диапозитивы; библиотекарь умела порекомендовать каждому свое. Я вспоминаю те несколько лет, которые я провел у Мая, с великой благодарностью. Даже почтенный швейцар, который приветствовал нас по-немецки, а прощался по-итальянски, учил нас вежливости собственным примером, – как много все это значило для нас, мальчиков!

Учителя не заставляли нас выдавать «зачинщиков» шалостей, разрешали на переменах играть в шумные игры и возиться. На уроках гимнастики мы главным образом играли в активные игры – такие, как лапта, горелки, хендбол (ручной мяч). На школьные каникулы выезжали всей школой в какое-то имение на станцию Струги-Белые по дороге на Псков. Мы выпускали разные классные журналы и даже писали и размножали собственные сочинения в духе повестей Буссенара и Луи Жаколиу без преподавательского надзора.

Я жалею, что не мог ходить на все вечерние занятия и школьные кружки, – уж очень трудная была дорога в переполненных трамваях.

Уроки рисования в училище Мая

Уроки рисования в училище Мая, как я уже сказал, вел наш классный наставник М. Г. Горохов. Он всегда входил в класс серьезный, как бы «выполняющий высокий долг» (а долг его и в самом деле был высоким). Часто читал нам нотации. Учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, и в

частности ныне здравствующего архитектора, а тогда ученика старших классов – Игоря Ивановича Фомина.

Но самое удивительное были уроки рисования М. Г. Горохова. Два года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании училища Мая кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех мест было хорошо видно натуру, а натура состояла для уроков перспективы главным образом из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии. С тех пор я умею замечать ошибки в перспективе.

И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда, они учили уметь работать руками. Даже стирать резинкой неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому М. Г. Горохов нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.

Умный «ручной труд»

В годы Первой мировой войны в училище Мая был введен урок ручного труда. Чем это диктовалось, я не знаю. Но воспитательное значение он имел очень большое.

Сравнительно молодой столяр говорил нам: «Когда работаешь, надо думать». Я это запомнил. Он учил нас, как без гвоздей делать различные деревянные поделки – полки, рамки, табуретки, как делать различные сочленения, чтобы вещь крепко держалась без гвоздей, как выбирать дерево для работы, как обходить сучки, как работать рубанком, полировать. Закончив один какой-то прием, мы переходили к другому. «Ручной труд», так назывался урок, был уроком творчества. От менее сложных приемов мы переходили к более сложным. И хотя в классе было много детей работников отнюдь не ручного труда – уроки эти нам нравились. Единственное, что нам мешало, – это то, что нас было много: человек двадцать, а нашему преподавателю надо было показывать каждому в отдельности. Объяснив нам всем приемы работы, преподаватель ручного труда подходил к каждому из нас (верстаков и столярных инструментов было много) и каждому показывал отдельно – как держать инструмент, как им работать. Многие, конечно, понимали не сразу, стояли и ожидали, пока к ним подойдет наш милый интеллигентный рабочий-столяр.

Ручной труд был трудом умственным и давал нам радость овладения новым.

Само собой, что сделанные нами полочки, коробочки и скамейки мы уносили домой, и сделанным нами гордилась вся семья.

Внешние впечатления

Ни моя семья, ни я, одиннадцати-двенадцатилетний мальчик, разумеется, ничего толком не понимали, что происходит, и происходит почти на наших глазах, так как жили мы на Новоисаакиевской улице вблизи Исаакиевской площади. Семья слабо разбиралась в политике.

Когда в первые дни Февральской революции «гордовики» (так называли в Петрограде городовых) захватили вышку Исаакиевского собора и чердаки гостиницы «Астория» и оттуда обстреливали любую собиравшуюся толпу, мои родители возмущались «гордовиками» и боялись приближаться к этим местам. Но когда «гордовиков» стащили с их позиций и разъяренная толпа убивала их, родители возмущались жестокостью толпы, не особенно входя в дальнейшее обсуждение событий.

Когда мы с отцом ходили на Невский, чтобы посмотреть на непрерывно и, по-видимому, без особой цели маршировавшие под оркестры полки, звуки маршей поднимали нам настроение, но когда эти же полки шли нестройными рядами, мы огорчались, ибо помнили, с каким блеском шел до войны Конногвардейский полк по воскресеньям в свою полковую Благовещенскую церковь, с каким балетным искусством вышагивал впереди командир полка – полковник из русских немцев, как блестели кирасы и каски, как лихо крутил палку тамбурмажор перед оркестром.

Да и до революции… Когда мы с отцом гуляли по Большой Морской и видели, как строят дом и носят тяжести на своих спинах обутые в лапти, чтобы не скользить, крестьяне, приехавшие в город на заработки, – я почти задыхался от жалости и вспоминал с отцом «Железную дорогу» Некрасова. То же самое происходило на любой набережной в местах, где разрешалось разгружать барки с кирпичом и дровами. Здоровенные ка́тали вкатывали быстро-быстро свои тачки с тяжеленным грузом, чтобы взобраться, не останавливаясь, по узким доскам, перекинутым с бортов барж на набережную. Мы жалели каталей, старались представить себе, как они живут в отрыве от семей на этих барках, как замерзают по ночам, как тоскуют по своим детям, ради которых они, в сущности, и зарабатывали свой хлеб тяжелым трудом. Но когда эти же бывшие грузчики и носильщики, мастеровые и мелкие служащие пошли по

бесплатным билетам на балет в Мариинский театр и заполнили собой партер и ложи, родители жалели о былом бриллиантовом блеске голубого Мариинского зала. Единственное, что на тех представлениях радовало родителей, – это то, что балерины танцевали не хуже прежнего. Спесивцева с Люком были так же великолепны, раскланивались перед новой публикой так же, как и перед старой. А ведь как это было замечательно! Какой урок уважения к новому зрителю давал нам всем тогдашний театр!

Жизнь в Первой государственной типографии

Отец был искренне рад и горд, когда рабочие электрической станции в Первой государственной типографии (теперь это «Печатный Двор») выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисаакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню.

Жизнь в типографии меня во многом воспитала. Типографии я обязан своим интересом к типографскому делу. Запах свежеотпечатанной книги для меня и сейчас лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщиками, считавшими себя среди рабочих интеллигентами, носившими длинные волосы (прическа эта называлась «марксистка»), часто писавшими стихи и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом печатные машины, в которых отец один и смог разобраться.

Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города и даже однажды происходил публичный диспут на тему «Есть Бог или нет» между А. В. Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским… Помню парадоксы того времени: толпа верующих после диспута хотела побить именно митрополита, и отец по просьбе начальства спасал его, выведя на другую улицу через черный ход нашей квартиры.

Жизнь в типографии многому меня научила, многое раскрыла, объяснила. Но может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа – небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были эльзевиры, альдины, редчайшие издания XVIII века, собрания альманахов, дворянские альбомы. Библия Пискатора,

роскошнейшие юбилейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей (запомнились письма-надписи на сборниках стихов Есенина, А. Ремизова, А. Н. Толстого и т. д.). Получил отец в подарок и некоторые вещи – посмертную маску, снятую Манизером с головы А. Блока новым способом – так, чтобы голова была цельной, не только лицо. В ней трудно было узнать Блока – совершенно лысый, изможденный, старый. Маска-голова эта пропала.

Библиотека была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на «Печатном Дворе» огромнейшая казенная квартира, в которой мы с братом катались даже на велосипеде. И. И. Ионов получил назначение торгпредом в США и, зная честность отца, существование у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился И. И. Ионов уже не в Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении Ионова погрузил все книги в контейнеры и отправил их ему в Москву. Там вскоре Ионов был арестован.

Несколько лет существования великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и фотографиями с памятников искусства. Мне не хватало образования, – иначе я бы еще больше смог получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания.

Сам И. И. Ионов не имел систематического образования. Он в свое время был арестован царским правительством в Одессе еще гимназистом и получил пожизненное заключение, которое и проводил в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в образовании, за что над ним насмехались многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так как имел возможность в тюрьме получать книги.

Школа Лентовской

Первое время после переезда в казенную квартиру на Петроградской стороне (Гатчинская, 16, или Лахтинская, 9) я продолжал учиться у Мая. В ней я пережил самые первые реформы школы, переход к трудовому воспитанию (уроки столярного искусства сменились пилкой дров для отопления школы), к совместному обучению мальчиков и девочек (к нам в

школу перевели девочек из соседней школы Шаффе) и т. д. Но ездить в школу в переполненных трамваях стало совершенно невозможно, ходить – еще труднее, так как затруднения в тогдашнем Петрограде с едой были ужасными. Мы ели дуранду (спрессованные жмыхи), хлеб из овса с кострицей, иногда удавалось достать немного мороженой картошки, за молоком ходили пешком на Лахту и получали его в обмен на вещи. Меня перевели поблизости в школу Лентовской на Плуталовой улице. И снова я попал в замечательное училище. Сравнительно со школой Мая «Лентовка» была бедна оборудованием и помещениями, но была поразительна по преподавательскому составу. Школа образовалась после революции 1905 года из числа преподавателей, изгнанных из казенных гимназий за революционную деятельность. Их собрала театральный антрепренер Лентовская, дала денег и организовала частную гимназию, куда сразу стали отдавать своих детей левонастроенные интеллигенты. У директора (Владимира Кирилловича Иванова) в директорском его кабинете была библиотечка революционной марксистской литературы, из которой он секретно давал читать книги заслуживающим доверия ученикам старших классов.

Между учениками и преподавателями образовалась тесная связь, дружба, «общее дело». Учителям не надо было наводить дисциплину строгими мерами. Учителя могли постыдить ученика, и этого было достаточно, чтобы общественное мнение класса было против провинившегося и озорство не повторялось. Нам разрешалось курить, но ни один из аборигенов школы этим правом не пользовался.

Об одном из преподавателей этой школы, Леониде Владимировиче Георге, я написал отдельный очерк. Но мог бы написать и о многих других: Александре Юльевиче Якубовском (нашем преподавателе истории, будущем известном востоковеде), Павле Николаевиче Андрееве (преподавателе рисования, брате Леонида Андреева), Татьяне Александровне Ивановой (нашем преподавателе географии) и о многих других. Школа была близко, и я постоянно посещал различные кружки, главным образом кружки литературы и философии, в занятиях которых принимали участие и многие «взрослые». Об одном из таких участников наших кружков – Евгении Павловиче Иванове, друге Александра Блока, – я немного написал в статье «Из комментария к стихотворению А. Блока „Ночь, улица, фонарь, аптека…“» в книге «Литература – реальность – литература» (второе издание – 1984 г.).

Один летний месяц имел огромное значение для

формирования моей личности, моих интересов и, я бы сказал, моей любви к Русскому Северу: школьная экскурсия в 1921 году на север – по Мурманской железной дороге в Мурманск, оттуда на паровой яхте в Архангельск вокруг Кольского полуострова по Белому морю, на пароходе по Северной Двине до Котласа и оттуда по железной дороге в Петроград. Двухнедельная эта школьная экскурсия сыграла огромную роль в формировании моих представлений о России, о фольклоре, о деревянной архитектуре, о красоте русской северной природы. Путешествовать нужно по родной стране как можно раньше и как можно чаще. Школьные экскурсии устанавливают и добрые отношения с учителями, вспоминаются потом всю жизнь. В школе я наловчился рисовать карикатуры на учителей: просто – одной-двумя линиями. И однажды на перемене нарисовал всех на классной доске. И вдруг вошел преподаватель. Я обмер. Но преподаватель подошел, смеялся вместе с нами (а на доске был изображен и он сам) и ушел, ничего не сказав. А через два-три урока пришел в класс наш классный наставник и сказал: «Дима Лихачев, директор просит вас повторить все ваши карикатуры на бумаге для нашей учительской комнаты».

Были у нас умные педагоги.

В школе Лентовской поощрялось собственное мнение учеников. В классе часто шли споры. С тех пор я стремлюсь сохранять в себе самостоятельность во вкусах и взглядах.

Для моего любимого преподавателя литературы Леонида Владимировича Георга существовал прежде всего Пушкин, но существовала и вся другая литература – не скажу даже, что на втором плане. Когда он чем-нибудь интересовался, все становилось в этом «чем-нибудь» первопланным. Кстати, он очень ценил и поощрял А. Введенского, который уже в школе (он был старше меня на 1 или 2 класса) писал свои «обэриутские» стихи.

В разные годы в разных условиях мне нравятся совершенно различные произведения западных литератур. То тянет перечитать Диккенса, то Джойса, то Пруста, то Шекспира, то Норвида… Мне легче перечислить тех авторов, которых мне не хочется перечитывать. А вообще-то, я очень жаден к перечитыванию. А ведь я не перечислил еще философов, которых люблю и мнение которых я могу даже, как бы играя, временно и с удовольствием разделять. Ведь философские теории и мироощущения имеют для меня еще и эстетическую ценность. Философы – художники, и мы не должны закрываться от них ширмами собственных взглядов. Впрочем, вопрос этот очень сложный – как воспринимать философские концепции. Возражая и «отругиваясь», мы многого себя лишаем.

Университет

Наиболее важный и в то же время наиболее трудный период в формировании моих научных интересов – конечно, университетский.

Я поступил в Ленинградский университет несколько раньше положенного возраста: мне не было еще 17 лет. Не хватало нескольких месяцев. Принимали тогда в основном рабочих. Это был едва ли не первый год приема в университет по классовому признаку. Я не был ни рабочим, ни сыном рабочего, а – обыкновенного служащего. Уже тогда имели значение записочки и рекомендации от влиятельных лиц. Такую записочку, стыдно признаться, отец мне добыл, и она сыграла известную роль при моем поступлении. Университет переживал самый острый период своей перестройки. Активно способствовал или даже проводил перестройку «красный профессор» Николай Севастьянович Державин – известный болгарист и будущий академик.

Появились профессора «красные» и просто профессоры. Впрочем, профессоров вообще не было – звание это, как и ученые степени, было отменено. Защиты докторских диссертаций совершались условно. Оппоненты заключали свои выступления так: «Если бы это была защита, я бы голосовал за присуждение…» Защита называлась диспутом. Особенно хорошо я помню защиту в такой условной форме, но в очень торжественной обстановке в актовом зале университета – Виктора Максимовича Жирмунского. Ему так же условно была присуждена степень доктора, но не условно аплодировали и подносили цветы. Тема «диспута» была его книга «Пушкин и Байрон».

Так же условно было и деление «условной профессуры» на «красных» и «старых» по признаку – кто как к нам обращался: «товарищи» или «коллеги». «Красные» знали меньше, но обращались к студентам «товарищи»; старые профессора знали больше, но говорили студентам «коллеги». Я не принимал во внимание этого условного признака и ходил ко всем, кто мне казался интересен.

Я поступил на факультет общественных наук. Сокращение ФОН расшифровывалось и так: «Факультет ожидающих невест». Но «невест» там, по нынешним временам, было немного. Просто их много казалось от непривычки: ведь до революции в университете учились только мужчины. Состав студентов был не менее пестрый, чем состав «условных профессоров»: были пришедшие из школы, но в основном это были уже взрослые люди с фронтов Гражданской войны, донашивавшие свое военное обмундирование. Были «вечные студенты» – учившиеся и

работавшие по 10 лет, были дети высокой петербургской интеллигенции, в свое время воспитывавшиеся с гувернантками и свободно говорившие на двух-трех иностранных языках (к таким принадлежали учившиеся со мной И. И. Соллертинский, И. А. Лихачев (будущий переводчик), П. Лукницкий (будущий писатель), да и многие другие).

На факультете были отделения. Было ОПО – общественно-педагогическое отделение, занимавшееся историческими науками, было этнолого-лингвистическое отделение, названное так по предложению Н. Я. Марра, – здесь занимались филологическими науками. Этнолого-лингвистическое отделение делилось на секции. Я выбрал романо-германскую секцию, но сразу стал заниматься и на славяно-русской.

Обязательного посещения лекций в те годы не было. Не было и общих курсов, так как считалось, что общие курсы мало что могут дать фактически нового после школы. Студенты сдавали курс русской литературы XIX века по книгам, прочесть которых надо было немало. Зато процветали различные курсы на частные темы – «спецкурсы», по современной терминологии. Так, например, В. Л. Комарович вел по вечерам два раза в неделю курс по Достоевскому, и лекции его, начинаясь в шесть часов вечера, затягивались до двенадцатого часа. Он погружал нас в ход своих исследований, излагал материал как научные сообщения, и посещали его лекции многие маститые ученые. Я принимал участие в занятиях у В. М. Жирмунского по английской поэзии начала XIX века и по Диккенсу, у В. К. Мюллера по Шекспиру, слушал введение в германистику у Брима, введение в славяноведение у Н. С. Державина, историографию древней русской литературы у члена-корреспондента АН СССР Д. И. Абрамовича, принимал участие в занятиях по Некрасову и по русской журналистике у В. Е. Евгеньева-Максимова; англосаксонским и среднеанглийским занимался у С. К. Боянуса, старофранцузским у А. А. Смирнова, слушал введение в философию и занимался логикой у А. И. Введенского, психологией у Басова (этот замечательный ученый очень рано умер), древнецерковнославянским языком у С. П. Обнорского, современным русским языком у Л. П. Якубинского, слушал лекции Б. М. Эйхенбаума, Б. А. Кржевского, В. Ф. Шишмарева и многих, многих других, посещал диспуты между формалистами и представителями традиционного академического литературоведения, пытался учиться пению по крюкам (ничего не вышло), посещал концерты симфонического оркестра в Филармонии, но путешествовал мало: не позволяло здоровье, условия для поездок по стране после Гражданской войны были

трудные, родители снимали на лето дачу и надо было ею пользоваться целиком. Мы часто ездили на дачу в Токсово, и я интересовался историей тех мест (здесь еще в 20-е годы жили шведы и финны, знавшие местные исторические предания, которые я записывал). Все кругом было интересно до чрезвычайности, а если вспомнить и о событиях чисто литературных, возможность пользоваться всеми книжными новинками, печатавшимися на «Печатном Дворе», библиотекой университета и библиотекой редчайших книг в Доме книги, где по совместительству работал отец, то единственное, в чем я испытывал острый недостаток, – это во времени.

Ленинградский университет в 20-е годы представлял собой необыкновенное явление в литературоведении, а ведь рядом еще, на Исаакиевской площади, был Институт истории искусств («Зубовский институт»), и существовала интенсивная театральная и художественная жизнь. Все это пришлось на время формирования моих научных интересов, и нет ничего удивительного в том, что я растерялся и многого просто не успевал посещать.

Я окончил университет в 1928 году, написав две дипломные работы: одну о Шекспире в России в конце XVIII – самом начале XIX века, другую – о повестях о патриархе Никоне. К концу моего учения надо было еще зарабатывать на хлеб, службы было не найти, и я подрядился составлять библиотеку для Фонетического института иностранных языков. Институт был богатый, но деньги мне платили неохотно. Я работал в Книжном фонде на Фонтанке в доме № 20, возглавлявшемся Саранчиным. И снова поразительные подборки книг из различных реквизированных библиотек частных лиц и дворцов, редкости, редкости и редкости. Было жалко подбирать это все для Фонетического института. Я старался брать расхожее, необходимое, остальное, наиболее ценное, оставляя неизвестно кому.

Что дало мне больше всего пребывание в университете? Трудно перечислить все то, чему я научился и что я узнал в университете. Дело ведь не ограничивалось слушанием лекций и участием в занятиях. Бесконечные и очень свободные разговоры в длинном университетском коридоре. Хождения на диспуты и лекции (в городе было тьма-тьмущая различных лекториев и мест встреч – начиная от Вольфилы на Фонтанке, зала Тенишевой (будущий ТЮЗ), Дома печати и Дома искусств и кончая небольшим залом в стиле модерн на самом верху Дома книги, где выступали Есенин, Чуковский, различные прозаики, актеры и т. д.). Посещения Большого зала Филармонии, где можно было встретить всех тогдашних знаменитостей – особенно из

музыкального мира. Все это развивало, и во все эти места открывал доступ университет, ибо обо всем наиболее интересном можно было узнать от товарищей по университету и Институту истории искусств. Единственное, о чем я жалею, – это о том, что не все удалось посетить.

Но из занятий в университете больше всего давали мне не «общие курсы» (они почти и не читались), а семинарии и просеминарии с чтением и толкованием тех или иных текстов.

Во-первых, занятия по логике. С первого курса я посещал практические занятия по логике профессора А. И. Введенского, которые он по иронии судьбы вел в помещении бывших Женских бестужевских курсов. «По иронии судьбы» – ибо женщин он открыто не признавал способными к логике. В те годы, когда логика входила в число обязательных предметов, он ставил студенткам «зачет», подчеркнуто не спрашивая их, изредка отпуская только иронические замечания по поводу женского ума. Но занятия свои он вел артистически, и студентки, хотя и в малом числе, на них присутствовали. Когда лекции и занятия А. И. Введенского прекратились, один из наших «взрослых» студентов, помню – из числа участников Гражданской войны, организовал группу по занятию логикой на квартире у профессора С. И. Поварнина, автора известного учебника логики. Мы ходили к нему и читали в русском переводе «Логические исследования» Гуссерля, изредка для лучшего понимания текста обращаясь к немецкому оригиналу. Поварнин неоднократно повторял нам: языки надо знать хотя бы немного, хотя бы постоянно прибегая к словарю, ибо переводчикам научных и технических книг доверять нельзя. И это мы ощущали.

Настоящей школой понимания поэзии были занятия в семинарии по английской поэзии начала XIX века у В. М. Жирмунского. Мы читали с ним отдельные стихотворения Шелли, Китса, Вордсворта, Байрона, анализируя их стиль и содержание. В. М. Жирмунский обрушивал на нас всю свою огромную эрудицию, привлекал словари и сочинения современников, толковал поэзию всесторонне – и с биографической, и с историко-литературной, и с философской стороны. Он нисколько не снисходил к нашим плохим знаниям того, другого и третьего, к слабому знанию языка, символики, да и просто английской географии. Он считал нас взрослыми и обращался с нами как с учеными коллегами. Недаром он называл нас «коллеги», церемонно здороваясь с нами в университетском коридоре. Это подтягивало. Нечто подобное мы ощущали и на семинарских занятиях по Шекспиру у Владимира Карловича Мюллера, на занятиях старофранцузскими текстами у Александра

Александровича Смирнова, среднеанглийской поэзией у Семена Карловича Боянуса.

Но истинной вершиной метода медленного чтения был пушкинский семинар у Л. В. Щербы, на котором мы за год успевали прочесть всего несколько строк или строф. Могу сказать, что в университете я в основном учился «медленному чтению», углубленному филологическому пониманию текста. Иному – занятиям в рукописных отделениях и библиотеках – учил нас милый В. Е. Евгеньев-Максимов. Дав нам рекомендацию в архив, он как бы невзначай приходил туда же и проверял – как мы работаем, все ли у нас благополучно. А однажды он возил меня с собой и к коллекционеру Кортавову в Новую Деревню. Он пробуждал в нас инициативу поисков, учил нас не «бояться архивов». Боязнь архивов В. Е. считал своего рода детской болезнью начинающего ученого, от которой он должен избавиться как можно быстрее.

Увлекали меня и лекции Е. Тарле. Но лекции эти учили главным образом ораторскому, лекционному искусству. Часто впоследствии, когда я в сороковых годах начинал преподавать на историческом факультете Ленинградского университета, я вспоминал, как останавливался Тарле, якобы подыскивая подходящее слово, как потом «стрелял» в нас этим найденным словом, поражавшим своею точностью и запоминавшимся на всю жизнь. Я вспоминал и о том, как Е. В. Тарле «думал», читая свои лекции, как неуклюже, по-медвежьи, топтался возле кафедры, «подыскивая» факты, «вспоминая» документы, создавая полную иллюзию блестящей импровизации.

К древнерусской литературе в университете я обратился потому, что считал ее мало изученной в литературоведческом отношении, как явление художественное. Кроме того, Древняя Русь интересовала меня и с точки зрения познания русского национального характера. Перспективным мне представлялось и изучение литературы и искусства Древней Руси в их единстве. Очень важным казалось мне изучение изменений стилей в древней русской литературе, во времени. Мне хотелось создать характеристики тех или иных эпох вроде тех, что имелись на Западе, – особенно в культурологических работах Эмиля Маля.

Мое время – это не только расцвет литературы (не скажу «ленинградской», ибо литературу на русском языке нельзя делить на ленинградскую, московскую, одесскую, вологодскую и т. д.), но и расцвет гуманитарных наук. Такого созвездия ученых – литературоведов, лингвистов, историков, востоковедов, – какое представлял собой Ленинградский университет и Институт истории искусств в Зубовском дворце в 20-е годы, не было в мире.

К несчастью, я не представлял себе тогда, как важно послушать поэтов и писателей, повидать их. Поэтому для меня учение в Ленинградском университете было временем упущенных возможностей. Я слышал Собинова, но уступил другу свой билет на Шаляпина, не пошел на встречи с Есениным и Маяковским. Только однажды разговаривал по телефону с С. Маршаком (он предлагал мне заняться детской литературой – писать для детей по русскому языку). Но зато упорно занимался у В. М. Жирмунского, А. А. Смирнова, логикой – у А. И. Введенского и С. И. Поварнина, слушал Н. О. Лосского. Занимался у Л. В. Щербы и В. В. Виноградова и многих других. Так что кое-какие возможности я все же не упустил. Из писателей в школьные годы я был предан Е. П. Иванову – детскому писателю и другу А. А. Блока.

Соловки

В двадцатые годы в Петрограде – Ленинграде существовало множество кружков, особенно молодежи. Собирались и по пять человек, и по десять, и больше. Были кружки с «направлением» – например, философским, религиозным, поэтическим и т. д., но были кружки и без «направления». Обычно собирались в назначенный день недели, читался и обсуждался какой-либо доклад. Были кружки в помещениях школ, в какой-либо свободной аудитории университета, у членов кружка – тех, кто имел достаточную для приемов комнату. В 1927 году я ходил в кружок, где каждый из участников (а всего нас было восемь) старался перещеголять других в экстравагантности своих докладов, выступлений и точек зрения. Шутя мы назывались Космической академией наук, сокращенно КАН. Члены кружка летом отправлялись пешком по какому-либо маршруту, например от Владикавказа (теперь Орджоникидзе) до Сухума. Летом же катались на лодке по Большой Невке. Сочинили свой гимн. У нас были изрядные стихотворцы. Гимн мы перевели на греческий.

Жилось нашей семье трудно. Это был 1927 год. Отец ушел с работы, и нас стеснили в нашей квартире, пришлось жить в двух комнатах со всеми ионовскими и своими книгами. Я не мог найти работу. Жить в 20 лет на счет родителей я считал для себя позорным. Наконец нанялся подбирать библиотеку в Книжном фонде на Фонтанке для Фонетического института иностранных языков. Но, наняв меня, С. К. Боянус денег мне не платил – просто забыл обо мне, а я напомнить не решался. Наконец получил от него за несколько месяцев ежедневной работы 60 рублей и купил себе костюм. Отец беспокоился, что я никуда не хожу, а к нам

надо было попадать через проходную, добывать пропуск. Естественно, и ко мне никто не ходил. Единственной отдушиной были «заседания» КАН.

В 1928 году ОГПУ приступило к ликвидации различного рода кружков. Все «академики» были арестованы. Среди них 8 февраля был арестован и я. Не могу забыть, как мой отец, образец мужества, лишился чувств при моем аресте. Девять месяцев я просидел на Шпалерной (теперь улица Воинова). В самом начале ноября я был привезен на Соловки. Условия существования там в целом были ужасные. Но можно было попасть на тяжелые «общие работы» или оказаться в относительно сносных условиях.

Чему я научился на Соловках? Прежде всего я понял, что каждый человек – человек. Мне спасли жизнь «домушник» (квартирный вор) Овчинников, ехавший с нами на Соловки вторично (его возвращали из побега, который он героически совершил, чтобы увидеться вновь со своей «марухой»), и король всех урок на Соловках, бандит и соучастник налетов знаменитого Леньки Пантелеева – Иван Яковлевич Комиссаров, с которым мы жили около года в одной камере.

После тяжелых физических работ и сыпного тифа я работал сотрудником Криминологического кабинета и организовывал трудовую колонию для подростков – разыскивал их по острову, спасал их от смерти, вел записи их рассказов о себе, собирал воровские слова и выражения. Страдал я их страданиями ужасно, ходил как пьяный от их рассказов о своей жизни, об их страданиях, жизни в асфальтовых котлах, путешествиях в ящиках под вагонами. Все это были больные люди, «занюханные» (с измененной психикой от нюхания наркотиков), с отмороженными ногами, руками и т. д. и т. д. Я собирал подростков из землянок в лесу на лесозаготовках, из самых отдаленных частей острова. Каких только рассказов о них я не записал!

В остальное время я встречался с самыми разнообразными людьми – разных национальностей (был даже японский самурай), разного социального положения, разного образовательного уровня, разных профессий. Я оценил моральную стойкость людей старого дворянского воспитания. Несколько лет я работал с людьми, известными в русской культуре начала XX века, и с молодыми людьми, многие из которых были очень талантливы. Общение с ними было для меня в высшей степени полезным. В начале ноября 1931 года меня вывезли на материк, и я стал работать на Беломоро-Балтийском канале в одном из самых ответственных узлов всех работ – диспетчером на железной дороге. И снова люди и люди. Ровно через четыре с половиной года после своего ареста я был освобожден с красной полосой

через всю бумагу о моем освобождении, удостоверяющую, что я освобожден как ударник Белбалтлага с правом проживания по всей территории СССР. Я вернулся в Ленинград, но потом все же мне пришлось хлопотать о снятии судимости, что и было сделано решением Президиума ВЦИК. Помогли мне в этом доброжелательный президент Академии наук СССР академик А. П. Карпинский и наркомюст Н. В. Крыленко.

Из всей этой передряги я вышел с новым знанием жизни и с новым душевным состоянием. То добро, которое мне удалось сделать сотням подростков, сохранив им жизнь, да и многим другим людям, добро, полученное от самих солагерников, опыт всего виденного создали во мне какое-то очень глубоко залегшее во мне спокойствие и душевное здоровье. Я не приносил зла, не одобрял зла, сумел выработать в себе жизненную наблюдательность и даже смог незаметно вести научную работу. Я изучал обычай воровской игры в карты и напечатал на эту тему в лагерном журнале «Соловецкие острова» (1930, № 1) свою первую научную работу. Собранные мною материалы по воровскому арго легли потом в основу двух научных работ, первая была напечатана в 1935 году, а другая только в 1964 году. Не остался я равнодушен и к истории Соловков. Сейчас я вспоминаю то время без чувства обиды, но с известного рода сознанием того, сколько оно мне дало для моего умственного развития. И это вовсе не по поговорке «что прошло, то будет мило». Испытания, которым я подвергался, «милыми» стать не могли.

Не так давно в «Огоньке» (1988) в рубрике, которую ведет Евгений Евтушенко, напечатаны стихотворения Юрия Казарновского из его книжечки, изданной в середине 30-х годов. В примечании было сказано, что составитель не знает, кто такой Ю. Казарновский и напечатал ли он что-либо еще до или после.

Юрий Казарновский из Ростова-на-Дону. Родился он в начале века. Был в литературном кружке в своем родном городе. Арестован. Сидел на Соловках. И печатался в журнале «Соловецкие острова». Там несколько стихотворений его можно найти. Не лучшие стихотворения, но те, которые могли пройти цензуру. Потом он был все время в лагерях и был последним, кто видел О. Э. Мандельштама.

Мы звали его на Соловках Юрка Казарновский. Он был великий озорник. Насколько это было возможно в лагерных условиях. Начальство в лагере было глупое и необразованное. Казарновский работал в культурно-воспитательной части. Во главе ее стоял совершенно неграмотный северянин.

Тогда была такая теория о «социально близких» и «социально дальних». «Близкие» – это воры, а «дальние» – контрреволюционеры. Теория гласила, что надо все делать для «социально близких».

Однажды сказали Казарновскому и Шипчинскому (это тоже заключенный и тоже поэт), что нужно написать лозунг к Октябрьской революции, к празднику, – мол, на Соловках все делается для рабочих и крестьян. И тогда кто-то из них – я не знаю кто – быстро выпалил: «Соловки – рабочим и крестьянам!» Начальник сказал: «Во, здорово! Вот это нам и нужно!» Написали на плакате лозунг и повесили над входом в лагерь, над главными Никольскими воротами. И только потом кто-то указал, что это неприлично, и лозунг сняли.

Журнал «Соловецкие острова» издавался с 1926 по 1932 год и свободно продавался по стране. Его можно найти в библиотеках. Там иногда проходили довольно озорные вещи, много любопытного материла.

Я попал в лагерь в конце октября 1928 года, а Казарновский немного раньше, по-моему весной. Меня осенью 1931 года увезли с Соловков, и 4 августа 1932 года я был освобожден с «красной чертою». Из пяти я пробыл там четыре с половиной года. «Красная черта» – это значит, что я был освобожден как ударник Беломоро-Балтийского канала: к этому времени он был закончен, и Сталин, в восторге, всех строителей освободил. Так мне повезло.

В это время как раз шло уничтожение крестьян. Голод. Их везли навстречу нам эшелонами. Так оправдалась дурацкая шутка.

Издательство Академии наук СССР

Тридцатые годы были для меня тяжелыми годами. Осенью 1932 года я поступил работать литературным редактором в Соцэкгиз, помещавшийся на Невском в Доме книги. Не успел я немного освоиться с работой, как у меня поднялись жесточайшие язвенные боли. Я не обращал на них внимания, не соблюдал диету, продолжал ходить на работу. В трамвае мне стало однажды дурно, приняли за пьяного, стали упрекать: такой молодой и уже с утра пьян. Кое-как я доехал до Дома книги, поднялся, сел за свой письменный стол и потерял сознание. У меня хлынула горлом черная кровь. В полубессознательном состоянии меня доставили в Куйбышевскую больницу. В приемный покой вызвали родителей и сказали им прямо: потеря крови чрезвычайно большая и надежды почти нет. Но меня спас хирург Абрамзон (в блокаду его разорвало на мелкие части

снарядом), который тогда стал делать первые опыты переливания крови. Донор стояла со мной рядом, и кровь непосредственно от нее текла мне в вену, которую раскрыли на сгибе правой руки. Помню это как во сне. Помню полублаженное состояние: ничего не хотелось, не было страха смерти, прошли боли. Я пролежал в больнице несколько месяцев, затем лежал в Институте питания (был такой в Ленинграде) и занимался беспорядочным чтением. Чтение, чтение и чтение. Потом снова пошли поиски работы. Я устроился работать в типографию «Коминтерн» корректором по иностранным языкам. Боли возобновились; приходя домой, я валился в постель и заглушал боль чтением. Недостатка в книгах не было. Труд корректоров, считавшийся тогда тяжелым, ограничивался шестью часами. В пять часов я был уже дома и в постели. Благодаря связям отца в типографиях и возможности получать книги из превосходной библиотеки Дома книги, чтение мое приобрело более систематический характер. Я читал книги по искусству, по истории культуры. Иногда посещал библиотеку сам.

Когда в 1934 году я был переведен на работу в издательство Академии наук СССР, я получил возможность получать книги из библиотеки Академии наук. Утомление от корректорского чтения и от вычитки рукописей не мешало мне в моем чтении дома в кровати. Я был вполне доволен своей судьбой. Делал выписки, размышлял и ни с кем почти не общался. Единственным моим другом был мой однокашник по университету М. И. Стеблин-Каменский. В отличие от меня, ему не удалось кончить университет, и он сдавал все предметы экстерном, работая в том же издательстве техническим редактором. Среди ученых корректоров издательства было много пожилых людей «из бывших». Два бывших барона, лицеист, правовед, странный старичок-старообрядец, оказавшийся моим дальним родственником по матери, и два замечательных по своей общей культуре человека – А. В. Суслов, родственник жены Достоевского, и Л. А. Федоров. Общение с ними было великой школой. Как важно выбирать своих знакомых, и главным образом среди людей выше тебя по культурному уровню!

Четырехлетняя работа «ученым корректором» в Ленинградском отделении издательства Академии наук не осталась без пользы. Работа эта создала у меня интерес к проблемам текстологии, и в частности текстологии печатных изданий. Я участвовал вместе с техническим редактором Львом Александровичем Федоровым (умер от истощения во время блокады) и будущим известным скандинавистом М. И. Стеблин-Каменским в создании справочника-инструкции для корректоров

Академии наук. Справочник этот вышел ограниченным тиражом в конце 30-х годов. Вообще моя работа в издательстве по многим пунктам соприкасалась с моим «типографским прошлым». Создание книг меня интересовало чрезвычайно. Я собирал уже случайно попадавшиеся книги по издательскому и типографскому делу, по художественному оформлению книг – особенно обложек (я их предпочитал жестким и грубым переплетам). Продолжалось и общение с типографскими работниками, в частности с замечательным коллекционером книг советского периода И. Г. Галактионовым (куда-то делась его библиотека? неужели после его смерти она была распродана по частям?).

Ю. Г. Оксман как-то напомнил мне, что он предлагал мне перейти в Пушкинский Дом, где он был заместителем директора, но я категорически отказался. И в самом деле, в издательстве мне было хорошо, и если бы не маленькие заработки, то и совсем хорошо. Здесь царила атмосфера общего труда, а во главе стоял М. В. Валерианов – бывший метранпаж «Печатного Двора» (метранпажи – это были наборщики высшей квалификации, одновременно выполнявшие обязанности технических редакторов и умевшие прекрасно делать титульные листы только средствами набора, – искусство, ныне утраченное). М. В. Валерианов заботился о деле, а потому и о людях. Он был умен и интеллигентен от природы. Вечная ему память.

В 1937 году я редактировал и корректировал «Обозрение русских летописных сводов» А. А. Шахматова, которое издавала В. П. Адрианова-Перетц. Я увлекся работой по летописанию, проверкой всех данных шахматовской рукописи и в конце концов попросил В. П. дать мне работу в Отделе древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР. Перевод быстро осуществился, и я с этого момента стал специалистом по древнерусской литературе.

В тридцатые годы я был погружен в свое корректорское дело (сперва в типографиях, а потом в издательстве Академии наук СССР), и литературные события проходили мимо меня.

Попытки писать

В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних заданий (впрочем, домашние письменные работы все же иногда выполняли, но задавали их редко). Классные работы писать было нельзя. В годы моих последних классов зимой школа не отапливалась, мы сидели в пальто, в варежках сверх перчаток, и

учителя время от времени заставляли нас согреваться. Мы вставали, по-кучерски взмахивали руками и били в ладоши. Наступало оживление. А домашние задания тоже было делать трудно, да и проверять их учителям было тяжело. Вечерами преподаватели не сидели дома – прирабатывали лекциями, за которые платилось иногда провизией (слова «продукты» в значении «провизия» тогда еще не было в употреблении).

В общем, когда я появился в университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Хотя я и написал две дипломных работы – одну о Шекспире в России в конце XVIII века, а другую о повестях о Никоне, но изложены они были детским языком, беспомощны по композиции. Особенно не удавались мне переходы от предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение жило самостоятельно. Логическое повествование не складывалось. Фразу трудно было прочесть вслух: она была «непроизносима».

И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать, и систему придумал я сам. Учил ей и своего друга – Дмитрия Павловича Каллистова.

Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, с моей точки зрения хорошо написанные, написанные хорошей прозой – научной, искусствоведческой. Я читал М. Алпатова, Дживилегова, Муратова, И. Грабаря, Н. Н. Врангеля (путеводитель по Русскому музею), Курбатова и делал из их книг выписки – главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения, образы и т. д.

Во-вторых, я решил писать каждый день, как классные сочинения, и писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», то есть не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный источник богатой письменной речи – речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь, старался догнать пером внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю – адресату письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Я делал это еще и тогда, когда в 31-м году служил на железной дороге в Званке и Тихвине диспетчером (в перерыве между прибытием товарных составов), и вечером, приходя со службы, когда работал корректором. Работая корректором, тоже вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженную мысль – точно и кратко.

Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы (Пушкинский Дом), это было в 1938 году, и Варвара Павловна Адрианова-Перетц поручила мне для «Истории культуры Древней Руси» (т. 2; он вышел только в 1951 году)

написать главу о литературе XI–XIII веков, она мною была написана как стихотворение в прозе. Далось мне это очень нелегко. На даче в Елизаветине я переписывал текст не менее десяти раз от руки. Правил и переписывал, правил и переписывал, а когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и целиком, проверял кусками и логичность изложения в целом. Когда в ИИМКе (ныне Институт археологии АН СССР) я читал свой текст, то чтение его имело большой успех, и с этого момента меня охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях. К великому моему сожалению, текст моей главы был сильно испорчен в печатном издании правкой редакторов. И все же первую свою Государственную премию я получил за участие в «Истории культуры Древней Руси», в числе очень немногих.

Работы в Пушкинском Доме

В. П. Адрианова-Перетц была замечательным организатором работ отдела. Формально заведовал им академик А. С. Орлов, но он, по крайней мере, не мешал Варваре Павловне, а организационный талант, административный ум и знания у Варвары Павловны были исключительными. Отличалась она и огромной работоспособностью, несмотря на плохое здоровье (болезнь Паркинсона).

Мы в отделе приступали к написанию первых двух томов десятитомной истории русской литературы. Здесь мне пригодились мои старые мечты о создании настоящей истории русской литературы XI–XVI веков, интерес к летописанию и искусству Древней Руси. Я стал редактировать и писать. В первом томе параллельно готовившегося учебника для вузов «Истории русской литературы» я писал разделы по истории русского искусства (моя идея) и написал их от XI до XVIII века включительно. Получилась миниатюрная история русского искусства, связанная с историей русской литературы. Но привлечь меня к настоящей работе по десятитомной «Истории русской литературы» Варвара Павловна еще не решалась, тем более что один из сотрудников отдела внезапно оказался моим большим недоброжелателем и это свое недоброжелательство «осуществлял» в течение ряда лет и впоследствии.

11 июня 1941 года я защитил кандидатскую диссертацию по новгородскому летописанию XII века. Для меня это была не только диссертация, но и выражение своей увлеченности Новгородом, где мы с женой в 1937 году провели свой отпуск, а

спустя год я приезжал туда со своими друзьями – М. И. Стеблин-Каменским и Э. К. Розенбергом – русским немцем удивительно веселого нрава. Мы исходили Новгород и окрестности вдоль и поперек, побывали в каждом достопримечательном месте. Летописи Новгорода представлялись мне живыми, события становились почти зримыми. С тех пор я оценил научные темы, даже отвлеченно-филологические, в которых была бы хоть доля личного чувства. Своим ученикам я стараюсь постоянно рекомендовать темы, так или иначе связанные с ними биографически, темы, не только обещающие интересные результаты, но и близкие им по материалу.

Защиты диссертаций были в те времена не очень частым явлением. На моей диссертации оппонентами выступали акад. А. С. Орлов и А. Н. Насонов. Пришли лингвисты (среди них акад. Б. М. Ляпунов, Б. А. Ларин, Е. С. Истрина) и литературоведы (В. Л. Комарович), историки и историки искусства (Н. Н. Воронин). Народу было довольно много. А. Н. Насонов как оппонент произносил свой довольно длинный отзыв без единого листка бумаги – все по памяти.

Через две недели разразилась война. На призывном пункте меня с моими постоянными язвенными кровотечениями начисто забраковали, и я довольствовался участием в самообороне, жил на казарменном положении в институте, работая «связистом» и дежуря на башне Пушкинского Дома. В моем ведении была ручная сирена, которую я приводил в действие при каждом налете вражеской авиации. Спал я то на крыловском диванчике, то на большом диване из Спасского-Лутовинова и думал, думал. Жена старалась дома выкупить весь паек на всех, вставала ночью, чтобы занять очередь первой в магазин. Детей тогда было приказано вывозить из Ленинграда, взрослым же оставаться. Но мы своих детей скрывали на Вырице, откуда их вывез перед самым занятием ее немцами заведующий корректорской издательства Академии наук М. П. Барманский. Если бы не он, остался бы я без семьи. Мы в Пушкинском Доме и не подозревали, что враг так близок к Ленинграду, хотя и ездили на окопные работы – сперва у Луги, потом у Пулкова.

Удивительно, что, несмотря на голод и на физические работы по спасению наших ценностей в Пушкинском Доме, несмотря на все нервное напряжение тех дней (а может быть, именно благодаря этому нервному напряжению), язвенные боли у меня совсем прекратились, и я находил время читать и работать.

Не касаюсь сейчас истории нашей жизни в блокированном Ленинграде: это тема целой книги. Писать о блокаде мельком невозможно. Скажу лишь следующее: потери в нашем институте,

в нашей семье, среди наших знакомых и родных были ужасающие – больше половины моих родных и знакомых погибло от истощения. Мы очень плохо представляем себе, сколько людей унес голод, и все остальные лишения.

Однако мозг в голод работал напряженно. Я даже думаю, что эта усиленная работа голодающего мозга «запрограммирована» в человеке. Особенно остро мыслить в период лишений и опасности необходимо для сохранения жизни. Но думалось в этот период не о том, как бы избегнуть этих лишений, а об общих судьбах нашей страны, России.

Миллионы ленинградцев уже не знают, что такое была блокада. Представить себе это невозможно. А что говорить о приезжих, об иностранцах.

Чтобы чуточку представить себе, что такое была блокада, надо зайти в школу, когда кончаются уроки. Посмотрите на этих шумных детей и представьте себе именно их, но в десятках тысяч, молча лежащих в своих постельках в промерзлых квартирах, без движения, даже не просящих пищи, а только выжидательно на вас смотрящих.

А еще представьте себе или вспомните (это было совсем недавно) те отсутствующие классы в ленинградских школах, которые приходились на годы рождения их учащихся – особенно 1941–1942.

Об окончании войны я узнал утром на улице – по лицам и поведению прохожих: одни смеялись и обнимали друг друга, другие одиноко плакали. Какое другое событие могло вызвать столько радости и такую волну горя? Плакали о тех, кто погиб, умер от истощения в Ленинграде, не дождался встречи с родными, кто оказался изуродованным и нетрудоспособным. Я и сам, прежде чем взять в руки газету, думал о многих самых мне близких людях, умерших от голода в Ленинграде и убитых на фронте. Была и тревога за тех, о ком долго не было известий: живы ли они, сохранились ли? Хотелось встречаться, говорить; множество чувств, и самых разнообразных, овладевало мной и другими. Не помню только одного: чувства мстительного торжества.

Понять значение победы можно было только масштабно. Все же исторические последствия победы будут изучать еще не одно десятилетие. Грандиозность же масштабов происшедших событий была ясна сразу, и в те дни, может быть, даже яснее, чем в последующее время. Только люди, пережившие всю горечь поражений первого года, весь ужас блокады Ленинграда, ясно осознавали, от чего они освободились и что, думалось тогда, никогда не сможет повториться. Если бы люди во всем мире

обладали и сохраняли живое чувство ужаса от пережитого во время войны, современная политика строилась бы иначе.

* * *

Я думаю, что, достигнув восьмидесяти лет, человек должен поблагодарить Жизнь. У меня во всяком случае есть за что ее благодарить. И за счастливое детство, и за хорошую школу с хорошими учителями. И за мою родительскую семью, заботившуюся о нас – детях. И за то, что казалось мне несчастьем, но что принесло мне много житейского опыта и в конечном счете избавило от худших несчастий 30-х годов. И за работу корректором – особенно в издательстве Академии наук, где я обрел и свою семью – верную и заботливую жену, давшую мне двух любимых детей.

И Пушкинский Дом, в который я впервые пришел заниматься шестьдесят лет назад – в 1927 году, а работать постоянно стал в нем пятьдесят лет назад.

Пятьдесят лет в Пушкинском Доме, пятьдесят лет «в строю литературоведческой науки», в которой я еще застал В. М. Жирмунского, Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, Б. В. Томашевского, Л. Б. Модзалевского, старых музейных работников и старых библиотекарей. А в Отделе древнерусской литературы я успел учиться у своих поздних учителей – у В. П. Адриановой-Перетц, у А. С. Орлова, В. Л. Комаровича, и у своих учеников по историческому факультету университета.

А из своего заграничного опыта я с особенной благодарностью вспоминаю заседание Международной текстологической комиссии под председательством Конрада Гурского.

Сколько было хорошего при всем бессильном стремлении многих и многих причинить мне дурное!

Жизнь! А в какое необыкновенное время я «посетил» (Тютчев) свою страну. Я застал все роковые ее годы, видел множество людей всех возрастов, всех социальных слоев, всех степеней образования, всех психологических типов: и тех, кого мог бы назвать святыми, и тех, хуже которых трудно себе представить: прямых убийц тысяч и тысяч людей. Я видел и вершителей судеб, и их жертв. И жизнь повела меня по путям, которые шли ближе к жертвам, чем к их губителям. Что-то я смог сделать хорошее другим. Что-то я смог сделать и для Древней Руси. В чем-то осуществились мои мечты. Многое еще осуществится в будущем.

Благодарю тебя, Жизнь!

17 шюля 1987. Волгоград

Разное о литературе

По мысли Гейне («Флорентийские ночи», глава первая), в Италии «музыка стала нацией». Я бы сказал, искусства стали нацией. В России же (и это мое) нацией стала литература.

Древнерусская литература

Западники и славянофилы сходствуют между собой: в незнании (простительном для своего времени) древнерусской культуры и в неверном противопоставлении Древней Руси новой России. Это противопоставление начал сам Петр Великий. Ему нужно было противопоставить свое дело Древней Руси, придать пафосность своим реформам, оправдать свою решительность и жестокость. Но никакого решительного перелома не было. Об этом я писал в специальной статье. Петровские реформы были порождением процесса, шедшего в течение всего XVII века. Сам Петр и его соратники были людьми, воспитавшимися в Москве. Петр сменил всю знаковую систему в русской культуре – форму военную и одежду гражданскую, знамена, обычаи, увеселения, перенес столицу в новое место, сменил представления о власти монарха, о его поведении, ввел Табель о рангах, создал гражданский алфавит и проч., и проч. Все это бросалось в глаза. Он построил флот, но на веслах галер и на реях парусных судов работали все ж таки поморы…

Представления о «переломе» утвердились в равной степени у западников и славянофилов, живы и до сих пор.

Значение славянофилов было в русской культуре Нового времени очень велико не только потому, что старшие славянофилы выступали против крепостного права, но потому, что они подготовили правильную оценку древнерусского искусства, способствовали розыску древнерусских рукописей и проч. Всякое движение вперед требует оглядки на старое, в России – на «свою античность», на Древнюю Русь, на те ценности, которыми она обладала. Вспомните Лескова, Ремизова, Хлебникова, а в живописи – Малевича, Кандинского, Гончарову и Ларионова, Филонова и многих других. Их авангардизм наполовину древнерусский и фольклорный. Многие об этом не догадываются, а на Западе увлечение этими художниками шло параллельно увлечению иконами.

Литература Древней Руси фрагментарна. Она сохранилась лишь в осколках. Но разнообразие осколков позволяет судить об

огромных размерах целого.

Древняя литература отличается от новой условиями своего бытования, своего существования в целом. Древняя литература распространяется рукописно, путем списков. В списках она и искажается, и совершенствуется. Произведение может отходить от своего первоначального вида в лучшую или в худшую сторону. Оно живет вместе с эпохой, изменяется под влиянием изменения среды, ее вкусов, ее взглядов. Оно переходит из одной среды в другую. Писец, а не только писатель, создает произведение. Писец выполняет роль исполнителя в фольклоре. В древней литературе есть даже импровизация, и она создает ту же вариативность, что и в фольклоре.

Существует обывательское представление о «несамостоятельности» древнерусской литературы. Однако не только каждая литература, но и каждая культура «несамостоятельна». Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседней. Может ли развиться зерно в стакане дистиллированной воды? Может! – но пока не иссякнут собственные силы зерна, затем растение очень быстро погибает. Отсюда ясно: чем «несамостоятельнее» любая культура, тем она самостоятельнее. Русской культуре (и литературе, разумеется) очень повезло. Она росла на широкой равнине, соединенной с Востоком и Западом, Севером и Югом. Ее корни не только в собственной почве, но в Византии, а через нее – в Античности, в славянском юго-востоке Европы (и прежде всего в Болгарии), в Скандинавии, в многонациональности государства Древней Руси, в которое на равных основаниях с восточными славянами входили угро-финские народности (чудь, меря, весь участвовали даже в походах русских князей) и тюркские народы. Русь в XI–XII веках тесно соприкасалась с венграми, с западными славянами. Все эти соприкосновения еще шире разрастались в последующее время. Одно перечисление народов, входивших с нами в соприкосновение, говорит о мощи и самостоятельности русской культуры, умевшей заимствовать многое у них и остаться самой собой. А что было бы, если бы мы были отгорожены от Европы и Востока китайской стеной? Мы остались бы в мировой культуре глубокими провинциалами.

Существует ли «отсталость» древнерусской литературы? А что вкладывается в это понятие «отсталости»? Что мы, наперегонки бегаем? Ведь в таком случае должен быть определенный старт, условия и проч. А если народы Европы

принадлежат к разным возрастным группам, да и рождение наше не всегда ясно? Византия и Италия продолжали Античность, а мы стали развиваться позднее и в других условиях. Одним словом: мой сосед, которому три года, – отстал от меня?

Другое – «заторможенность». Существовала ли она в культуре Древней Руси? Кое в чем – да, но это особенность развития и под оценки она не подпадает. Скажем, у нас не было такого молниеносного перехода от Средневековья к Новому времени, как в Италии. В Италии была «эпоха Ренессанса», а у нас были явления Ренессанса, и они затянулись на несколько веков – вплоть до Пушкина. Наш Ренессанс был «заторможенный», и поэтому борьба за личностное начало в культуре у нас была особенно напряженной и трудной и резко сказалась в литературе XIX века. Хорошо это или плохо?

Еще одно понятие – «художественная слабость литературы». Всякая культура в чем-то слаба, в чем-то сильна. Древнерусская культура была очень сильна в архитектуре, в изобразительном искусстве, а теперь выясняется – и в музыке. А в литературе? Литература была своеобразной. Публицистичность, нравственная требовательность литературы, богатство языка литературных произведений Древней Руси изумительны.

Картина довольно сложная.

В Средние века главное в литературе – создание прочной и устойчивой системы, способной сопротивляться (особенно в условиях чужой государственности и чужой культуры).

Внешний «консерватизм» – это особенность средневековой культуры, и особенно славянской.

Философская особенность древнеславянских мыслителей – следовать этому принципу. Отсюда обилие цитат, утверждающих преемственность мысли, ее традиционность. Отсюда же в самом построении произведений – следование анфиладному принципу (на один сюжет как бы нанизываются разножанровые произведения).

В средневековых литературах создание новой стилистической и жанровой систем часто основывается на старых слагаемых (образов, метафор, метонимий, стилистических оборотов, элементов «плетения словес» и канонов). В Новое время новое создается в основном из изобретения новых слагаемых.

«Стыдливость формы» – явление очень важное для поступательного развития литературы. Это не только боязнь «замороженности» жанров, их однообразия, но это и стремление к

правде, к простоте правды. В той или иной степени оно может быть во всякой литературе, но для русской литературы оно особенно типично. «Стыдливость формы» ведет к простым формам (совсем без формы невозможно), к формам документов, писем, вторичным и второстепенным жанрам, к стремлению избежать «гладкого» слога, «гладкописи» (Достоевский, Толстой, Лесков), к постоянному обновлению литературного языка через разговорный (Достоевский, Лесков, Зощенко и многие другие), через язык стенографических записей (у Достоевского в «Бесах»), через пародирование иностранных выражений, кажущихся иногда напыщенными и претенциозными и пр., и пр. Я об этом писал несколько раз. Отходя от условных форм («стыдливость формы»), литература все время невольно рождает в самой себе новую условность формы, порождает новые жанры и т. д. Реализм дальше всех отступает от условных форм и все ж таки порождает в себе новые условные формы.

Традиционность типична для всех средневековых литератур – литератур времени феодализма. Первый вопрос, который возникает: с чем это связано?

Думаю, что эта традиционность всех средневековых литератур связана с иерархическим построением феодального общества. Общество, разделенное по иерархическому принципу, различается внутри самого себя по правам, власти, и это разделение, обычно очень сложное, закрепляется обычаями, церемониями, этикетом поведения, одеждой (одежда выполняет функцию знаковой системы, указывая, кто перед людьми предстоит).

Все различия иерархического общества настолько дробны и многочисленны, что трудно запоминаются, нуждаются в своем постоянном закреплении. Отсюда склонность к постоянству всей знаковой системы в культуре. И традиционность характерна не только для литературы, но и для всего искусства в целом – для живописи, скульптуры, архитектуры, прикладного искусства и даже для быта, для этикета поведения.

Средневековье церемониально, а церемонии всегда традиционны. Это свойство любых церемоний. Поэтому-то до сих пор церемонии в королевском или университетском быту Западной Европы совершаются в одеждах многовековой давности и со старинными предметами, в современности не употребляемыми (жезлы, булавы, мечи, нагрудные цепи, мантии и пр.).

Второй вопрос, который возникает в связи с первым: в каких областях литературы традиционность сказывается?

Этих областей в литературе очень много. Прежде всего – традиционность жанровой системы, отличной от одновременно существующей жанровой системы фольклора. Вся система литературы есть некоторая церемониальная система. В свои случаи читаются жития, в свои – хроники, в свои – торжественные слова и проповеди и пр. И каждое «чтение» совершается по-своему: в церквах, в монастырской трапезной или индивидуально в келье, с церковного амвона, или употребляется для справок – как напоминание о том или ином обряде, порядке богослужения. В литературе развита «иерархия жанров»: одни пишутся на «высоком» литературном языке, другие – на более простом и пр. Существуют и традиционные формулы (отдельно для каждого жанра), формулы этикетные, отдельные слова и выражения, употребительные в одних случаях и неупотребительные в других.

Но помимо традиций жанров и их употребления, существуют традиции в изображении людей. Есть святые, но и они разные: мученики веры, воины, властители, монахи, высокопоставленные церковные деятели. Каждый из святых изображается по своим правилам, в своих канонах. Но, кроме святых, есть и простые люди, а среди простых – нищие, крестьяне, чиновные лица. Все они входят в определенные традиции изображения, тем более что и сюжеты повторяются, могут разворачиваться только одним путем, а не другим. Вот маленький пример. Злодей, разбойник может во всех средневековых литературах стать святым. Тут ему путь свободен. Но вот подлинный святой (если он только не лицемер) никогда отступником от правды не станет. Есть определенная «заданность образа», и вот что удивительно: в этой заданности есть своя логика. Традиция не идет вопреки законам психологии.

Одним словом, есть десятки форм традиции, сотни традиционных формул, тысячи путей формализации. Литература беспрерывно вырабатывает традиционность и очень трудно от нее отказывается.

В литературе господствует «обаяние традиционных форм»!

Вопрос третий: как соотносится традиционность и художественность? Не означает ли господство традиционности, что в литературе (да и в искусстве в целом) в Средние века отсутствует подлинное творчество?

Нет, в искусстве, и в частности в литературе, есть не только господствующая традиционность, но и борьба с ней. И вот тут-то и возникают «силовые линии» творчества. Искусство всегда есть преодоление «неискусства», но если это «неискусство» выражено слабо, то и восхищающая нас борьба с ним будет тоже слабой. В каждом сильном искусстве ему противостоит сильное же

сопротивляющееся «неискусство». В средневековой литературе «неискусством» является традиционность. Боже сохрани подумать, что тем самым я как бы признаю традиционность явлением отрицательным. Скульптору сопротивляется мрамор, и настоящий скульптор это ценит. Не ценят это сопротивление только те лжескульпторы, которые работают с помощью облегчающих их работу устройств, на материале, который позволяет создать что угодно и в каких угодно размерах. Тогда и появляются в искусстве такие монстры, как знаменитая «царь-баба» в Киеве, памятники космонавтике в Москве («Гагарин» или безумная «кривуля» в Останкине) и т. д. Этим «скульпторам» ничего не стоит срыть гору (с помощью машин, конечно), но включить гору в свои художественные задачи – это по-настоящему могли только средневековые зодчие! То же самое в средневековой литературе. Материал традиций огромен, разнообразен, он сопротивляется; художник ощущает его «тяжесть», многообразие языка, канонов в изображении человека и создает изумительные по красоте вещи, произведения.

Вот в «Сказании о Борисе и Глебе». Глеб ведет себя по традициям, предписываемым жанром житий-мартирий: он не сопротивляется убийцам, но он по-детски просит их не убивать его: «Не дѣйте мене, братия моя милая и драгая! Не дѣйте мене, ни ничто же вы зъла сътворивъ». И т. д. Этот монолог перед убийством довольно длинен, но при этом оправдан возрастом Глеба. Просьба Глеба не убивать его – именно его, Глеба, а не трафаретная: «Помилуйте уности <юности> моея, помилуйте, господье мои!.. Не пожьнете мене отъ жития не съзрѣла, не пожьнѣте класа <колоса>, не уже съзрѣвъша» и т. д.

Таких примеров проникновения искусства в трафарет можно было бы привести много, и именно эти проникновения оживляют традиционное искусство. Традиция служит оправой для драгоценных вкраплений подлинного творчества.

Вопрос четвертый. А какова роль именно этого типа «сопротивления материала» в средневековой литературе – в истории литературы? Средневековые литературы принадлежат к нормам литературы начальной, в которой неясно проявляется личность писателя, его индивидуальность. То же самое ведь в отношении традиционности мы встречаем и в фольклоре. И вот важно, что традиционность облегчает творчество. Плотник рубит избу. Ему не надо изобретать ничего нового – крупно нового, во всяком случае. Размеры бревен и досок, способы рубки – все это определено веками. Он только чуть-чуть что-то изменит, положит лишнее бревно, вытешет новый в чем-то узор. Ему легко работать без ошибок. То же самое в фольклоре при создании новой песни

или былины, плача по умершему и пр. Но еще яснее это в средневековых литературах. Традиции, каноны, этикет, готовые формы языка позволяют пишущему (вовсе не ощущающему иногда себя писателем) сосредоточиться на главном и создать произведение новому святому или что-то для новой службы старому. Хроникер уже знает, чту записать из происходящих событий, какие факты выделить, сообщить о них читателю. Он добавит в это «традиционное видение» истории что-то свое, отразит свое волнение, свою скорбь… Традиционность увеличивает генетические способности литературы, облегчает создание новых произведений.

Вопрос пятый. А зачем нужна эта «генетическая легкость»? Пусть будет меньше произведений, но с другими материалами сопротивления. Этот вопрос сложный. Постараюсь объяснить, в чем тут дело. Литература существует, развивается только при условии известного насыщения «пространства литературы» произведениями. Если произведений мало, литература как живое целое перестает существовать. В литературных произведениях есть «чувство плеча», ощущение соседства. Каждое новое талантливое произведение повышает литературную требовательность пишущего и читающего общества. Если вовсе нет фольклора – невозможно сочинить былину. В обществе, где никогда не слышали музыки, нельзя творить не только Бетховену, но и Гершвину. Литература существует как среда. «Братья Карамазовы» могли появиться и существовать только в соседстве с другими произведениями.

Из глубин «литературной вселенной» идут пронизывающие ее «гравитационные волны», излучения. Они идут от других галактик – например, византийской, сирийской, коптской, а некоторые даже откуда-то из-за пределов всех возможных галактик. Это волны-традиции. Как астрономы, мы можем по ним сделать предположения о начале литератур, о начале литературной жизни. Никто еще точно не зафиксировал их возникновение, их начало. Изучая традиции, мы сможем понять возникновение литературного творчества. Близко подошел к решению этого вопроса А. Н. Веселовский.

За пределами русской, армянской, грузинской литератур существуют свои формы устного искусства слова, существует литература Византии, за ней – Античность, а за ней что?

Чтобы проникнуть в самые глубины существования искусства слова, мы должны быть астрономами литературы, обладать гигантским научным воображением и гигантской эрудицией.

Не только литературные произведения требуют соседства, но

и соседство наук ко многому обязывает. Литературоведение отстало от других наук. Нам многое предстоит сделать.

Современные писатели (писатели Нового времени) гордятся меткостью своих сравнений, сходством внешним. А средневековые писатели стремились увидеть за внешним сущностное. Метафоры были для них символами; внутренняя сущность прорывалась через внешнее сходство – цыпленок выходил из скорлупы яйца…

Когда автор «Слова о полку Игореве» сравнивает Ярославну с кукушкой, он видит в ней не просто птицу (тогда уж лучше было бы сравнить ее с чайкой), а мать, у которой сын находится в чужом гнезде – в гнезде Кончака.

Лебедь в «Слове» – всегда видение предсмертное. И тогда, когда бегущие от русских половецкие телеги кричат по-лебединому. И тогда, когда Дева Обида бьет лебедиными крылами на Синем море – том самом, откуда двигались половецкие полки навстречу Игоревой рати.

Ярославна не случайно обращается с мольбой в своем плаче к Солнцу, Ветру и Днепру, то есть к трем из четырех стихий: свету, воздуху, воде. Ей не надо обращаться к Земле, ибо она сама Земля, то есть родина. Земля не может быть враждебной. Солнце же сперва предупреждало Игоря, а потом скрутило жаждою луки Игоревых воинов. Ветер гнал от моря на Русь тучи и подхватывал половецкие стрелы, чтобы донести их до Игоря. Днепр мог бы помочь насадам Святослава достичь места битвы, но не помог.

И вот в ответ на мольбу Ярославны солнце, предупреждавшее Игоря тьмою, этой же тьмою скрывает бегство Игоря. Ветер смерчами идет от моря на станы половцев. Днепр, главная из русских рек, союзными ему реками помогает Игорю в бегстве на Русскую землю.

Средневековые метафоры создаются по сходству действия, а не по сходству внешности: у Кирилла Туровского святые отцы собора – «реки разумного рая, напоивые весь мир спасенного учения и греховную скверну струями вашего наказанья смывающе» (Адрианова-Перетц В. П. Очерки поэтического стиля Древней Руси, с. 50). Император Цимисхий у Манассии: «другый бяше рай божий, четыре рекы источаа: правду, мудрость, мужество, целомудрие» (Русский хронограф, гл. 177, с. 383). Человек – трава (псалом 102, ст. 14), финик и кедр (псаломы избранные 34). У Пахомия Серба Никон Радонежский – «благородный сад» (Яблонский, с. LXIX–LXX). Аввакум в письме Морозовой, Урусовой и Даниловой называет их: «лоза

преподобия, стебль страдания, цвет священия и плод богоданен».

Развитая метафора. Символика, ставшая картиной. В «Житии Трифона Печенгского» его устное завещание братии перед смертью: «Не любите мира и яже в мире; сами бо весте, колик окаянен мир сей – яко море неверен, мятежен, пропастей (?) покастьми (?) нечестивых духов, ветрами волнуется губительно, лжами горек, наветы диявольски трясется, пенится, грехами веяния свирепствует и смущается, о погружении <о потоплении> миролюбцев тщится; всюду плачи, пагубы своя простирает, а наконец все смертию осуждает» (Православный собеседник, 1859, ч. 2, с. 113).

В идеологической стороне каждого литературного произведения есть как бы два слоя. Один слой вполне сознательных утверждений, мыслей, идей, которые автор стремится внушить своим читателям и в чем он пытается убедить или переубедить их. Это – слой активного воздействия на читателей. Второй слой – другого характера активности: он как бы подразумеваемый. Автор считает его само собой разумеющимся и общим для него и читателей. Этот второй слой в основном пассивен. Он начинает активно действовать и воздействовать на читателя только тогда, когда произведение переходит в другую эпоху, к другим читателям, где этот слой нов и необычен. Этот второй слой можно было бы назвать «мировоззренческим фоном».

В «Слове о полку Игореве» первый слой – слой действенный – заключен в призывах автора к единению, к защите Русской земли, в попытках автора истолковать всю русскую историю и отдельные исторические факты в духе своей исторической концепции и своих политических убеждений. К этому же слою может быть отнесено «открытое язычество», выраженное, например, в поименном упоминании языческих богов.

Второй слой в «Слове о полку Игореве» скрыт и может быть изучен только путем анализа. К этому второму слою относятся, например, общие языческие представления – о своеобразных аспектах человеческой судьбы, о взаимоотношениях человека и природы, о культе Земли, Воды, Рода, Солнца и Света. К ним же относится вера в приметы, убеждение об особой связи внуков с их дедами и т. д.

«Поучение» Владимира Мономаха обращено именно к князьям: «И седше думати с дружиною, или люди оправливати, или на лов ехати, или поездити…» (с. 158).

Ту же, что и в «Слове о полку Игореве», «активность» сравнений отмечает и О. М. Фрейденберг для Гомера. «Так, признаком реализма развернутого сравнения становится действенность, движение, убыстренность. Что оно передает? Аффект, шум, крик, всякого рода движения: полет птицы, нападение хищника, погоню, кипение, прибой, бурю, вьюгу, пожары и разливы, бурные потоки ливня, кружение насекомых, стремительный бег коня… Даже в камне подмечается полет, в звезде – момент рассыпающихся искр, в башне – паденье. Сравнения наполнены шумом стихий, воем и стоном вод, жужжаньем мух, блеяньем овец, ревом животных… Так изображается все, даже вещь: колесо вертится, кожа растягивается, котел кипит и т. д. Перед нами процессы, а не статуарно-измененные положения; и среди них – процессы труда, как молотьба, веянье, жатва, охота, ремесло и рукоделье» (О. М. Фрейденберг. Происхождение эпического сравнения (на материале «Илиады»). – Труды юбилейной научной сессии. 1819–1944. Ленинградский гос. университет. Л., 1946, с. 113).

То же мы видим и в «Слове»: все описывается в движении, в действии. Как и в «Илиаде», битва сравнивается с грозой, с ливнем. В качестве сравнений приводятся явления космические (князья сравниваются с солнцем, неудача предрекается затмением). Превалируют сравнения с трудовыми процессами: жатва, сеяние, ковка – и с образами охоты и охотничьих зверей (пардусы, соколы). В мир людей входит мир богов – как и в «Илиаде». И вместе с тем «Слово о полку Игореве» – не «Илиада».

Мир «Слова» – это большой мир легкого, незатрудненного действования, мир стремительно совершающихся событий, разворачивающихся в огромном пространстве. Герои «Слова» передвигаются с фантастической быстротой и действуют почти без усилий. Господствует точка зрения сверху (ср. «поднятый горизонт» в древнерусских миниатюрах и иконах). Автор видит Русскую землю как бы с огромной высоты, охватывает мысленным взором огромные пространства, как бы «летает умом под облаками», «рыщет через поля на горы».

В этом легчайшем из миров как только кони начнут ржать за Сулою – слава победы уже звенит в Киеве; трубы только начнут звучать в Новгороде-Северском, как стяги уже стоят в Путивле – войска готовы к выступлению в поход. Девицы поют на Дунае – голоса их вьются через море до Киева (дорога от Дуная была морской). Слышен на далеком пространстве и звон колоколов. Автор легко переносит повествование из одной местности в

другую. Он достигает Киева из Полоцка. И даже звук стремени слышен в Чернигове из Тмуторокани. Характерна быстрота, с которой перемещаются действующие лица, звери и птицы. Они несутся, скачут, мчатся, перелетают огромные пространства. Люди передвигаются с необычайной быстротой, волком перерыскивают поля, переносятся, повиснув на облаке, парят орлами. Стоит сесть на коня, как уже можно увидеть Дон, – точно не существует многодневного и многотрудного степного перехода по безводной степи. Князь может прилететь «издалеча». Он может высоко парить, ширяясь на ветрах. Грозы его текут по землям. С птицею сравнивается и птицей хочет перелететь Ярославна. Воины легки – как соколы и галки. Они живые шереширы, стрелы. Герои не только с легкостью передвигаются, но без усилий колют и рубят врагов. Они сильны, как звери: туры, пардусы, волки. Для курян нет трудностей и не существует усилий. Они скачут с напряженными луками (натянуть лук в скачке необычайно трудно), у них тулы отворены и сабли изострены. Они носятся в поле, как серые волки. Им знакомы пути и яругы. Воины Всеволода могут раскропить Волгу веслами и вылить Дон шлемами.

Люди не только сильны, как звери, и легки, как птицы, – все действия совершаются в «Слове» без особого физического напряжения, без усилий, как бы сами собой. Ветры легко несут стрелы. Только персты лягут на струны, как те уже сами рокочут славу. В этой обстановке легкости всякого действия становятся возможны гиперболические подвиги Всеволода Буй Тура.

С этим «легким» пространством связана и особая динамичность «Слова».

Автор «Слова» предпочитает динамические описания статическим. Он описывает действия, а не неподвижные состояния. Говоря о природе, он не дает пейзажей, а описывает реакцию природы на события, происходящие у людей. Он описывает надвигающуюся грозу, помощь природы в бегстве Игоря, поведение птиц и зверей, печаль природы или ее радость. Природа в «Слове» не фон событий, не декорация, в которой происходит действие, – она сама действующее лицо, нечто вроде античного хора. Природа реагирует на события как своеобразный «рассказчик», выражает авторское мнение и авторские эмоции.

«Легкость» пространства и среды в «Слове» не во всем похожа на «легкость» сказки. Она ближе к иконе. Пространство в «Слове» художественно сокращено, «сгруппировано» и символизировано. Люди реагируют на события массами, народы действуют как единое целое: немцы, венецианцы, греки и морава поют славу Святославу и кают князя Игоря. Как единое целое, как «купы»

людей на иконах, действуют в «Слове» готские красные девы, половцы, дружина. Как на иконах, символичны и эмблематичны действия князей. Игорь высадился из золотого седла и пересел в седло кащея: этим символизируется его новое состояние пленника. На реке на Каяле тьма прикрывает свет, и этим символизируется поражение. Отвлеченные понятия – горе, обида, слава – персонифицируются и материализуются, приобретают способность действовать как люди или живая и неживая природа. Обида встает и вступает девою на землю Трояню, плещет лебедиными крылами, ложь пробуждается, и ее усыпляют, веселие поникает, туга полоняет ум, всходит по русской земле, усобицы сеются и растут, печаль течет, тоска разливается.

«Легкое» пространство соответствует человечности окружающей природы. Все в пространстве связано между собой не только физически, но и эмоционально.

Природа сочувствует русским. В судьбах русских людей принимают участие звери, птицы, растения, реки, атмосферные явления (грозы, ветры, облака). Солнце светит для князя, ему же стонет ночь, предупреждая его об опасности. Див кричит так, что его слышат Волга, Поморье, Посулье, Сурож, Корсунь и Тмуторокань. Трава никнет, дерево преклоняется до земли с тугою. Откликаются на события даже стены городов.

Этот прием характеристики событий и выражения к ним авторского отношения чрезвычайно характерен для «Слова», придает ему эмоциональность и вместе с тем особую убедительность этой эмоциональности. Это как бы апелляция к окружающему: к людям, народам, к самой природе. Эмоциональность как бы не авторская, а объективно существующая в окружающем, «разлита» в пространстве, течет в нем.

Тем самым эмоциональность не исходит от автора, «эмоциональная перспектива» многопланова, как на иконах. Эмоциональность как бы присуща самим событиям и самой природе. Она насыщает собой пространство. Автор выступает как выразитель объективно существующей вне его эмоциональности.

Этого всего нет в сказке, но многое подсказывается здесь летописью и другими произведениями древней русской литературы.

Единственное значительное произведение XII века о «наступательном» походе – «Слово о полку Игореве», но мы знаем, что предпринят он был в оборонительных целях «за землю русскую», и это всячески подчеркнуто в «Слове».

Зато сколько появляется произведений на чисто «оборонные»

темы, особенно в связи с Батыевым нашествием, нашествиями шведов и ливонских рыцарей: «Повести о Калкской битве», «Житие Александра Невского», «Слово о погибели Русской земли», летописные рассказы о защите Владимира, Киева, Козельска, рассказ о гибели Михаила Черниговского, Василька Ростовского (в летописи княгини Марии), «Повесть о разорении Рязани» и т. д. Конец XIV и XV век снова охвачены целым венком повестей об обороне городов: о Куликовской битве, о Тамерлане, о Тохтамыше, об Эдигее, ряд рассказов об обороне от Литвы. Новая цепь повестей о мужественной защите, но не о мужественных походах – в XVI веке. Главная из них – об обороне Пскова от Стефана Батория.

Нельзя сказать, чтобы для литературы в исторической действительности был недостаток в наступательных темах. Только одна Ливонская война, ведшаяся с переменным успехом, в которой были одержаны выдающиеся победы, сколько дала бы возможностей в этом направлении.

Единственное исключение – это «Казанская история», бóльшая часть которой посвящена походам русских на Казань. То же продолжается в XVIII и XIX веках. Ни одна из великих побед над турками в XVIII веке не дала большого произведения, ни походы на Кавказ и в Среднюю Азию. Зато «кавказская тема», как и «Казанская история», привела к своеобразной идеализации кавказских народов – вплоть до самой кавказской армии, одетой по распоряжению Ермолова в одежду кавказских горцев.

Только оборонительная война давала пищу творческому воображению больших писателей: Отечественная война 1812 года и Севастопольская оборона. Замечательно, что «Война и мир» не касается заграничного похода русской армии. «Война и мир» кончается у границ России. И это очень показательно.

Я не думаю, что это черта специфичная для русской литературы. Вспомним «Песнь о Роланде» и другие произведения Средневековья. Вспомним и произведения Нового времени.

Героизм обороняющихся всегда привлекал внимание писателей больше, чем героизм нападающих: даже в наполеоновской истории. Наиболее глубокие произведения посвящены битве при Ватерлоо, ста дням Наполеона, походу на Москву – вернее, отступлению Наполеона.

Сразу после Второй мировой войны в своих лекциях в Сорбонне по истории русской литературы А. Мазон сказал: «Русские всегда смаковали свои поражения и изображали их как победы»; он имел в виду Куликовскую битву, Бородино, Севастополь. Он был не прав в своей эмоциональной, враждебной ко всему русскому оценке оборонных тем. Но он был прав в том,

что народ миролюбив и охотнее пишет об обороне, чем о наступлении, и героизм, победу духа видит в героической защите своих городов, страны, а не во взятии другой страны, захвате чужих городов.

Психология защитников глубже, глубже может быть показан патриотизм именно на защите. Народ и культура народа по существу своему миролюбива, и в широком охвате тем литературы это видно с полной ясностью.

Рецидивов научного спора о древности «Слова» быть не может, но различного рода дилетантов набирается достаточно, а за них никогда поручиться нельзя… «Слово», как и всякие известные прославленные памятники, – любимый объект, чтобы «себя показать». Любители – дело другое. Любящие «Слово» могут открыть много нового, могут войти в науку. Но любители и дилетанты – это разных категорий люди.

Документы всегда входили в состав летописи. Вспомним о договорах с греками 911 и 941 годов, тексты которых включены в «Повесть временных лет». Да и в дальнейшем в летопись наряду с литературными материалами (исторические повести, воинские повести, жития святых и проповеди) очень часто попадали письменные документы, не говоря уже о документах «устных» – речах князей на вече, перед выступлением в поход или перед битвой, на княжеских снемах: они также передавались по возможности с документальной точностью. Однако только в XVI веке летопись сама в полную силу начинает осознаваться как документ – изобличающий или оправдывающий, дающий права или их отнимающий. И это накладывает отпечаток на стиль летописи: ответственность делает изложение летописи более пышным и возвышенным. Летопись примыкает к стилю второго монументализма. И этот пафосный стиль представляет собой своеобразный сплав ораторства с государственным делопроизводством.

То и другое развилось в высокой степени в XVI веке и сплелось между собой в вершинах, то есть в литературных произведениях.

Но летопись – разве она вершина литературного искусства? Это очень важное явление русской культуры, но как будто бы, с нашей точки зрения, наименее литературное. Однако, поднятая на колоннах ораторского монументализма и монументализма делопроизводственного, летопись вознеслась до самых вершин литературного творчества. Она стала искусством искусственности.

Как наставления по отношению к правителям государств могут рассматриваться не только «Тайная тайных», «Стефанит и Ихнилат», «Повесть о царице Динаре», многие произведения Максима Грека, послания старца Филофея и «Сказание о князьях владимирских» – последние с изложением теорий (не всегда сходных) права русских государей на престол и на их роль в мировой истории, но и хронографы и хроники, летописи и летописцы. По-разному трактуемая государственная власть все же всегда ставится высоко, повсюду утверждается авторитет государя, всюду утверждается ответственность государей перед страной, подданными и мировой историей, право на вмешательство в судьбы мира. С одной стороны, это разрушало старые представления о великом князе как о простом собственнике людей и земель, но, с другой, возвышая власть государя до единственного представителя и защитника православия после падения независимости всех православных государств, создавало предпосылки для уверенности московских государей в своей полной непогрешимости и праве вмешиваться даже во все мелочи частной жизни.

Поучения, наставления, советы, концепции происхождения рода и власти московских государей не только ставили власть под контроль общественности, но и одновременно внушали московским государям мысль об их полной бесконтрольности, создавали идеологические предпосылки для будущего деспотизма Ивана Грозного.

О «негромкости голоса» древнерусской литературы. Это вовсе не в укор ей сказано. Громкость иногда мешает, раздражает. Она навязчива, бесцеремонна. Я всегда предпочитал «негромкую поэзию». А о красоте древнерусской «негромкости» вспоминается мне следующий случай. На одной из конференций сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, где были доклады по древнерусской музыке, выступил Иван Никифорович Заволоко – ныне покойный. Он был старообрядец, кончил пражский Карлов университет, прекрасно знал языки и классическую европейскую музыку, манеру исполнения вокальных произведений. Но и древнерусское пение он очень любил, знал, сам пел. И вот он показал, как надо петь по крюкам. А надо было не выделяться в хоре, петь вполголоса. И, стоя на кафедре, он спел несколько произведений XVI–XVII веков. Он пел один, но как участник хора. Тихо, спокойно, самоуглубленно. Это был живой контраст манере исполнения древнерусских произведений некоторыми из хоров сейчас.

И в литературе авторы умели себя сдерживать. Не сразу и разглядишь такую красоту. Вспомните рассказ «Повести временных лет» о смерти Олега, рассказ о взятии Рязани Батыем, «Повесть о Петре и Февронии Муромских». И сколько еще этих скромных, «тихих» рассказов, так сильно действовавших на своих читателей!

Что касается до Аввакума, то он на грани Нового времени.

Поразительно «сопереживание» протопопа Аввакума. По поводу потери сына боярыни Морозовой Аввакум пишет ей: «Тебе уже некоково чётками стегать и не на ково поглядеть, как на лошадки поедет, и по головки погладить – помнишь ли как бывало?» До физиологичности четко передано ощущение отсутствия сына: некого по головке погладить! Тут и виден Аввакум-художник.

Литература Нового времени восприняла (отчасти незаметно для самой себя) многие черты и особенности литературы древней. Прежде всего – ее сознание ответственности перед страной, ее учительный, нравственный и государственный характер, ее восприимчивость к литературам других народов, ее уважение и заинтересованность в судьбах других народов, вошедших в орбиту Русского государства, ее отдельные темы и нравственный подход к этим темам.

* * *

«Русская классическая литература» – это не просто «литература первого класса» и не литература как бы «образцовая», ставшая классически безупречной благодаря своим высоким чисто литературным достоинствам.

Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической литературе, но это далеко не все. Эта литература обладает и своим особым «лицом», «индивидуальностью», характерными для нее признаками.

И я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы выступали авторы, обладавшие громадной «общественной ответственностью».

Русская классическая литература – не развлекательная, хотя увлекательность ей свойственна в высокой мере. Это увлекательность особого свойства: она определяется предложением читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы – решать вместе: и автору, и читателям.

Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают читателям готовых ответов на поставленные общественно-нравственные вопросы. Авторы не морализируют, а как бы обращаются к читателям: «Задумайтесь!», «Решите сами!», «Смотрите, что происходит в жизни!», «Не прячьтесь от ответственности за все и за всех!» Поэтому ответы на вопросы даются автором вместе с читателями.

Русская классическая литература – это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь. Это обращение к совести читателей.

Нравственно-общественные вопросы, с которыми русская классическая литература обращается к читателям, – не временные, не сиюминутные, хотя они и имели особое значение для своего времени. Благодаря своей «вечности» вопросы эти имеют такое большое значение для нас и будут его иметь для всех последующих поколений.

Русская классическая литература вечно живая, она не становится историей, «историей литературы» только. Она беседует с нами, ее беседа увлекательна, возвышает нас и эстетически, и этически, делает нас мудрее, приумножает нашу жизненную опытность, позволяет нам пережить вместе с ее героями «десять жизней», испытать опыт многих поколений и применить его в своей собственной жизни. Она дает нам возможность испытать счастье жить не только «за себя», но и за многих других – за «униженных и оскорбленных», за «маленьких людей», за безвестных героев и за моральное торжество высших человеческих качеств…

Истоки этого гуманизма русской литературы – в ее многовековом развитии, когда литература становилась иногда единственным голосом совести, единственной силой, определявшей национальное самосознание русского народа, – литература и близкий ей фольклор. Это было в пору феодальной раздробленности, в пору чужеземного ига, когда литература, русский язык были единственными связующими народ силами.

Русская литература всегда черпала свои огромные силы в русской действительности, в общественном опыте народа, но помощью ей служили и иноземные литературы; сперва византийская, болгарская, чешская, сербская, польская, античная литературы, а с Петровской эпохи – все литературы Западной Европы.

Литература нашего времени выросла на основе русской классической литературы.

Усвоение классических традиций – характерная и очень важная черта современной литературы. Без усвоения лучших

традиций не может быть движения вперед. Нужно только, чтобы не было пропущено, забыто, упрощено в этих традициях все наиболее ценное.

Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия.

«Книжное чтение» и «почитание книжное» должны сохранить для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, свое высокое место в нашей жизни, в формировании наших жизненных позиций, в выборе этических и эстетических ценностей, в том, чтобы не дать замусорить наше сознание различного рода «чтивом» и бессодержательной, чисто развлекательной безвкусицей.

Суть прогресса в литературе состоит в расширении эстетических и идейных «возможностей» литературы, создающихся в результате «эстетического накопления», накопления всяческого опыта литературы и расширения ее «памяти».

Произведения большого искусства всегда допускают несколько объяснений, одинаково правильных. Это удивительно и не всегда даже понятно. Приведу примеры.

Особенности стиля, миропонимания, отраженные в произведениях, могут быть одновременно и со всею полнотою объяснены, истолкованы с точки зрения биографии писателя, с точки зрения движения литературы (ее «внутренних законов»), с точки зрения развития стиха (если это касается стихов) и, наконец, с точки зрения исторической действительности – не только одномоментно взятой, но «развернутой в действии». И это касается не только литературы. Аналогичные явления я замечал в развитии зодчества и живописи. Жаль, что я плохо знаком с музыкой и историей философии.

Более ограниченно, по преимуществу в идеологическом аспекте, литературное произведение объясняется в плане истории общественной мысли (здесь меньше объяснений стиля произведений). Недостаточно сказать, что всякое произведение искусства следует объяснять в «контексте культуры». Это можно, это правильно, но не все к этому сводится. Дело в том, что произведение в одинаковой мере может быть объяснено и в «контексте самого себя». Иначе говоря (и я не боюсь произнести этого) – имманентно, подвергнуться объяснению как замкнутая система. Дело в том, что «внешнее» объяснение произведения искусства (исторической обстановкой, влиянием эстетических воззрений своего времени, историей литературы – ее положением в момент написания произведения и пр.) – в известной мере

«расчленяет» произведение; комментирование и объяснение произведения в той или иной мере дробит произведение, упускает из внимания целое. Даже если говорить о стиле произведения и при этом стиль понимать ограниченно – в пределах формы, – то и стилевое объяснение, упуская из виду целое, не может дать полного объяснения произведения как эстетического феномена. Поэтому всегда остается потребность рассматривать любое произведение искусства как некое единство, проявление эстетико-идеологического сознания.

В литературе движение вперед совершается как бы в больших скобках, охватывающих целую группу явлений: идей, стилистических особенностей, тем и т. п. Новое входит вместе с новыми жизненными фактами, но как определенная совокупность. Новый стиль, стиль эпохи, – это часто новая группировка старых элементов, входящих между собой в новые сочетания. При этом доминирующее положение начинают занимать явления, державшиеся ранее на второстепенных позициях, а то, что считалось ранее первостепенным, отступает в тень.

Когда крупный поэт пишет о чем-либо, важно не только чту он пишет и как, но и то, что пишет именно он. Текст не безразличен к тому, кто его написал, в какую эпоху, в какой стране и даже к тому – кто его произносит и в какой стране. Поэтому-то крайне ограничена в своих выводах американская «критическая школа» в литературоведении.

В Завете святого Ремигия Хлодвигу: «Incende quod adorasti. Adora quod incendisti». «Сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал». Ср. в «Дворянском гнезде» в устах Михалевича:

> И я сжег все, чему поклонялся,
> Поклонился всему, что сжигал.

Как это дошло от Ремигия до Тургенева? А ведь не выяснив этого, нельзя об этом даже писать в литературоведческих комментариях.

Темы книг: действительность как потенциальная литература и литература как потенциальная действительность (последняя тема требует научного остроумия).

Пушкин

В заметках «„История поэзии“ С. П. Шевырева» Пушкин пишет: «Россия по своему положению географическому, политическому etc. есть судилище, приказ Европы. – Nous sommes les grands jugeurs. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны – примеры тому».

Как жаль, что Пушкин не до конца высказал свою мысль: не привел примеров. Что называл он судилищем? Какой суд имел Пушкин в виду? Присматриваясь к произведениям Пушкина, мы замечаем, какое большое место в них занимают опыты освоения иностранной поэзии, не просто переводы – но «подражания», извлечение наиболее ценного. Здесь лучшее, что было создано на Западе и на Востоке: тут и подражания древним авторам – Овидию, Сафо, Гомеру, Катуллу, и средневековым, и возрожденческим, и Шекспиру, и Гёте, и Байрону, и Вольтеру, и сербским народным песням, и русскому фольклору, и Корану, Гафизу. И во всех своих «подражаниях» Пушкин не подражает, а судит, показывает в авторах главное, стремится осветить опыт. Сцена из «Фауста» – это суть «Фауста». И то же можно сказать о пушкинских подражаниях Гомеру или Гафизу.

Пушкин судья и тогда, когда стремится разобраться в наиболее драматических коллизиях русской истории, где народ сталкивается с государством, и тогда, когда обращается к наиболее своеобразным личностям русской истории – Борису Годунову, Петру, Пугачеву.

Он не только следует другим – он создает образцы для следования. Тема «Евгения Онегина» стала в русском классическом романе одной из важнейших. Русскую прозу создали «Капитанская дочка», «Станционный смотритель», «Пиковая дама».

Пушкин теснее любого другого писателя или поэта связан со всей русской культурой. Без Пушкина – нет основных тем русских романов, нет основных русских опер, нет русского романса – самой характерной формы русской музыкальной лирики. Пушкин – это действительно наше все.

В огромной картотеке Б. Л. Модзалевского, где зарегистрированы все, даже самые мелкие, писатели, нет карточки на Пушкина. Высшая честь!

Павловцы гордились, что на парадах только они маршировали с ружьями наперевес. Они так храбро шли в атаку в

каком-то сражении в Пруссии, что Наполеон приказал собрать с убитых каски, простреленные в бою (впереди у павловцев был медный начищенный высокий верх, заканчивающийся кисточкой), и послал их с восхищением Александру I, к которому питал какие-то доброжелательные чувства. После павловцы носили эти каски на всех парадах, и именно их имел в виду Пушкин, когда писал: «…сиянье касок этих медных, насквозь простреленных в бою». Это были каски, снятые с убитых…

У Пушкина «Отрывок из письма к Д.» кончается словами: «Растолкуй мне теперь, почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием? или воспоминание самая сильная способность души нашей, и им очаровано все, что подвластно ему?»

Пушкин сам здесь обратил внимание на то, сколь большое значение имеет для него воспоминание, память. Воспоминаниям и прошлому, вновь переосмысленному и воспринятому, посвящено у него множество произведений – преимущественно лирических; истории – проза и эпические формы.

На роль памяти в пушкинской лирике впервые обратил внимание Иннокентий Анненский.

Почему именно Пушкин стал знаменем русской культуры, как Шевченко – украинской, Гёте – немецкой, Шекспир – английской, Данте – итальянской, Сервантес – испанской? И если бы пришлось определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем день рождения Пушкина, и искать бы не пришлось!

В истории русской культуры можно было бы назвать десятки имен не менее гениальных, но среди них нет имени более значительного для нашей культуры, чем имя Пушкина. Хотя понять русский характер нельзя без Пушкина, но этот характер нельзя понять и без Л. Толстого, без Достоевского, без Тургенева, а в конце концов и без Лескова, без Есенина, без Горького.

Так почему же все-таки первым из первых возвышается в нашей культуре Пушкин?

Пушкин – это гений, сумевший создать идеал нации. Не просто «отобразить», не просто «изобразить» национальные особенности русского характера, а создать идеал русской национальности, идеал культуры.

Пушкин – это гений возвышения, гений, который во всем искал и создавал в своей поэзии наивысшие проявления: в любви, в дружбе, в печали и в радости, в военной доблести. Во всем он

создал то творческое напряжение, на которое только способна жизнь. Он высоко поднял идеал чести и независимости поэзии и поэта.

Пушкин – величайший преобразователь лучших человеческих чувств. В дружбе он создал идеал возвышенной лицейской дружбы, в любви – возвышенный идеал отношения к женщине-музе («Я помню чудное мгновенье…»). Он создал возвышенный идеал самой печали. Три слова «печаль моя светла» способны были утешить тысячи и тысячи людей. Он создал поэтически-мудрое отношение к смерти («Брожу ли я вдоль улиц шумных…»). Он открыл возвышающее значение памяти и воспоминаний. Поэзия его полна высоких воспоминаний молодости. Воспоминания молодости сливаются с памятью истории. Никто из поэтов не уделял русскому прошлому столько произведений – и эпических, и драматических, и лирических в стихах, и лирических в прозе. Именно в воспоминаниях родится у Пушкина притягательный, горький образ прошлого и мудрые объяснения настоящего. Он создал основные живые человеческие образы русской истории, в представлениях о которых мы сохраняем некоторую традиционность, идущую от него. Это образы Бориса Годунова, Петра, Пугачева… Он создал их, как бы угадав в них основную коллизию русского исторического прошлого: народ и царь-деспот.

Он дал основное направление русскому роману XIX века – «усадебному роману», как бы распределив в нем и основные роли: Онегин и Татьяна – это своего рода конфликтные центры, которые мы найдем у Гончарова, Тургенева.

Пушкин в кратчайшей и выразительной форме выразил основные достижения поэзии мировой, дал как бы символы наивысших достижений мировой литературы: «К Овидию», «Из Катулла», «Подражание Корану», «Суровый Дант не презирал сонета…», «Из Гафиза», «К переводу Илиады», «Из Анакреона», «Подражание арабскому», «Отцы пустынники и жены непорочны…», «Песни западных славян» и гениальные по проникновению в самую суть художественных произведений «Сцена из „Фауста“», «Каменный гость» и многое другое. Не случайно он считал Россию «судилищем» европейской культуры – ее истолкователем и ценителем.

Возвышение духа – вот что характеризует больше всего поэзию Пушкина.

Могут спросить, как это согласуется с тем, что порой сам он мог быть «ничтожен» среди ничтожных? Всегда ли сам он в собственной жизни был так возвышен? Не нужно спрашивать. Это не должно нас интересовать. Цветы растут, и они прекрасны.

Разве должны мы пачкать их огородной землей? Он сам творил свой человеческий образ, заботился о его простоте и обыденности. Это не следует забывать. Он хотел быть «как все».

И даже если бы Пушкин оказался застегнут в редингот проповедника на все пуговицы и крючки, – уверен, его поэзия лишилась бы известной доли своей притягательности. Поэт в какой-то мере должен быть «ничтожен» в жизни, чтобы поэзия его приобрела подлинное обаяние возвышенности. Как человек он не мог ходить на котурнах, ибо это создало бы непреодолимую дистанцию между ним и нами. Он играл в наши игры, чтобы суметь овладеть нами в чем-то самом значительном. Поэт непременно должен быть обыкновенен в жизни, чтобы его поэзия приобрела подлинное обаяние возвышенности. Творчество всегда преображение, всегда рождение из сора. На чистом мраморе не растут цветы. И «обыкновенность» Пушкина-человека среди обыденности других людей – другое, таинственное, носящее печать вневременности.

Нам необходимо пройти хоть немного вместе с Пушкиным по путям, оставленным им для нас в своей поэзии. Он служит нам и в любви, и в горести, и в дружбе, и в думах о смерти, и в воспоминаниях. Это первый поэт, который открывается нам в детстве и остается с нами до смерти.

«Пушкин – это наше все», – сказал о нем Аполлон Григорьев. И он был прав, потому что преобразующая и возвышающая сила поэзии Пушкина находит нас во все ответственные мгновения нашей жизни.

Собственная гениальность убила Гоголя, измучила Достоевского, но сделала лучезарной личность Пушкина.

В «Отрывке из письма к Д.» Пушкин пишет: «Я думал стихами…» – и далее приводит свои стихи «К чему холодные сомненья?..». Вот именно: поэту надо думать стихами, а не облачать в стихи свои думы.

В Пушкине удивительно то, что любое человеческое чувство (любовь, грусть, тоска, бессонница – это тоже особое чувство, дружба, неприязнь и т. д.) он умел поднимать до своего высочайшего поэтического уровня. К живой Керн он совсем не испытывал того, что испытывал к ней в поэзии, то же к любой женщине – для него все они были музами. То, что Пушкин не мог поэтически поднять, так как это лишало бы стих поэтической индивидуальности, связанной с определенным творцом (Дант, Гафиз, Гёте и пр.) или с определенным религиозным моментом (молитва), он концентрировал, подвергал чрезвычайному, почти

метафизическому сжатию и предлагал читателю в этом сжатом виде. Особенно поражает меня «Сцена из „Фауста“». И ведь это есть и в его прозе. Что можно выбросить в его «Капитанской дочке» или «Пиковой даме»? Все создано под высоким давлением духа.

Удивительно – какую огромную роль в жизни и поэзии Пушкина играла дружба. Дружба была вдохновительницей большинства его стихотворений, самых высоких переживаний. Исследовать роль дружбы в творчестве Пушкина и в его жизни (по письмам, например) было бы крайне важно, так как именно это было одним из отличий пушкинской поэзии от предшествующей.

Даже его отношения с женщинами по большей части носили этот характер дружбы (я не говорю, что дружба вытесняла любовь, но нельзя видеть в этих отношениях только любовь, как стремятся многие).

И другое, что было вдохновителем и содержанием поэзии Пушкина, – это воспоминание. Об этом писал сам Пушкин, и об этом напомнил в «Книге отражений» Иннокентий Анненский. В письме к Дельвигу Пушкин писал: «Чем нам и жить, душа моя, под старость нашей молодости, как не воспоминаниями?» (П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 96).

«Под старость нашей молодости»: здесь интересны два оттенка мысли, первый – молодость «наша», общая, ибо состоит в общении молодых; и второй – каждый возраст, очевидно, имеет на исходе дней свою старость. Старость имеет и молодость.

Многие считают лицейские стихотворения Пушкина слабыми. Но без лицейских стихов и без воспоминаний о лицейских товарищах не было бы его апофеоза дружбы в последующих стихах. Ведь поэзия поэта имеет свою собственную память. Поздние стихи «помнят» о ранних.

Человек не должен всегда быть в мундире своих мнений. Он должен быть внутренне свободным и, если это необходимо, не стыдиться отказываться от своих старых суждений. Пушкин говорил: «Меня упрекают в изменчивости мнений. Может быть: ведь одни глупые не переменяются» (это по П. В. Анненкову – «Материалы для биографии А. С. Пушкина». М., 1984, с. 159, а в пушкинской статье «Александр Радищев» чуть иначе: «Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют»). Сходные мысли высказывал Ф. М. Достоевский. И при этом читатель должен чувствовать в писателе самостоятельность мнений, а не «хорошие манеры»

камердинера.

Я считал своим достижением, когда высказал мысль, что стиль Грозного – как бы продолжение его поведения в жизни. То же я говорил и о Курбском – о его «Истории о великом князе московском». Но оказалось, что сходную мысль высказал уже Пушкин: «Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях; умилительная кротость, младенческое и вместе мудрое простодушие, набожное усердие к власти царя, данной Богом, совершенное отсутствие суетности дышат в сих драгоценных памятниках времен давно минувших, между коими озлобленная летопись кн. Курбского отличается от прочих летописей, как бурная жизнь Иоаннова изгнанника отличается от смиренной жизни безмятежных иноков» (из письма к издателю «Московского вестника» 1828 г.).

Эта мысль о стиле писания как о продолжении стиля поведения может быть продолжена на примере Аввакума. Но не есть ли стиль поэзии – трансформация стиля поведения: Маяковский, Есенин? Даже Пушкин с его культом дружбы в жизни отразил его в стиле своих дружеских посланий, в обращениях к друзьям.

Кстати, не потому ли так близок нам Пушкин, что его культ дружбы нам очень и очень импонирует, и именно в наше время. Мы, современники, как-то малодружны. А дружба приносит нравственное очищение. Даже прикосновение к чужой дружбе – дружбе Пушкина.

Я вспоминаю «театр одного актера» – Владимира Яхонтова. С каждого его чтения я уходил потрясенным; долго звучали в душе яхонтовские интонации. И одно из самых больших моих впечатлений от чтения Яхонтова было чтение им всего текста «Евгения Онегина». Два вечера он читал «Онегина» в Эрмитажном театре. Было это перед самой войной.

Конечно, он не просто читал Пушкина. Он играл Пушкина. И особенно поразительна была его игра Татьяны. Какой идеально женственной, умной, скупой на выражение своих чувств предстала Татьяна! Можно было влюбиться в Татьяну Ларину в истолковании Яхонтовым, в ее изображении Яхонтовым. По-моему, еще никто и никогда не замечал, что мужчина может влюбиться в образ женщины, созданный актером. А ведь это так бывает.

К чему я это говорю? Загадка театра Пушкина разгадывается, как мне кажется, тем, что это театр слова и мысли. Есть театр

ситуаций, театр сюжетов, театр настроений, театр мысли, театр театра (вспомним мысли Николая Николаевича Евреинова). Театр слова – один из самых трудных видов театра. Пушкина читать невероятно трудно, ибо его надо читать с предельной простотой, ни на минуту не забывая музыки стиха и драматизма мысли, заложенной во всем произведении и в каждом его отдельном слове.

Владимир Рецептер тоже представляет «театр одного актера». Его опыт чисто словесного изображения крайне важен. И его предложение создать театр Пушкина – театр, где ставился бы Пушкин, один Пушкин по преимуществу, – не только «интересно» и «своевременно» (эти два слова обычны в одобрениях подобных предложений), но и умно, ибо на Пушкине лучше всего учиться читать поэзию – в драматургической, лирической или эпической форме. Опыт пушкинского театра был бы крайне важен для всех театров. На игре Пушкина проверялся бы актер и постановщик. Удачи и неудачи в пушкинских произведениях были бы показательны и поучительны. В. Рецептер не предлагает воссоздать «театр одного актера». Он предлагает нечто иное, но в чем-то близкое: создать театр одного автора, чтобы актеры учились на труднейшем тексте, а зрители сравнивали, вникая тем самым и в слово Пушкина, и в игру разных актеров, учились бы слушать, а не просто ожидать развязки.

Театр пушкинского слова насущно необходим.

Б. В. Томашевский называл «паразитическими ассоциациями» попытки видеть за любовными стихами Пушкина узко биографические факты (о какой именно женщине идет речь в том или ином стихотворении – о Ризнич, Керн, Воронцовой или еще о ком-то). Бывает и литературоведение, работающее на эти «паразитические ассоциации», – литературоведение сплетников. Любимые темы этого литературоведения – смерть Пушкина, любовь Пушкина, Наталия Николаевна и ее сестра Александрина и пр. Увы, этим интересовалась и Ахматова, но Ахматова-дама (при этом ревнующая Пушкина), а не Ахматова-поэт. Второстепенными писателями эти ученые-сплетники обычно не занимаются: важно низвести до себя только великих.

Сколько раз Пушкину пришлось бы вступаться за честь Наталии Николаевны и вызывать на дуэль различных любителей копаться в его семейной жизни. А ведь хуже всего то, что стихов-то Пушкина не знают. На «встрече» со мной во Дворце молодежи в Ленинграде я рискнул и спросил собравшихся (зал был полон): «А кто написал „Птичка божия не знает ни заботы, ни труда…“?»

Вопрос мой был задан после того, как минут десять перед тем я сказал, что поэзии Пушкина не знают, интересуются только «личностью» Пушкина, то есть его биографией. Из зала посыпались ответы: Плещеев, Державин и т. д.

Если бы Шекспир ожил, он был бы поражен обилием вполне глубокомысленных толкований его драм («Гамлета», например). Но истинно гениальное произведение всегда допускает различные толкования, иные из которых, возможно, идут гораздо дальше осознаваемого автором замысла. Каждая эпоха дает нового Пушкина. Каждый крупный поэт России имеет своего Пушкина.

Случай в Тригорском

Экскурсовод в Тригорском у дуба читает пушкинские слова: «…повесил я цевницу…» Девочка спрашивает: «А где цевница теперь?» И вдруг мальчишеский голос: «Что ты, дура, не знаешь? Тут немцы были – они и вывезли».

А сейчас С. С. Гейченко обмотал дуб анодированной (под золото) цепью: очевидно, чтобы не спросили: «Кто спер „златую цепь на дубе том“?» – и мальчишка бы не ответил: «Спросите Пушкина».

* * *

В «Горе от ума» неподвижное искусно противопоставлено подвижному. Чацкий – воплощение подвижности, и к Фамусовым он попал из путешествия. Репетилов – пародия на Чацкого. У него «мелкая подвижность»: шум без дела, неподвижность, имитирующая подвижность. Друг Чацкого в прошлом – Платон Михайлович – воплощение неподвижности в настоящем (подчинение жене; Софья может стать в будущем такой же женой, как и у Платона Михайловича, – поэтому и конфликт с Софьей).

Настоящая неподвижность – это Фамусов. Это воплощение неподвижности во всех аспектах. Фамусов – идеолог неподвижности. Опора Фамусова в его неподвижности – Скалозуб. Ему бы только в генералы. Москва для Скалозуба – артиллерийская дистанция. Ясно – для подавления волнений и учинения порядка. Даже свою боевую награду он получил за неподвижный подвиг («засели мы в траншею»).

Очень важно было бы проанализировать все построение «Горя от ума» с этой точки зрения.

Плюшкин говорит: «Хороший гость всегда пообедавши!» В

прямой речи действующих лиц всегда нужна характеризующая их черточка. А кроме того, прямая речь всегда должна быть в произведении обращена к собеседнику, никоим образом – к читателю. Это как в художественной фотографии – фотографируемое лицо не должно чувствовать присутствия фотографа, даже чуть-чуть – и то не годится. По тому, как автору удается создать в произведении речи действующих лиц, не поясняющие что-то для читателей, а произносимые только в пространстве произведения, определяется настоящий писатель. Мастер такого «забывания» в прямой речи о читателе – Достоевский. Хотя ведь большинство его произведений обращены своим текстом (через «рассказчиков», «хроникеров» и т. д.) именно к читателю.

Поразительные и странные представления у Гоголя о женщинах. Особенно в «Риме». Он пишет, например: «Женщины казались подобны зданиям Италии, они… дворцы».

Все меняется в наших представлениях о красоте. А вот женщина-соблазнительница остается во все века одной и той же. Вот как ее описывает протопоп Аввакум: «А прелюбодеица белилами-румянами умазалася, брови и очи подсурмила, уста багряноносна, поклоны ниски, словеса гладки, вопросы тихи, ответы мяхки, приветы сладки, взгляды благочинны, шествие по пути изрядно, рубаха белая, риза красная, сапоги сафьянныя…»

М. М. Бахтин безусловно прав, давая характеристику реалистическому роману, но он не прав, когда свойства реализма вообще распространяет на жанр романа как таковой. Вспомним окостенелые формы рыцарского романа или романа эллинистического. М. М. Бахтин с большими натяжками приписывает им то, что является особенностью реалистического романа; указываемые же им признаки последнего идут от реализма, а не от романа как такового. В концепции М. М. Бахтина, подчеркивающего неизменность «изменяемости» романа вообще, есть известная доля неисторичности.

В литературном произведении только с самой примитивной точки зрения непременно должен быть положительный герой. Пушкин писал о «Горе от ума»: «Теперь вопрос: в комедии „Горе от ума“ кто умное действующее лицо? Ответ: Грибоедов» (П. В. Анненков. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, с. 135).

«Воспитывает» читателя точка зрения автора, сам автор и то,

что читатель о нем знает. Вот почему автор и в личной жизни, и в своих частных взглядах, в своем повседневном поведении должен быть безупречен. Ничего скрытого. Все скрытое станет явным и разрушит созданное им, как сель – прорвавшийся с гор грязевой поток.

Достоевский

В Ленинграде произошел следующий интересный случай. Стоял вопрос о создании в нашем городе скромного памятника-знака Достоевскому. И вот ответственное лицо говорит: «У Достоевского нет положительного героя». И ведь верно! Кого мы можем назвать из действующих лиц в произведениях Достоевского, которому хотелось бы подражать? А между тем воспитательная сила произведений Достоевского исключительно велика: она в нравственной позиции самого Достоевского, умеющего глубоко проникнуть в суть нравственных проблем, – извечно нравственных. Ибо «буржуазная мораль» – это не настоящая мораль, а искривление морали. В буржуазном обществе (то есть в обществе капиталистов) моральные проблемы решаются, но решаются неправильно. Есть мораль вечная. И это особенно ясно сейчас. Когда наша страна обращается ко всему миру с требованием мира, разве она не апеллирует к вечной общечеловеческой морали? И литература должна решать извечные моральные проблемы – их бесконечное множество, и они бесконечно сложны. «Положительному герою», будь даже он атлантом, не вынести решения всех нравственных проблем. Поэтому нужны не только положительные герои, но и более выносливая и более необходимая (читателю) нравственная позиция писателя. Кстати, вот почему личное моральное поведение писателя, особенно поэта, имеет такое большое значение. Писатель, беззастенчиво карабкающийся вверх, неудержимо падает вниз.

Честертон имел в виду примитивно морализирующих авторов. Морализирование – не путь писателя. Писатель должен только подводить читателя к решению нравственных проблем. Читатель и в нравственных вопросах должен быть сотворцом автора. А если прямо морализировать, то не надо писать художественных произведений: становись проповедником, и все тут!

Первое «заострение», которое я себе позволю, заключается в следующем.

В мире произведений Достоевского существенную роль играет психология – художественная психология,

противоречащая, а отнюдь не тождественная той, которая существует в мире действительности.

В самом деле, сказать, что психология действующих лиц Достоевского верно отражает психологическую сложность действительного мира, верно описывает нервные и душевные заболевания, – значит ничего не сказать об этом гигантском этаже возводимого Достоевским своего здания мира.

Достоевский просто не противоречит в своей психологии законам человеческой психики, однако отбирает он из этой психики только определенные черты. Он берет из действительности только строительный материал, но строит он из него другой мир, не всегда похожий на тот мир, в котором мы живем. В этом мире концентрируются определенные черты, делающие возможным разрешение тех философских задач, которые перед ним стоят.

Какие же особенности характеризуют психологический мир Достоевского? Ответить на этот вопрос кратко отнюдь не просто. Нам поможет, однако, художественный мир сказки: неожиданные поступки – неожиданные и для автора, и для читателя, и для самого действующего лица; непредвиденное в поведении человека; непредусмотренное.

Душевная болезнь важна для Достоевского своими нарушениями психологических закономерностей.

Подросток говорит (глава VIII): «У человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается».

Многое в действии произведений Достоевского остается невыясненным. Неизвестно почему (и эту неизвестность подчеркивает автор) приезжает Алеша к отцу в начале романа «Братья Карамазовы».

Н. И. Чирков в своем труде «О стиле Достоевского» (1964, с. 58) говорит: «Писатель о движущих мотивах поведения Мышкина не говорит четко и ясно, не характеризует того или иного мотива полностью, намеренно не ставит точки над і».

В литературном произведении есть определенные слагаемые, по которым легко определить – опытен автор или неопытен, талантлив он по-настоящему или посредствен. Только настоящий писатель, например, умеет вести диалог. В диалоге не должен «присутствовать» читатель. То есть не должно быть ощущения, что автор озабочен – поймет диалог читатель или не поймет, будет ли диалог или даже разговор нескольких лиц во всем и до конца ясен. Изумительнейший мастер диалогов – Достоевский. Перечтите, например, ну хоть бы начало его главки «За коньячком» в «Братьях Карамазовых». Здесь каждое слово нужно,

необходимо, характеризует действующих лиц и одновременно подвигает вперед действие романа.

А затем. Как Достоевский умеет предварять будущие события. Перечтите первое появление Грушеньки в главе «Обе вместе». Это появление у ее же соперницы – Катерины Ивановны прежде всего невероятно по своей неожиданности: «Поднялась портьера, и… сама Грушенька, смеясь и радуясь, подошла к столу».

Достоевский, описывая появление Грушеньки, часто повторяет одни и те же слова и выражения, постепенно меняя их смысл. Он пишет «радуясь», но когда он снова пишет «радуясь», он берет это слово в кавычки, как бы ставя его под сомнение. А затем под сомнение берется весь облик Грушеньки, все ее поведение, настораживая читателя и подготовляя его к столь неожиданному все же скандалу. Алеша смотрит на Грушеньку: «И, однако же, пред ним стояло, казалось бы, самое обыкновенное и простое существо на взгляд…», «полная, с мягкими, как бы неслышными даже движениями тела, как бы тоже изнеженными до какой-то особенной слащавой выделки, как и голос ее». И далее постоянно: «как бы слишком широко, а нижняя челюсть выходила даже капельку вперед», «несколько выдававшаяся», «и как бы припухла». И далее сомнение в правдивости ее поведения все больше входит в описание Грушеньки: «Она глядела как дитя, радовалась чему-то как дитя, она именно подошла к столу, „радуясь“ и как бы чего-то ожидая с самым детским нетерпеливым и доверчивым любопытством. Взгляд ее веселил душу, – Алеша это почувствовал. Было и еще что-то в ней, о чем он не мог или не сумел бы дать отчет, но что, может быть, и ему сказалось бессознательно, именно опять-таки эта мягкость, нежность движений тела, эта кошачья неслышность этих движений…» Я не привожу далее этого описания внешности Грушеньки, описания все более и более проникающего в ее суть, как надвигающееся в объективе кинокамеры изображение. Противоречия во внешности Грушеньки все углубляются, делаются заметнее для Алеши, который в этом описании как бы представительствует читателя (для Достоевского это характерно: читатель всегда имеет своего «представителя» в самом тексте его произведений). А затем разражается знаменитый скандал, столь тщательно подготовленный этим портретом Грушеньки.

В произведениях Достоевского очень часто будущее определяет настоящее (нормальный порядок в жизни, как известно, только обратный – прошлые события определяют будущие, последующие).

При перечитывании «Братьев Карамазовых» я нашел

несколько таких моментов. В главе «Тлетворный дух»: «Обходя скит, отец Паисий вдруг вспомянул об Алеше и о том, что давно его не видел, с самой почти ночи. И только что вспомнил о нем, как тотчас же и приметил его в самом отдаленном углу скита, у ограды, сидящего на могильном камне…» Или далее в той же главе: «Он <Паисий> остановился и вдруг спросил себя: „Отчего сия грусть моя даже до упадка духа?“ – и с удивлением постиг тотчас же <но после>, что сия внезапная грусть его происходит, по-видимому, от самой малой и особливой причины: дело в том, что в толпе, теснившейся сейчас у входа в келью, заприметил он между прочими волнующимися и Алешу, и вспомнил он, что, увидав его…» и т. д. Иными словами, причина оказывается после следствия (телега впереди лошади). Сравните в более широком плане: что испытывает князь Мышкин, увидев портрет Настасьи Филипповны у генерала Епанчина, – до того, как он увидел саму Настасью Филипповну, и до того, как произошли все события. В этих всех «вторжениях будущего» в настоящее большую роль играет их непредвиденность, внезапность, определяемая у Достоевского словечком «вдруг». Сколько было уже написано об этом «вдруг» у Достоевского, но никто только не разъяснил точного значения у него слова «вдруг». А «вдруг» имеет несколько значений, и для Достоевского самое важное одно: не просто «порывисто», «внезапно», а «необъяснимо внезапно», ибо слово «вдруг» появляется тогда, когда нарушается естественный ход событий, когда будущее вторгается в настоящее, «дает обратный ход».

В конце главы «Внезапное решение» Ракитин вопреки своему желанию уйти «вдруг» начинает стучать в ворота, и это определяет дальнейшие события. «Подойдя к воротам <дома Грушеньки>, он <Ракитин> постучался, и раздавшийся в тишине ночи стук опять как бы вдруг отрезвил и обозлил его. К тому же никто не откликнулся, все в доме спали. „И тут скандалу наделаю!“ – подумал он с каким-то уже страданием в душе, но вместо того, чтобы уйти окончательно, принялся вдруг стучать снова и изо всей уже силы». Второе «вдруг» в этом пассаже «мое», то есть явно идущее в плане моего объяснения значения слова «вдруг» у Достоевского.

Великолепный переход от одной лекции к другой в «Публичных чтениях о Петре Великом» С. М. Соловьева. Лекция («чтение») третья кончается: «Необходимость движения на новый путь была создана <в XVII веке>; обязанности при этом определились: народ поднялся и собрался в дорогу; но кого-то ждали; ждали вождя; вождь явился». Лекция («чтение») четвертая

начинается, подхватывая конец третьей: „Народ собрался в дорогу и ждал вождя“, – сказал я в заключение прошедшего чтения. Это ожидание вовсе не было спокойное…» Такой переход част в романах Достоевского: конец одной главы подхватывается началом следующей.

В «Скверном анекдоте» Достоевского «генерал» Иван Ильич Пралинский говорит: «Нет, строгость, одна строгость и строгость». «Значительное лицо» в «Шинели» Гоголя говорит: «Строгость, строгость и строгость». У Салтыкова-Щедрина Вася Чубиков из «Нашей общественной жизни» говорит сходно: «Дисциплина, дисциплина и дисциплина!» Такие взывания к «строгости» и «дисциплине» говорят об отсутствии воли у действующих лиц.

Самая лучшая проза та, которую читаешь всю подряд, в которой нельзя ничего пропустить, – все значительно, важно и интересно. Так у Достоевского – несмотря на его кажущееся многословие (но многословия у него нет!).

В черновиках и планах Достоевского к «Идиоту» прототип Настасьи Филипповны носит условное имя «Геро». Никто, как кажется, не давал объяснения – почему. А многие думали – «Геро» сокращенное от «героиня». Но таких сокращений у Достоевского не было. Вместе с тем в черновиках у Достоевского часто условная связь его действующих лиц с их прототипами подчеркивается именами и фамилиями. Геро – это персонаж комедии Шекспира «Много шума из ничего». Связь здесь следующая. Геро у Шекспира невинная невеста, которую ославили как распутную. Скандал происходит в момент венчания в церкви (ср. бегство Настасьи Филипповны из-под венца). Условная смерть Геро примиряет виновников с ее мнимым распутством. Настасья Филипповна, по существу, невинна. Ее смерть примиряет Мышкина и Рогожина.

О. Э. Мандельштам сказал о Ключевском: «Ключевский, добрый гений, домашний дух-покровитель русской культуры, с которым не страшны никакие бедствия, никакие испытания». Это – в заметке о Блоке «Барсучья нора». Это удивительно верно, но почему? Я думаю, что события, какими бы ужасными они ни были, освещаются и освящаются их включением в историю, в осмысленную историю, в историю-повествование, хорошо написанную. Вообще любая гуманитарная концепция, касается ли она истории, искусства, литературы, отдельного произведения или отдельного творца (писателя, скульптора, живописца,

архитектора, композитора), делает жизнь «безопасной», оправдывает существование несчастий, сглаживает в них всю их «колючесть».

Достоевский без специалистов по Достоевскому был бы просто непереносим. Он жалил бы своих читателей со страшной жестокостью. Но «объясненный» Достоевский уже не тот – это русский тоже «домашний дух». А с другой стороны, Пушкин не был бы Пушкиным, тем, кого мы так остро любим, без пушкинистов…

Историческое знание врачует.

Л. Толстой

Л. Н. Толстой ценил древнюю русскую литературу. Он писал в 1874 году специалисту по древней русской литературе, издателю многих ее произведений, архимандриту Леониду: «Мне сообщили радостное известие, что дело составления для народа книги чтения из избранных житий не только одобрено вами, но что вы обещаете даже и личное ваше содействие этому делу. Я догадываюсь (дальше я выделяю текст), *какие сокровища – подобных которым не имеет ни один народ – таятся в нашей древней литературе. И как верно чутье народа, тянущее его к древнему русскому…»* (это контаминация из писем Толстого к Леониду от 22 ноября 1874 г. и 16 марта 1875 г.).

Льву Толстому, наверное, было скучно наедине со своей «философией». Не могло быть не скучно автору «Двух гусар»…

Философские системы бывают не только верные или неверные, но интересные, богатые и неинтересные, бедные, скучные. То же религии. К ним может быть и эстетический подход.

Анна Каренина, когда ее ищет в театре Вронский, находится в пятом бенуаре. Скандал – княжна Варвара. Анна постукивает веером по *красному* бархату. Значит, это не петербургский Мариинский театр, а Большой театр в Москве. Последний имеет красную обивку. Мариинский всегда имел голубую. А может быть, Лев Толстой не знал Петербурга?

* * *

Чехов дал неверное название своей пьесе – «Вишневый сад». Варенье – «вишнёвое», а сад «ви́шневый». Кроме того, дворянские

усадебные сады никогда не были вишневыми. Да и вид у вишневых садов мелкий. Были липовые, дубовые – много было больших и долголетних деревьев для усадебных садов. Имение-то ведь родовое – долголетнее. Ну что поделаешь: Чехов был из Таганрога.

Подобно тому как бесконечно большая или бесконечно малая величины могут находиться одна в другой (одна бесконечность в составе другой), так и в индивидуальном многообразии творческих возможностей художника находится «однообразие» его личности, самой по себе бесконечно богатой (человек – это одна из форм бесконечности), а затем в эстетическом богатстве настоящего (подлинного) художественного произведения есть его «организованность» стилем. Художественный стиль организует и ограничивает безграничные художественные возможности художественного творчества. Наконец, есть и еще одна важная особенность «эстетики художественного произведения»: при общей ограниченности художественных средств (как в балете, в фольклоре и пр.) эти средства в соединении стиля совершенно различны по эстетическим функциям. Это безграничность в ограниченности!

Новые перспективы открывают не столько те или иные книги, сколько их авторы и предмет изучения. Вечно новые перспективы открывают работы А. Н. Веселовского, М. Бахтина, А. Ф. Лосева, а из живых советских ученых (зарубежных я не беру) работы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, С. С. Аверинцева, В. В. Бычкова.

А стимулирующими «предметами изучения» являются Достоевский, Лесков, Толстой, разумеется – Пушкин, надеюсь – Державин. Проблемой изучения, наиболее актуальной сейчас ввиду необходимости найти подход к построению истории культуры, является, на мой взгляд, исследование соответствий и несоответствий (последнее не менее важно, чем первое) между различными видами искусства и культуры.

Бессилие литературоведения ярко сказывается в «анализе» литературного произведения путем пересказа – более или менее подробного. Художественное произведение «говорит» только в своей форме. Пересказ всегда искажение, упрощение и «оскучнение».

Мелочи играют в научных исследованиях исключительно большую роль. Повторение опечатки оригинала позволяет установить копию. Первоначальное имя героя будущего романа

открывает замысел. Фамилия и имя говорят об образе действующего лица. Та или иная стилистическая общность свидетельствует о литературном влиянии, о принадлежности к литературному направлению и т. д. В этом огромная роль частных исследований – они доказательны, чаще всего бесспорны и открывают путь обобщениям. Широкие темы, как бы ни заманчиво выглядели их названия, обычно ограничиваются журналистикой и рассеиваются, тают в воздухе, как туман. Поэтому поход против «узких тем», каковы бы они ни были, наносит существенный ущерб науке.

Лесков

Письмо проф. Эджертону

Дорогой коллега,

спасибо Вам большое за прекрасную книгу переводов из Н. С. Лескова. Подбор произведений и самые переводы сделаны с большим вкусом.

Мне хочется поделиться с Вами некоторыми своими мыслями о Лескове. Может быть, они будут Вам интересны как непосредственные впечатления его русского читателя.

1. Лесков был самым читаемым автором средней русской интеллигенции конца XIX и первой четверти XX века. В среде средней интеллигенции и в провинции его читали больше, чем Толстого, Тургенева и Достоевского. Я вырос в среднеинтеллигентской семье. Мой отец был рядовой инженер. Дома у нас тоже очень любили Лескова. Это было у нас самое любимое чтение. Прочитанное часто обсуждали за чаем. Иногда читали вслух две-три странички, которые особенно понравились. Праведники Лескова были друзьями нашей семьи. Они часто упоминались в разговорах. Особенно, помню, любили Ахилу из «Соборян». Другой автор, которого мы очень любили, много читали, но обсуждали гораздо меньше, был Всеволод Соловьев.

2. Популярность Лескову особенно создавали его чудаки и праведники. В России всегда любили чудаков, и чудаки не были редкостью в нашем быту. Это трудно понять иностранцу. Но на этом строилась и популярность юродивых. А насколько часты были чудаки и праведники, я могу дать Вам представление хотя бы на примере опять-таки нашей семьи. Сестра моего отца была очень некрасива и удивительно просто и добродушно переносила свое несчастье. Всю свою жизнь она помогала окружающим и слыла блаженной. Она умерла во время блокады Ленинграда, отдавая другим все, что получала сама. Она отдала одной бедной еврейской семье даже свою комнату, а сама переселилась в

холодную и сырую пристройку. И все это делалось ею без всякого надрыва и сознания своей праведности. Напротив, она считала добрыми не себя, а всех окружающих. А лесковский «Однодум» ко мне заходит не реже чем раз в месяц. Заходит, чтобы решить со мной какой-нибудь вечный вопрос. Ему за восемьдесят лет. Одет он самым бедным образом, хотя зарабатывает много. Все, что он получает, он раздает и считает, что на себя надо тратить как можно меньше. Он кончил Московский университет, но, глядя на него, Вы подумаете, что он простой чернорабочий. Одно из его чудачеств – не признавать трамваев и автобусов. Он ходит пешком, ест главным образом сырые овощи и черный хлеб. Приходит он за десяток километров, чтобы разрешить какой-нибудь вопрос, спросить, что я думаю по тому или иному поводу. И сам над собой посмеивается. Окружающие его любят и уважают и не сердятся, когда он им делает выговор за какой-нибудь проступок. Обаяние чудака! А в Пскове живет еще один чудак – известный археограф и знаток древнерусских древностей. Это Л. А. Творогов. Когда он идет по улице, окруженный собаками и детьми, хромой, но очень красивый, несмотря на свой почтенный возраст, то движение останавливается.

3. Русская литература XIX века очень многим обязана культуре устного рассказывания, к которому в старой России предрасполагал медлительный быт, длинные, многодневные путешествия на пароходе или по железной дороге. В путешествиях процветали задушевные беседы, ценились хорошие рассказчики. Был еще обычай «сумеречничать». Дело в том, что переход от дневного света к ночной тьме совершается на севере очень медленно. Еще в моем детстве, когда не было электричества, экономили керосин и свечи. И вот в сумерки, когда нельзя было уже работать, но еще не было совсем темно, женщины садились и начинались рассказы. В результате вокруг было много изумительно одаренных рассказчиков. С одним таким рассказчиком я познакомился в больнице. Это был старый военный моряк, не раз ходивший вокруг света. Он мне много рассказывал из того, что когда-то слышал в кают-компании своего корабля. Некоторые истории ему рассказывала еще в детстве бабушка. Слушая его рассказы, я понял истоки мастерства Лескова, Станюковича и др. Лесков весь вышел из таких рассказов. Да Лесков этого и не скрывает.

Лесков удивительно русский писатель, так как он связан своим мастерством с русским бытом и писал он о том, что русские люди действительно любили, чем мучились, что обсуждали и о чем изливали душу в своих долгих беседах в купе поезда, на почтовой станции, на пароходе, в кают-компании, на

постоялом дворе, в трактире или просто сумеречничая в своей семье или у знакомых. К этому располагал и самовар, в котором часами не остывал чай, и зимняя стужа, и длинные зимние вечера, и обилие друзей и знакомых, создававшихся былым патриархальным гостеприимством.

Каждый русский человек будет Вам бесконечно благодарен за то, что Вы так хорошо рекомендуете одного из наших самых любимых авторов.

Извините, пожалуйста, за длинное письмо, но я не виноват, что присланная Вами книга возбудила у меня желание написать Вам обо всем этом.

Собираетесь ли Вы приехать в Ленинград?

Искренне Ваш – *Д. Лихачев.*

Лесков поразительный писатель, но… Лесков искал фабулу, а Толстой – смысл жизни.

Лесков был сам в плену предрассудков и ошибок. Так любил Про́лог, но считал его отреченной книгой. В одном из своих писем называл Про́лог – «книга отставная».

Взгляд Н. С. Лескова на литературу выражен в его статье «Испания и испанцы» – писатель «записчик», а не «выдумщик».

* * *

Старый литературный опыт накапливается не только скрыто, но и вполне открыто. У Салтыкова-Щедрина и у Достоевского (не знаю – у кого первого) есть общий литературный прием: они ведут некоторых своих второстепенных персонажей прямо от персонажей Гоголя и Грибоедова (потомки Молчалина, Коробочки и пр.) Не надо объяснять и рисовать «образ»: образ дан старый, но в новой ситуации. Это непременно надо было бы внимательно исследовать. Прием чисто русской литературы и свидетельствующий о великой литературной культуре русских читателей. А у Ключевского целое исследование о предках Евгения Онегина.

Мы свободны в своих движениях. Мы можем идти вперед, назад, влево, вправо, на восток и запад. Куда нам угодно. Но земной шар совершает с неизмеримо большей скоростью свое движение. Так и в истории литературы. Мы свободны писать что вздумаем, и тем не менее незаметно для нас мы движемся с неотвратимостью в одном направлении. Только в одном!

Русские формалисты в литературоведении открыли замечательное явление литературы – «остранение», то есть «делание странным», необычным, удивительным. Термин не очень удачный – не знаешь, от чего он произведен; на слух он путается со словом «отстранение», а даже правильно услышав, не сразу понимаешь, что существительное, от которого он произведен, – «странность», а не «страна» (может быть, правильнее было бы писать этот термин через два «н» – «остраннение»?). Но все равно – это явление, открывающее многое в искусстве. Искусство же, как оказывается, действительно раскрывает глаза на явление, когда смотрит с необычной, «странной» точки зрения.

Однако вот что следует отметить. Формалисты открыли «остранение» на основе изучения литературы Нового времени. Для средневековых же читателей главное эстетическое наслаждение было в обнаружении знакомого в незнакомом, использование привычной формы для нового содержания. Искусство древнерусское, например, – это искусство «художественного обряжения» действительности. Писатель – церемониймейстер, создающий традиционное, парадное действо. Поэтому средневековое искусство главным художественным элементом имеет канонические формы.

И далее. Всегда ли средневековое искусство вводит рассказываемое или изображаемое в канонические формы? И всегда ли искусство нового времени стремится к «остранению» обычного? Если это «остранение», то с какой точки зрения? Любое ли «остранение» художественно? На все эти вопросы я сейчас ответить не могу, но вот на какую сторону вопроса хочется обратить внимание. Помимо «остранения», а отчасти пересекаясь с ним, в русской литературе – и средневековой, и новой, – существует другое явление, которое я в какой-то своей статье назвал «стыдливостью формы». И это почти национальная черта русской литературы, хотя я уверен, что не столь последовательно она существует и в других литературах.

«Стыдливость формы» – это стремление авторов для лучшего выражения своей мысли избавиться от слишком законченной, чисто литературной формы. Это стремление писать не литературным языком, а языком разговорным или языком деловых документов. Это стремление нарушать традиции жанров. Это стремление нарушать обрядность литературы. «Остранение» – но особого вида – Аввакум. Но ведь то же у Льва Толстого, который испытывает необходимость «точнее» выразить свою мысль в длинной фразе с оговорками и «контроверзами». То же и

у Лескова, который обращается не только к разговорному языку, но и к нелитературным жанрам или жанрам второстепенным – письмам в редакцию, рассказам по случаю и т. д. (я об этом писал во втором издании книги «Литература – реальность – литература»). И вся древняя литература, часто ищущая обновления в деловых жанрах письменности, в жанрах фольклорных, в языке документов и т. д.

Мне кажется, что в «плетении словес», развившемся в нашей литературе с XIV века, есть иногда стремление нарочито создать темные по смыслу сочетания, игру слов, лишенную четкого смысла, но обладающую сложными ассоциациями, строго и точно не переводимую. Однако доказать это очень трудно. Вообще при анализе стиля очень трудно доказать намеренность. Намерение автора почти всегда недоказуемо, если нет текстологического анализа черновиков, правки произведения и их текстологического анализа. В этом огромная роль текстологии – исследования истории текста.

Самым актуальным, самым «новым» остается то направление в нашем литературоведении, которое берет свое начало еще в эпохе европейского Ренессанса, – текстологическое. Изучение текста составляет основу литературоведения, ибо что значит любое историческое или литературоведческое изучение не только произведения, но и любого документа, когда самый текст зыбок и неопределенен? Но изучение текста в разные эпохи совершалось различно, вернее, не «совершалось», а постоянно совершенствовалось, становилось и более надежным, и более тонким, проникающим, дающим все более широкую основу для различного рода истолкований текста – и с точки зрения его содержания, и с точки зрения его формы во всех их многообразных сочетаниях. В советское время так называемая критика текста получила подлинно научное обоснование в результате проникнутого историзмом подхода к своим задачам и особое название, принятое сейчас в большинстве стран мира, – «текстология» (термин, созданный замечательным нашим пушкинистом – Б. В. Томашевским).

Советская текстология главной своей задачей начала ставить не просто «установление текста» каким-либо из многочисленных предлагавшихся в разные эпохи и в разных странах способов, а изучение истории текста, чем и приобрела право признаваться особой наукой, занимающейся не простым «установлением текста» для издания, а имеющей свой предмет изучения с многочисленными применениями своих результатов: для истории

творчества какого-либо автора, для исторической науки, для юридического обоснования правомочности документа, его исторического значения, и среди всего прочего – для издания изучаемого текста, «выбора текста». Именно текстология делает литературоведение наукой, позволяет достигать прочных результатов в любой области литературоведения, включая стиховедение, лингвистическое изучение текста, стилистический его анализ и т. д. и т. п.

Что же достигнуто в этой области сейчас? Возьмем такую область, как пушкинистика. Совершенно неправильно обычное, распространенное мнение о том, что здесь уже не́чего изучать и все возможное сделано, или сделано главное в научном отношении, и разнообразие достигается между отдельными работами по пушкинским произведениям только за счет различного эмоционального отношения к тексту и к самому Пушкину. Это эмоциональное разнообразие, конечно, тоже нужно, но самое важное, что кое-что меняется в основах пушкиноведения. Кто не знает огромного значения в рукописном наследии Пушкина его так называемых рабочих тетрадей. Они изучались и перед последним большим академическим изданием Пушкина, но изучались «потребительски», то есть издатель того или иного произведения каждый раз извлекал из рабочих тетрадей Пушкина те тексты, которые имели отношение к интересующему его произведению. Сейчас изучение рабочих тетрадей Пушкина поставлено на новые основы, которые, конечно, предугадывались и раньше, но которые получили свое принципиальное выражение в двух недавно появившихся работах: С. А. Фомичева «Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 832» и Я. Л. Левкович «Рабочая тетрадь Пушкина ПД № 841». Обе работы помещены в издании «Пушкин. Исследования и материалы», т. XII, 1986, и обе посвящены важнейшей теме – истории заполнения рабочих тетрадей. Это переворот в изучении пушкинского наследия. Переворот, который вряд ли сразу может быть осознан и оценен. К рукописям Пушкина устанавливается не «потребительское» отношение, а как к предмету целостного изучения. Когда будет выяснена история заполнения Пушкиным своих тетрадей и отдельных листков, можно будет с уверенностью судить об истории текста отдельных произведений и истории творчества Пушкина в целом. Перед нами грандиозные перспективы пушкиноведения, требующие притока молодых научных сил.

Но историзм в текстологии сказывается и в самых разнообразных областях литературоведения. Уже давно он занял передовые позиции в изучении древнерусской литературы.

Блестящие успехи могут быть продемонстрированы на книге Р. П. Дмитриевой, посвященной одному из самых привлекательных произведений Древней Руси – «Повести о Петре и Февронии Муромских» (Л., 1979). Благодаря изучению всех многочисленных рукописей повести (списков, сделанных в разное время) удалось установить с полной бесспорностью и время написания повести, и имя ее автора. Любопытно: при принятых ранее способах и приемах «установления текста» обилие списков всегда было серьезным затруднением. Теперь же обилие списков хотя и удлиняет работу исследователя, но зато приводит к бесспорным и точным результатам.

Значит ли сказанное мною, что текстология должна в основном занимать литературоведа? Нет, конечно. Текстология дает прочную основу. Она одно из оснований научности литературоведения, его точности. Но на основе выводов по истории текста и на основании самих текстов (одного, допустим, произведения, но на различных этапах своего создания) можно изучать текст в самых различных аспектах и самыми различными науками (лингвистически, стиховедчески, источниковедчески, исторически, с точки зрения истории общественной мысли, истории философии и т. д.).

Один из возможных подходов – структуральный. Но характерно, что в русской советской структуральной системе изучения все настойчивее пробивается исторический подход, который делает в конечном счете структурализм неструктурализмом, ибо историзм разрушает структурализм, позволяя вместе с тем усваивать в нем лучшее. Структурализм открыл много нового в изучении формы в ее связи с содержанием. Я считаю (это мое мнение, которое я никому не навязываю), что работы Ю. М. Лотмана, Б. А. Успенского, Б. Ф. Егорова и других очень много дают для расширения изучения литературы. Меня не пугает (а многих она отпугивает) усложненная структуралистская терминология. Из этой терминологии многое исчезнет, но что-то и останется, и это уже очень важно. Слова, термины не только выражают, означают, но они и открывают… Обозначить явление словом – это заметить его. А это настолько важно, что стоит потратить на это некоторые усилия. Неприязнь к структурализму иногда объясняется трудностью чтения структуральных работ. Трудность эта создает психологическое сопротивление, внутреннюю неприязнь к структуральным работам, а заодно и к их авторам. Не будем поддаваться этому чувству.

Объяснение «белого венчика из роз» у Христа в конце

«Двенадцати» Блока. В символике православия и католичества нет белых роз, но это могли быть те бумажные розы, которыми украшали чело «Христа в темнице» в народной среде – в деревенских церквах и часовнях. Ведь солдаты в «Двенадцати» – это бывшие крестьяне. См. иллюстрацию на с. 49 в книге «История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря» (СПб., 1899) – «Вид резного изображения Спасителя, находящегося в Филипповской пу́стыни».

Для характеристики обращения А. Ремизова с народным и древнерусским материалом и, больше того, творчества его в целом крайне важно его «Письмо в редакцию» журнала «Золотое руно» (1908, № 7–9, с. 145–148), написанное по поводу обвинения его в плагиате у… народного творчества. Ремизов, между прочим, пишет там: «Только так, коллективным или преемственным творчеством, создается произведение, как создались великие мировые храмы, мировые великие картины, как написались бессмертная „Божественная комедия“ и „Фауст“». Ремизов пишет, что он ставит себе задачей «воссоздание нашего народного мифа». Современное ему творчество А. Ремизов называет «одичалым и мучительно-одиноким творчеством, пробавляющимся без истории, как попало, своими средствами из себя, а попросту из ничего, и в результате – впустую». «Работая над материалом, я ставил себе задачей воссоздать народный миф, обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, колядках, суевериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах, апокрифах». А. Ремизов называет свой способ работы «„художественным пересказом“, „амплификацией“, то есть развитием в избранном тексте подробностей или дополнений, чтобы в конце концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить текст, в этом вся хитрость и мастерство художника».

В сущности, А. Ремизов работал методом древнерусского книжника, и поэтому не может быть даже назван стилизатором. Он не стилизатор, а продолжатель в условиях Нового времени.

Нельзя писать густой прозой: густой от острот (см. Ильф и Петров), густой от деревенского диалекта (иногда с выражениями из разных диалектов – лишь бы были подремучее), густой от изысков (А. Белый, ранний Леонов), густой от старинных выражений или выражений «под старину» (все почти исторические романы наши – чтобы их писать попроще, не «наполняя» старыми речениями, а «исключая» слишком современные, – как писал Пушкин свои исторические вещи).

Вот Василь Быков: у него крестьяне говорят как люди, а поэтому и проблемы у него не деревенские, а человеческие. Я сказал об этом В. Быкову, а он мне ответил, что это оттого, что переводит сам свои произведения с белорусского на русский. Кабы все так! В этом, подумалось, великая сила прозы переводов с иностранного: они делают локальные произведения общечеловеческими. Прав ли хоть немного?

Склоняется ли «Нотр-Дам»? У Ю. В. Бондарева в статье «Критика – категория истины?» есть такая фраза: «Сколько раз повторялись, варьировались в искусстве темы Христа, Богоматери, Мадонны, темы старой Москвы с ее бесподобным городским уютом, Петербурга с закатными набережными, Парижа с его Нотр-Дам*ом*, Сеной и бульварами (Марке, Писсарро, Коровин)». Самое главное в прозе – ее точность и ясность. Как-то неясно в этой фразе, считает ли написавший ее «Богоматерь» и «Мадонну» чем-то одним или двумя разными персонажами, что такое «закатные набережные»? – набережные, освещенные закатывающимся солнцем, или набережные, находящиеся на западной стороне Невы – там, где закатывается солнце? Эмоциональность прозы отнюдь не уменьшилась бы, если бы она была более точной. Но самое главное – точность грамматическая. Надо знать, какие из иностранных имен, фамилий, наименований можно склонять, а какие склонять нельзя. Можно ли сказать: «я был в соборе Нотр-Дам*е*», «видел Нотр-Дам*у*», «интересовался Нотр-Дам*ой*»? Ошибка непростительная для русского писателя.

Об Илье Эренбурге можно было бы сказать, что он «служил в семи ордах при семи королях». В наше время это было уже своего рода заслугой, ибо, служа, он исправлял и смягчал, но себя, конечно, портил.

Я не понимаю, как можно от большой литературы требовать «ленинградской темы», показа героя из рабочих или милиционеров и пр. Нельзя мельчить литературу. Рабочий наш живет не только интересами своего производства, своего города и пр. Если бы такие требования, которые часто критики предъявляют к современным авторам, предъявлялись к Достоевскому, к Пушкину и другим, то мы бы не имели мировой литературы. «Прощание с Матерой» – это произведение не о судьбе сибирского села, затопляемого ради великой стройки. Это произведение на мировую тему, ибо тема отношения к родным местам интересует всех во всем мире, а у Распутина есть ведь в «Прощании с Матерой» множество и других «проклятых вопросов», которые, надо думать, не исчезнут быстро.

В. Б. Шкловский сказал как-то: «Пишущий администратор подобен поющему пожарному в театре».

Член-корреспондент АН СССР известный литературовед Леонид Тимофеев в молодости сочинил чрезвычайно популярную в подонках общества у шпаны песенку:

Купите бублички,
Горячи бублички,
Гоните рублички
Ко мне скорей.

И в ночь ненастную
Меня, несчастную,
Торговку частную,
Ты пожалей.

Отец мой пьяница,
Он этим чванится,
Он к гробу тянется
И все же пьет!

А мать гулящая,
Сестра пропащая,
А я курящая —
Смотрите – вот!

Под музыку «Бубличков» в 20-е годы танцевали фокстрот, а в Соловецком театре отбивала чечетку парочка – Савченко и Энгельфелдт. Урки ревели, выли от восторга (тем более что С. и Э. были «свои»). Но в частушечном размере Леонид Тимофеев перевел «Слово о полку Игореве»: «смотрите – вот!»

В произведениях Владислава Михайловича Глинки я больше всего ценю их талантливую достоверность. Исторические произведения непременно должны быть достоверны в мелочах и в главном: в изображении быта и обычаев, интерьеров и всей окружающей обстановки, в изображении событий, исторических лиц и т. д. Но больше всего они должны обладать достоверностью в изображении людей той или иной эпохи. Люди меняются больше, чем их костюмы и формы. Для изображения достоверных людей той или иной эпохи недостаточно знаний, – к знаниям нужен еще большой талант понимания людей иного времени и

различных социальных положений.

В. М. Глинке веришь как свидетелю, как «мемуаристу», как человеку описываемой им эпохи. Он был старомоден в хорошем понимании этого слова. Весь его облик и все его манеры внушали совершенное доверие и к его произведениям. Невозможно себе вообразить, что он в чем-то недодумал или недоисследовал (извините за такое монструозное слово) изображаемое им. Он был талантлив и добросовестен, не жертвовал одним в угоду другому.

Настоящий исторический писатель, писатель, которому веришь, – большая редкость и большая ценность в наши дни. Мы ведь годами стремились очернить наше прошлое и очень осовременить характеры своих исторических героев.

Один из редчайших исторических романистов, знавших изображаемое им время как современник и создававший у читателя ощущение соприсутствия, – Марк Алданов. В его «Истоках» Александр II или Бисмарк показаны так, что потом уже образы их остаются в сознании читателей навсегда. То же и эпоха Наполеона. Недаром Алданова *французы* приглашали быть консультантом в фильмах о Наполеоне.

Каким должен быть исторический роман? Прежде всего без ошибок. На историческом романисте лежит огромная ответственность. Пикуль в передаче для телевидения сам хорошо объяснил причину своего успеха: недостаток исторической литературы. Но это не прощает его крупных ошибок. Надо чаще общаться с профессионалами и не пользоваться общеизвестными подделками, принимая их за документы (например, поддельный дневник Вырубовой). Надо пользоваться не только литературой по тому или иному вопросу, но и архивными данными. И нельзя допускать пошлостей, потакать дурным вкусам, внося элементы сенсационности и пр. Нельзя жертвовать истиной ради «интересности». Вот Владислав Михайлович Глинка: он знал эпоху, о которой писал почти как очевидец. Но мы мало ценим его произведения.

Не хочу называть старого поэта, о котором можно было бы сказать: это любимый поэт всех тех, кто не любит поэзию.

Не берусь судить о критике, но в науке о литературе все проблемы «главные» или, по крайней мере, их много. Наука развивается широким фронтом. Очень опасно сосредоточиваться на узком участке, забывая о других.

Если мы будем стремиться продвинуть только одну область, то в первые моменты сможем добиться в этой одной области

успехов, но за первыми успехами придут разочарования: захиреют не только области, которые мы запустили, но и те, которые мы объявили «главными».

Я сам специалист по древней русской литературе. Это уж не такая узкая область: как-никак семь веков, и при этом каких! – полных исторического драматизма, очень разных и многожанровых. Но я не считаю проблемы древней русской литературы главными, хотя и очень ими интересуюсь. Напротив, больше всего меня радует, когда изучение древней русской литературы приносит пользу для понимания других областей русской литературы: новой и советской. Изучение русской литературы во всем ее тысячелетнем объеме способно дать существенные результаты, особенно в вопросе о национальном своеобразии русской литературы (этот последний вопрос волнует меня больше всего).

И еще один аспект изучения первых семи веков русской литературы представляется мне важным. Древняя русская литература принадлежит к особой эстетической системе, малопонятной для неподготовленного читателя. А развивать свою эстетическую восприимчивость крайне необходимо. Эстетическая восприимчивость – это не эстетство. Это громадной важности общественное чувство. Это одна из сторон социальности современного человека. Она противостоит чувству национальной исключительности и шовинизму, она развивает в человеке терпимость по отношению к другим культурам – иноязычным или других эпох. Умение понимать древнюю русскую литературу – это умение ценить литературу европейского Средневековья, Средневековья Азии и мн. др.

Ведь то же самое и в изобразительном искусстве. Человек, который по-настоящему способен понимать художественные ценности древнерусской иконописи, не может не понимать искусства Византии, Египта, Европы раннего Средневековья и многого другого.

Что такое интеллигентность, культурность человека? Знания, эрудиция, осведомленность? Нет, нет и нет! Избавьте человека от всех его сведений, лишите его памяти, но если он при этом сохранит умение понимать людей иных культур, понимать широкий и разнообразный круг произведений искусства, широкий круг чужих идей, если он сохранит навыки «умственной социальности», сохранит свою восприимчивость к интеллектуальной жизни, – вот это и будет интеллигентный и культурный человек.

На литературоведах лежит большая и ответственная задача – воспитывать людей с широкой «умственной восприимчивостью».

Вот почему еще сосредоточение литературоведов на немногих объектах, на одной только эпохе или одной национальной культуре противоречит основному смыслу существования нашей дисциплины.

В литературоведении нужны разные темы и «расстояния» именно потому, что оно борется с этими расстояниями и стремится сократить преграды между людьми, народами и веками.

Вот почему недопустимы «специалисты» по одному автору в наших литературоведческих институтах. Я понимаю еще существование пушкинистов, ибо Пушкин исключительно широк. Но «некрасововедение», неграмотно называемое у нас «некрасоведением» (точно изучают какого-то не известного никому писателя «Некраса»), или «шолохововедение», или даже «леоноводение» (да простит меня Леонид Максимович: я не против монографий, ему посвященных) – сплошной нонсенс, лишающий этих специалистов по одному автору необходимого кругозора.

Если говорить о методике добывания новых фактов, то с этой научно-методической точки зрения я бы подчеркнул значение работ акад. М. П. Алексеева, Б. Я. Бухштаба (я имею в виду его последнюю книгу – «Библиографические разыскания по русской литературе XIX века». М., 1966), С. А. Макашина, С. А. Рейсера, И. Г. Ямпольского и многих других.

С точки зрения методики литературоведческой археографии я бы подчеркнул значение работ В. И. Малышева, И. С. Зильберштейна, И. Л. Андроникова и мн. др.

Методика очень близка к методологии. Методика исследования – часть методологии исследования. Разработка конкретных вопросов методики – исследования – одна из насущнейших задач нашей методологии.

Литературу захлестывает журнализм. В литературе у нас очень часто места писателей занимают журналисты. Это нечто прямо противоположное.

«Хороший тон» в науке. В моей юности (когда я учился в университете) ученые щеголяли знаниями, а «идеи» оставались на втором плане. Сейчас в науке развилось стремление выдвигать идеи – самые невероятные и в большом количестве. Это выражено в книге Эдварда Боно «Рождение новой идеи» (1976): «Возможно… имеет больший смысл располагать значительным числом идей, не боясь, что часть из них окажется ошибочной, нежели всегда быть правым, не имея вообще никаких новых идей»

(с. 84).

Как часто бывает – истина посередине, но не просто посередине, а с заимствованием преимуществ той и другой стороны: обоснованность от первой и инициативность от второй.

В филологической науке наиболее долговечны факты, а не идеи. Издания памятников, текстологическая работа, выясняющая историю текста тех или иных произведений, – это бесспорно необходимая на столетия работа, но она никак не может быть признана «лишенной новых идей». Обнаружить авторский текст, определить взаимоотношение редакций, видов списков текстов – это все «идеи». Достаточно вспомнить споры вокруг ефросиновского списка «Задонщины», чтобы понять, что развиваемые здесь идеи имеют колоссальное значение не только для изучения самой «Задонщины», но и для выяснения подлинности «Слова о полку Игореве». А идеи, связанные с определением отношения русской культуры XVI века к западному Ренессансу, если они не основываются на вновь выявленных фактах, документах, произведениях, устаревают через несколько лет и по большей части не годятся даже для создания новых концепций, новых «комбинаций» фактического материала, ибо материал в такого рода работах обычно получен из вторых рук.

В науке вторичность губительна. Концептуальные же работы по большей части именно вторичны, основаны на материалах, добытых предшественниками.

Методические традиции «Исторической поэтики» А. Н. Веселовского кажутся мне наиболее «современными». Впрочем, современное литературоведение ни в коем случае не должно ограничиваться традициями собственной науки. Традиции истории искусств и искусствоведения, языкознания и истории философии могут представить для современного литературоведения не меньший интерес, чем собственные. Литературоведы должны быть широко образованными людьми, берущими и учитывающими все самое интересное и значительное в методологическом отношении у соседних наук.

Литературное произведение окружено «поперечными связями». Оно находится в определенной среде, с которой согласуется и от которой зависят ее художественная сторона и идейное содержание. Позади произведения – горизонтальная связь с прошлым, традиции, наследие, канонические нормы и пр. Под литературным произведением – уходят вниз глубинные связи: социальная основа, экономическая, классовая, сословная и прочая определенность литературы. Три измерения: ширина,

длина и высота. Если нарисовать эти связи, получится самая общая схема самолета:

(пунктирная линия в схеме – это линия, перпендикулярная плоскости листа).

Поперечные связи изучаются преимущественно типологически, если только к типологическим изучениям присоединить изучение общего не только с другими литературными произведениями, но и с другими искусствами (общность стилей, объединяющих все искусства, а в определенные периоды истории литературы – науку своего времени, философию, тип богословствования и пр.). Глубинные связи изучаются социологически, а горизонтальный «хвост», тянущийся за этой «схемой самолета», – это изучение традиций, влияний и пр.

Чем же держится в «воздухе» эта схема, похожая на схему самолета? Вопреки примитивным обывательским представлениям о том, что самолет «опирается» крыльями на воздух, он «подсасывается к небу» образующейся над крыльями пустотой. Так и литература «подсасывается к небу» своим стремлением повлиять на окружающий мир, исправить его, заглянуть в будущее, внести в жизнь добрые («небесные») начала.

«Эпоха литературных манифестов». Конец XIX и вся первая половина XX века отмечены чрезвычайным обилием различных деклараций, манифестов, мелких объединений (а иногда и крупных) в литературе, живописи, скульптуре и даже кино. Это явление далеко не случайное. Оно характерно не для одной России.

Если взглянуть на историю развития всех искусств с высоты тысячелетий (а такой взгляд становится все более и более необходимым), то заметим некоторые закономерности. Для русской литературы я определил восемь направлений развития (см. мою статью «Будущее литературы как предмет изучения»).

Остановимся на некоторых из этих направлений, не называя их точно, существенных для нашей темы.

Можно считать, что фольклор исторически предшествует литературе. И вот что для нас важно. В фольклоре господствует традиционность и очень слабо отражается личность творца того или иного произведения. Традиционность облегчает творчество новых произведений (они создаются как бы по «накатанной дорожке»); а скромность индивидуального начала исключает возможность крупных ошибок в искусстве. Произведение фольклора (не только словесного, но и музыкального, живописного, ремесленного и всякого иного) может быть богаче

или беднее, но оно не может быть безвкусным, пошлым, банальным и т. д. В результате всякое произведение народного искусства ценно.

Первые два века русской литературы – одиннадцатый и двенадцатый – начинают собой эпоху принадлежности литературы к тому, что я бы назвал великими стилями. Первый из великих стилей в русской литературе – стиль монументально-исторический. Он охватывает собой не только литературу, но и зодчество, ремесла, по-видимому музыку, изобразительное искусство, даже некоторые явления мировоззрения, поведения людей (их идеал человека), церемониального быта, политического уклада и т. д. Ближе всего этот стиль к европейскому романскому стилю (в Англии он называется еще норманнским).

Этот великий стиль сменяется в XIII веке стилем, близким к западноевропейскому стилю Предвозрождения (однако в России Предвозрождение не породило собой эпохи Возрождения, а лишь явления замедленного Возрождения, растянувшегося на ряд столетий). Следом за эпохой Предвозрождения идет прямо эпоха барокко, которое в России приняло на себя ряд функций Возрождения.

Прослеживая развитие этих великих стилей, мы замечаем, как постепенно нарастает в них индивидуальное начало и как все больше сказываются в них стилистические черты, характерные только для одного из искусств. И все же мы можем еще говорить о барокко в литературе, музыке, зодчестве, науке, философии и человеческом типе как о великом стиле.

Однако уже на последних этапах развития барокко для автора все свободнее и свободнее возможен переход к другим стилям в творчестве. Рядом с барокко появляется классицизм, который мы смело можем отнести не к великим стилям, а к *направлениям* в искусстве. Художник мог выбирать между барокко XVIII века и классицизмом XVIII века. Затем следуют такие направления в литературе, как сентиментализм, романтизм, реализм…

Характерно, что реализм возможен в живописи и литературе, но невозможен в зодчестве, музыке, балете. В этой суженности поля применения ярко сказывается отличие реализма как направления от великих стилей, пронизывавших собою гораздо более широкий круг явлений культуры. Кроме того, в реализме индивидуальный стиль сказывался более глубоко и сильно, чем во всех предшествующих направлениях и великих стилях. В этом одна из причин того, что при реализме начинает развиваться критика и история литературы. Реалистическое искусство ищет свое критическое и историко-литературное истолкование.

Вслед за реализмом других отчетливых направлений в искусстве не развивается. Есть индивидуальные стили, есть индивидуальный подход к искусству, и эти стили и подходы иногда более, иногда менее близки к предшествующим стилям и направлениям. В реализме заложены огромные возможности для дальнейшего развития благодаря роли, которую играют в нем индивидуальные стили и подходы. Поэтому он не требует своей смены другими направлениями – только обогащение индивидуальными стилями.

Однако обратим внимание на следующую особенность в развитии искусства. Всякое действие встречает в искусстве и свое противодействие, движение вперед вызывает встречное движение, которое может быть принято за тормозящее, но по существу таковым не являющееся. Так, например, наблюдающийся в искусстве отход от традиционных форм, от тех или иных канонов встречается с обратным стремлением к выработке новых канонов, а иногда и возвращением к уже оставленным. Отказ от традиций, как и выработка традиций, действуют одновременно. То же самое происходит и с исчезновением направлений. В искусстве конца XIX и всего XX века (прежде всего в литературе) появляется чрезвычайно сильное стремление преодолеть индивидуальную разобщенность, отсутствие направленческих связей и объединений. И это неизбежное следствие распада связей ведет авторов к организации новых объединений: к появлению творческих групп, клубов, ассоциаций и к выработке общих идейных платформ. Отсюда-то в конце XIX и в XX веке такое обилие различных деклараций, манифестов, теоретических выступлений и пр. Авторы объединяются в попытках преодолеть разъединенность и творческое одиночество, а отчасти и с целью занять в искусстве лидирующие позиции.

Естественно, что наиболее «индивидуализированные» искусства, как, например, поэзия, более всего порождают различного рода объединения и манифесты. Но надо иметь в виду, что все литературные объединения в какой-то мере связаны между собой и с другими искусствами, где происходят аналогичные процессы, – живописью, музыкой, кино.

Все это имеет и свои положительные, и отрицательные стороны. Это и естественно, так как жизнь никогда не складывается только из чего-то положительного или чего-то отрицательного. И понять искусство XX века, не считаясь с этими подобиями прежних направлений, невозможно.

Пастор Андрю Мортон в Эдинбурге применил компьютер для установления авторства. Простой подсчет слов ничего не дал, и

не мог дать. Дало только подсчитывание пар слов, целых идиоматических выражений, сочетаний слов. Так, например, ему удалось доказать, что Бекон не мог быть автором пьес Шекспира. Такие же бесспорные результаты достигнуты им в установлении авторства других произведений. Даже благодаря его подсчетам был оправдан в суде один обвиняемый (четыре наиболее преступных письма оказались не его).

В истории литературы проявляется своеобразная *синергия*: согласованность свободы воли с проявлениями закономерностей, с движением по законам развития литературы (эти законы направления развития, их примерно восемь, указаны мною в работе «Будущее литературы как предмет изучения» (работа эта впервые опубликована в журнале «Новый мир», 1969, № 9. В последний раз – в книге «Прошлое – будущему», 1985). Свобода воли проявляется в биографических особенностях, определивших характер творчества писателя. Закономерности развития того же творчества писателя проявляются в его зависимости от развития литературы, от особенностей процесса историко-литературного развития, вынуждающего писателя придавать своему творчеству то или иное направление. Замечательно и до сих пор не разгадано то, что писатель зависит от своей жизни и от общей жизни литературы без особых конфликтов между той и другой.

Для моей статьи «Литература будущего» хорошо бы написать еще один раздел после раздела о развитии личностного начала. Суть его в том, что вместе с развитием личности, индивидуального начала в литературе идет развитие самоопределения личности в историческом процессе. Отсюда все более глубокий интерес к истории. Человек не только воспринимает себя, свою эпоху в собственном ряду, но начинает улавливать то, что он сначала определяет как «дух времени», как черты эпохи, а потом как смену эстетических формаций, мировоззренческих комплексов и т. д. Историзм проникает в литературу все больше: от малоисторичных Тургенева и Чехова к «историчному» Бунину, а затем и сугубо историчным советским писателям – как Булгакову и др. Современность начинает восприниматься для истории! Уже сейчас можем сказать, что интерес к истории возрос чрезвычайно и пронизывает собой и восприятие современности. Этот интерес к истории смыкается с интересом к историческим памятникам, к прошлому вообще. В интересе к истории литература находит выход из «литературной замкнутости». Литература перестает быть литературой в себе, вещью в себе, а сливается с живым интересом к действительности. Границы между жизнью и литературой

постепенно размываются, и в прорыв этот между литературой и историей постепенно начинают вливаться «второстепенные» жанры: появляется в равной степени интерес к биографическому жанру, жанру научной фантастики, причем фантастика постепенно становится все реальнее и место фантастического начала заступает начало научной популяризации. Границы художественной литературы и научной литературы также размываются. Происходит именно в этой форме слияние литературы с жизнью, но с жизнью, включающей в себя науку, технику, историю, филологию, литературоведение (например, В. Б. Шкловский сделал литературоведение объектом литературы) и т. д. Понятия «жизни», «реальности» начинают включать в себя не только «личную жизнь», как она понималась в романе XIX века, но и жизнь человека в науке. Это замечательное явление становится все заметнее. Все заметнее становится интерес к познавательному началу в литературе, причем познавательность все расширяется, захватывает различные отрасли.

Одним из традиционно-познавательных жанров в литературе всегда являлся жанр мемуаров. В XX веке жанр этот становится все более важным, значительным, общественно действенным. Если раньше читателя интересовала прежде всего жизнь писателей, то затем появился интерес к жизни художников (живописцев, скульпторов), затем к жизни полководцев (жанр, наиболее близкий к истории государств), а теперь – к жизни ученых, актеров, балерин и танцоров, режиссеров, выдающихся инженеров, конструкторов и организаторов производства, к «показательной» жизни того или иного представителя любой профессии.

Не «научно-популярная», а просто научная литература в ее широкодоступной форме становится все весомее и все больше занимает читателей. При этом роль «посредников» (журналистов, профессиональных популяризаторов) между ученым и читателем постепенно снижается. Сам ученый обращается к читателям, ибо и читатель требует точности и непосредственного общения с ученым, минуя «посредников», которые могут искажать и упрощать мысль ученого, научную истину. Вместе с тем не только читатель ищет встречи с ученым, но и ученые все чаще обращаются к встрече с читателями, ибо наука становится все определеннее общественной деятельностью.

Слова Блаженного Августина: «Единственным признаком благородства скоро станет знание литературы!» Сейчас – знание поэзии, во всяком случае.

Присматриваясь к поведению многих сотрудников литературных институтов, можно полностью разувериться в воспитательной роли литературы… Но нет! Иммунитет к литературе создает «профессионализм», да и просто ремесленное отношение многих литературоведов к своему труду. Они живут полностью отгороженные от литературы. И аморальность их создается именно отсутствием литературы в их духовном кругозоре. Они же лишаются эстетической восприимчивости. А ведь много мешает в восприятии книг и родственная профессия – редакторов. Надо быть очень крепким, чтобы выдержать натиск рутины в своем собственном труде.

Заметить появление закономерностей можно лишь в больших явлениях, но не в маленьких. Существует порог появления закономерностей. В литературе он очень высок. Можно заметить, однако, что в Средневековье этот порог ниже, чем в Новое время, и поэтому наблюдать закономерности на основе древнерусской литературы удобнее, чем на основе новой русской литературы.

В интервью А. А. Каменского с М. З. Шагалом («Огонек», 1987, № 27, с. 25) я прочитал следующую очень верную мысль М. Шагала: «Большие художники – это те мастера, которые разрывают рамки направлений, оказываются выше их, не скованы правилами и нормами направлений. В рамках направлений полностью умещаются только посредственности». Шагал дальше иллюстрирует свою мысль только живописцами, и то – близкими ему по времени или «по противостоянию». Но мысль Шагала относится и к архитекторам (Н. А. Львов, Ринальди), и к писателям (Пушкин, Гоголь, Достоевский), и к древним иконописцам. Чем выше искусство иконописца, тем он больше выпадает из «школы» и времени. Вот почему так противоречивы суждения о «Троице» Рублева или о «стиле» произведений Феофана Грека.

А, возвращаясь к писателям, – стиль Аввакума? Его не втиснешь ни в какие нормы и признаки эпохи, как не вставишь в историю литературы евангелистов. Последних даже не подчинишь жанровой системе I века н. э.

Непрофессионально об искусстве

Заметки о происхождении искусства

Даниил Александрович Гранин спросил меня в Доме писателя перед вечером цыганской песни, который должен был вести В. А. Мануйлов: зачем нужно искусство? Об этом спрашивали его на встрече с молодежью в Берлине, откуда он только что вернулся (разговор был 26 марта 1982 года).

Речь зашла о начале искусства, о пещерных рисунках. Рисуют бизона с таким необыкновенным умением. Как будто и прогресса нет.

Да, умение поразительное, но ведь только бизон, только дикий бык, пещерный медведь… Чтобы изобразить цель охоты? Но тогда почему нет уток, гусей, перепелов? Ведь на них тоже охотились. Почему нет проса, а ведь его сеяли.

Мое предположение: изображалось в пещерах то, чего боялись. Что могло нанести смертельный вред. Человек рисовал то, что страшно. Он нейтрализовал окружающий его мир в том, что несло ему опасность.

Отсюда родилось искусство.

Когда пуга́ло обширное пространство Русской равнины, человек ставил на самых высоких местах, на крутых берегах рек и даже среди болот церкви. Церкви населяли обширный мир. Это подавляло страх одиночества. Протяжная песня покоряла пространство. Звон колокола наполнял воздушное пространство. Нос ладьи загибали высоко кверху и вырезали на нем страшилище. Страшное море, страшные волны – надо было и их устрашить.

Боялись смерти, безвестности, исчезновения и насыпали курганы. Курганы труднее всего разрушить. Курганы из земли, они бессмертны, как земля. Чтобы разрушить курган, надо его разнести даже не лопатами, а на носилках. Землю лопатой не размечешь: курганы делались большими, и если разрывать курган лопатами, то рядом вырастет другой курган – на расстоянии броска лопатой. Поэтому курган – символ бессмертия, а египетские пирамиды подражают курганам.

А в последующем искусство борется не со смертью, а с бесформенностью и бессодержательностью мира. Искусство вносит в мир упорядоченность. Эта упорядоченность каждый раз различная. Однообразна в безличностном фольклоре, индивидуальна в индивидуальном творчестве, разнообразна в пределах одного личностного творчества: художник в разных творениях может выражать разные идеи, разные стилистические

тенденции.

Памятники искусства – это разные «модели», разные попытки внесения системы в бессистемный мир. Человек боится смерти в ее наиболее сложных формах – в «формах» хаоса. Искусство борется даже не с хаосом, ибо и хаос в какой-то мере есть форма существования мира, а с хаотичностью.

Можно взять и перекопать мир, построить город (город Солнца или что-то подобное). Патриарх Никон острову на Бородаевском озере придал форму креста. Но в основном искусство борется с собственным восприятием мира. Оно стремится ввести восприятие в русло «стиля», понимаемого как единство формы и содержания.

Достоевский боится города, боится человека. Он так ясно видит ужас всего этого, испытывает такой страх перед своим ясным ви́дением человека, что ему трудно обмануть самого себя. Поэтому он меняет мир в своих произведениях «очень мало» («очень мало» – это так кажется ему). Ему нужно уверить самого себя, что мир именно таков, а его видение мира необыкновенно остро, почти что научно (не случайно его творчество совпадает с развитием наук о человеке: психиатрии, психологии; с развитием судебного следствия в реформированных судах, с развитием адвокатуры и прокуратуры, с развитием источниковедения в исторической науке и пр., и пр.). Подобно древнему человеку ему мало нарисовать бизона на стенах своей «пещеры», и человека мало. Ему необходимо изобразить мир таким, чтобы самому поверить в правдивость изображенного, и вот он считает шаги, измеряет путь своих героев, указывает места действия, стремится к топографической точности, стремится иметь прототипы (прототипы не толкают его к изображению, а изображение ищет прототипы, чтобы увериться в своей достоверности: это все равно что отражение в зеркале ищет отраженного).

Но и этот мир не кажется достаточно безопасным. И вот начинается антиреализм – он начинается в импрессионизме с его половиной стога, четвертью Руанского собора, с его уверением зрителя в том, что есть только внешность предмета, но нет самого предмета. Краски уверяют зрителя – нет за ними ничего, есть только мерцание, освещенные плоскости, да плоскостей нет, есть только цвета, пятна – где-то в глазах. Мира нет, человека нет. Это тоже борьба с миром. Тоже безопасная «модель мира». И совсем уже разрушают мир кубизмы разных толков, абстракционизм и пр., и пр. Возникают антигазеты, антистихи, антитеатр и театр абсурда. Само искусство пугает, как пугает действительность. Где остановиться? Где получить передышку? Где уничтожить смерть? Само уничтожение смерти начинает пугать как действительность.

Если тысячелетиями в древнем мире курган был символом старого искусства, искусства борьбы с временем, то в весь новый период символом нового искусства становится крест. Крест, который ставят на могилах или над церковью. Крест растворяет человека в мире. Его концы направлены во все стороны: вверх, в стороны и вниз – в землю.

Искусство стремится стать крестом, растворяющим, рассеивающим, раздвигающим мир. Крест – символ борьбы со смертью (в христианстве – символ воскресения).

Что такое для меня балет? Прежде всего танец. Не пантомима, не пластические упражнения, не «живые картины», не «художественная гимнастика»! И праздник! Поэтому я не люблю нового балета. Не люблю балета на реалистические сюжеты. Сюжетами для балетов всегда брались сказки, легенды; всегда прошлое – не современное: «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Эсмеральда», «Корсар», «Щелкунчик», «Конек-Горбунок» и т. д. И еще музыка в балете для танца, а танец вовсе не должен пояснять и интерпретировать музыку. Поэтому танцы на классические музыкальные произведения представляются мне верхом безвкусицы. Музыка есть музыка, и ее нельзя переводить в какие-то зрительные образы.

В годы своего студенчества я часто посещал Филармонию и встречался с И. И. Соллертинским. Однажды мой знакомый сказал при Соллертинском, что он видит в исполнявшемся новом музыкальном произведении «шаг верблюдов». Соллертинский поднял его на смех и часто называл такое «ви́дение» музыки «верблюжачьим».

И вот теперь мне хочется повторить слова, принадлежащие прекрасной балерине К. М. Тер-Степановой: «С болью в сердце сознаешь, что балет Кировского (Мариинского) театра, являвшийся всегда гордостью и славой русского искусства, эталоном, образцом, на который равнялись коллективы страны и мира, свой авторитет постепенно утрачивает». В том же письме ко мне К. М. Тер-Степанова писала: «Незачем перечислять балеты, родившиеся именно на нашей сцене и ставшие классикой русского, а затем и советского балетного искусства. Последние же примеры (письмо писано в 1982 году) – отнюдь не академического качества. И это не случайно. Что касается балета „Ревизор“ (балетмейстер О. Виноградов), то если к оценке этого спектакля, с его достоинствами и недостатками, подходить с точки зрения спектакля хореографического, то он просто не выдерживает критики. Говорить о новаторстве тоже не приходится, – подобное, только более талантливое, уже было и

прижилось <к сожалению> на нашей сцене. И совсем не обязательно быть артистом балета Кировского театра, кончившим хореографическое училище, тем более ленинградское, чтобы исполнять этот спектакль», состоящий, добавлю, главным образом из синхронных гимнастических упражнений.

Если бы только новые приемы подобного рода хореографии ограничивались новыми постановками! Но идет постепенный пересмотр классического балетного наследия. Нет сознания, что произведения балетного искусства также должны охраняться законом об охране памятников. «Жизель», бывшая для всего мира эталоном хореографии и исполнительства, безжалостно испорчена. В своем письме К. М. Тер-Степанова напоминает слова Ю. Слонимского: «Мы должны быть бдительны, не позволяя „улучшать“ шедевры классического наследия». И это задача прежде всего Академического Кировского театра. Опыты и эксперименты могут производиться в таких балетных коллективах, как «Хореографические миниатюры», «Ансамбль балета», «Мюзик-холл» и пр. «Высокий профессионализм, академичность, чувство меры, стиля, благородство, тонкость, культура исполнения, актерская глубина всегда являлись отличительными чертами ленинградской манеры исполнения. Немало случаев, когда даже Большой театр пополнял свои ряды лучшими представителями ленинградской школы», – пишет К. М. Тер-Степанова.

Хочется провести одну возможную аналогию. В городах всего мира основная задача главного архитектора города состоит не в том, чтобы строить больше других, а сдерживать архитекторов, сохранять лицо города. В балетном театре нужно также различать функции художественного руководителя (главного балетмейстера) и балетмейстеров-постановщиков. Задача первого – сохранять классическое наследие, «художественную форму» театра, задача других – обогащать театр новыми постановками. Главный балетмейстер не должен быть главным постановщиком и переделывателем классических спектаклей.

Вахтангов говорил: «хорошо сохранившийся труп» – о дурных, застарелых традициях. Однако классический балет – не традиция этого типа. Ее нельзя менять, обновлять. Это особого рода искусство – как, скажем, в изобразительном искусстве есть живопись маслом, но есть и графика. Классический балет не заменим новыми приемами пластики. Его можно отменить приказом, но нельзя обновить – как, скажем, графику масляной живописью.

Ужасной пошлостью веет от балетов, да и вообще от спектаклей, где выводится Пушкин и Наталья Николаевна.

Лев Толстой, не признававший театр и пародийно изобразивший театральное представление, вдруг увидел бы «Анну Каренину», поставленную как балет. Танцующая Анна! Да разве это Анна? Ведь смотреть это все может только человек, совершенно не знающий о том, как должна была бы вести себя Анна! Ведь изящество и аристократическая элегантность Анны ничего общего не имеют с балетными.

Единственная область искусства, где модернизм кажется мне невозможным, – это балет. Он весь традиционен. Утрата традиционности и условности формы ведет к гибели балета как искусства. Балет станет зрелищем вроде фигурного плавания, ревю, цирковых выходов, только хуже.

«Ревизор» без слов – все равно что Рембрандт без красок (о балете «Ревизор»). Можно, конечно, но зачем? (То есть можно, но зачем ставить балет на тему «Ревизора»?)

Анна Павлова редко делала больше двух-трех пируэтов. Ее искусство было не в технике; не в том, что она делала, а как.

С исполнением созданного для нее в 1905 году Михаилом Фокиным «Умирающего лебедя» была связана ее мировая слава. А ведь танец этот очень несложный: pas de bourée и плавное движение рук. Но как она его исполняла. Она гастролировала в 44 странах, проделала 350 000 миль, выступала перед публикой, которая часто перед тем ни разу не видела балета. Она умерла 23 января 1931 года, прошептав перед смертью: «Приготовьте мне одеяние Лебедя».

Границы между различными великими стилями всегда нечетки, и великие произведения часто возникают именно в пограничной полосе: примеры тому Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский… и т. д. То же в архитектуре (Ринальди), в живописи (К. Брюллов), в театре и пр., и пр.

Круг, нарисованный от руки, производит впечатление более круглого, чем круг, изображенный циркулем. Потому, может быть, что небольшие неточности заставляют смотрящего активнее относиться к кругу, исправлять круг, энергичнее его воспринимать.

Михай Зичи делал иллюстрации к «Слову о полку Игореве» (литографии, 1853 год). Русские в этих иллюстрациях одеты по-венгерски, а половцы – по-турецки (Зичи венгр, долго работавший в России). Поразительный по безвкусице этюд М. Зичи второй половины 1870-х годов – «Аутодафе»: сжигают красивую молодую женщину в очень соблазнительном виде (спиной, обнаженная и с «формами»).

Витражи часто бывали так высоко, что их нельзя было разглядеть.

Фриз Пантеона в Афинах, когда он был не в Британском музее, а на своем месте, тоже был «невидим» для зрителя.

Следовательно, архитекторы, скульпторы, витражисты и фрескисты творили для Бога, для правды, а не для зрителя, который часто не мог разглядеть детали.

Игорь Стравинский даже о современной публике говорил (в «Диалогах». М., 1971, с. 288), что она «предпочитает узнавание познаванию». Это согласуется с тем, что он замечает дальше: «Настоящим делом художника и является ремонт старых кораблей. Он <художник> может повторить по-своему лишь то, что уже сказано» (с. 302). Следовательно, старое отношение к искусству живет даже в современности.

Произведения искусства существуют вне времени. Но для того, чтобы ощутить их вневременность, необходимо понять их исторически. Исторический подход делает произведения искусства вечными, выводит за пределы своей эпохи, делает их понятными и действенными в наше время. Это – на грани парадокса.

Пикассо в интервью Мариусу де Зайас в 1923 году говорил: «Все, что я когда-либо делал, я делал для настоящего и с надеждой, что оно всегда останется настоящим» (Robin Duthy. Picasso's prints – Connoisseur, 1983, February).

Все искусства – это одно искусство. Все науки – это одна наука. Поэтому талантливый в одном – талантлив и в другом (Микеланджело, Леонардо да Винчи, Ломоносов). Удивительно, что гениальные балерины и художники – прекрасные писатели (Коровин, Карсавина, Петров-Водкин, А. Бенуа и др.).

Б. М. Эйхенбаум в статье «Как сделана „Шинель“ Гоголя» пишет, что гротеск требует замкнутости произведения, его

отгороженности от остального мира (с. 322 в кн. «О прозе»). «Миргород – фантастический гротескный город, совершенно отгороженный от всего мира».

Но то же в иконе. Мир иконы – мир не похожий на остальной мир. Поэтому икона *вещь* (картина на холсте не вещь, а изображение), она имеет лузгу и поля, ее композиция замкнута и насыщена, нет воздуха, свободного пространства, которое могло бы соединиться с остальным миром.

Здесь действует «закон цельности изображения», типичный для древнерусской литературы.

Некоторые книги, прочитанные мною еще в молодые годы, запали мне в душу, хотя и автор неизвестный и тема иногда странная. Запомнилась мне книга (вернее – брошюрка) какого-то Селиванова «Душа вещей», изданная в начале века где-то в Рязани или другом провинциальном старинном русском городе. Автор утверждает, что вещи имеют душу, волю, привязанности, заставляющие их после многих скитаний по магазинам, перепродаж вернуться в семью их прежних хозяев. Он приводит множество примеров о том, как вещи возвращались… Имеют ли вещи душу – все-таки остается неясным, но ясно другое: душевное отношение хозяев к фамильным креслам, столам, бюро и т. д. Вещи связаны тысячами воспоминаний с их прежними владельцами, с теми, кто ими просто пользовался. Вещи учреждений не менее замечательны в этом отношении, чем вещи фамильные.

Но вещи можно любить и за их красоту, за то, что их делали мастера с любовью, тщательно, умно, с выдумкой, а иногда и улыбкой. «Улыбающиеся семейные предметы» – в них что-то бывает диккенсовское, из «Пиквикского клуба» (рассказ старого кресла).

Интересные сведения о красном дереве (mahogany) я прочел в одном английском издании. Оказывается, в XVII веке красное дерево ценили за его чудный запах. Об этом писал в 1672 году Richard Blome в книге «Description of Jamaica» («Описание Ямайки»). Описав разные сорта столярного дерева, он отметил, что в деревянных изделиях можно отметить «many other excellent sweet smellings» («много других превосходных сладостных запахов»). К «красному дереву» принадлежат многие породы деревьев. Вообще, надо сказать, запахи ценились два-три столетия назад больше, чем сейчас: запахи цветов, едва уловимые запахи обработанного дерева и пр. Петр I приказывал сажать в первую очередь душистые цветы, а по дорожкам, вместо того чтобы

посыпать их гравием, сажать мяту, которая пахнет, когда по ней ходишь («мнешь» ее). Технические качества красного дерева (прочность, сопротивляемость переменам температуры, возможность делать «cabriole legs» <«витые ножки»>, изогнутые ручки и пр.) первыми оценили испанцы. Они употребляли его в кораблестроении, а потом в своих домах и в церквах в американских владениях. В Европе красное дерево впервые стали употреблять англичане для маркетри. Ввозили дерево с Ямайки и из Гондураса. Лучшее дерево по крепости и фактуре добывали в горах. Первое по качеству дерево считалось с Ямайки, оттуда ввозилось дерево с начала и до середины XVIII века (точнее, до 1780 года), пока его запасы не уменьшились. В XVIII веке дерево ценилось в столярных работах за эстетические качества: во-первых, это дерево экзотическое, во-вторых, хорошо полируется, красива поверхность, цвет, слои (при использовании его для фанеровки), прекрасно годится для резьбы.

В русском военном флоте столяры часто делали мебель из массива. Красное дерево во флоте было относительно доступнее, и необходима была в первую очередь прочность. Нашей семье досталось бюро героя Севастопольской обороны адмирала Истомина. Оно стояло у него в каюте. Внизу – три ящика для белья. В средней части – выдвижной письменный столик с ящичками для письменных принадлежностей. Выше – буфет и книжный шкаф. Сверху была раньше решеточка, чтобы не съезжало во время качки или парусного крена что-то, что можно было класть на бюро сверху. Бюро имеет «модные» для пятидесятых годов формы (закругленные углы), но невероятно тяжелое, так как сделано на совесть и из массива. Разумеется, никакого «пламени», достигавшегося при фанеровке красным деревом, в нем нет.

А о «пламени»: самое красивое «пламя» все же в мебели из орехового дерева. Ореховое дерево мягкое, ломкое (а потому редкое), но извивы «второго рокайля» в нем удаются превосходно. Орех – мое любимое столярное дерево в мебели. Это не значит, конечно, что я его собираю или оно у меня есть. Я любуюсь им главным образом в санатории Академии наук в «Узком». Там есть удивительное псише, работы фабрики Гамбса в Петербурге, столы и кресла. Боюсь, что и там их век не долог.

Еще о красном дереве. Испанский флот потерпел поражение у мыса Трафальгар, несмотря на все технические преимущества своих судов. И первое преимущество состояло в том, что он был в основном построен из крепчайшего красного дерева, тогда как английские суда – из дуба, а мачты и реи из сосны. Испанцы

пользовались огромными запасами красного дерева, росшего на побережье Кубы и нынешнего Гондураса. На испанских верфях Гаваны было построено в XVIII веке около 300 кораблей. На строительство каждого уходило около 3000 деревьев, и около 40 сосен (росших в Мексике) для трехмачтового судна – для рей и мачт.

Самым сильным и самым крупным военным кораблем в Трафальгарской битве был испанский корабль «Сантисима Тринидад» («Святая Троица»), имевший 144 пушки – больше, чем какой-либо другой корабль в битве. Двойные и тройные залпы англичан не смогли потопить судна – пробить его борта из красного дерева, тогда как пушки «Тринидада» пробивали с близкого расстояния дубовые борта английских кораблей толщиной в метр. Команда «Тринидада» имела 1200 матросов и солдат морской пехоты. Команда же флагманского судна адмирала Нельсона – «Ви́ктори» – всего 900 профессиональных моряков.

Почему же английский флот одержал победу над испанским? Главное – потому, что команды английских кораблей были дисциплинированнее и лучше профессионально обучены.

В Эдинбурге в 1967 году мне подарили замечательное воспроизведение картины Модильяни. Я спросил (а я старый типографщик): «На какой печатной машине оно сделано?» Мне ответили – на самой простой, XIX века. Но дело в том, что работали на этой машине настоящие мастера, очень тщательно и медленно, и корректуру цвета вели по подлиннику.

Вильям Блейк назвал Библию: «The Great Code of Art» («Великий код искусства»): без Библии нельзя понять большинство сюжетов искусства.

О скульптуре «Мать-Родина» в Киеве можно сказать: «Скульптура небольшая, но красивая» (меня поймут, кто видел).

Всем нравится «Медный всадник» Фальконе. Он один на весь город. Но вот уставьте Ленинград произведениями Фальконе – пусть даже на разные сюжеты, – и не очень много: пять-шесть. Или пять-шесть монументов Козловского? Коней Клодта четыре, но это одна группа. А если бы Монферран воздвиг в нашем городе не одну колонну, а пять-шесть в честь разных событий? Нет уж, пусть ставят у нас в городе хорошие скульптуры, самые хорошие, но *разные.* А трижды воздвигнутый одним скульптором Пушкин – да ведь это убийство, еще раз совершенное.

Я всегда считал, что Айвазовский придумывал в море «красивости» или писал море таким, каким оно попросту не

могло быть. Но вот в Варне я пошел посмотреть бурю на море рано утром. Солнце вставало, и большие валы катились к берегу, образуя гребешки. Потом разбивались о скалы. И вот, когда волна развивала гребень, она истончалась и сквозь нее было видно, как через зеленое стекло. Вода походила на уральский камень – оникс. В гребешке сияли бриллианты, которые разносил ветер. И я убедился, что свои «красивости» Айвазовский не придумывал. Единственная фальшь заключалась в том, что эти эффекты могли быть только рано утром или при закате. Он идеализировал море, совмещая несовместимое (внося эффекты, не свойственные времени дня). И в этом уже была большая его фальшь. Но ранние романтические картины Айвазовского хороши, полны настроения.

Написать работу «Эмблематика Древней Руси» (мне или кому-нибудь другому, если у меня не хватит сил).

Просмотреть Радзивиловскую летопись – змея, солнце и пр. – в миниатюрах. В «Слове о полку Игореве»: паполома, синее вино, вдеть ногу в стремя.

Эмблематика Древней Руси и близка, и не совпадает с эмблематикой западноевропейского Средневековья, обласканной исследователями и составителями справочников.

В Саратовском художественном музее имени Радищева есть картина Кустодиева «Троицын день». Что день на этой картине изображен праздничный – это видно сразу. Но почему Троицын день? Чинно идет купеческая семья. Впереди мать семейства с дочерью лет восемнадцати. Тут же стараются передать им цветы молодые люди, заглядывающиеся на девушку. Вдали на скамейке сидит дама, может быть купчиха, а рядом пожилая женщина в платке, из простых. Перед ними стоит с тросточкой, вероятно, муж дамы и прислушивается к разговору.

А вот что рассказывала мне мать. В Троицын день бывал обычно показ невест. Купеческие семьи с дочерьми (в Петербурге это бывало в Летнем саду) прогуливались по центральной аллее. Женихи стояли по бокам аллеи и высматривали невест. Тут же сновали свахи, которые объясняли – за какую невесту сколько и что дают в приданое. Именно этот показ купеческих невест, но в провинциальном городе, изобразил Кустодиев в своей удивительно праздничной картине.

Художник пишет пейзаж, натюрморт, портрет: он извлекает из всего этого красоту. Значит, в самой натуре (в природе, в человеке, в растении, в животном и т. д.) есть красота. Иногда эта красота даже не требует «извлечения»: цветы, бабочки, деревья,

кристаллы, птицы. Эта красота на самой поверхности.

До какой степени люди в первой половине XIX века «зашифровывали» свои чувства. Вот браслет, изготовленный французским ювелиром около 1820 года. Первые буквы названия каждого из вставленных в него камней составляют слово «Amitié» (дружба): Amethyst (аметист), Malachite (малахит), Iacinth (гиацинт), Turquoise (бирюза), Iacinth (гиацинт), Emerald (изумруд). Тайная любовь? О ней знала только владелица браслета? От кого она могла его получить? Но представляю себе, с какой любовью она носила этот браслет.

Кому-то принадлежит мысль, что образование – враг художественного ви́дения. И действительно, много пропадает, когда мы подумаем, что скрывается за пределами видимого: кости, мозг, сосуды, сухожилия и пр. И то же в отношении всех предметов и объектов природы. Но ведь для того, чтобы хорошо работать живописцу, надо знать анатомию. Если не знать анатомию лошади, то и создаются такие «конные памятники», какой поставлен в Новгороде в честь его освобождения. Значит, художник должен не только видеть, но и знать. Взыскательный зритель – тоже, но – забывать о своих знаниях в момент созерцания.

А вместе с тем знание прямым образом способствует эстетическому восприятию: знание мифологии, знание истории, стилей, биографий творцов, истории создания того или иного произведения, жизни произведения после своего создания и т. д. Роль знаний и самый тип знаний в разные эпохи различны. В Средние века и после до сегодняшнего дня (у профессиональных искусствоведов) огромную роль играет знание Священной истории (Библии, истории церкви). Начиная с эпохи Возрождения и в основном по первую половину XIX века необходимо было знание античной мифологии. Для буддистов – знание буддистской. Даже для восприятия произведений искусства примитивных народов необходимо было знание их мифов, их религии. Сейчас, в эпоху реализма, для восприятия произведений искусства большинство зрителей, слушателей и читателей ограничивается элементарными знаниями психологии, а при восприятии абстрактного искусства не нуждается и в этом. Ни в чем не нуждается…

Марк Ротко утверждает: «Только искусство может сделать переносимыми ужас и абсурдность бытия». Это крайне пессимистическое утверждение имеет, однако, некоторый смысл, во-первых, когда речь идет о происхождении искусства, и, во-

вторых, когда имеется в виду, что искусство вносит порядок в хаотичность наших представлений о действительности.

В самом деле, представления человека о мире должны упорядочиваться, приобретать некоторую систему. Человек вносит искусство в действительность, организует ее.

Народное искусство

Народное искусство наиболее близко к человеку, ибо оно хоровое, рабочее (его держит человек в руке), одевающее его, окружающее его (в избе, например), действующее вместе с ним… Оно насквозь прикладное.

Народное искусство поражает двумя особенностями (наряду с другими): всеохватностью и единством. Всеохватность – это пронизанность всего, что выходит из рук и уст человека, художественным началом. Единство – это прежде всего единство стиля, народного вкуса. В едином стиле и дом, и все, что в доме, и все, что сделано человеком вокруг дома, все, что творится им изустно. Обе эти особенности объясняются тем, что искусство во всех его формах подчинено, как высшему началу, стабильному укладу жизни. Все праздники, все обычаи, все правила поведения создают единое искусство. Каждый предмет, каждая песнь, выхваченные из обряда и быта, теряют наполовину значимость и красоту.

Но столь активный быт, столь единый обиход, командующий искусством, возможен только в обществе, живущем единой жизнью, то есть крестьянской среде, где всем в конечном счете владеет природа, устанавливающая годовые праздники, календарный быт.

Обычаи и обряды наиболее сильно выражаются в праздниках. Народное искусство связано с обиходом и обрядом. Вот почему оно одновременно и празднично. Фольклор вещевой, словесный и музыкальный – это праздничное обряжение жизни.

Традиционность народного искусства в значительной мере объясняется тем, что художественная систематизация впечатлений совершается вся в одном стиле, одними и теми же привычными способами. Поэтому-то крестьянин подчиняет все в своей избе и вне ее одной манере, одному художественному методу. Его искусство не знает колебаний. Смелость традиции позволяет крестьянину художественно едино создавать прялку, ложку, конек избы, сани, солонку, соху, одежду и т. д. – все

бытовые предметы. Все в той или иной округе, все вещи созданы как бы одним мастером. Индивидуальное сказывается еще мало. И при этом нет безвкусицы, нет произведений антихудожественных. Правда, художественность народных произведений то выше, то ниже, но нет безобразных.

Художественный стиль в народном искусстве всегда один в данной местности, у данного населения. Все воспринимается и изображается в одном стилистическом ключе.

Прогресс в искусстве состоит в том, что появляется много различных способов художественного восприятия действительности. Человек постепенно овладевает способностью «видеть» и «слышать», а соответственно, и творить в двух или даже нескольких стилистических системах.

Французский классицизм существует рядом с барокко в одной стране и в одно время. Индивидуальное начало растет постепенно (оно всегда есть, конечно, но занимает второе место в стилистической системе). В романтизме индивидуальное начало приобретает уже значение определяющего в стиле, а вместе с тем появляется и интерес к стилям другого времени и других стран. Недаром в романтизме такое важное место занимает обращение к национальным и историческим стилям – к готике, к китайщине, к турецким и арабским особенностям искусства и к народному искусству во всех сферах. Романтик ищет себя среди многообразия стилистических восприятий мира. Он понимает, что мир можно художественно организовать по-разному, в разных «вкусах». И уже в этот период появляется (что отнюдь не случайно) наряду с разными вкусами и безвкусица. Безвкусица XIX и XX веков – это контрнаступление хаоса – хаоса, притворяющегося искусством, хаоса, организованного хаотически (пусть меня простят за такую бестолковщину в словах), то есть ложно организованного, а по существу остающегося хаосом, но хаосом, обретшим агрессивность и благодаря этому способным сопротивляться попыткам его организовать стилистически. Безвкусица – это не просто отсутствие вкуса, а нечто несущее в себе сопротивление вкусу.

В самом деле. Шум моря, шум леса, даже уличный шум можно организовать музыкально (ср. «Вечера в Вене» Листа), но шум оркестра, фальшиво пытающегося исполнить музыкальное произведение, уже невозможно преобразовать в нечто художественное, если только не заставить оркестр верно исполнить произведение, вернуться к правильному исполнению. Поэтому безвкусица – это хаос, приобретший броню против искусства.

Поскольку появилась опасность ухода от искусства в

безвкусицу, в антиискусство, эту опасность стала предотвращать критика. Появилась критика и все виды искусствознания. Это самозащита искусства. Народное искусство в свое время в такой самозащите не нуждалось.

Великие читатели, слушатели, зрители – есть. Это великие критики – критики-литературоведы, искусствоведы, музыковеды. Они руководят массами.

Поразительно, что развитию реализма, широко допускающего индивидуальные стили, индивидуальную инициативу в создании собственных стилей, сопутствует развитие критики. Критика возникает тогда, когда с широчайшими творческими возможностями творца появляется одновременно и опасность творческого произвола, когда различные «измы», к добру или к худу, заполняют собой творческое поле эпохи. Критика – регулятор искусства. Она становится необходимой, без нее невозможно освобождение искусства от лжеискусства.

Единый стиль народного искусства держал его в узде и не допускал промахов. Но это же единство свидетельствовало о недостаточной гибкости эстетического сознания. Воспринимая произведение искусства, человек не мог легко переходить от одного стиля к другому. Легкость, с которой эстетическое сознание Нового времени может переходить от одного стиля к другому, воспринимать индивидуальные и национальные отклонения, – свидетельство прогресса в искусстве. Это величайшее достижение многовекового развития художественного творчества. Но одновременно – как легко обмануться, приняв за серьезное нечто совершенно незначительное или фальшивое!

Массовость современная, где смешиваются многие индивидуальности, творческие и нетворческие, требует постоянного контроля критикой, но и сама критика подчиняется контролю саморегулировки, иначе и она идет по ложному следу – либо по следу лжеавангардизма, либо по следу огульного отрицания всего нового только потому, что оно новое. Но без нового не обходилось в прошлом и сугубо традиционное искусство, ибо традиция только тогда традиция, когда она сама передвигается во времени – не только сохраняет, но и делает традиционное применимым в новой исторической обстановке. Традиция – это не просто *перенесение* старого в новое, это и приспособление старого к новому, то есть обновление старого.

* * *

Мне всегда очень нравилась картина Ребёрна «The Rev. Robert Walker Skating» («Преосвященный Роберт Уолкер, катающийся на коньках»). В Национальной галерее в Эдинбурге я видел ее «в натуре». Дело не в живописных достоинствах этой картины (они есть), а в достоинствах конькобежного стиля, чистое катание на коньках. Почтенный пастор (ему, вероятно, под пятьдесят) степенно, свободно и с удовольствием скользит по свободному льду. И, судя по следам на льду, – кружится. Прекрасно!

И насколько это отличается от современных танцев на льду, от пошлейших «цыганских» страстей их постановщиков. Безвкусица – что-то от мюзик-холла, что-то от балета, что-то от «системы Станиславского», ненужная эмоциональность и изобразительность. А здесь – чистое наслаждение движением. Должно быть, его катание на коньках было очень красивым, пастор движется с достоинством в обыкновенной пасторской одежде, и в его движениях нет ничего привходящего извне – от других искусств, представлений. И никаких эффектов.

О «Троице» Рублева. Самопогружение личности в индивидуальные переживания не было в конце XIV – начале XV века уходом от сопереживаний с другими людьми: от чувства сострадания, от чувства материнства, отцовства, чувства ответственности за грехи других людей. Символ этой «соборной индивидуализации» – икона «Троица». Все три ангела погружены в свои собственные мысли, но находятся между собой в гармоническом согласии. И мы верим, что их «безмолвная беседа», согласие между собой знаменуют истинное единение. Они думают одну думу. Поэтому индивидуализация в высшем своем проявлении не есть отход от человеческой культуры, а есть высшая форма проявления культуры человечества.

Мне кто-то рассказывал: когда Рахманинова спросили, что главное в искусстве, он ответил: «В искусстве не должно быть главного».

Синтез не может быть сделан в исторических работах коллективно. «Мадонна Альба» не может быть написана совместно. Дальтон-план, провалившийся в педагогической практике, в практике научных институтов по общественным дисциплинам остается.

Дега сказал: «Только тогда, когда художник перестает знать, что он делает, – он способен создать истинные ценности». А Пикассо говорил: «Тот, кто пытается объяснить картины, как

правило, совершенно ошибается». А кто-то из художников ответил на вопрос, работает ли он: «Я цвету».

Атрибутировать произведение удобнее всего по второстепенным деталям. Уши, например, даже великие художники часто пишут всегда для себя одинаково.

Иконы предназначались не для ярко освещенных ровным светом музейных залов, а для полутьмы соборов, где они были освещены мерцающим светом свечей и лампад. Об этом хорошо сказано в статье И. Е. Даниловой «Андрей Рублев в русской и зарубежной искусствоведческой литературе» (сборник «Андрей Рублев и его эпоха». М., 1971, с. 61). К этому следует добавить: именно потому в них было столько золота и такие оклады. Золотой фон в рублевской иконе «Троица» был ошибочно убран реставраторами. Это уже понимают и сами реставраторы, тем не менее стремящиеся убрать с икон басму, а именно басма оживляет своим мерцанием при свете лампад и свечей иконы. Иконы жили отражением света, лики икон были неподвижны: они «вечны», а нимбы и фоны – живы, подвижны. Лики икон как бы царственно плывут в этом мерцании.

Память и история играют тем большую роль, чем выше организация явления. В «мертвой» природе есть явления, вызываемые памятью, а есть и «беспамятные». Так, падение тела является результатом его мгновенного состояния: тело упало, потому что под ним раскрылось пространство. Но если мы сожмем бумагу, расправим и снова сожмем, то бумага вторично сожмется частично по прежним сгибам: в бумаге уже оказалась «память». То же в химической реакции – прошлое как бы стерто или едва заметно. Но в живом организме прошлое играет уже огромную роль, и эта роль учитывается в теориях мутаций, селекций, в генетике. Память, прошлый опыт определяют «поведение» растений, животных. Но культура – это по преимуществу память (хотя и не только память).

В направлениях авангарда характерны попытки освободиться от памяти, от прошлого. Однако чтобы освободиться от одной памяти, всем направлениям авангарда необходимо опереться на «другую память» – не ту, что господствует, но все же именно на память. Кандинский просил, чтобы ему в Мюнхен присылали лубочные издания. Гончарова и Ларионов опирались на народную икону. Пикассо очень часто менял опоры для своего творчества: то испанские мастера, то Брак, то античность. Марк Шагал исходил из народного еврейского и белорусского искусств и

оставался верен своему Витебску до конца жизни. Велимир Хлебников находил опору в древнецерковнославянских текстах. Даже когда Пуни и Анненков устраивали свои озорные выставки, они исходили из традиций куоккальских шалостей (Куоккала – местность под Петербургом, где жило много художественной интеллигенции, теперь Репино).

В культурной жизни нельзя уйти от памяти, как нельзя уйти от самого себя. Важно только, чтобы то, что культура держит в памяти, было достойно ее.

Готику перестали понимать в эпоху Ренессанса. Рафаэль в докладе папе Льву X о своем путешествии во Францию назвал готику архитектурой варваров – готов, «готической». Это название закрепил в своем труде Джорджо Вазари. Жан-Жак Руссо писал: «Порталы наших готических церквей высятся позором и для тех, кто имел терпение их строить». Открыли значительность готики Виктор Гюго и Виолле-ле-Дюк.

Искусство – это огромная литота (поэтический троп умаления), так как сущность искусства в том, чтобы недоговаривать и заставлять людей догадываться о целом, а затем восхищаться (внутренне) этим целым как своей догадкой (сложно выражено? но зато коротко).

Тонкое наблюдение Н. А. Деминой о жестах на древнерусских иконах: «сдержанный и церемониальный» – до XVI века, «бытовой» в XVI веке, «танцевально изящный» в XVII веке.

Немногие знают: Карл-Теодор-Казимир Мейерхольд имя Всеволод принял в честь Гаршина! Почему Гаршина? Отец Всеволода Мейерхольда с удовольствием вспоминал «немецкую землю» – свидетельствует Николай Волков в монографии «Мейерхольд», – и держал на письменном столе портрет Бисмарка с личным автографом «железного канцлера». Перешел в русское подданство Мейерхольд, только поступая в университет (это было надо). Немецкое происхождение Мейерхольда не делает его менее русским, не разрывает его связи с русским театром.

Удивительные контрасты в театральной жизни. «Кривое зеркало» помещалось в старинном уютном и аристократическом театре Феликса Юсупова с 1907 по 1917 год. Там, кстати, была поставлена «Вампука, невеста африканская» – «образцовая опера» в двух актах, сочиненная Вл. Эренбергом на либретто князя М. Н. Волконского. Затем «Кривое зеркало» переехало в Екатерининский театр.

Многое вышло из капустников Художественного театра. Н. Ф. Балиев был конферансье на этих капустниках, а затем основал «Летучую мышь» (у храма Христа Спасителя в известном доме Перцова). Реалистические постановки МХАТа не только притягивали, но и отталкивали – даже артистов самого МХАТа, которые искали отдушины в своих капустниках.

Очень трудно определить механику комического. Им в высокой степени должен обладать режиссер, постановщик комических спектаклей. В постановке Фокиным «Золотого петушка», выдержанной в лубочном стиле, войска Додона, отправляясь в поход, сперва патетически маршируют, а затем внезапно продолжают свой путь вприсядку, уходя со сцены под громовой хохот зрительного зала. Балет был поставлен Фокиным в 1914 году. Шемаханскую царицу исполняла Тамара Карсавина.

В гимназии и реальном училище К. И. Мая, где я учился в 1915–1918 годах, был замечательный преподаватель рисования – М. Г. Горохов. Он великолепно научил нас перспективе – как своего рода разделу геометрии. Когда родители перевели меня в школу Лентовской на Петроградской стороне, преподавателем рисования стал у нас Павел Николаевич Андреев – брат писателя Леонида Андреева. Его методика преподавания была совсем другой. В классе, где стояли большие столы, он раздал нам огромные куски обоев и на обратной белой стороне их предложил писать толстыми кистями «вольные композиции»: зиму, лето, весну, осень. Не помню, какое время года выбрал я, но отчетливо помню, как он подошел ко мне и сказал: «Ну вот – небо непременно синее! А Вы <к ученикам в то время обращались уважительно> попробуйте нарисовать его светло-зеленым, светло-розовым. Ведь и снег не бывает чисто-белым». Я закрасил небо светло-зеленой краской, и только тут я впервые прикоснулся к тому, что такое живопись.

Когда настоящий художник создает произведение искусства, он охватывает сразу множество деталей – он видит на столе «сразу» не пять и не шесть, а десятки зерен. Это творческое озарение. Так писал Достоевский, и в этом убеждают его черновики к «Идиоту». Он примеривался, менял ситуации, характеры действующих лиц, пока не сделал главное лицо романа князя Мышкина из отрицательного персонажа (вроде Ставрогина) положительно-прекрасным. И тогда, как в перенасыщенном растворе соли, все выстроилось, приобрело кристаллическую структуру.

Именно так творит гений – он держит в уме все компоненты будущего произведения, и творение вдруг выходит из-под его власти и «выпадает» прекраснейшим кристаллом.

До чего трудна профессия реставратора. «Выгодные» памятники получают для работы с бою, интриги – больше, чем в театре. Приемка – только при условии «своих» в комиссии и без проверки качества по существу.

И до чего легко отдаются памятники на реставрацию – непременно и только на реставрацию, – когда на самом деле надо бы было не торопиться, подождать настоящих научных данных и ограничиться спасением памятника – его консервацией, во много раз более дешевой, а потому никому не выгодной.

И до чего противоположных результатов достигает иногда реставрация. Вместо подлинника сооружая или выписывая «новодел».

Реставратор настоящий творец только тогда, когда держит себя в строгой узде допустимого и не позволяет себе «творить» красивостей. Но как только ему хочется самому создать в реставрируемой вещи что-то «красивое», вступить в конкуренцию с подлинным творцом, он создает – «новодел», который, хотя и может обмануть некоторую часть широкой публики, на самом же деле является «надгробной плитой» памятника.

Волга известна каскадом гидростанций, но Волга не менее ценна (а может быть, и более) «каскадом музеев». Художественные музеи Рыбинска-Андропова, Ярославля, Нижнего Новгорода (Горького), Казани, Саратова, Плёса, Куйбышева, Астрахани – это целый «народный университет» по искусству для тысяч и тысяч туристов, едущих на теплоходах. Их можно было бы так организовать, что каждый из них был бы своего рода образовательным классом со своим особым назначением. «Можно было бы», но не надо, так как история каждого из этих музеев – уже памятник культуры своего края. Важна история создания и пополнения каждого из музеев, и перемещать их экспонаты не следует. Их можно только пополнять – из фондов центральных музеев и за счет приобретений и пожертвований.

У Земли, у Вселенной есть своя скорбь, свое горе. Но плачет Земля не слезами – пьяницами, уродами, недоразвитыми детьми, неухоженными, покинутыми стариками, калеками, больными… И еще плачет она без толку вырубленными лесами, обвалами берегов в переполненных слезами Земли водохранилищах, затопленными угодьями, лугами, переставшими лелеять на себе

стада и служить человеку сенокосами, асфальтовыми дворами с вонючими баками, между которыми играют дети. Стыдливо заволакивают Землю желтые «производственные» дымы, кислые дожди, навеки скрывается все живое, занесенное в красные похоронные книги. Становится Земля жалкой «биосферой».

Ищут нетронутых уголков Земли жалостливые живописцы. Но на смену им приходят более строгие и более стойкие фотографы. Там, где не выдерживают нервы художников, там выдерживают фотографы и их аппараты.

Фотографы-обличители – наша совесть. И хирурги!

Нужно запоминать, видеть, жалеть и размышлять. «Красивыми» и «счастливыми» их снимки быть не могут. Они, как призывы совести, если и облекутся в красивую форму – станут неизбежно лицемерными и «успокаивающими». Эти фотографии огорчают людей, но все же в них есть своя, особая красота. Только она глубоко спрятана: она в душах фотографов, в их отзывчивости, в их волнении. В них живет вера в мужество зрителей, вернее, их «читателей», ибо фотографии эти должны не рассматриваться, а прочитываться.

Таким внутренне красивым фотографом-художником является литовский страдалец за детей В. Шонта, посвятивший свои работы умственно отсталым и физически недоразвитым детям. Сравнить его можно только с Альбертом Швейцером. Сколько выстрадал сам В. Шонта, когда снимал?..

Изобразительное искусство (и живопись, и графика) – это целый мир самых различных искусств. В одних искусствах – самое главное сюжет, в других – один из видов формы (цвет – решения различные, композиция – различные, рисунки – различные). Необходимо понимать все искусства, не останавливаясь на одном каком-либо «любимом»; тем более нельзя выделять одного «любимого художника».

Я поражался искусству Матисса-рисовальщика, но не мог проникнуть в тайну его мастерства. В чем завораживающая сила его рисунков? Я взял лист тонкой бумаги и стал переводить воспроизведения его рисунков (обводить линии). И тут я поразился движению руки Матисса – спокойной, уверенной, смелой, абсолютно естественной (академически естественной).

Кто-то из известных западных живописцев, посмотрев портреты Налбандяна, сказал: «Зачем ему эти краски?» Просто ему нужны баночки с красками, на которых должны быть этикетки: «для мундира», «для пуговиц», «для лица», «для неба» и т. д.

Живопись в основном – это поиски цвета, цвета, который в обычных условиях не видит зритель. И поиски композиции, поиски линий, но цвета – в первую очередь.

Стремление воспринимать мир в определенном стиле, которое было особенно характерно для ранних периодов развития искусства, подчинить все впечатления от человеческой деятельности и от деятельности природы определенному стилю – другая сторона, вернее, другой способ целостного отношения к мирозданию, но, разумеется, с некоторыми упрощениями.

В раннехристианской эстетике особое место занимают зрительные образы. В послании Павла евреям говорится: «Все открыто перед очами Господа». Поэтому так часты в Священном Писании «очи души», «очи сердца». Библия – книга не только слов, но и зрительных образов. Иов отдает предпочтение глазам перед ушами – он говорит Богу: «Я слышал о Тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь» (Иов, 42, 56). И так как «все открыто перед очами Господа», то в стенописях церквей с одинаковой старательностью выписываются даже те детали, которые снизу не видны молящимся, но «видны Богу». Н. Н. Воронин обратил внимание на то, что в Боголюбове рельефный орнамент охватывал храм даже в той его части, которая сразу же скрывалась строительством примыкающей к нему лестничной башни. Никакого обмана, никакой иллюзии, ничего скрытого от глаз Бога.

Джон Рёскин где-то якобы сказал: «Реставрация есть наиболее полный вид разрушения, которое памятник может претерпеть». Хорошо бы выяснить, в какой из своих работ Дж. Рёскин это сказал. Но мысль важна настолько, что даже неважно – кем и где она была произнесена. В мысли этой есть своя правда, но хороший реставратор и хорошие принципы реставрации всегда очень скромны. Чем меньше реставратор вкладывает своего, тем лучше для памятника.

В «Международной хартии по консервации и реставрации исторических памятников и достопримечательных мест», называемой еще иногда коротко «Венецианской хартией» (см. сб. «Методика и практика сохранения памятников архитектуры». М., 1974) говорится: «Где начинается гипотеза, там кончается реставрация». К сожалению, аналогичное приходится сказать во многих случаях и о науке: «Где начинается предположение, там кончается наука».

Ученик Малевича В. В. Стерлигов придавал большое значение первому прикосновению художника к холсту, к бумаге: первому мазку, первому штриху. В науке, в формировании ученого огромное значение имеет его первая печатная работа.

Искусствоведы мыслят аналогиями, когда у них нет глубоких идей.

Современные искусствоведы часто говорят, что рублевская икона «Ветхозаветная Троица» – символ единения Руси. И это имеет под собой реальные основания: в «Житии Сергия Радонежского» говорится, что Троицкий монастырь и Троица – символы единения. Какого единения? На это находим ответ в том же «Житии», где говорится о «ненавистном разделении мира» Руси.

Четыре конных группы барона Клодта на Ани́чковом мосту так нравились, что они были повторены (повторно отлиты) для Неаполитанского дворца и установлены там в 1846 году. Они были отлиты также для Берлина и еще раз для старопетергофского Бабигона. Но нигде они не смотрятся так, как на Аничковом мосту. В других местах они заурядны.

Разрушенные церкви по берегам Волги «постепенно переходят в ведение природы». Кто-то сказал подобное о развалинах в Афинах.

Дизайн? Говорят, хороший дизайн соответствует хорошим качествам прибора, машины, орудия труда. С машиной хорошего дизайна и работается легче. Поэтому дизайн – полезное дело. Но беда в том, что дизайн приобрел агрессивность и начинает вытеснять собой другие виды искусств. Дизайн вторгается в живопись, и тогда живопись становится бездушной, лишенной эмоциональности, настроения и пр. Дизайн явно вторгается сейчас в садово-парковое искусство. Реставраторы в старых садах ищут лишь интересного дизайна (поэтому-то, кстати, такая любовь современных реставраторов садов к регулярному садоводству).

Старые дома обладают эмоциональной выразительностью. Современные хорошие дома – это удачный дизайн, и только.

Человеческое внимание избирательно. Человек замечает то, что ему нужно. Он не «слышит» тех звуков, которые ему не нужны, не имеют для него непосредственного значения: шум

улицы, если он однообразен, шум мотора. Он «услышит» лишь прекращение шума мотора, и то, если он автомобилист: прекращение привычного шума мотора несет в себе опасность – и он его уловил. Мой отец был специалист по типографским машинам, работал в типографии им. Евгении Соколовой (когда-то это была знаменитая типография Маркса). Однажды, вспоминал А. А. Коссой, отец играл в шашки в столовой типографии и услышал через наборный цех, что в печатной машине неполадка.

Внимание человека улавливает значимое и не улавливает обычное. Но особенно замечается то, что таит в себе опасность, сигнализирует об опасности.

Восприятие художественных произведений тоже избирательно, особенно на первых этапах существования искусства.

«Массовое искусство» (и массовая литература, разумеется, массовая музыка) – понятие темное и неясное. Массовость сама по себе может быть присуща и истинному искусству. Массовость – это распространенность. А почему не быть распространенным и настоящему искусству (например, народному)?

Отдельные сюжеты средневековых скульптур имеют функцию оберегов: вознесение Александра Македонского на грифонах (о характере этого сюжета говорил мне Андре Грабар; такое изображение есть в Сицилии), три отрока в пещи огненной, семь спящих эфесян, Даниил во рву львином, то же и деисус (моление за спасение людей на Страшном суде Богоматери и Иоанна Крестителя, или Богослова). Оберегами являются и львы (согласно физиологической саге Средневековья, они спят с открытыми глазами). Во всех сюжетах имеется в виду спасение или охранение людей.

Один бенедиктинский монах, показывавший мне остатки романской скульптуры в монастыре в Панонхалме («холм Паннонии»), говорил мне о значении масок (головок) в романских порталах: гротескные – это дьявол, стремящийся не пустить людей в храм. Гротескная маска дьявола в романском портале помещена на верху арки, но несколько сбоку, как бы сдвинута влево: дьявол не может занимать по своей природе центрального положения. Над капителью портала слева – голова ангела, наблюдающего за теми, кто входит в храм. Над капителью справа от входящего – голова ангела, наблюдающего за теми, кто выходит из храма раньше конца службы. Головы ангелов не гротескные. Один улыбается, другой плачет.

Далее. Дьявол стремится подняться по стенам храма, по

колоннам вверх и осквернить крест на его главе. Перевязи посередине романских колонн (иногда по форме они сложные) предназначены для того, чтобы нечистая сила, поднимаясь, запуталась и упала вниз. Этой же цели служат и перевязочки в орнаменте. Монастырь не закрывался с XI века: это объяснение – устная традиция.

Сравните в орнаменте храма в Юрьеве Польскум. Черт поднимается снизу по колонкам с желобком (как бы дорога для глупой нечистой силы). Желобок улавливает его и направляет сперва кверху, перевязь задерживает, но если не задержала, колонка с желобком направляется вниз и вдруг обрывается несносным для нечистой силы трилистником (символ божественной Троицы) или двулистником (символ двуединой богочеловеческой природы Христа). И тут нечистая сила обрывается и падает. Даже поднявшись по хвосту льва, черт встречает ту же ловушку. Бедному черту не проникнуть в церковь и не подняться до креста.

Перекладина креста величайшей святыни Венгрии – короны святого Стефана (делалась в Византии, даровалась папой) не совсем горизонтальна, слегка скошена. Ясно, что это не ошибка и не знак чего-то дурного. Но она должна иметь свое значение.

Я видел эту корону не только на изображениях, но и осенью 1985 года в Будапеште в Национальном музее, где она выставлена для обозрения.

Вчера (24 июня 1973 года) был на «Принцессе Турандот» (гастроли Театра им. Вахтангова) в зале Дворца имени Ленсовета на Кировском проспекте. Никакого впечатления. А когда-то в том же зале (он назывался «Дворец культуры промкооперации») я видел тот же спектакль – и это было самое большое впечатление в моей жизни от театрального представления. Это было в 20-е годы. И дело не в актерах. Сейчас это сплошная буффонада. А в 20-е годы две главные роли исполняли «всерьез». Великолепное чтение стихов. Никаких шуток и принцессы и принца. В этом все дело. Их любовь имела трогательность и жизненность, искренность, несмотря на буффонность окружающей игры, обстановки, пошлых шуток. Трогательность при окружающем смехе. А сейчас? Зачем смех в смешном. Сейчас представление утомляет однообразием. А тогда – появление двух героев тушило пошлый смех, восхищало.

В детстве взрослые говорили нам: «Смеётесь сейчас – будете плакать, когда устанете от смеха». Так и в старой постановке «Турандот»: смех создавал предпосылку для «серьезного» восприятия Турандот, принца и их любви.

Наука заключает в себе связь всех, всего человечества. В искусстве эта связь через уже сделанное, в науке – через делающееся.

Новгородский художественный музей лет десять назад посетили космонавты и поразились: на одной из икон изображен Царь-Космос на черном фоне (а черный цвет очень разный) – таким точно, каким видели мировое пространство космонавты через иллюминатор своего космического корабля. Откуда знал художник этот цвет? Я думаю: в древнем Новгороде, да и вообще на Руси, много рыли колодцев. Если колодец глубокий, небо в просвете кажется ночным, черным – может быть, таким же, как его видят из иллюминатора космического корабля. См.: О. Берггольц. «Дневные звезды» (то есть звезды, видимые днем из колодца).

Ландшафтные сады и парки менялись по своему характеру в зависимости от распространения того или иного стиля. После барокко и классицизма наступило недолгое время рококо. Рококо, по существу, представляло собой позднюю стадию барокко. Барокко в рококо перешло к совершенно другой идеологической структуре, повлиявшей на изменение характера, стиля. Барокко стало более жизнерадостным и одновременно малозначительным. В стиле стал преобладать измельченный орнамент. Появился интерес к пасторальным сюжетам. Элементы природы входили в садово-парковое искусство вместе с этой пасторальностью.

Художник Павел Кузнецов, последователь французских художников, пишет на *казахские* темы в *русской* мягкой манере (живописи и композиции).

Игорь Грабарь сказал про историю изучения искусств: «История искусств есть история ошибок» (И. Грабарь. О древнерусском искусстве. М., 1966, с. 296), имея в виду ошибки в атрибуции и пр. К сожалению, того же не скажешь об истории изучения литературы, ибо наука эта гораздо менее научная, и источниковедение, текстология занимают в ней меньшее место (менее значительное). Чем конкретнее наука, тем чаще она ошибается. А «проблемы» просто отмирают.

Великие художники в разных искусствах никогда (беру на свою совесть это «никогда») не являются выразителями одного какого-либо «чистого» стиля.

В Шекспире заметны элементы барокко, и маньеризма, и

Ренессанса, Гоголь несомненно реалист, но как бурно вторгается в его творчество романтизм. Н. А. Львов (гениальный архитектор, садовод, поэт и пр.) – романтик и классицист во всех видах своего творчества, и прежде всего в зодчестве.

Мраморный дворец Ринальди подчинен «екатерининскому» классицизму, но как удачен в самом центре фасада «цветок» рококо. К. Брюллов в живописи и реалист и романтик. И т. д.

Раскопки Генриха Шлимана (1822–1890) в местах прославленных поэм Гомера, казалось, обречены были на неудачу, так как издавна считалось, что «гомеровские поэмы – не историческая летопись, а художественная обработка сказаний о героях» (И. М. Тронский. История античной литературы. Л., 1957, с. 20). Однако оказалось, что гомеровские поэмы не менее точны, чем летопись, и противопоставление «исторической летописи» художественному произведению не имеет смысла. Шлиман открыл Трою.

Отец (инженер) мне рассказывал. Когда строили в старое время кирпичную фабричную трубу, смотрели, самое главное, за тем, чтобы она была правильно, то есть абсолютно вертикально, поставлена. И одним из признаков был следующий: труба должна была чуть-чуть колебаться на ветру. Это означало, что труба поставлена вертикально. Если труба была наклонена хоть немножко – она не колебалась, была совершенно неподвижна, и тогда надо было разбирать ее до основания и начинать все сначала.

Любая организация, чтобы быть прочной, должна быть эластичной, «чуть-чуть колебаться на ветру».

Споры о живописи Ильи Глазунова мне надоели. Интересного спора здесь не получается. Это спор самолюбий, амбиций, но не об искусстве.

Д. В. Айналов считал, что в XIV веке существовал общеевропейский стиль Возрождения в Византии и на Руси. Он называл его восточноевропейским «Преренессансом» (Д. В. Айналов. Византийская живопись XIV столетия. – Записки классического Отделения Русского археологического общества, т. 9. Пгр., 1917). Моя заслуга заключалась в том, что я соединил изучение великих стилей в искусстве с литературой и стал в общем плане рассматривать стиль XI–XIII веков – «исторического монументализма» – как некий широкий вариант романского стиля, включающий зодчество, живопись и литературу, и

распространил понятие русского барокко XVII века на русскую литературу того же времени. Но при этом не делал из этого никаких выводов о высоте или отсталости русской культуры. Средневековье, Ренессанс и барокко имеют каждый в России свои особенности. Это определение отнюдь не оценочное. Если же все-таки подгонять эти понятия под оценки, то следует принять во внимание то обстоятельство, что я отрицаю существование на Руси Возрождения как эпохи и говорю только о «заторможенном Возрождении» как совокупности явлений, обеспечивших переход от Средневековья к Новому времени. В этом переходе свое место заняло и барокко, частично принявшее на себя функции Возрождения (в первую очередь – обмирщения культуры и придания ей светского характера). Такова вкратце моя концепция участия России в общеевропейском процессе смен великих стилей.

О культуре

Ценности культуры не стареют

Репутация «великого» или даже просто «талантливого» очень помогает в эстетическом восприятии произведений творца. Самое скромное преподавание литературы в школе важно уже одним этим. Оно создает у людей знание «репутаций», а потому и «ожидание» у читателя, которое затем в той или иной степени реализуется в чтении, облегчает чтение…

Преподавание истории, литературы, искусств, пения призвано расширять у людей возможности восприятия мира культуры, делать их счастливыми на всю жизнь.

Знакомый инженер-проектировщик сказал мне очень резко: «Рационализаторов надо вешать на первом же столбе». Не берусь с полной ответственностью судить, в какой мере прав проектировщик, но думаю, что при всей недопустимой резкости отзыва в нем есть зерно правды: рационализаторы удешевляют изделие и упрощают производство часто за счет долговечности изделия, и еще чаще – за счет красоты. По утверждению проектировщика, «рационализаторы» очень часто ниже проектировщиков по квалификации. В искусстве есть свои «рационализаторы». Во всяком случае, они есть в книгоиздательском деле, а книга – самый ответственный представитель культуры своей страны.

Я неоднократно говорю в своих выступлениях, что человеческий мозг обладает колоссальными резервами для развития своих способностей, приобретения знаний и т. д. Иными словами, возможности человечества для развития культуры неограниченны. Если эти возможности не используются по «назначению», то возможности направляются по ложному пути: отсюда всякие терроризмы, развраты, наркомании и пр.

Сегодня я встретил на прогулке Н. В. Черниговскую, и она мне сказала по этому поводу следующую важную мысль. Мы не замечаем работу органов нашего тела, когда они работают правильно (сердце, легкие и пр.), и это для того, чтобы мозг мог работать свободно. Автоматизм – для выполнения низших функций. Мы «замечаем» только большую работу мозга.

Автоматизм присущ всему, кроме мысли, кроме творчества.

Перехожу на «свои» мысли. Если это так, то, казалось бы, оправдывается всякий выход за пределы традиционности (традиционность – род автоматизма в развитии культуры),

следовательно, тем самым оправдывается и всякого рода авангардизм. Нет, это не так: известная доля автоматизма должна быть в работе мысли и мозга. Так же точно доля традиционности необходима и в культурной деятельности. В чем состоит эта «необходимая традиционность» – это другой вопрос. Но от нее не были свободны и авангардисты всех веков (неправильно думать, что это явление только XX века).

Человек, его личность – в центре изучения гуманитарных наук. Именно поэтому они и гуманитарные. Однако одна из главных гуманитарных наук – историческая наука – отошла от непосредственного изучения человека. История человека оказалась без человека…

Опасаясь преувеличения роли личности в истории, мы сделали наши исторические работы не только безличностными, но и безличными, а в результате малоинтересными. Читательский интерес к истории растет необычайно, растет и историческая литература, но встречи читателей с историками в целом не получается, ибо читателей, естественно, интересует в первую очередь человек и его история.

В результате огромная нужда в появлении нового направления в исторической науке – истории человеческой личности.

И в самом деле, если личность человека не играла в истории той большой роли, которая отводилась ей историками XIX века, то сама история играла огромную роль в становлении личности. Командуя историей или сам командуемый ею, человек все же находится в центре наших гуманитарных знаний и художественного творчества всех областей искусства.

Вторая половина XVIII века – эпоха, по-своему поворотная в судьбах человеческой личности. Если человеческая личность в Древней Руси развивалась хотя и медленно, но все же гармонично, и вырабатывала свои яркие индивидуальности, то эпоха Петра в каком-то отношении подавила человеческую личность. Гигантская фигура Петра I не сама подавила собой людей его эпохи. Он не был тираном типа Ивана Грозного. Петр пытался контролировать свой деспотизм, вводя его в известные правила и придавая всему государственному быту России какие-то стабильные формы. Однако стабильные формы эти не всегда были удачны. Созданная Петром Табель о рангах, разделившая всех государственных людей его времени на четырнадцать классов, налегла на человеческую личность как гигантская чугунная плита и особенно придавила людей после смерти Петра – единственного, кто мог с ней справиться и мог ее в нужных

случаях обходить.

Только во второй половине XVIII века личность человека начинает постепенно обретать силы, находить в себе чувство собственного достоинства и получать в жизни иные цели, кроме рептильного продвижения по служебной лестнице о четырнадцати ступенях…

Обнаружить характерные черты человека этого времени не так-то просто. Неотмененная Табель о рангах продолжает скрывать от нас, как тяжелая неуклюжая ширма, естественные движения человеческой души. Дворянство этой эпохи во многих случаях еще стеснялось быть людьми без званий и отличий, старательно обеспечивая себе ступеньку на лестнице Табели о рангах, скрываясь за орденами и муаровыми лентами на заказываемых портретах.

Личность, личностное начало существовали в русской культуре всегда. Разве не личности – митрополит Иларион, князь Владимир Мономах, Даниил Заточник, Афанасий Никитин, Максим Грек, Иван Грозный, а потом – бесчисленное количество деятелей эпохи Смуты и последующего времени, а затем – протопоп Аввакум, царь Петр, Ломоносов, Державин, Новиков и т. д., и т. д.

Но только Пушкин осознал свою свободу от двора, свое истинное значение как человека, как поэта. Памятник ему в его представлении вознесся выше Александрийского столпа, то есть памятника Александру I. От двора он не принимал, в отличие даже от Державина, золотых табакерок. Именно поэтому для него было так оскорбительно получить звание камер-юнкера – получить свою ступень при императорском дворе.

Я был на квартире Марины Цветаевой, где она жила с 1914 по 1922 год. Квартира была потом превращена в коммунальную, но, когда дом освободили от жильцов для сноса, она предстала в своей изначальной планировке. Надежда Ивановна, единственная оставшаяся в доме, чтобы его не снесли, показывала квартиру нам. Квартира удивительная, типично московская, в Питере таких просто не могло быть. Она расположена в трех ярусах (не могу назвать их этажами) с забежной лестницей, с потолками разной высоты, с разными окнами. В такой квартире чувствуешь комнату, пространство комнаты, так как нельзя привыкнуть к разной высоте потолков, разной форме окон, ко всем переходам, своеобразным видам из окон, возможностью выйти прямо из окна на крышу, оказаться в комнате, напоминающей собой чердак, и т. д. Удивительная квартира – это памятник культуры. И кто только не бывал у Марины в этих комнатах…

«Путешествующая культура». В истории древнерусской культуры закрепился штамп: культура Руси в конце XI – начале XIII века идет по пути обособления отдельных областных культур, дробится, ослабляется, приобретает местные черты, и невозможно говорить о единстве культуры Руси. Между тем центробежные силы борются в этот период с центростремительными и в целом побеждают центростремительные.

Центробежные силы основываются на остатках племенных различий, особенностях экономики, даже особенностях климата, географических условий (особенно влияющих на земледелие, охотничье и рыбное хозяйства) и наличии местных строительных материалов, оказывающих воздействие на зодчество. В условиях роста местных богатств эти местные особенности усиленно развиваются.

Однако центростремительные силы значительно активнее. Они обуславливались наличием общего древнерусского языка – единого для всей территории будущей Украины, Белоруссии и Великороссии, единого фольклора, единой исторической памяти и самосознания. А кроме того, единство поддерживалось удивительной подвижностью всей созидающей и господствующей части общества. Художественные артели – дружины строителей, иконописцев, фрескистов переезжают из княжества в княжество. Закончив строительство ряда зданий в одном княжестве, строители переезжают в другое. Последовательность этих переездов прекрасно показана в книге П. А. Раппопорта «Зодчество Древней Руси» (Л., 1986). Но такие же переезды были свойственны книжникам конца XI – начала XIII века. Создатели «Киево-Печерского патерика» – Симон и Поликарп были первоначально монахами одного Киево-Печерского монастыря, но переписку свою, на основе которой появился Патерик, вели через всю Русь – из Киева во Владимир и из Владимира в Киев. Серапион Владимирский писал в Киеве и во Владимире. Кирилл Туровский писал, может быть, в Киеве, а может быть, в Турове; летописцы переезжали вместе с князьями и иерархами церкви из одного монастыря в другой. «Кочевали» из княжества в княжество и сами князья, меняя свои столы – путем «лествичного восхождения» к главному столу Руси – киевскому. Князья переезжали вместе со своими книжниками и строителями. Подвижный характер художественных артелей был в той же мере свойствен Руси, как и всей Европе. Именно этим объясняются и активные связи Руси с Балканским полуостровом, западными славянами, Кавказом и т. д. В сферу «путешествующей культуры» были, несомненно, включены Киев и Новгород, Псков, Владимир-

Суздальский и Владимир-Волынский, Галич, Чернигов, Переяславль, Смоленск, Суздаль, Ростов, Рязань, Тмуторокань, Гродно, Витебск, Полоцк, Ладога и др.

Летописи, «Слово о полку Игореве» и многие другие письменные памятники XI–XIII веков отражают этот «путешествующий характер» культуры Древней Руси в самой своей художественной структуре.

«Прогрессивный консерватизм». Если бы болгары под турецким игом не проявляли стойкого национального консерватизма – болгары как культурное единение не сохранились бы. Поэтому не всякий консерватизм – зло. Примеров можно было бы привести множество.

Ренессанс – поразительный по своей культуре – одновременно ведет к образованию тирании. Завоевания в одной области связаны с потерями в другой.

В каждую эпоху истории культуры есть споры, разногласия, борьба, есть враги. И тем не менее как борьба характеризует эпохи, так и между борющимися есть много принципиально общего – общего в культурном смысле. Между тем между отцами, детьми и внуками, живущими, казалось бы, в преемственной связи, больше культурных различий.

Григорий Палама и Варлаам – кто из них принадлежит византийскому Предренессансу XIII века, а кто – противник Предренессанса? Оба принадлежали разным убеждениям, но одной эпохе, одному культурному типу мышления. В каждую эпоху между людьми разных убеждений больше общего, чем между людьми разных эпох, хотя бы и принадлежащих к одной программе.

Человек живет не только в определенной биосфере (термин академика В. И. Вернадского), но и в сфере, создаваемой им самим в результате его культурной и «некультурной» (более редкой) деятельности. Человек осваивает природу (иногда нарушая существующие в ней равновесия), изменяет почву, растительность, создает и свою собственную культуру, менее зависящую от природы, но чрезвычайно для него важную: поколения людей создают язык, письменность, литературу, все виды искусств, науку, обычаи. Традиции формируют его поведение, он наследует бытовые знания и бытовые материальные ценности. С момента появления своего на свет каждый человек оказывается в сфере, созданной тысячами

поколений людей. Эту сферу я предложил в свое время назвать по образцу терминов, предложенных В. И. Вернадским, гомосферой («человекоокружением»). В этой гомосфере огромную роль играет литература, через которую человеку передаются нравственные и эстетические представления. Эта передача совершается непосредственно, когда человек читает, слушает или воспроизводит тексты вслух – одновременно «читая» и слушая их. Но передача совершается и опосредованно, когда человек воспринимает ценности литературы через других, через сформированные под влиянием литературы в обществе нравственные понятия, нормы поведения и эстетические представления.

Роль литературы огромна, и счастлив тот народ, который имеет великую литературу на своем родном языке. Литература обогащает гомосферу в высокой сфере.

У каждого народа, помимо общей гомосферы, гомосферы человечества, существует и своя, присущая ему гомосфера, своя ее разновидность, свои источники обогащения гомосферы, национальная специфика. Поэтому можно говорить не только о гомосфере, но и об этногомосфере.

Чтобы воспринять культурные ценности во всей их полноте, необходимо знать их происхождение, процесс их созидания и исторического изменения, заложенную в них культурную память. Чтобы воспринять художественное произведение точно и безошибочно, надо знать, кем, как и при каких обстоятельствах оно создавалось. Так же точно и литературу в целом мы по-настоящему поймем, когда будем знать, как литература создавалась, формировалась, как участвовала в жизни народа.

В видеозаписи время отсчитывается секундами. В кинематографе время куда более емко, чем в жизни. На магнитофоне же время измеряется метрами: сколько метров магнитной пленки пошло.

Как в оптике существует «наводка на резкость», так и филологическая интерпретация памятников есть своего рода «наводка на резкость» в их понимании. Без филологии невозможно четкое понимание словесных памятников.

Перед культурой будут стоять особенно большие задачи в будущем. Когда техника удовлетворит материальные потребности человечества, потребности в комфорте и прочем, наступит век создания культурных ценностей. Создание будет складываться в основном из двух моментов: создание нового и воскрешение старого, введение в культурный обиход современности старых ценностей. Первое не может осуществляться без освоения старых

культурных ценностей. Второе – без продвижения вперед по пути создания новых. Роль филологической интерпретации памятников старины в этом освоении культуры прошлого станет особенно велика.

Каждое явление культуры прошлого должно получить точное приурочение, точное помещение в кругу аналогичных явлений, должно быть понято в культурной атмосфере своего времени, в историческом процессе.

Само собой разумеется, что эти грандиозные задачи не смогут быть осуществлены без помощи кибернетики. Кибернетика сотрет различия между техникой, точными науками и гуманитарными. Запоминающие, классифицирующие машины, машины, восстанавливающие тексты памятников, вычисляющие восстановление памятников архитектуры или живописи, будут нужны особенно.

Сможет ли машина творчески решать проблемы, как человек? Вероятно, сможет. Но никогда не сможет рассмеяться.

Великие нации пишут свои автобиографии в виде своих великих деяний, перенесенных страданий, созданных произведений искусств и, к сожалению, в произведенных ими разрушениях – у себя и в других странах.

Первобытных людей безосновательно считают грубыми, жестокими, грязными. Если потому только, что они были ближе, чем мы, к животному миру, то ведь животные чистоплотны, обладают исключительным пониманием друг друга, приверженностью к своим обыкновениям и т. д.

Я думаю, что у первобытных людей был великий фольклор, прекрасная травная медицина, умение делать хирургические операции, богатые обычаи и свои празднества, а между собой они умели держать слово, были нежны к детям и щедры. Леви-Брюль говорил, что «первобытные люди очень часто дают доказательства своей поразительной ловкости и искусности в организации своих охотничьих и рыболовных предприятий». Сказано тяжело, но верно.

Вячеслав Леонидович Глазычев (сотрудник Института искусствознания) говорил на заседании Отделения литературы и языка АН СССР, что в сфере культуры историческое сознание всегда предшествует экологическому (экологическое порождается историческим). Обратного не бывает (то есть не может быть в сфере культуры, чтобы экологическое сознание порождало историческое).

Многие понятия и представления в процессе их жизни в языке и сознании расширяются («расширяющаяся вселенная»). Понятие «памятник» первоначально было довольно узким («монумент»); затем оно охватило памятные дома, дворцы, церкви (по заслугам архитекторов; по знаменитостям, которые в нем жили, работали; по «возрасту»). Теперь памятником культуры может быть назван пейзаж (в Плёсе на Волге, связанный с Левитаном), целый район города, улица, город и множество созданий, обязанных своим существованием культурной деятельности человека (коллекция как единое целое, отразившая личность собирателя и т. п.).

Памятником фольклора первоначально считалось отдельное произведение в узком смысле: свадебная песня, обрядовая песня, сказка и т. д. Они остаются памятниками фольклора и сейчас, но к ним прибавились: свадьба как целое, обрядовые действа вообще (включая танцы, наряды, все обычаи этого действа и т. д.). Памятники фольклора и собрание песен Киреевского, Рыбникова, Гильфердинга. Собрания как памятники…

Особое значение в литературе сейчас начинает придаваться сборникам стихотворений, литературным альманахам, даже литературно-общественным журналам.

Не буду продолжать. Стремление к расширению объектов изучения замечается во всем.

Володарский, выступая 13 апреля 1918 года перед слушателями Агитаторских курсов в Петрограде, сказал:

«Экзамен на разрушение мы выдержали блестяще, на пять с плюсом. Мы разрушили все. А сейчас перед нами стоит другой вопрос: сумеем ли мы оказаться такими же хорошими строителями, какими были разрушителями».

Вскоре Володарский был убит.

Будущие поколения пожалеют, что мы в наше время не успели составить атлас микротопонимики. Мелкие топонимические названия (не только деревень или хуторов, но бухт, болот, возвышенностей, полянок, валунов, даже участков парков) чрезвычайно важны. Они исчезают с усилением передвижений жителей прямо на ушах (нельзя сказать «на глазах»).

Надэтническое сознание в Средние века.

Мы представляем себе культурное влияние как воздействие, как усилие со стороны влияющей стороны. Между тем общество не выносит культурного вакуума. Существует потребность в

культуре. Происходит втягивание культуры, а не вталкивание ее. Культура естественна для человека: в ней потребность.

Чем больше входишь в эпоху, изучая ее, тем меньше она кажется прошлым. Так бывает с настоящими пушкинистами, с исследователями первой четверти XX века.

Талант – это единственное в человеке, что всегда работает на своем уровне. Можно быть прилежнее или ленивее, аккуратнее или неряшливее, работать больше или меньше, но нельзя преподавать, исследовать, писать более талантливо, чем ты способен, да нельзя и на менее низком уровне. Можно вообще не работать, но это другой вопрос. Вот почему так важно замечание В. И. Вернадского в его «Страницах автобиографии»: «Таланты редки, и их надо беречь и охранять».

У литературоведов и историков культуры, этнографов и т. д. существует теория первоначального мифологизма. И в общем эта теория, по-видимому, верна. Но вот что интересно. В мифах Древней Греции есть элементы (мотивы, сюжеты и пр.), противоречащие этому: остатки высоко развитой стадии мышления, индивидуального творчества и духа индивидуализма. Не указывает ли это на то, что были раньше какие-то неизвестные нам культуры (атлантического происхождения), в которых было не до-мифологическое, а после-мифологическое мышление. Эти культуры распались, и на их основе выросли все же гибридные греческие мифы. Ведь личностное начало в этих мифах очень сильно! Если бы такую теорию создать, она была бы сенсационной. Но дело не в том, чтобы создать сенсацию, а чтобы объяснить греческие мифы, которые отнюдь не целиком «мифологичны». Человечность греческих мифов – не их новая стадия, а пережиток культуры-субстрата.

Нет ли в греческой культуре воспоминаний о более древней и высокой, об Атлантиде?

Мы напрасно ищем Атлантиду в исторических сочинениях и свидетельствах. Ее следует искать в самом характере древнегреческой мифологии: двухстадийной.

Всякая молодая и сильная культура создается из слияния предшествующей культуры с новой, нарождающейся.

Древняя Русь не имела великой культуры-предшественницы на собственной территории. Ни финские, ни тюркские племена на севере и юге не оставили наследства, которое могло бы оплодотворить культуру восточных славян. Но зато на юге, вне территории Руси была та культура-посредница и та культура-

субстрат, которые сыграли выдающуюся роль в появлении высокой культуры Руси. Не случайно восточные племена так тянулись к этой культуре, населяя старые греческие колонии – Тмуторокань и Корсунь, отправляясь походами на Византию и в конце концов с необыкновенной охотой и быстротой восприняв оттуда греческое христианство. Даже если учесть, что русские христианские источники всячески смягчали и замалчивали столкновение русских язычников с новыми христианами, – быстрота и «благополучие» христианизации Руси заслуживает удивления. Она может объясняться только тем, что Русь нуждалась в христианстве как в некоей культуре-субстрате, на которой должна была вырасти великая и самостоятельная культура Древней Руси. В процессе развития культуры есть некоторая телеологичность. Она есть в процессе развития любого организма, поскольку за молодостью следует зрелость и старение. Эта телеологичность была и в развитии древнерусской культуры. Она осознавалась людьми – «новыми христианами». И замечательный представитель этого сознания и самосознания – митрополит Иларион.

Нужда в «постороннем» начале при построении своей культуры характерна для многих культур. Это черта, в частности, Средневековья, которое нуждается в «чужом» литературном языке, в династии властителей из «чужой» страны, в религии из другой страны, в культуре чужой и общей для ряда стран. Потребность в отделении от родной почвы заставляет обращаться к соседям – за помощью и за единением с ними.

Великие культуры в своей начальной стадии охватывают огромные пространства, многие различные народы и перерабатывают традиции предшествующих культур, различные по характеру.

Центростремительные силы в периоды зарождения и развития преобладают, но, достигая зрелости, начинают распадаться, образуя многие моноязычные культуры – компактные и на строго ограниченных территориях.

Культурный охват при зарождении великих культур значительно шире и больше, разнообразнее и разноязычнее, чем при последующих разделениях на строго ограниченные и национально единые культуры. Текучесть и переменчивость границ, существовавших вначале, сменяются строгой ограниченностью и плотностью отдельных вторичных культур, возникших на почве великих начальных.

Прародина нашей восточноевропейской культуры – не только Греция и Рим, но и та культура, которая зародилась на огромном

пространстве, по определению С. С. Аверинцева, «от берегов Босфора до берегов Евфрата», на юге она включала в свой состав Египет и Абиссинию, на севере – Армению и все Предкавказье («пред» – если подходить к Кавказу с юга, со стороны этой образующейся великой культуры).

Перекресток Европы и Азии был очень удобен, чтобы вновь образующаяся культура включила в свой «котел» разнообразные и разноязычные культурные традиции и многонациональные государства – Римскую империю и персидское государство Сасанидов с общим включением в их недра Сирии, еще доарабской.

Питательную сферу для нового религиозного сознания представляла собой сама неустойчивость этой сферы – с религией как культом и религией как системой отвлеченных философских верований.

Если говорить о литературе как о форме великой начальной культуры, то тут была та же обстановка – обилие традиций, иногда очень древних, разноязычие и разнообразие жанров. Особое значение этот византийско-ближневосточный ареал культуры имел для литературы Древней Руси.

Основная задача современной жизни – сочетать развитие техники с гуманизмом. Цивилизация без души – ужас! Вторичное варварство, по выражению Вико.

Накопление без цели. Гигантская мобилизация средств для неизвестной цели. Сократов вопрос «чего ради» никогда не ставится. Технике должны быть даны не только тактические, но и стратегические цели. Всеобщая сытость и быстрота передвижения скоро будут достигнуты, но дальше что? – Развитие культуры! А мы сокращаем культуру, сокращаем преподавание гуманитарных наук в школе.

Необходим отказ от навязчивых идей в сторону здоровых навыков нормальной жизни.

Памятники культуры бывают самые неожиданные. Например – дырка от выпавшего кирпича. В Софийском соборе в Вологде такая дырка была и очень береглась. А дело было так. Как известно, Иван Грозный любил Вологду и хотел сделать ее новой столицей своего государства, говорит предание. В один из приездов в Вологду из ноги ангела на своде выпал камень и раздробил палец ноги Ивана Грозного. Грозный принял это за дурную примету и больше в Вологду не приезжал. Как же было не радоваться вологжанам и столетиями не беречь то место, откуда

выпавший камень спас Вологду?

Традиция сохранять памятники – такая же, как сохранять обычаи. А дырка в фресках могла бы сохранить самые фрески от последующих записей.

Мы часто восхищаемся разнообразием и богатством мира природы, но очень редко (вернее – никогда) восхищаемся богатством и разнообразием мира культуры, который нас окружает. Точно человек не ценит то, что создал сам. В мире культуры мы чаще отвергаем, чем признаем, отказываемся знать, вместо того чтобы изучать и признавать.

Когда-то (примерно десятка два лет назад) мне пришел в голову такой образ: Земля – наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве. Потом я обнаружил, что этот образ одновременно со мной пришел самостоятельно в голову десяткам публицистов. Он настолько очевиден, что уже рождается избитым, шаблонным, хотя от этого и не теряет в своей силе и убедительности.

Дом наш! Но ведь Земля – дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас! Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев (ах, если бы примерно сосчитать, сколько было на земле только одних всеми признанных гениев!). И не только произведений гениев! Сколько обычаев, милых традиций. Сколько всего накоплено, сохранено. Сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности.

И самое главное: второй другой жизни во Вселенной нет! Это можно легко доказать математически. Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру.

И что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести личные и государственные («ответные акции»)!

Земной шар буквально «набит» ценностями культуры. Это в миллиарды раз (повторяю – в миллиарды раз) увеличенный, разросшийся во все области духа Эрмитаж. И эта невероятная драгоценность несется с безумной скоростью в черном пространстве Вселенной. Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве! Страшно за него.

Прерафаэлиты составили «Список бессмертных», в него включены: Иисус Христос, автор книги Иова, Шекспир, Гомер, Данте, Чосер, Леонардо да Винчи, Гёте, Китс, Шелли, Альфред

Великий, Ландор, Теккерей, Вашингтон, Миссис Браунинг, Рафаэль, Патмор, Лонгфелло, автор «Stories after Nature», Теннисон, Боккаччо, Фра Анжелико, Исайя, Фидий, раннеготические архитекторы, Джибертти, Спенсер, Хогарт, Костюшко, Байрон, Вордсворт, Сервантес, Жанна д'Арк, Колумб, Джорджоне, Тициан, Пуссен, Мильтон, Бэкон, Ньютон, По. Все! Не правда ли, любопытно? Как было бы хорошо (интересно), если бы такие списки бессмертных составлялись почаще: в разных странах и в разные эпохи. Для русских того же времени он был бы совсем иной, а в наше время особенно. Но кто-то бы оставался: Шекспир и Данте, например. А кто-то бы у всех добавлялся: Толстой и Достоевский, например, сравнительно с приведенным списком прерафаэлитов.

Человеческое познание позволяет проникать в чужое сознание, не становясь этим чужим. Мы можем понимать то, что нам несвойственно, что отсутствует у нас самих или даже противоположно нам.

Это свойство человеческого познания казалось всегда особенно удивительным в произведениях искусства. Примитивное объяснение способности творца понять явления, которые он изображает, заключается в том, что изображаемое составляет частицу души самого творца, свойственно творцу и представляет собой результат самопознания. Так создаются легенды о том, что художник, проникновенно изобразивший преступление, сам преступник, а объективное воспроизведение какой-либо идеи принимается за убежденность в этой идее.

Однако в потенции познающего лежит познание всего окружающего его мира, каким бы сложным и посторонним для познающего этот мир ни был. При этом чем глубже и шире развита личность познающего (творца-художника), тем большими способностями проникновения в личности других людей он обладает.

Наше понимание других культур зависит от объема накапливаемых знаний об этих культурах. Культура движется вперед путем познавательных открытий и путем освоения этих открытий, их осмысления в современности и для современности. Но открытия эти и их освоение не требуют перевоплощений, как их не требует и творчество отдельного художника.

Познание чужой культуры или культуры прошлого имеет своим глубоким результатом не внешние заимствования (хотя отдельные частные заимствования и могут оказаться полезными), а общий подъем уровня собственной культуры, развитие ее познавательных способностей, «познавательной гибкости»,

увеличение диапазона возможностей, диапазона творческого выбора.

Только на самых низких уровнях развития культуры она может отказываться от своего и современного ради внешних заимствований из чужой культуры – другой страны или другой эпохи: переодеваться в ее одежды, обзаводиться ее бытом, подражать чисто внешним признакам чужого искусства.

«Как мало из свершившегося было записано, как мало из записанного сохранено» (Гёте). Но есть еще одна ступень в отношении к прошлому: непонимание его, искажение, создание своего рода мифов, совершенно не соответствующих тому, что было. Даже исторические личности и исторические события полувековой давности превращены в своеобразные «мифологемы». И что интересно: об одном и том же событии или человеке существуют совершенно различные представления, каждое из которых складывается в цельный образ. Пример – образы Сталина (их больше чем два).

Один из делегатов международного «Форума за безъядерный мир и разоружение» рассказал мне следующую печальную историю. Муниципалитет столицы Ирландии Дублина решил строить для своих нужд высотное здание. Когда стали рыть землю под фундаменты, обнаружили полностью сохранившийся город викингов: улицы, планировка домов, обстановка, посуда, печи – все, все. Решили: предметы роздали по ирландским музеям, а город снесли и построили нужное муниципалитету здание. Пришли протесты из Скандинавских стран. Муниципалитет Дублина не имел права сносить культурные ценности других народов.

Спрашивается, а кому принадлежат культурные ценности вообще? Имеет ли право какой-либо музей уничтожить или плохо хранить ценности другого народа? Понятно: возвращать памятники культуры в те страны, которым они когда-то принадлежали, нельзя. Тут возникло бы множество вопросов: какая страна является наследницей какой страны? Культурные ценности разошлись бы по всему свету. Музеи раздробились бы. Ценности перестали бы быть доступными для изучения и обозрения (вообразите: скульптуры Парфенона, перевезенные из Британского музея, где их все знают, и водруженные на фронтон, где их нельзя будет обозревать с короткого расстояния). Голландские картины, возвращенные в Голландию, французские во Францию, разрушенные этнографические музеи… Помилуй

бог. Мы прекратили бы общение народов друг с другом на высочайшем уровне.

Но, храня у себя даже свои собственные произведения искусства, музеи, города, страны, народы должны ясно осознавать, что культура и ее ценности принадлежат всему человечеству. Они за памятники культуры (все равно – свои или чужие) должны отвечать перед всем миром, как за ценности, находящиеся у них как бы «на подержании». Кижи принадлежат не русскому народу и не карельскому. Они принадлежат всему человечеству, а потому для сохранения их должны привлекаться реставраторы всего мира, иногда собираться средства во всем мире.

Культурные памятники (картины, здания, редкие исчезающие языки, фольклор, этнографические ценности и т. д.) должны быть доступны для единой мировой инспекции памятников культуры.

Культура как воздух, как вода в океане, – слава богу, не знает границ!

Когда-то у меня была написана статья для газеты «Кому принадлежит история», в которой я доказывал, что градостроители не имеют права распоряжаться только по своему усмотрению историческими зданиями и историческими городами – они принадлежат всему народу, в том числе и будущим поколениям. Теперь я пришел к выводу значительно более широкому: все культурные ценности принадлежат всему человечеству.

Культура беззащитна. Ее надо защищать всему роду людскому. Юридически тот или иной памятник принадлежит владельцу, но морально – всему человечеству. Необходимо выработать моральный кодекс отношения к памятникам культуры. Заняться этим должны юристы, искусствоведы, культурологи и пр., и пр. Сейчас есть международный орган, который должен был бы и мог бы в крупном масштабе выработать этот моральный кодекс для всех стран и всех владельцев. Это – ЮНЕСКО. Но, помимо этого, надо было бы тщательно вести учет всего наиболее ценного, что принадлежит всему человечеству.

Каталоги, видеозвуковые записи должны охватить в первую очередь то, что может быстро исчезнуть: ценности малых народов, и в первую очередь их языки, их фольклор, обычаи и т. д.

В ряду современных широких преобразований старым и дремучим остается отношение на периферии местных властей к музеям. Летом 1987 года я проехал на теплоходе от Ленинграда до Астрахани и на всех стоянках смотрел (в который уже раз)

музеи и памятники. Все остается по-старому, – вернее, отношение к ним старое, а последствия этого отношения дают все новые и новые отрицательные результаты. Не буду указывать на конкретные примеры, ибо в отдельных случаях положение за время печатания моих «Заметок» может измениться.

Попробую реконструировать точку зрения многих и многих из руководителей волжских городов. Музеи – это якобы только хранилища картин и памятников. Они привлекают туристов – и это для них главное. Необходимость научной работы и их значение как воспитательных центров не учитываются. Музеи не стали еще ни научными центрами, ни воспитательными учреждениями.

Между тем воспитание эстетического вкуса неразрывно с воспитанием нравственным. А настоящее хранение не может осуществляться без изучения; изучение же не может осуществляться без научных конференций, иногда широкой тематики, ибо нет памятников «местного значения». Все музейные центры принадлежат всей стране, и местные власти отнюдь не собственники картин, скульптур, предметов прикладного искусства.

Воспитание школьников проходит в школах, воспитание студентов – в вузах; воспитание же и школьников, и студентов, и «взрослых» – в музеях, художественных галереях, мемориальных квартирах и домах, в лекториях.

Сейчас мода пошла на «музеи одной картины». О «музеях одной картины» читали и слышали руководители. А почему не устраивать *юбилеи* одной картины и, не снимая с экспозиции или ставя картину на отдельный мольберт в том же музейном зале, где она обычно висит, читать о ней доклады высокого научного уровня? Пусть для немногих, а они уже, эти немногие, разнесут всё услышанное интересное другим, приохотят ходить в музеи. Экскурсовод, сотрудник музея, хранитель – это высокое звание. И надо дать музейной работе (составлению каталогов, изучению истории музеев, реставрации) статус научной работы, которую сотрудники музеев могли бы защищать как диссертации, самые необходимые в нашей культурной жизни. Кстати, как интересны и как необходимы хорошие иллюстрированные каталоги.

Все-таки не удержусь от примеров. В Куйбышеве музей не имеет своего, принадлежащего ему помещения. Коллекции музея занимают комнаты в Доме культуры. Тринадцать тысяч «предметов хранения», среди которых такие хрупкие, как восточные ткани, ковры, одежды, которыми буквально набиты запасники. В Куйбышевском художественном музее нет даже помещения для реставрации. Когда летом 1987 года стало

освобождаться соседнее помещение в том же Доме культуры, местные городские власти, вопреки рекомендации Куйбышевского обкома КПСС, пытались передать его под канцелярские нужды Куйбышевского оперного театра, хотя рядом с театром можно было бы предоставить ему другие дома – даже более близкие и более удобные.

В прекрасном музее Астрахани не могут уже два года добиться выселения жильцов из дома, в котором жил Велимир Хлебников, значение которого в русской поэзии все более и более осознается сейчас исследователями и рядовыми читателями. Не обещают освободить этот небольшой двухэтажный дом и в 1988 году. Выставка Хлебникова, посвященная его юбилею, разместилась в небольшом помещении на той же улице. Неужели нельзя в огромном городе найти двухсот метров новой жилой площади, чтобы расселить жильцов дома Хлебникова?

И мало у нас мемориальных квартир-музеев и домов-музеев. Я помню, с каким трудом в Ленинграде удалось добиться установки доски на доме, где родился А. А. Блок. Но сейчас с неменьшим трудом идет устройство в Саратове домов-музеев художников-саратовцев Б. Э. Борисова-Мусатова и П. В. Кузнецова. Сколько лет длится восстановление в непосредственной близости от Москвы усадьбы Мураново, связанной с именами Тютчева, Аксаковых, Гоголя? Можно было бы перечислять сотнями места русской культуры, восстановление которых так необходимо для нравственного возрождения нашего общества. А состояние наших кладбищ? Разве оно не вызывает в нас чувство возмущения отношением к нашему прошлому? В 1982 году в Ульяновске устроили Дом-музей И. А. Гончарова – в доме, где он родился. Устроили с любовью и вкусом – как могли. Прошло всего пять лет – и дом гибнет от сырости. Разрушается фундамент; дыры в нем достигают полутора метров. Во втором этаже этого дома до сих пор размещается вечерняя школа, для которой пять лет не могут подыскать другое помещение.

Художественный музей в Ульяновске прекрасен, но для него было построено превосходное здание еще в 1912 году. С тех пор он расширился в несколько раз, и вывести из здания краеведческий музей не могут. А рядом снесли, чтобы расширить площадь, прекрасной сохранности дом губернатора, который вполне годился бы для музея. Перед нами грубая недооценка воспитательного значения мемориальных музеев, мемориальных мест.

А во всей нашей стране разве достаточно готовится специалистов-искусствоведов? Ведь понимание искусства должно воспитываться специальным изучением, как и понимание

серьезной музыки. Мы сетуем на распространение низкопробной музыки. А где можно получить обыкновенному горожанину элементарные сведения по серьезной классической музыке? Ведь и Дом-музей Скрябина в Москве труднодоступен для посетителей.

Закончу тем, с чего начал: необходимо, крайне необходимо, чтобы престиж музеев был поднят у местных руководителей и чтобы пресса шире и глубже освещала их интенсивную научную жизнь и ее неотложные нужды.

Город без художественного музея – ущербный город, еще в большей мере, чем город без театра или кинематографа. Это город – слепой к эстетическим ценностям, глухой к прошлому.

На музеях лежит ответственнейшая задача нравственного воспитания людей, развития у них эстетического вкуса и поднятия культурного уровня.

Письмо, посланное в газету «Литературная Украина», редактору газеты Б. П. Рогозе

Глубокоуважаемый Борис Петрович!

Вы обратились ко мне с просьбой высказать свое мнение по поводу статьи Б. И. Олейника и В. Белящевского «Тарасова гора».

Судьба подарила мне счастье побывать несколько часов в этих местах. Они зрительно запечатлелись в моей памяти. Какой нравственно и эстетически (хотя бы немного) развитой человек может сказать что-либо против всей направленности статьи? Сам я люблю Шевченко и не устаю при малейшем к тому поводе твердить о необходимости поставить памятник Шевченко в саду Академии художеств в Ленинграде и памятную стелу при входе на Смоленское кладбище, где первоначально при огромном скоплении народа был он похоронен.

Переходя к предложениям, содержащимся в статье «Тарасова гора», я хочу сказать – все в ней убедительно, но как практически осуществить? А осуществить можно лишь при одном условии. Необходимо для охранных историко-культурных заповедников создавать единое управление. Таких зон, в которых внимательно охранялся бы пейзаж, вся историческая среда, в нашей стране немало: Соловки, Плёс, места битв: Бородинской, Куликовской и пр., и пр. Все они страдают от того, что может быть определено двумя словами: «нет хозяина». Земля, исторические памятники, леса принадлежат десяткам организаций, каждая из которых своевольничает, а иногда и лжет, уверяя, что они восстанавливают старину, строят в «национальном стиле», в стиле местности, не «нарушают», а «подчеркивают» и пр., и пр.

В 1967 году я был в Шотландии. Там исторические места, красивые пейзажи на особых условиях принадлежат «Национальному тресту». Ни одна новая постройка не может быть построена без «Национального треста». Трест ведет все восстановительные и ремонтные работы, превращает, не нарушая наружного вида, сельские домики XVIII и других веков в удобные жилища внутри, убирает телеграфные столбы, заменяя наружную проводку незаметной подземной, заботясь о сохранении животного мира, растительного покрова и пр.: все комплексно.

Это мудрое устройство следовало бы во многом учесть и нам, тем более что наша социалистическая система гораздо лучше могла бы быть приспособлена для сохранения памятников, чем частнособственническая.

Разумеется, создание единого управления для заповедных зон (а их будет много по Украине, Белоруссии, России, Узбекистану и прочим) связано с проблемами экономическими и юридическими, с широкой научной гласностью обсуждения. Однако академик Абел Гезевич Аганбегян, к которому обращались по аналогичной проблеме на Соловках, утверждает, что можно найти юридические, экономические формы и разработать определенный статус для такого рода историко-природных заповедников, которые во всех отношениях подчинялись бы единому управлению.

Это проблема крайне важная для нашей страны. Иначе охрана памятников будет у нас стоять на уровне эмоционального решения проблем и вызывать постоянное недовольство и даже просто националистические настроения, хотя проблема охраны касается всех наших республик в равной мере.

Хочу, кроме того, высказаться по двум проблемам, которых близко касается статья «Тарасова гора».

Первое. Надо быть крайне осторожным со всякого рода «декоративно-театральными» проектами восстановлений. Следует помнить, что самый последний, один подлинный камень дороже всякой декоративной мишуры. Это вопрос важный не только для Тарасовой горы и Канева в целом, но и для проектов восстановления Успенского собора в Киево-Печерской лавре, где за счет воссоздания облика могут погибнуть необследованные археологами памятники, захоронения, быть нарушено строение внутренних слоев горы, что-то измениться в пещерах, многие из которых остаются неизвестными, и пр.

Второе. Подлинное народное искусство не должно быть подменено производством сувениров по плановой системе, без свободного творчества. Предоставьте народным мастерам бóльшую свободу работать, над чем они хотят, по своему вкусу,

вечерами, в свободное время. Я, например, всегда предпочитал за границей покупать народные вещи на базаре, а не в сувенирных киосках. Если народное творчество мы подменим производством однотипных сувениров по разработанным профессионалами-художниками образцам – мы убьем настоящее народное искусство.

Ну и наконец, еще одно пожелание. Не создавайте толпы в Каневе и в Каневской области. Устраивайте празднества где-то вдали от могилы. Уверяю Вас: Тарас Григорьевич этого бы не одобрил. Канев требует тишины. Ведь все-таки тут могила! Будьте тактичны. Создавайте и рестораны где-то подальше. И не торгуйте билетами как на развлекательную поездку: «Не удалось достать билетики в Белую Церковь – поеду в Канев». Сюда должны приезжать только те, кто этого жарко захочет!

Вот будет на Украине отделение Советского фонда культуры: обсудите все не торопясь и подробно, а А. Г. Аганбегян поможет вам и нам разработать экономический и юридический статус историко-природных зон, включающих большие пространства, чтобы, стоя на Тарасовой горе, можно было охватить глазом все пространство до горизонта и вместе с Тарасом Григорьевичем, с его поэзией, подумать о нашей родине.

С уважением,

Д. Лихачев.

Герцог Веллингтон заявил: «Сражение при Ватерлоо было выиграно на спортивных площадках Итона». Это приблизительно то, что было сказано не то Бисмарком, не то Мольтке: «Война с Австрией была выиграна немецким школьным учителем».

Действительно, образование и физическое воспитание в Итоне поставлены идеально, а бережное и горделивое отношение к истории Итона, основанного в 1440 году королем Генрихом VI, воспитывает английский патриотизм.

Человека создает средняя школа, высшая – дает специальность.

Двадцать премьер-министров Англии окончили Итон-колледж; среди них Вильям Питт, Вильям Гладстон, Гарольд Макмиллан. А кроме того, в Итоне учились Фильдинг, Хаксли и многие другие.

Старые классные комнаты Итона испещрены надписями, расписками, вырезанными на партах именами, среди которых есть и имена многих знаменитых в будущем мальчиков. Мне показывали многие из них.

Помимо старых классных комнат, есть и новые. Ученики Итона делятся на тех, с кого берут высокую плату, и на

«талантливых», обучающихся за знания и способности. «Талантливые» имеют преимущества перед богатыми. Они учатся в старых классах за неудобными старыми партами – узкими и сплошь изрезанными ножичками. Чтобы писать на них, надо положить на них сперва дощечку или папку.

Впрочем, ученики уже не носят цилиндров, но сохраняют свои смешные на мальчиках фраки, которые насмешливо называют «penguin suits» («костюм пингвина»), но которыми ученики гордятся.

Никто, даже величайший озорник школы, не пройдет мимо статуи Генриха VI, стоящей во дворе, справа; только слева, ибо когда-то полагалось салютовать ей шпагой. Шпаги давно отменены, а обычай проходить слева сохраняется: только как память, ибо с отменой шпаг при форме он стал бессмыслен.

Англичане могут жить в неудобном, но старинном доме и вполне испытывать там «the charms of discomfort» – «очарование дискомфорта», ибо ценят старину, традиции, «дух времени» и т. д. Но для этого необходимо иметь высокую интеллигентность и привязанность к старине. Если бы в русском народе эта привязанность к старине существовала в середине XX века – мы бы не потеряли столько, сколько заставили нас потерять архитекторы и градостроители, полностью, к несчастью для нашей страны, лишенные чувства истории.

Перестанет ли существовать книга? Не заменится ли она приборами, демонстрирующими или читающими текст?

Конечно, приборы (аппараты) очень нужны. Было бы прекрасно, если бы геолог мог захватить с собой сто, тысячу справочников в экспедицию в спичечной коробке или зимовщик взять с собой большую библиотеку просто для чтения.

Но заменить собой книгу полностью эти приборы не смогут, как не смог заменить кинематограф театр (а предсказывали), лошадь – автомобиль, живой цветок – искуснейшую подделку.

Книгу можно погладить, любить, возвратиться к прочитанному. Я люблю читать Пушкина, Лермонтова, Гоголя – в тех самых однотомниках, которые мне были подарены родителями в детстве, хоть текст в них и неточный. Стихотворения Блока в тех самых сборниках, которые издавались при его жизни, особые.

Аппарат (прибор) может быть чрезвычайно удобным, но все же книга – живая.

Самое мною любимое в книге – шрифт, которым она напечатана, наборный титул, четкая печать, любовно сделанный

переплет.

О науке и ненауке

Научная работа – это рост растения: сперва она ближе к почве (к материалу, к источникам), затем она поднимается до обобщений. Так с каждой работой в отдельности и так с общим путем ученого: до широких («широколиственных») обобщений он имеет право подниматься только в зрелые и пожилые годы.

Мы не должны забывать, что за широкой листвой скрывается прочный ствол источников, работы над источниками.

Составитель известного словаря английского языка доктор Самюэль Джонсон утверждал: «Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения». Это изречение имело в английском высшем образовании огромную роль, ибо было признано, что в жизни самое необходимое знание (при наличии хороших библиотек) – второе. Поэтому экзаменационные испытания в Англии проводятся часто в библиотеках с открытым доступом к книгам. Проверяется в письменном виде: 1) насколько хорошо учащийся умеет пользоваться литературой, справочниками, словарями; 2) насколько логично он рассуждает, доказывая свою мысль; 3) насколько хорошо он умеет излагать мысль письменно.

Все англичане умеют хорошо писать письма.

В стремлении проявить ученость и проницательность ученые-искусствоведы и палеографы часто преувеличивают и перенапрягают свои возможности точных атрибуций и датировок. Это выражается, например, в «точном» определении района, из которого происходит икона, не учитывающем то обстоятельство, что иконописцы постоянно переезжали из одного места в другое. Выражается это и в «точном» определении времени, к которому относится тот или иной почерк. «Первая четверть такого-то века» или «последняя четверть такого-то века». Как будто бы писец не мог работать 50 лет и более, не приноравливая свой почерк к тому или иному вступившему в моду почерку. Или как будто писец не мог учиться у старика, да еще где-либо в захолустье.

Однако точность «определений», иногда с точностью до десятилетия, придает «вес» ученому в глазах окружающих.

Мне вспоминается, как мой школьный товарищ Сережа Эйнерлинг (правнук известного издателя «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина) показал мне в самом начале 20-х годов выменянные им документы Соляной конторы XVIII века. В эти документы завертывались селедки на рынке. Они были

получены им из «списанных» залежей петроградских архивов. Торговцы охотно меняли эти документы на обычную газетную бумагу – фунт на фунт. Наменял этих документов и я (тем более что жили мы на казенной квартире Первой государственной типографии – теперь «Печатный Двор», и всякой бумаги для обменов у нас было много).

Меня очень интересовала красота почерков: у каждого писца – свой почерк. Были почерки суховатые, свойственные XVIII веку, а были и очень размашистые – точь-в-точь XVII век. Документы в большинстве случаев имели даты. Когда я занимался в университете палеографией у академика Е. Ф. Карского, я принес ему часть документов и он объяснил мне наличие архаичных почерков на датированных документах середины XVIII века: документы были из городов Русского Севера. Туда «культура» доходила медленно, учителями писцов могли быть старики. А не будь дат у документов? Современные «эрудированные» палеографы непременно определили бы их «концом XVII века» или чем-то вроде этого. Разве что догадались бы проверить водяные знаки…

А разве с иконами не могло быть того же самого?

Сам я пишу уже лет семьдесят. За это время мой почерк менялся: стал менее разборчивым – сказывается возраст, но отнюдь не эпоха. Хотя и в Новое время почерки меняются по времени.

Академик А. С. Орлов сохранял некоторые старые начертания букв, типичные для XIX века: буква «т», например.

В создании различных искусствоведческих псевдотеорий и обобщений огромную роль играет суетность исследователей: стремление «сказать свое слово», дать свое определение, название, скрыв, однако, свою зависимость от предшественников или «неприятных» им современников. Иногда искусствоведы (и литературоведы тоже) не ссылаются на своих современников, чтобы отделиться от них по соображениям группового характера или из простой человеческой неприязни.

В недавно вышедшей книге лучшего нашего знатока древнерусского искусства – Г. К. Вагнера – «Канон и стиль в древнерусском искусстве» (М., 1987) есть глава «Постановка проблемы», где с замечательной объективностью и нейтральностью анализируются взгляды на стили в древнерусском искусстве различных ученых начиная с XIX века. В ней ничего не говорится о личных взаимоотношениях между искусствоведами, но, зная эти взаимоотношения, следует пожалеть – как много проигрывает теория от внетеоретических

эмоций и эгоизма исследователей, стремящихся к «самоутверждению» или к умалению значения своих современников.

Кстати, существует несколько упрощенных способов создания «новых» подходов и методов в гуманитарных науках. Один из них, самый распространенный, – это объявить необходимость комплексности. Отсюда в педагогике родился в 20-е годы нелепый комплексный метод в преподавании. Комплексные подходы время от времени появлялись в искусствоведении, в литературоведении, в различных вспомогательных дисциплинах. Что скажешь против необходимости «комплексности»? А впечатление – новой игрушки в руках у ученых.

Вторичность в науке. Вторичность – явление, захлестывающее разные стороны культуры. Наука, и в частности литературоведение, также подвержена этому явлению. Ученые часто создают новые гипотезы не на основании «сырого» материала, а видоизменяя старые, уже бывшие в употреблении гипотезы и теории, со всеми приводимыми в них фактами. Это еще лучшая форма вторичности. Хуже, когда ученый пытается поставить себя выше науки и начинает, как милиционер, регулировать движение: этот прав, тот не прав, такому-то следует подправиться, а этому – не заходить слишком далеко. Раздает похвалы и шлепки, кого-то милостиво поощряет и пр. Такая вторичность особенно плоха тем, что создает ученому ложный (к счастью, недолговечный) авторитет. Всякий, кто берет в руки палку, начинает внушать невольный страх – как бы от него не попало.

Ко вторичности в науке приближается по чисто внешнему сходству историографический подход. Но историография, если она настоящая, – это не вторичная наука. Историограф науки изучает тоже сырой материал и может прийти к интересным выводам. Впрочем, и историографии в широкой мере грозит вторичность.

Вторичность – вроде соединительной ткани. Она грозит разрастанием и вытеснением живых, «работающих» клеток.

Блаженный Августин: «Я знаю, что это такое, только до той поры, пока меня не спросят – что же это такое!»

Ученый не обязательно должен всегда отвечать на вопросы, но он безусловно должен их *правильно* ставить. Иногда заслуга правильной постановки вопросов может оказаться даже более важной, чем нечеткий ответ.

Человек не обладает истиной, но неутомимо ее ищет.

Яркое научное воображение позволяет ученому в первую очередь не столько предлагать решения, сколько выдвигать все новые и новые проблемы.

Наука растет не только накоплениями утверждений, но и накоплением их опровержений.

В. И. Вернадский, известный всему миру своими научными обобщениями, писал: «Настоящей научной работой кажется опыт, анализ, измерение, новый факт, – а не обобщение». Правда, рядом он зачеркивает эту мысль, отрицает ее всеобщность, но все-таки… (Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981, с. 286).

В письмах из Америки и Канады В. И. Вернадский поражается «роскошью университетского образования», «широтой возможностей научной работы» и малыми результатами. 6 августа 1913 года он пишет из Торонто: «Крупных талантливых личностей мало. Берется всё организацией, средствами; многочисленностью работников. То, что нам показывал вчера Николь, – детский лепет, о котором странно рассуждать серьезно…» Николь – канадский ученый, профессор Кингстонского университета. Похоже, что мы вступили в тот же период развития науки, всегда берем многочисленностью, а не талантом больших в науке личностей.

В 20-е годы академик Стеклов не хотел давать вакансии академика для С. Ф. Платонова и сказал между прочим: «Науки делятся на естественные и противоестественные». С. Ф. Платонов нашелся и ответил: «Науки делятся на общественные и антиобщественные».

Гёте принадлежит высказывание: «Призрак не видят вдвоем». Эта мысль может быть распространена и на одновременность создания какой-либо сложной теории двумя людьми. Однако бывают случаи, когда какое-либо открытие как бы назревает, состояние науки «позволяет» его сделать.

Одновременность открытий в науке и в технике (а может быть, и стилистических и идейных решений в искусстве).

В 1825 году Янош Болаи получил письмо от своего отца, предупреждавшего своего сына о необходимости скорее

опубликовать свою геометрическую теорию, ибо «надо признать, что некоторые вещи имеют, так сказать, свою эпоху, в коей их в разных местах находят одновременно». В самом деле, в феврале 1826 года Н. И. Лобачевский представил доклад, в котором содержалась аналогичная теория, с новым решением проблемы V постулата Эвклида о параллельных прямых.

Историки науки должны заняться специальным изучением одновременности некоторых открытий разными людьми (Попов и Маркони и пр.). В общем плане истории культуры это крайне важно.

А по поводу Лобачевского я бы прибавил еще следующее. Часто открытия делаются играя, в качестве шутливого, веселого предположения. Как кажется, Лобачевский первоначально не придавал особенно серьезного значения своему открытию. В искусстве (особенно в живописи) многое шло от эпатирования, озорства, шутки. Когда я спросил Б. В. Томашевского, правильно ли описал историю литературоведческого формализма Виктор Эрлих в своей книге на этот сюжет, Б. В. Томашевский ответил мне: «Он не заметил, что мы вначале просто хулиганили». В науке знакомое должно идти перед незнакомым.

Запредельное торможение. Хирург Лев Моисеевич Дулькин рассказал мне о том, как совершенно постороннее и часто пустое явление отвлекает от главного. Профессор читал лекцию. Во время лекции ассистент вносит непонятный стеклянный экран и ставит его перед аудиторией. Потом входит снова и начинает по нему бить. Кончает и уходит. Профессор обращается к одному студенту, потом к другому, к третьему и т. д., спрашивает: «О чем я только что говорил?» Никто не знает. Глупость (экран, битье по нему) целиком отвлекла студентов от лекции. То же и в научной работе: глупые склоки, «проработки» и прочее могут целиком парализовать работу научного учреждения.

Мне неоднократно в своих выступлениях приходилось писать и говорить, что доступ к архивным материалам должен быть более открытым, свободным. Научная работа (особенно текстологическая) требует использования по той или иной теме всех рукописных источников (об этом я пишу и в двух изданиях своей книги «Текстология»). У нас же все чаще в архивохранилищах решают – эту рукопись выдать, а эту – не выдавать, и решение это зачастую произвольно. Особенно надо приучать пользоваться первоисточниками научную молодежь – а она-то все чаще оказывается стеснена в читальных залах рукописных отделов.

Рукописные книги и рукописи надо выдавать почаще – от этого зависит, кстати сказать, и их сохранность. Исследователь контролирует состояние рукописей, контролирует архивиста, проверяя, так ли он «опознал» рукопись. Я мог бы привести десятки примеров, когда рукописи считались «пропавшими» в результате того, что они подолгу не попадали в руки исследователю и не отождествлялись.

Доступность источника – и рукописного документа, и книги, и редких журналов или старых газет – кардинальная проблема, от которой зависит развитие гуманитарной науки. Преграждение доступа к источникам ведет к застою, принуждая исследователя топтаться на площадке одних и тех же фактов, повторять банальности, и в конце концов отделяет его от науки.

Не должно быть никаких закрытых фондов – ни архивных, ни библиотечных. Как достичь такого положения – этот вопрос должен быть обсужден широкой научной общественностью, а не решаться в ведомственных кабинетах. Свобода доступа к животворным культурным ценностям – наше общее право, право всех и каждого, и обязанность библиотек и архивов – обеспечить осуществление этого права на деле.

Прослыть эрудитом проще всего, зная немного, но именно то, чего не знают другие.

Если бы мне пришлось издавать журнал (литературоведческий или культурологический), я бы сделал в нем три главных раздела: 1) статьи (обязательно краткие, сжатые – без фразеологических штампов и излишеств; в целом – не больше полулиста); 2) рецензии (отдел открывался бы общим обзором книг, вышедших за определенный промежуток времени: можно за год по темам, и состоял бы в основном в подробных разборах книг); 3) заметки и поправки (типа тех, что дает И. Г. Ямпольский в «Вопросах литературы»); это внесло бы дисциплину и чувство ответственности в авторский труд, подтянуло бы авторов.

Д. А. Гольдгаммер. Самовнушение при научных исследованиях (журнал «Научное слово», 1905, кн. X, с. 5–22). Очень интересная статья. На многих примерах она показывает давно известный факт: как результаты наблюдений и экспериментов подгоняются под выводы. Но важно в ней и ново то, что эта «подгонка» совершается часто бессознательно. Исследователь так убежден в заранее составленных им выводах, что во всем видит их подтверждение и действительно не видит ничего, что им противоречит.

Хотя автор ограничивается «точными» науками, но в еще большей мере это касается ведь и гуманитарных дисциплин. В литературоведческой текстологии – это сплошь да рядом. Достаточно посмотреть работы по текстологии «Задонщины»: вариант хуже, – значит, он вторичный, вариант лучше, – значит, исправили предшествующее чтение, которое было хуже. Уже совсем не уследишь за «самовнушением» в более широких обобщениях, когда необходимо охарактеризовать особенности творчества того или иного автора.

Но самовнушение распространяется не только на творцов, но и на читателей, на зрителей, слушателей. И тут оно играет иногда положительную роль. Репутация автора или художника заставляет внимательнее относиться к их творчеству: читать, смотреть, слушать. А читатель, зритель и слушатель должны быть «искательны», внимательны, вдумчивы, особенно если это касается «трудных» творцов: Пастернака, Мандельштама, постимпрессионистов, сложных композиторов.

Иногда читателю, зрителю, слушателю кажется в результате самовнушения, что он понимает. Ну и пусть кажется! В конце концов поймет или отбросит. Но без периода пытливых поисков всем трем не обойтись. Если все трое хотят совершенствовать свое познание искусства.

Увеличение знаний о явлении ведет иногда к уменьшению его понимания.

В литературоведении вместо исследований все больше развиваются «наднаучные» работы: «ученый» больше всего толкует о том, кто прав, кто нет, кто на правильном пути, а кто скосил с него и пр.

В инквизиции была должность «квалификатора». Квалификатор определял – что есть ересь и что ересью не является. В науке квалификаторы ужасны. Их много в литературоведении.

Ларошфуко: «Человек всегда имеет в себе достаточно мужества, чтобы перенести несчастия других». Добавим: а ученый – неудачи чужого эксперимента или его фактическую ошибку.

Б. А. Романов сказал про одного историка, увеличивавшего список своих работ обилием рецензий: «Он расплевывает свои рецензии направо и налево».

Там, где нет аргументов, там есть мнения.

В одной из своих рецензий Б. А. Ларин написал: «Самой сильной частью книги приходится признать ее оглавление – попытку систематизации вопросов, – разработка же их (т. е. вся книга. – *Д. Л.*) поверхностна и примитивна». Убийственно точно.

В начале 30-х годов, в пору «перестройки» Академии наук кто-то (не назову фамилии) читал доклад о Пушкине в Большом конференц-зале главного здания Академии наук в Ленинграде. По окончании доклада, когда все расходились, в толпе у дверей Е. В. Тарле воздел руки кверху и произнес: «Я, конечно, понимаю, что это Академия наук, но в зале все же были люди с высшим образованием». Вчера читался доклад по советской литературе в Отделении литературы и языка. Я не выдержал и ушел, а знакомым сказал: «Мы-то ко всему привыкли, но стыдно было стенографисток».

Ньютон открыл закон земного тяготения, но он не строил гипотез – что это такое, чем объясняется и т. п. Ньютон об этом декларативно заявил: он сказал, что не строит гипотез о том, чего не знает. И этим он не затормозил развития науки (со слов академика В. И. Смирнова. 15.IV.1971 г.).

Прогресс – это в значительной мере дифференциация и специализация внутри некоторого «организма». Прогресс в науке – это тоже дифференциация, специализация, усложнение изучаемых вопросов, появление все новых и новых проблем.

Количество поднимающихся в науке вопросов значительно обгоняет количество ответов. Следовательно, наука, позволяющая пользоваться силами природы (в широком смысле), одновременно увеличивает количество тайн бытия.

Одно из самых больших удовольствий для автора – выход его книги или статьи. Но… удовольствие это падает с выходом каждой следующей книги: вторая книга – уже половина восторга от первой, третья – треть, четвертая – четверть и т. д. Чтобы сохранить это удовольствие, надо, чтобы труды были новыми, не повторялись – были как бы каждый раз «первыми». Книга должна быть «неожиданностью» – и для читателя, и для самого автора.

Недостаточно быть рыбой, чтобы стать хорошим ихтиологом: это выражение можно применить к одной старой фольклористке из деревни, считавшей себя высшим авторитетом в делах народного творчества.

Раздраженный пустыми социологизированиями одного литературоведа, В. А. Десницкий сказал: «Из этого Пушкину штанов не сошьешь».

Резерфорд сказал: «Научная истина проходит три стадии своего признания: сперва говорят – „это абсурд“, потом – „в этом что-то есть“ и, наконец, «это давно известно!». Вся соль здесь в том, что каждое из этих суждений Резерфорд называет «признанием»!

«Инверсионная система» в науке: доказательная система строится для той или иной концепции. Соответственно подбираются документы и т. д.

С. Б. Веселовский писал: «Никакое глубокомыслие и никакое остроумие не могут возместить незнания фактов» (Исследования по истории опричнины. 1963, с. 11).

В. А. Десницкий (бывший семинарист) называл сотрудников Пушкинского Дома, обладающих учеными степенями, «рясофорными».

Барабанный бой эрудиции: имена, названия, цитаты, библиографические сноски – нужные и ненужные.

Выражение Изоргиной: «заботливые эрудиты».

Анатоль Франс: «Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются».

Из «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Один из параграфов Устава «О нестеснении градоначальников законами» гласит: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя». Напрасно думают, что это не относится к науке.

«Где, хотел бы я знать, тот тяжеловес, который в состоянии вбить в семь-восемь страничек… историю и теорию, обзоры и методы» (из статьи Марлена Кораллова).

«М. А. Лифшиц по праву таланта и авторитета занял в искусствоведении милицейский пост, чтобы регулировать движение. Но поток не повернул вспять, а стал просто обходить постового…» (М. Кораллов).

«Избирательное мышление» – бедствие в науке. Ученый, согласно этому избирательному мышлению, выбирает для себя только то, что подходит для его концепции.

Ученый не должен становиться пленником своих концепций.

Суеверия порождаются неполным знанием, полуобразованностью. Полуобразованные люди наиболее опасны для науки: они «всё знают».

А. С. Пушкин в «Наброске статьи о русской литературе»: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости».

Сорные идеи растут особенно быстро.

«Престижные публикации» ученых: 1) для увеличения числа работ (списка работ); 2) для участия в том или ином сборнике, где появление имени ученого само по себе почетно; 3) для участия в каком-либо большом научном споре («присоединение к спору» – «и я имею в этом свое мнение»); 4) для того чтобы войти в историографию вопроса (особенно часты статьи этого рода в спорах о датировках документа); 5) для того чтобы напомнить о себе в каком-либо солидном журнале; 6) для того чтобы выказать свою эрудицию. И т. д. Все эти публикации засоряют науку.

Искусственное раздувание объемов статей: 1) путем подробного и ненужного в ряде случаев изложения историографии вопроса; 2) путем искусственного увеличения библиографических сносок, включения в сноски работ, имеющих малое отношение к изучаемой проблеме; 3) путем подробного изложения пути, которым автор дошел до того или иного вывода. И т. д.

Шаблон в темах научных статей: 1) статья ставит себе целью показать ограниченность той или иной концепции; 2) дополнить аргументацию по тому или иному вопросу; 3) внести историографическую поправку; 4) пересмотреть дату создания того или иного произведения, поддержав уже высказанную точку зрения, особенно если она принадлежит влиятельному ученому. И пр.

Все это часто простая наукообразность, но которую трудно выявить.

Известность и репутация ученого – совершенно различные явления.

Десять самооправданий плагиатора.

Как оправдывается плагиат в научных работах. Во-первых, отмечу, что на плагиат решается прежде всего начальник, а не подчиненный или уж равный у равного. А оправдания следующие: 1) он (жертва) работает по моим идеям; 2) мы с ним (жертвой) работали вместе (вместе – часто означает разговор, подсказку и пр.); 3) я его (жертвы) руководитель; 4) весь институт или вся лаборатория работает, утверждает плагиатор, по «моим» идеям, по «моей» методике и пр. (а к чему, вообще говоря, сводится тогда роль научного руководителя учреждения – на то он и руководитель); 5) заимствование – общее место в науке, всем известное положение, банальность, не стоящая какой-либо сноски, отсылки и пр. Кто же этого положения не знает? 6) я на него и сослался (а сослался на второстепенное положение или в очень общей форме, не дающей читателю понять – что же взято у жертвы); 7) а он сам списал это положение у такого-то (в расчете, что проверять не станут, – особенно если ссылка сделана без точного указания источника); 8) а у меня другое (перефразировка, создание нового термина для того же понятия); 9) а у меня совсем другой материал (если материала много, положение оправдывается другими примерами, этот способ действует особенно легко); 10) положить идею молодого ученого в основу коллективного труда, возглавляемого «заслуженными именами». Вообще – бороться с индивидуальными трудами и стремиться создавать труды коллективные.

Способов обойти совесть бесконечно много. Но результат один: в науке не появляются новые крупные имена, наука хиреет, появляются «тайные труды» – тайные, чтобы не овладели ими бесталанные «организаторы науки».

Наука часто мстит скептикам. Когда Вольтеру сказали, что высоко в Альпах нашли рыбий костяк, он презрительно спросил, не завтракал ли там постящийся монах. К. Честертон: «Во времена Вольтера люди не знали, какое следующее чудо удастся им разоблачить. В наши дни мы не знаем, какое следующее чудо нам придется проглотить» (из книги Честертона о Франциске Ассизском).

Полузнайство в науке ужасно. Считается, что в науке могут хорошо руководить плохие ученые. Они берутся из полузнаек, ставятся в директора и заведующие и обычно направляют науку по узким тропам мелкого техницизма, которые ведут к быстрому и мимолетному успеху (или к полным провалам, когда такие

полузнайки стремятся к авантюризму в науке).

Никогда нельзя полагаться на сведения одного рода, на одну аргументацию. Это хорошо может быть продемонстрировано на следующем «математическом» анекдоте. С математиком посоветовались: как обезопасить себя от появления террориста с бомбой в самолете? Ответ математика: «Возить с собой бомбу в портфеле, так как по теории вероятностей очень мало шансов на то, чтобы в самолете одновременно оказались две бомбы».

Еще один вид суетности в науке: стремиться обладать «изысканными знаниями». Это возможно, и такого рода снобизм продолжает существовать, хотя и реже, чем в предшествующие столетия.

Длинный язык – признак короткого ума.

Самое легкодостижимое и одно из главных достоинств научного доклада (доклада как такового) – краткость.

Малый прогресс в большом деле важнее большого прогресса в малом (а может быть, я не прав?).

Ошибка, признанная вовремя, – не ошибка.

В научном коллективе необходимы не директивы и распоряжения, а сотрудничество. И главная задача руководителя – достичь этого сотрудничества.

«Ответственный работник» – этот «термин» обычно понимается в смысле «важный», «высокопоставленный начальник», а надо понимать точно согласно значению самих слов: работник, ответственный за свои поступки, за свои распоряжения и поступки. Он не поднят над своими поступками, а подчинен им, подчинен своим обязанностям, наказуем за всякую неправду, этим работником сделанную. С ответственного работника больший спрос, чем с обычного работника. «Ответственный работник» противопоставлен обычному, а не «безответственному» работнику, ибо последний вообще не работник. Всякий работник отвечает за свою работу.

Работа и работник составляют некое единство. Это особенно ясно в научном труде: ученый – это его труды, открытия. В этом он в той или иной степени бессмертен. Хорошая работа не просто сделана хорошим работником, но она сама создает хорошего работника. Работа и работник плотно связаны двухсторонней

связью.

Какая утонченная месть, какое злое издевательство: хвалить человека за то, в чем он явно не проявился!

«Мелочи» поведения

Бездельничание вовсе не состоит в том, что человек сидит без дела, «сложа руки» в буквальном смысле. Нет, бездельник вечно занят: пустословит по телефону (иногда часами), ходит в гости, сидит у телевизора и смотрит все подряд, долго спит, придумывает себе разные дела. Вообще бездельник всегда очень занят…

У физиолога Ухтомского – «закон заслуженного собеседника», который следовало бы учитывать и в быту (см. о нем в статье Меркулова. Вопросы философии. 1971, № 11).

Этажи заботы. Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, жителей одного города, одной страны.

Проследите жизнь человека.

Человек рождается, и первая о нем забота – матери, постепенно (уже через несколько дней) вступает в непосредственную связь с ребенком забота о нем отца (до рождения ребенка забота о нем уже была, но была до известной степени «абстрактной» – к появлению ребенка родители готовились, мечтали о нем).

Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у девочек. Девочка еще не говорит, но уже пытается заботиться о кукле, нянчит ее. Мальчики, совсем маленькие, любят собирать грибы, ловить рыбу. Ягоды, грибы любят собирать и девочки. И ведь собирают они не только для себя, а на всю семью. Несут домой, заготовляют на зиму.

Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота родительская, о своем селе, городе и стране…

Забота ширится и становится все более альтруистичной. За заботу о себе дети платят заботой о стариках-родителях – когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. И эта забота о стариках, а потом и о памяти скончавшихся родителей как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в целом. Если забота направлена только на себя, то это эгоист.

Забота – вот то, что объединяет людей, крепит память о прошлом, направлена целиком на будущее. Это не само чувство – это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный

человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого.

У Белинского где-то в письмах, помнится, есть такая мысль: мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми потому, что они обращаются с порядочными людьми как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами как с порядочными людьми.

Мицкевич где-то сказал: «Дьявол трус, он боится одиночества и всегда прячется в толпе». И еще: «Дьявол ищет темноты, и надо от него прятаться в свете».

Всегда помнить, что есть что-то, до чего ты еще не дорос. Быть храбрым в стремлении воспринимать чужую культуру. Быть смелым к сложной и непонятной культуре, по отношению к тому, что выше тебя по интеллектуальному уровню.

Владимир Набоков сказал о себе незадолго до смерти: «Я мыслю как гений, пишу как средний писатель, а говорю как ребенок». Но первое самое важное, отблеск мысли несет в себе любое плохое письмо и любая детски беспомощная речь.

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека – большой шаг для человечества». Можно привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребенка, перевести через улицу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным… и т. д. и т. п. – все это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя.

Добро не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен и не преследует цели выгоды и «умного результата». Назвать добрый поступок «глупым» можно только тогда, когда он явно не мог достигнуть цели или был «лжедобрым», ошибочно добрым, то есть недобрым. Повторяю, истинно добрый поступок не может быть глуп, он *вне оценок* с точки зрения ума или не ума. Тем добро и хорошо.

«Неделя открытых добрых дел». Это тема для размышлений и для небольшого эссе. Действие происходит в неизвестное время. Может быть, в двухтысячный год. Слово «добрый» презирается, и говорят «добренький», когда хотят оскорбить. Должна

существовать только «непримиримость». И вдруг указ: можно и даже нужно делать добрые дела – индивидуально делать! Рекомендуется даже заниматься благотворительностью. Можно подавать и просить милостыню. Можно и даже рекомендовано давать и получать в долг. Можно приходить в больницы помогать больным, мыть полы. Можно, можно, можно… И вот люди открывают для себя счастье доброты. Для многих растворяется, как туман, стяжательство, страсть к наживе, к коллекционированию пустяков. Люди улыбаются друг другу, совершив доброе дело. Кто-то переводит через улицу пожилого человека. Не «кто-то», а все уступают в метро места пожилым.

Счастливые лица. Продавщицы с удовольствием продают, с удовольствием тщательно завертывают покупки.

И уже просят продлить неделю открытых добрых дел. Пишут об этом письма наверх.

Революцию добра рьяно подхватывают дети. Они больше всех и первыми заражаются добром. Добро становится для них любимой игрой. Учатся делать добро у деревенских старушек. Ищут нищих, больных, стариков, сирот, которым нужно помочь, находят несчастных. Организуют группы «следопыты добра».

Происходит примирение с миром. Вот зачем есть несчастные: чтобы дать счастье другим. Несчастные становятся счастливыми заботами других, ибо несчастный в одном может быть счастлив в другом.

1979

Стравинский говорил о Вл. Вас. Стасове, что он не отзывался плохо даже о погоде.

Среди множества пустяков самолюбования у В. В. Розанова есть и прекрасные, хорошо выраженные мысли; вот одна: «Двигаться хорошо с запасом большой тишины в душе; например, путешествовать. Тогда все кажется ярко, осмысленно, все укладывается в хороший результат. Но и „сидеть на месте“ хорошо только с запасом большого движения в душе. Кант всю жизнь сидел: но у него было в душе столько движения, что от „сидения“ его двинулись миры» (В. В. Розанов. Уединенное. СПб., 1912, с. 153).

Для того чтобы получить «тишину» в путешествии, хорошо вести записи или фотографировать: это как бы разлучает человека с самим собой.

Во время моего восьмидесятилетнего юбилея обо мне было написано невероятно много хорошего, но у меня все время такое

ощущение, что я читаю не о себе, а о ком-то другом, а *знают* меня только жена и дочь. Поэтому этот *другой* стоит рядом, но он не я. Я больше радуюсь за этого другого. Ну что же, если я создал этого *другого,* то хорошо. Но только «хорошо» – не больше. Славолюбие противно. Кстати, его был действительно лишен Борис Пастернак (в натуре, а не только в своем стихотворении «Быть знаменитым некрасиво…»).

Самое восхитительное свойство человека – любовь. В этом связанность людей выражается наиболее полно. А связанность людей (семьи, деревни, страны, всего земного шара) – это основа, на которой стоит человечество.

Много для этой связанности затасканных слов и выражений. Все сейчас чувствуют необходимость этой связанности. Надо для этой связанности либо находить новые слова и выражения, либо часто употребляемые употреблять не в затасканном контексте; ощущать их значительность. Не буду перечислять эти выражения, которые мы постоянно слышим и сами употребляем.

Самое дурное (не «самое», но одно из *самых*) свойство человека – не заботиться о жене, не вспоминать родителей, не заботиться о детях (по-настоящему), не посещать могилы близких, оставлять беспомощных стариков, требовать только для себя. Все это с какого-то момента начинает овладевать человеком гуртом, вместе, в совокупности. И поэтому по одному из этих признаков можно определить наличие и всех остальных. Это люди во всех отношениях ненадежные.

В романе Вальтера Скотта «Old Mortality» (в русских переводах он называется «Пуритане») рассказывается о старике, который очищал от мха и лишайников старые могильные плиты с надписями на них.

Знаменитый советский онколог Николай Николаевич Петров (я его помню) был находчив и остроумен. Живой, небольшого роста. Оперировал всегда налегке. Халат надевал прямо на белье. Однажды приехал не менее знаменитый французский онколог: надушенный, напомаженный франт. Повели в операционную. Выходит Петров в подштанниках, подошел к французу и сделал вид, что сдувает с него пылинку.

Если тяжеловес ставит новый мировой рекорд в поднятии тяжестей, я ему завидую? А если гимнастика? А если в прыжках с вышки в воду?

Начните перечислять все, что вы знаете и чему можно

позавидовать: вы заметите, что чем ближе к вашей работе, специальности, жизни, тем сильнее близость зависти. Это как в игре – холодно, тепло, еще теплее, горячо, обжегся! На последнем вы нашли с завязанными глазами запрятанную другими игроками вещь. Вот то же и с завистью. Чем ближе достижение другого к вашей специальности, к вашим интересам, тем больше возрастает обжигающая опасность зависти. Ужасное чувство, от которого страдает прежде всего тот, кто завидует.

Теперь вы поймете, как избавиться от крайне болезненного чувства зависти: развивайте в себе свои собственные индивидуальные склонности, свою собственную неповторимость в окружающем человечестве, будьте самим собой – и вы никогда не будете завидовать. Зависть развивается прежде всего там, где вы сам себе чужой, где вы не отличаете себя от других.

Слышал хороший анекдот: «Чем отличается академик от обычного ученого?» – «Ничем, – только он этого не знает».

«Никто не герой в глазах своего лакея» (Жан-Жак Руссо. Новая Элоиза, письмо X, часть IV).

«Бехтеревский комплекс» – радость при несчастии у других.

Человек с самого первого дня своего рождения развивается. Он устремлен в будущее. Он учится, научается ставить себе новые задачи, даже не понимая этого. И как быстро он овладевает своим положением в жизни. Уже и ложку умеет держать, и первые слова произносить.

Потом он учится отроком и юношей.

И уже приходит время применять свои знания, достичь того, к чему стремился. Зрелость. Надо жить настоящим…

Но разгон сохраняется, и вот вместо учения наступает для многих время овладения положением в жизни. Движение идет по инерции. Человек все время устремлен к будущему, а будущее уже не в реальных знаниях, не в овладении мастерством, а в устройстве себя в выгодном положении. Содержание, подлинное содержание утрачено. Настоящее время не наступает, все еще остается пустая устремленность в будущее. Это и есть карьеризм. Внутреннее беспокойство, делающее человека несчастным лично и нестерпимым для окружающих.

Если один из спорящих горячится, то его противнику выгодно быть холодным, подчеркнуто холодным. Горячащийся подставляет бок противнику.

Иван Никифорович Заволоко имел девизом три буквы: Р С Т. Если эти буквы прочесть по их славянским названиям, будет: «рци слово твердо». Не изменяй слову, говори его твердо.

Типичный (как я думаю) разговор болгарской официантки с посетителем. П. Н. Берков (иногда раздражительный) говорит подавшей ему суп официантке: «Я всегда считал, что суп можно есть только ложкой». Умная официантка отвечает: «Я убеждена в том же, поэтому ложка лежит справа от тарелки». Об этом рассказывал мне сам П. Н. Берков (молодец – сумел оценить ответ).

Предубеждения не должны мешать убеждениям.

Нравственности в высокой степени свойственно чувство сострадания. В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром (не только людьми, народами, но и с животными, растениями, природой и т. д.). Чувство сострадания (или что-то близкое ему) заставляет нас бороться за памятники культуры, за их сохранение, за природу, отдельные пейзажи, за уважение к памяти. В сострадании есть сознание своего единства с другими людьми, с нацией, народом, страной, Вселенной. Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития.

«Человек человеку – волк», – любят повторять люди дурных наклонностей. Но мало кто слышал другую сентенцию: «Человек человеку святыня». Сенека (кажется) утверждал, что «общество человеческое похоже на свод, где различные камни, держась друг за друга, обеспечивают прочность целого». Это удивительно верно. Один только пример: мы идем по улице и доверяем, интуитивно доверяем, тысячам водителей, их опытности и элементарным нравственным устоям. Не их дипломам, уличным правилам движения и службе милиции только доверяем, а доверяем им как людям с чувством ответственности.

Человек становится человеком, находясь среди себе подобных.

Еще вспоминается мне изречение: «Благоразумие – лучшая часть доблести».

Нравственные понятия, которых нам очень не хватает в оценках людей: порядочность и честь. Очень редко, хваля

человека, говорят: «Он порядочный человек». И еще реже: «Он поступил, как подсказывала ему честь».

А между тем подумайте, сколько применений обоим понятиям: порядочность в семейной жизни, порядочность критика, порядочность журналиста, порядочность в любви. Честь врача, честь рабочего, честь инженера, честь школы, честь завода, честь комсорга, честь гражданина, честь мужа или жены. Слово, данное человеком – кем бы он ни был, – должно быть сдержано, иначе запятнана его честь. Как правильно быть «невольником чести» – это высшая свобода и независимость!

Если бы Пушкин не вызвал на дуэль, не защитил честь своей жены (хотя от современных нам «сплетников» это ему и не удалось), он никогда бы не защитил и честь своей поэзии. Поэт не может быть с запятнанной честью, ибо личность поэта – часть его поэзии.

И еще одно забытое нравственное понятие – «учтивость» в поведении.

Сохранять независимость естественнее и проще всего, соблюдая учтивость. Учтивым следует быть не только к дамам и с дамами, а со всеми и всегда.

Честь. В сфере морали это понятие чрезвычайно важно, но честь – это двуликий Янус. С одной стороны, есть честь внешняя. Человек защищает свою честь. Он не терпит оскорблений или того, что ему представляется оскорблением. Он это делает главным образом для окружающих. Такова в значительной своей доле была честь дворянина, честь офицера. И именно эта честь пошла ко дну с революцией и потянула за собой другую честь – честь первостепенной важности – внутреннюю, честь перед самим собой, независимую от внешней ее оценки, но все же имеющую громадное значение для общества, для его моральной атмосферы, для моральных взаимоотношений между людьми и общественными организациями (государственными учреждениями, торговыми предприятиями, фабриками и заводами, военными, учебными сообществами и т. д.). В чем внешне выражается эта «внутренняя» честь: человек держит слово, и как официальное лицо (служащий, государственный деятель, представитель учреждения), и как просто человек; человек ведет себя порядочно, не нарушает этических норм, соблюдает достоинство – не пресмыкается перед начальством, перед любым «благо дающим», не подлаживается к чужому мнению из выгоды, не упрямится, чтобы доказать свою правоту, не сводит личные счеты, не «расплачивается» с «нужными людьми» за счет

государства (различными поблажками, «устройствами» и т. д.), вообще умеет отличать личное от государственного, субъективное от объективного в оценке окружающих.

Честь – это достоинство прежде всего, достоинство положительно живущего человека. Это достоинство, в свою очередь, бывает внешнее и внутреннее. Внешнее достоинство – это важность, напыщенность, солидность. Внутреннее – это достоинство по существу, когда человек не опускается до мелочности в поведении, в разговорах и даже в мыслях. При развитом чувстве чести и достоинства в обществе не может быть протекционизма, семейственности, обманов людей и учреждений, того, что называется «приписками» и искусственными занижениями планов или погоней во что бы то ни стало за премиями, благодарностями, повышениями по службе.

Честь обязывает человека думать о чести того общественного института, который он представляет. Есть честь рабочего, честь инженера, честь врача, но и честь учащегося определенной школы, честь полка, честь завода, честь учреждения.

Честь рабочего: работать без брака, стремиться создавать хорошие вещи. Как в старое время: честь наборщика, честь литейщика (не останавливать мартеновскую печь даже при забастовках).

Честь администратора: держать слово, выполнять обещанное, прислушиваться к мнению людей, не бояться изменить свое мнение, если факты этого требуют, не придерживаться «лобной психики» и не гордиться тем, что «мнения своего никогда не меняю». Уметь вовремя признать свою ошибку и исправлять допущенную оплошность.

Честь гражданина: не мстить из личных побуждений, не оказывать услуг за счет государства, избегать протекционизма, если он не «деловой», а личный, поддерживать способных людей только по деловым соображениям, не писать и не читать анонимок.

Честь ученого: не создавать не подтвержденных полностью фактами теорий, не занимать должностей, для которых недостает компетентности, не быть «личным» в своих отношениях к научным выводам и работам, не присваивать себе чужих идей, всегда точно и полно ссылаться на предшественников, не подписывать не принадлежащих тебе работ, не присоединяться к группам и группкам, не интриговать, уметь и желать различать стоящее в научном отношении от наукообразного и т. д.

Необходимо создать полный кодекс научной морали. Опубликовать его. Найти способы выявления его нарушений.

В старое время существовали купеческое слово и купеческая

честь. Самые крупные сделки между купцами старинного склада совершались и так: шли в церковь и скрепляли сделку молебном. В Петербурге между Думой и Гостиным против портика Руска существовала полуподземная часовня, где купцы служили молебны.

Честь купца!

А в лондонском Сити крупные сделки заключались рукопожатием (к рукопожатиям англичане прибегают редко).

И если купцы и дельцы обладали чувством чести, то почему не развивать его в нашем обществе?

И еще соображение: чувство чести должно быть у дипломатов всего мира. Как часто сейчас слово, обещание, данное дипломатами, расходится с делом! И это по всему миру. Только что прочел в газетах: сокращение вооружений в одной сфере вооружений принимается, чтобы быть компенсированным в другой. Хитрят! Хитрят, как мелкие жулики, как дельцы, которым далеко до русских купцов XIX века.

Отсутствие морали вносит хаос в социальную жизнь. Без морали в обществе уже не действуют экономические законы и невозможны никакие дипломатические соглашения.

Я не люблю определений и часто не готов к ним. Но я могу указать на некоторые различия между совестью и честью.

Между совестью и честью есть одно существенное различие. Совесть всегда исходит из глубины души и совестью в той или иной мере очищается. Совесть «грызет». Совесть не бывает ложной. Она бывает приглушенной или слишком преувеличенной (крайне редко). Но представления о чести бывают совершенно ложными, и эти ложные представления наносят колоссальный ущерб обществу. Я имею в виду то, что называется «честью мундира». У нас исчезли такие несвойственные нашему обществу явления, как понятие дворянской чести, но «честь мундира» остается тяжелым грузом. Точно человек умер, а остался только мундир, с которого сняты ордена. И внутри которого уже не бьется совестливое сердце. «Честь мундира» заставляет руководителей отстаивать ложные или порочные проекты, настаивать на продолжении явно неудачных строек, бороться с охраняющими памятники обществами («наша стройка важнее») и т. д. Примеров подобного отстаивания «чести мундира» можно привести много, начиная с Академии наук СССР, настаивавшей на явно неудачных и крайне расточительных проектах (например, частичного поворота стока северных рек, строительства загрязняющих Байкал сооружений и пр.).

Честь истинная – всегда в соответствии с совестью. Честь

ложная – мираж в пустыне, в нравственной пустыне человеческой (вернее, чиновничьей) души.

Мартынов, убивший на дуэли Лермонтова, именно поэтому завещал не писать на могиле его имени и не ставить себе никакого памятника. Какое различие с Дантесом, до конца своей долгой и благополучной жизни убежденного в том, что у него не было «другого выхода» (хотя выход был совсем простой – пожертвовать своей внешней честью ради внутренней).

Боснийская народная поговорка: «Никто из людей не знает, в какой вере он умрет».

Иво Андрич говорил: «Успех состоит в овладении трудностями». С Иво Андричем я познакомился в Белграде осенью 1964 года у книжного магазина. Поразил простотой и «обычностью» (воспитанный человек!).

Болгарская поговорка: «Направи добро и го хвърли в морето», то есть «Сделай добро и брось его в море» (оно само всплывет, не делай его ради выгоды).

Аввакум о себе: «Добрых дел нет, а прославил Бог».

Сергей Сергеевич Аверинцев рассказывал мне, как летом (1986 г.) он снимал дачу рядом с железной дорогой. Поезда мешали ему спать. Наконец он решил: проносятся не поезда, а проезжают люди со своими заботами и мыслями. И шум поездов перестал раздражать его. Он стал спать. Надо развивать в себе благожелательное, «понимающее» отношение к окружающему, и тогда станет легче жить. Злые люди живут короче, чем добрые.

Суворов говорил: «Я 10 раз был ранен: 5 раз в битвах и 5 раз при дворе. Последние раны – все смертельны». Но он не умер: следовательно, знал, как их лечить – полным презрением к ним.

Чтобы не получить инфаркта, стремитесь не вызвать его у других (особенно если у вас есть подчиненные – у них).

Когда прекратятся на службе (любой, хотя сейчас я думаю главным образом о Пушкинском Доме) всякие склоки и сократится время, затрачиваемое на различного рода собрания? Тогда, когда все будут работать хорошо! Удивительно, что люди противятся единственному средству беречь себя и свои нервы.

Я сам могу возмущаться тем, что может меня не устраивать в моем Пушкинском Доме, где я проработал уже больше полувека, или тем, что случается в моем городе, в моей стране, но если это делают посторонние, то мне это тем неприятнее, чем шире и серьезнее родной мне «объект нападения». Я сложно выражаюсь, но так записалась мысль и не буду ее изменять.

В. В. Розанов, которого я в целом не очень люблю, записал сходную мысль в «Опавших листьях»: «От „своего“ куда уйти? Вне „своего“ – чужое. Самым этим словом решается все. Попробуйте пожить „с чужими людьми“. „Лучше есть краюшку хлеба у себя дома, чем пироги – из чужих рук“».

Бездарность стремится поучать, талант – подавать пример. Но если у таланта отнять время, то и талант будет больше поучать, чем учить примером.

Наполеон графу Шуазелю, объясняя ему пышность своего двора: «Простота не идет человеку, вышедшему из простых солдат; она годится только наследственному государю». Мысль Наполеона можно продолжить и не в столь «самооправдательном» смысле, как у Наполеона: важность нужна людям ничтожным, внешнее «глубокомыслие» – глупым и т. п.

Виктор Гюго был величайшего о себе мнения. Он хранил свои рукописи в чемодане, который возил с собой. Жан Кокто сказал о нем: «Виктор Гюго – это сумасшедший, вообразивший себя Виктором Гюго».

Не перестаю удивляться примиряющему, целительному, облагораживающему свойству человеческого ума – смеху, которым никогда не сможет обладать никакой самый совершенный компьютер, хотя бы он и исчислил, где, в какой момент и по какому случаю следует смеяться.

В апреле 1826 года должна была произойти дуэль между государственным секретарем (то есть министром иностранных дел) США Генри Клеем и сенатором Джоном Рандольфом. Не буду рассказывать о причинах дуэли, передавать те «fighting words» (оскорбительные слова, обязывающие противника к дуэли), которые были произнесены Рандольфом (кстати, оскорбление, очень жестокое и публичное, было уже не без элемента юмора; Рандольф воспользовался текстом из «Тома Джонса» Фильдинга).

Дуэль должна была состояться по очень жестоким

американским правилам – с десяти шагов. При первом обмене выстрелами оба тем не менее промахнулись. «Это детская игра, – заявил Клей, – я требую вторичного выстрела». Его второй выстрел только продырявил одежду Рандольфа. Тогда в ответ Рандольф выстрелил в воздух и объявил: «Вы должны мне стоимость моей одежды!» – «Я рад, что не больше», – ответил Клей, и противники помирились. Острота Рандольфа и удачный ответ Клея спасли обоих от третьего раунда дуэли.

А. Модильяни на одном из своих рисунков написал: «Жизнь состоит в дарении от немногих многим, от тех, кто Знает и Имеет, тем, кто не Знает и не Имеет». И это верно, и верно то, что написал И. Шкляревский:

Дай мне все! Я не стану богаче.
Все возьми! Я не стану бедней.

Это свойство духовных ценностей: они не уменьшаются от раздачи и ими нельзя обогатить того, кто их уже имеет.

Оператор телевидения, прожившая несколько месяцев в Антарктике, рассказывала. Когда морозы и ветры становятся особенно большими, пингвины становятся в круг. Посередине самые маленькие, дальше побольше, затем взрослые, а вне по кругу, на самом юру – старики, вожаки. И они погибают, чтобы сохранить род.

Во французском военном уставе якобы записано: кто кого должен на улице приветствовать (отдавая честь) первым. Как правило, младший первым приветствует старшего.

А если встречаются двое совершенно равных по чину и по рангу полков? Тогда первым должен приветствовать другого «самый умный»…

Мыши на собрании обсуждали: как обуздать кота. Решили: повесить ему колокольчик. А кто повесит? Постановили: решить это в рабочем порядке.

В «Дневнике писателя» Достоевский приводит турецкую пословицу (настоящую турецкую, а не сочиненную о турках): «Если ты направился к цели и станешь доро́гою останавливаться, чтобы швырять камнями во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до цели» (Дневник писателя. Полное собрание сочинений. Т. X, ч. I. СПб., 1895, с. 45. Цитирую по

старому изданию, но оно – Анны Григорьевны).

Существенная сторона современной жизни – туризм всех видов и соответственное развитие различных аттракционов. Аттракцион – это и развод караула перед Букингемским дворцом в Лондоне, и выход папы на балкон своего дворца для благословения народа, собравшегося на площади Святого Петра в Риме. Папа становится для части толпы как бы актером. В еще большей мере актер – американский президент. «Специализированный актер» – английская королева.

Не разберешь: кого теперь больше в Святой земле – паломников или туристов. Скорее всего так: паломники приобрели в значительной степени свойства туристов, а истинно молящиеся стали участниками «действа» для туристов.

В ближайшее время туризм распространится и на космос. За столько-то миллионов долларов космонавты-водители будут возить желающих миллионеров или государственных деятелей полюбоваться шариком-Землей, которую они так пакостят.

Еще невероятнее. В аттракцион превращается наука. Ученые становятся постепенно в некоторых областях изобретателями интересных концепций, которые можно эффектно доложить на международных конгрессах. Ученые уже стали туристами – племенем номадов, кочующих с одного международного конгресса на другой, устанавливающих «рекорды» почетных званий и наград.

В самом деле, почему не объявить того или иного ученого абсолютным чемпионом страны или мира по количеству полученных им почетных званий и наград?

Опасность в том, что из всего уходит содержание. Люди, активные по своему отношению к миру, становятся все больше пассивными созерцателями, «болельщиками» и вот этими самыми туристами. Не идейные приверженцы того или иного религиозного мировоззрения (даже!), а «болельщики» за концепцию. В религиях все больше увеличивается число лиц, которые не выполняют религиозных требований, треб, обрядов, а являются только пассивными сторонниками той или иной религиозной концепции. И это явление переходит и в другие сферы. Признают мировоззрение и вполне искренне ему не следуют.

Переход от паломничества к туризму – один из признаков перехода человечества к «комфортабельной» пассивности. Паломники шли пешком, молились, постились. Туристы летят в комфортабельных самолетах и только смотрят, «глазеют» (иногда купаются, загорают, развлекаются). Разумеется, мое

противопоставление паломничества туризму следует понимать только как выразительный пример. Явление более широко.

Перед нами, возможно, умирание общего интеллекта человечества. Человечество обладает, помимо отдельных гениев, творцов, еще и общим единым интеллектом, который сказывался раньше в духовных течениях, заставлявших интеллигенцию ходить в народ, проповедовать революционные учения и т. д. Теперь общий интеллект человечества проявляется все больше в модах – не только на одежду, но и на те или иные течения в искусстве и в науке.

Возможно, это и не так. Я оптимист, но оптимист должен допускать минуты пессимизма (будучи оптимистом, я «потенциальный пессимист» – в данном случае).

Каждый человек *обязан* (я подчеркиваю – *обязан*) заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой.

Основной (но, разумеется, не единственный) способ интеллектуального развития – чтение.

Чтение не должно быть случайным. Это огромный расход времени, а время – величайшая ценность, которую нельзя тратить на пустяки. Читать следует по программе, разумеется не следуя ей жестко, отходя от нее там, где появляются дополнительные для читающего интересы. Однако при всех отступлениях от первоначальной программы необходимо составлять для себя новую, учитывающую появившиеся новые интересы.

Чтение, для того чтобы быть эффективным, должно интересовать читающего. Интерес к чтению вообще или по определенным отраслям культуры необходимо развивать в себе. Интерес может быть в значительной мере результатом самовоспитания.

Составлять для себя программы чтения нелегко, и это нужно делать, советуясь со знающими людьми, с существующими справочными пособиями разного типа.

Опасность чтения – это развитие (сознательное или бессознательное) в себе склонности к «диагональному» просмотру текстов или к различного вида скоростным методам чтения.

«Скоростное чтение» создает видимость знаний. Его можно допускать лишь в некоторых видах профессий, остерегаясь создания в себе привычки к скоростному чтению, оно ведет к заболеванию внимания.

Некоторые мысли из Изборника 1076 года, предназначавшегося для князей.

«Егда тя оклеветають, разумей: егда есть чьто до тебе вь клевете той; аште ли несть, то мни окы дымъ расходяшту ся клевету».

«Иже слабо живеть, то того не приводи на съветъ».

«Сълнце да не заидеть в гневе вашемь».

«Глаголи к Богу много, а человекомъ мало».

«Лепо есть человеку осужену быти, неже осудити».

А вот мысль из Великих четьих миней:

«Подобает бо кормнику <рулевому> с гребцами едину мысль имети, аще ли распрю начнуть имети в себе, то и погрязнет корабль» (Великие четьи минеи, под 13 ноября, с. 1053).

Один помор сказал Ксении Петровне Гемп: «Над нами одно небо, а под нами одна земля». Иначе: мы все равны под небом и на земле.

Павел говорит: «Не сообразуйтеся веку сему, но преобразуйтеся обновлением ума вашего, во еже искушати <испытывать> вам…» Это говорит о том, что не следует подражать слепо тому, что «век сей» внушает, но иметь с «веком сим» другие гораздо более активные отношения – на основе преобразования себя «обновлением ума», то есть на основе здравого различения, что в «веке сем» хорошо и что плохо.

Изречение из «Пчелы»: «Кажеть <указывает> победа <поражение> храброго, а напасть умнаго». А ведь действительно! – храбрость познается в поражении, а ум в несчастье.

Кто-то мне рассказывал, как в Русско-японской войне в битве под… (забыл) русский полк выходил из окружения. Впереди шел священник с крестом, за ним несли знамя, а потом оркестр, игравший марши… Так надо полку, так надо каждому человеку.

«Звезда бо от звезды разнствует в славе».

Учитель Добужинского в Мюнхене художник Ашбе требовал от Добужинского grosse Linie. «Nur mit groβen Linien arbeiten» («работать только большими линиями»), – говорил он, и это мудрое правило касается не только живописи. Жить следует «nur mit grossen Linien». Труднопереводимое понятие – «большие линии»? Это не то.

Польская шутка: «Трамвай был так переполнен, что даже молодые стояли».

Поляки говорят о поверхностном знакомстве с иностранным разговорным языком: «кельнерское знание иностранного языка».

В Западной Европе мужчины сейчас бросают курить, а женщины курят. После обеда хозяин дома приглашает гостей: «Теперь можно дамам покурить, а мужчинам посплетничать».

И. Е. Аничков, помнивший викторианскую Англию, говорил о любимой (тогда) поговорке англичан «An apple a day keeps the doctor away» («Одно яблоко в день позволяет не обращаться к доктору»).

Английская манера – перебрасывать через плечо макинтош. А я еще застал английских чиновников, спешащих утром на работу непременно с большими сложенными зонтиками в руках, которыми они помахивали, как тросточками. Это было в Лондоне в 1967 году.

Англичане говорят: чтобы продлить себе жизнь, надо – «not to hurry, not to worry, not to carry» («не торопиться, не беспокоиться и не таскать тяжести»).

Когда кучер боится потерять управление над лошадьми, он дергает вожжами: «невротический комплекс неуверенности в управлении».

Эйнштейн неряшливо одевался. Когда он только что переехал в Америку, ему сказали: «Неудобно». Эйнштейн ответил: «Не все ли равно: меня здесь никто не знает». Через десять лет ему снова сказали: «Неудобно!» Он ответил: «Все равно: меня здесь все знают».

Про знаменитостей можно рассказывать анекдоты – даже плохие, но обычный анекдот должен быть обязательно со смыслом.

Как быть в старости? Как преодолевать ее недостатки? Об этом отчасти я написал несколько строк в своей книге «Прошлое – будущему». Но есть более подробная и вполне правильная статья академика В. Л. Гинзбурга «Когда годы берут свое» (журнал «Природа», 1986, № 10). С мыслями этой статьи я вполне согласен. Она полезна. Пусть ее прочтут. Но статья неполна. Главное и не учитываемое В. Л. Гинзбургом в его статье вот в чем: старость – это не просто угасание, успокоение, постепенный

переход к покою (могу сказать – к «вечному покою»), а как раз напротив: это водоворот непредвиденных, хаотических, разрушительных сил. Это мощная стихия. Какая-то засасывающая человека воронка, от которой он должен отплыть, отойти, избавиться, с которой он должен бороться, преодолевать ее.

Не просто уменьшение памяти, а *искажение* работы памяти, не угасание творческих возможностей, а их непредвиденное, иногда хаотическое измельчение, которому не следует поддаваться. Это не снижение восприимчивости, а искажение представлений о внешнем мире, в результате чего старый человек начинает жить в каком-то особом, своем мире.

Со старостью нельзя играть в поддавки; ее надо атаковать. Надо мобилизовать в себе все интеллектуальные силы, чтобы не плыть по течению, а уметь интуитивно использовать хаотичность, чтобы двигаться по нужному направлению. Надо иметь доступную для старости цель (считая и укорачивающиеся сроки, и искажение возможностей).

Старость расставляет «волчьи ямы», которых следует избегать.

Монахам предписывалось ходить «постно», то есть не прямо. «Постный вид» – это лицемерно-скромный. Сейчас это выражение понимают несколько иначе (вид унылый).

Фельдмаршала Кутузова, всего увешанного орденами и даже портретом государя, Александр наградил шпагою с бриллиантовым эфесом и лаврами изумрудов, которая стоила 60 тысяч франков, но Кутузову не понравилась: «Я скажу императору, какая это дрянь». Изумруды казались ему слишком мелкими. Изумительно! Неужели за спасение России ему нужны были изумруды покрупнее?

Забытое слово «бранделясы». Помню его в детстве. Отец говорил о пустяковом разговоре: «бранделясы точить». Или вообще о пустяках: «Это все бранделясы».

Ребенок живет в ожидании будущего. В ожидании будущего живет и подросток, меньше – юноша. Но если это «ожидание будущего» захлестывает вполне взрослого мужчину, то оно становится карьеризмом. Надо уметь вовремя перейти на настоящее…

У Розанова есть: «Надо хорошо вязать чулок своей жизни».

Типично английское остроумие: «Наша палата лордов ярко

доказывает существование загробной жизни».

«Ни же грети можеть студень <холод>, ни же убелити черность, ни же просвещати тма» (перевод на древнерусский из Давида Дисипата), то есть зло никогда не даст доброго дела, как холод не согреет, чернота не выбелит, умственная темнота не просветит.

Правосознание англичан. Протесты в Лондоне по поводу появления автоматических дверей у автобусов: «Каждый имеет право выпрыгивать на ходу». Автоматических дверей не было и когда я был в Лондоне в 1967 году.

В очерке об англичанах Орестова, напечатанном в «Новом мире», рассказывается следующий типичный именно для английской среды случай. На улицах Лондона столкнулись две машины. Жертв нет, но машины испорчены. Владельцы вышли из них и говорят – как произошло. Волнуются. Из дома напротив выходит дама, несет подносик и две чашки горячего чаю: «Успокойтесь! Выпейте!» Беспокоит одно: был ли на подносике молочник, ведь англичане любят чай с молоком или со сливками.

Представляете, как бы рисковала быть обруганной эта дама у нас?

Человек, непрерывно острящий, – лишен юмора.

Наиболее сильные дозы юмора – гомеопатические, но они нужны и употреблять их следует гомеопатическими способами – размеренно, постоянно. Без юмора нет ума.

Юмор в больших дозах утомителен. Не больше трех анекдотов – и то, если уверены, что эти анекдоты неизвестны. Но настоящий юмор не в анекдотах.

И т. д. (писать много о юморе тоже нельзя).

В споре: имейте смеющихся на своей стороне (кто-то сказал или написал – не помню).

Про то и про се…

Смотря передачу «В мире животных», я твердо усвоил: хищники нужны для экологического равновесия. Ну а если рассматривать человеческое общество как некое экологическое целое? Зачем нужны в нем прихвостни, доносчики, склочники? Достаточно, чтобы в здоровом коллективе появилось два-три таких хищника, – и всякое экологическое равновесие оказывается полностью разрушенным – сообщество просто перестает существовать. Человеческое общество в экологическом отношении отнюдь не похоже на животный мир.

Правда, в животном мире тоже бывают экологические нарушения: города переполняют вороны, а где есть вода – чайки. Они лишили города певчих птиц. Их нужно отстреливать.

А что делать со склочниками в научных учреждениях, которые тоже уничтожают «певчих птиц» – людей, способных к научной работе? Находят у них идеологические ошибки, перегибы, загибы, уклоны, методологические неправильности и пр.? Я думаю, что наши законы слишком для них демократичны, охраняют их, тогда как полагалось бы охранять здоровую часть коллектива от них. Что, например, делать с громилой В., позорившим нас за рубежом и со все нарастающей силой продолжающим разваливать учреждения, в которых его принимают на работу после изгнания (с огромным трудом) из очередного научно-исследовательского и педагогического института. Ведь он не один! Изменить порядки и привлекать к ответственности за ложные доносы.

Если в письме, обращенном таким хищником в вышестоящие организации, есть неподтвержденные данные, – немедленно привлекать к ответственности. А по телевидению открыть новую передачу «В мире людей», в которой рисовать психологию людей хороших и плохих, порядочных и лжецов, создающих хорошую атмосферу вокруг себя и разрушающих общество. Передачу по психологии поведения.

К. И. Чуковский рано ложился и рано вставал. Если гости засиживались, он им говорил: «80 лет не 70 лет. Извините, я иду спать». Из рассказов Д. Н. Чуковского.

Курение когда-то (в 1660 году) считалось в Англии медицинским средством, чтобы не заболеть чумой.

Удивительное ощущение – слушать свой голос через

микрофон. Первый раз я думал, что это вообще не мой голос. Потом решил – микрофон искажает мой голос.

Конечно, голос для меня другой, отчужденный: это ясно, но ведь он для меня и не меняется с годами. Я не слышу старческой хрипотцы. Он для меня остался тем, чем он был для меня в 19 лет. Этого ведь не объяснишь тем, что он проходит к моему слуховому аппарату через другую среду. Мои интонации ведь не меняются (по идее) от того, через какую среду я слышу свой голос? А между тем мои интонации после появления магнитофонов были для меня своего рода «открытием».

Чужой голос, отделившийся от меня, – это ситуация «Носа» Гоголя. И в какой-то мере то же самое с моим изображением на экране телевидения, и даже на хороших (непременно хороших) фотографиях. Я вижу чужого человека, который не во всем мне нравится – даже иногда очень не нравится. Особенно не нравится появление во мне на моих изображениях какой-то сладковатости. Кто-то чужой для меня отделился от меня. Мой двойник ходит по экранам, звучит с пластинки фирмы «Мелодия» (я говорю о «Слове о полку Игореве», читаю его текст).

Как сейчас упростилась бы ситуация для Достоевского (с его «Двойником»), для Гоголя. Я думаю, что и Андрей Белый не успел ухватить ситуацию, открывавшуюся перед ним с появлением кинематографа и граммофона.

Если из-за чего-то стоит ездить в Кисловодск отдыхать, то это из-за Косыгинской тропы (так люди прозвали длинный новый терренкур, проложенный по идее А. Н. Косыгина). Тропа развивается как музыкальное произведение – не только со сменами открывающихся с нее видов, но и настроений. По-разному хрустит под ногами песок, разный в ней воздух – всегда по-своему прекрасный. На этой тропе мы стали встречаться с Козинцевыми: сперва незнакомые друг другу, потом как-то познакомившиеся, а затем и ставшие уславливаться о совместных прогулках.

С первой же встречи меня поразило лицо Г. М. Козинцева: очень усталое, очень много пережившего человека. Потом я понял: быть автором фильмов – это тяжелейший труд и тяжелейшее сопереживание со всеми героями своих фильмов: с Башмачкиным, с Максимом, и с Дон Кихотом, и с Гамлетом, и с королем Лиром. Но и не только с ними – и с Санчо Пансой, и с Офелией, и с Корделией, и со всеми, кто так или иначе входил в плоть и кровь его сострадания. А ведь бесконечно много читая, обдумывая, режиссерски примериваясь, он вводил в круг своего сострадания все величайшие трагедии мира и историческую драму XX века. Все это отложилось на усталом лице Григория

Михайловича – усталом не сиюминутной усталостью, а той усталостью, которая многократно осеняла его лицо за его долгую жизнь. Долгую! Ибо можно прожить коротко и сто лет, но жизнь Григория Михайловича была долгой, ибо он присоединил к ней десятки других жизней, ставших для него своими, частью его мыслей, чувств. В его лице можно было заметить отсветы и Ю. Ярвета, и О. Даля, и трагической Ужвий.

В рабочих тетрадях Григория Михайловича, изданных в 1981 году под названием «Время и совесть», я нашел подтверждение своим первым впечатлениям: «Фильм, особенно заканчивающийся, – писал Григорий Михайлович, – всегда являлся для меня почти физическим мучением. Я до боли ненавидел, приходил в отчаяние от неудач: они были повсюду, и я выбивался из сил, стараясь их исправить.

Потом, как боль, фильм утихал, оставляя меня.

Боль становилась менее острой, она как бы удалялась. Фильм отделялся от меня, начинал жить отдельной жизнью. Она могла меня радовать или приводить в отчаяние. Но все это уже вне меня. Я жил уже чем-то иным» (с. 213).

И все-таки Григорий Михайлович ошибается в этой записи. Разговаривая со мной на Косыгинской тропе, он время от времени возвращался к уже законченным фильмам. Так, на одном из поворотов, с которого открывался вид на совершенно мертвые, иссеченные тысячелетними ветрами скалы, он остановился и пожалел: «А ведь можно было и здесь снять некоторые сцены „Лира“» (я передаю его мысль; точно слов его я не помню). Значит, «Лир» не оставлял его и после того, как он прошел по всем кинотеатрам мира. Отдыха у него не было…

Из разговоров с Григорием Михайловичем Козинцевым в Кисловодске. О тех «работниках литературы», которые выдумывают разные страхи, видят повсюду идеологические ошибки, обвиняют других в «искривлении линии» и пр., Григорий Михайлович сказал, что они работают на «индустрию страха». На этом производстве они легко наживают немалый политический капитал. И они нужны, так как именно благодаря их деятельности разные наблюдающие и руководящие чины приобретают уверенность в собственной необходимости для общества.

Г. М. Козинцев снимал «Дон Кихота» в Коктебеле и искал Росинанта по окрестным крымским хозяйствам. Наконец получает телеграмму: «Орлик готов служить искусству. Лучшего Росинанта не найдете. Председатель артели – такой-то». (Орлик – имя лошади, престарелой красавицы, отслужившей свое.)

Всем известна деревянная дача, стоящая налево от Каменноостровского моста. Она горела, потом была восстановлена в камне и обшита деревом – как бы старая. Это дача Александра Петровича Ольденбургского. Дача приобретена была в 1833 году от В. В. Долгорукова, а им куплена в 1830 году от графа Г. И. Чернышева. Об этом доме сказано в записках маркиза де Кюстина. Славилась она знаменитыми интерьерами, мебелью. Там была даже детская с мебелью как у взрослых, но меньше. Обо всем этом писалось. Но мало кто знает, что интерьеры рисовал М. В. Добужинский для своих знаменитых декораций к «Месяцу в деревне» Тургенева.

С 29 июня по 2 июля 1982 года был съезд Общества охраны памятников истории и культуры в Новгороде. Я не попал в число делегатов, а ездил от Центрального совета общества в Москве. Был Вал. Гр. Распутин, которому я немного показывал Новгород, и вот что я ему рассказал, не рассчитывая на возможность использования для какого-либо рассказа. Действительность в моем рассказе была «литературнее» допустимого в литературном произведении. В церкви Рождества на кладбище с великолепными и малоизученными фресками обнаружили при реставрации вверху алтарной апсиды огромный снаряд. Концы снаряда были видны и снаружи и внутри. Вызвали саперов. Они сказали: «Единственный способ – взорвать на месте. Иначе обеспечить безопасность нельзя». Реставраторы чрезвычайно взволновались: «Но погибнут фрески!» Как всегда в чрезвычайных случаях, тут же оказались два мальчика. Услышали, что взрывать будут утром. И вот когда утром приехали саперы – снаряда не обнаружили. Мальчики за ночь вытолкнули снаряд наружу. Он упал на мягкую кладбищенскую землю и, к счастью, не взорвался.

О книге

Если книга не породила у вас ни одной самостоятельной мысли, значит она напрасно прочитана (кроме справочников, но они не читаются подряд).

Будьте Колумбами – открывайте хорошие книги в океане незначительных.

Книги, по Карлу Попперу, – это «третья реальность»; первая – объективно существующая, вторая – субъективная.

Читать, но и перечитывать! Если при перечитывании книга

позволяет открыть в ней нечто новое, значит это полезная книга.

До революции на фабриках потомков Саввы Морозова выделывались различные сорта ситца, зефира, тика, демикотона, миткалей, бархатов, репсов, пике, вывозившиеся в Хиву, Мерв, Китай, Бухару, Персию, Царство Польское, Великое княжество Финляндское.

Ситец стоил восемь копеек аршин. А были и золототканые парчи, материи на бухарские халаты по тридцати пять рублей за аршин. А кроме наследников Морозовых, были Третьяков и Коншин, Носовы, Лабзин, Осипов, Сапожников, два Барановых и др. У всех были свои «секреты» производства. Кто-нибудь когда-нибудь напишет историю машинно-ткацкой культуры?

Когда караван поворачивает назад, хромой верблюд оказывается впереди. «Наблюдение» это (кому оно принадлежит?) может иметь много применений.

К Б. М. Эйхенбауму пришел в гости Евгений Шварц. Кот безобразничал и царапал стол. Борис Михайлович выставил его за дверь. Тот продолжал буянить. Борис Михайлович спрашивает Шварца: «Как вы думаете – почему он так скандалит?» Шварц: «Он, вероятно, думает, что мы с вами тут едим мышей».

Академик А. С. Орлов был большого роста, полный, необычайно представителен: «настоящий академик». Ходил он с Пятой линии по вечерам гулять по набережной. Подходят к нему подростки: «Дед, снимай шубу!» Орлов и глазом не смигнул: «Вам нужно, вы и снимайте!» На этом все кончилось. Но главное было – не остановиться.

Надпись, сделанная Томашевским на книге, подаренной им Пушкинскому Дому: «Не тебе, не тебе, а имени твоему». Тут и Священное Писание, и стихотворение Блока, начинающееся «Имя Пушкинского Дома…», и положение Пушкинского Дома в последние десятилетия.

Томашевский в уборной в день проработки «космополитов» в Пушкинском Доме: «Вот единственное место в Пушкинском Доме, где легко дышится».

Плохие чтецы стихов читают стихи «по словам» с выражением для каждого слова отдельно и разрывают логическую связь, портят ритм. Такое чтение «по словам» было принято у актеров

Александрийского театра. Кошмар! Поэзия переставала существовать, оставалось одно «чтение», рокот голосов.

Поляки говорят: «дебронизированный портрет»: портрет, переставший быть бронзовым, – жизненно простой.

«Журналист своего воображения!» Так кто-то сказал об Одене.

Жидкое кофе, да еще теплое – ничего не может быть противнее. У немцев такое кофе называется «Blümchenkaffe» – кофе, через которое виден цветочек на дне чашки.

Все сущее не может быть доказано.

Из книги «Описание примечательных кораблекрушений, в разные времена претерпеваемых российскими мореплавателями Флота, Капитан-Командором Головиным». Часть четвертая. СПб., 1853, с. 93: «Представляя верное описание сего происшествия, не хочу ни увеличивать ужасов, ни уменьшать их. Пусть каждый, носящий в сердце искру чувствительности, пожалеет о несчастных и иногда в молитвах своих попросит Бога, чтобы сохранил нас, бедных мореплавателей, от подобных случаев, грозящих нам в море ежечасно.

Из сего описания видно, что крушение брига „Фальк“ последовало от течи, а течь произошла от якоря, на кранбал отданного и пробившего лапою на волнении обшивные доски. С трудом можно поверить, чтобы при нынешнем состоянии мореплавания сыскался еще морской офицер, который не знал бы, что на ходу или при волнении непременно якорь должен отдавать с рустова и кранбал „вдруг“: опытные мореплаватели во всяком случае так поступают. Человек, вовсе не знакомый с морскою службою, взглянув на якорь, отданный на кранбал во время волнения или при большом ходе, подумал бы, что это острое орудие свешено нарочно для пробития корабельного дна».

Как хорошо написано! А если что непонятно, то и это хорошо: ищите в словарях; прекрасное занятие.

Где-то я читал, что Гитлер перед своими выступлениями возбуждал себя Баденвейлеровским маршем (подумать только – Баденвейлер, это курорт, где умер Чехов!), а затем выступал, имея перед собой ораторский пульт: нажимая на кнопки, он указывал моменты, когда должен быть произведен снимок, усилен свет прожекторов. От кнопок шло начало рукоплесканий, возгласов, выкриков.

Кто-то сказал: предметы тяготеют к центру земли добровольно, так как боятся одиночества.

Анекдот, рассказанный мне Г. В. Степановым. Врач: «Хорошо ли вы спите?» Пациент: «Очень. Я считаю до трех и засыпаю». Врач с изумлением: «Как? Только до трех?» Пациент: «Ну, иногда до полчетвертого».

Многие из анекдотов о «профессорской» рассеянности Кулакова приписываются в Болгарии профессору Балабану. Но вот неизвестный в России сюжет. Балабан зашел к кустарю с просьбой укоротить трость, но потребовал укоротить ее с верхнего конца: «Она же мне высока сверху; низ мне не мешает».

Шоп (исконный житель окрестностей Софии в Болгарии) говорит: «Когда все хорошо, это не все хорошо!»

Аргументация шопа (в болгарском анекдоте): «Ну да, волк увел овцу, а не пригласил ее с собой пойти. Ну да, в лес, а не на бал. Ну да, волк съел овцу, – не могла же овца съесть волка».

Старый польско-еврейский анекдот: А. – «Сшейте мне побыстрее костюм». Б. – «Будет готов через две недели». А. – «Но Господь Бог создал мир всего за неделю?» Б. – «Но что это за мир!»

Международное общение в области анекдотов общеизвестно. Сюжеты анекдотов ирландских, еврейских, русских часто переходят в другие страны. Но можно предполагать и самозарождение одинаковых сюжетов. В старое время в России был известен рассказ об иностранце, который удивлялся: в России все железнодорожные станции называются одинаково – «Кипяток». И действительно, я еще помню время, когда вывеска «Кипяток» всегда висела на станциях на самом видном месте и к ней из остановившегося поезда устремлялись с чайниками услужливые молодые люди, приносившие кипяток для всех пассажиров своего купе.

А вот что рассказывает Питер Устинов в своей автобиографии «Уважаемый Я» о впечатлении своей матери, впервые приехавшей в Англию: «Охватившее ее ощущение какого-то кафкианского ужаса тем более усиливалось, что все минуемые поездом станции имели, казалось, одинаковые названия: „Боврия“. Придется объяснить непосвященным, что „Боврия“ – марка превосходного бульонного концентрата. Будучи продуктом частной

предпринимательской инициативы в чрезвычайно конкурентоспособном капиталистическом обществе, концентрат широко и броско рекламировался, в отличие от названий железнодорожных станций, которые, хотя тоже являясь частной собственностью, тяготели скрывать свои названия под слоями грязи и пыли, поскольку прямых конкурентов не имели».

Когда у К. И. Чуковского родился правнук, он сказал: «Я могу понять, что мой внук родил моего правнука, но я не могу понять, как я родил деда».

Автор принятого во всех средних школах России учебника по физике Хвольсон, очень мало сделавший для науки, сказал по случаю своего избрания почетным академиком: «Различие между академиком и почетным академиком такое же, как между государем и милостивым государем!» (обычное, сухое, официальное обращение в письмах старого времени). Хвольсон в данном случае проявил не только остроумие, но удивительное остроумие, ибо с честью для себя признал свое скромное место в науке. Достаточно быть хорошим педагогом и умным человеком.

Случай на съезде в Варшаве. Делегат случайно обменялся чемоданом с дамой. Дама вспомнила, у кого может быть ее чемодан. Входит в номер делегата. По комнате раскиданы женские вещи, а сам делегат в отчаянии: «Жена забыла положить мой доклад!» Что вещи женские – он не заметил.

Родители Эйнштейна говорили о нем в детстве: «Профессора из него не выйдет, ну а часового мастера мы как-нибудь из него сделаем».

Анекдот, рассказанный академиком Балевским в Болгарии. Англичанина, француза и немца приговорили к смертной казни. Англичанина спрашивают о его последнем желании. Он выражает желание выкурить хорошую сигару. Его желание удовлетворяют, но, когда дергают за веревку, гильотина не срабатывает, англичанин остается жив и его, по обычаю, отпускают. Ведут на казнь француза. Он просит тонкого вина. Снова дергают за веревку, но гильотина и тут не сработала. И его, по французским обычаям, тоже отпускают (казнь нельзя повторять дважды). Ведут немца и спрашивают о его последнем желании. Немец возмущен: «Давайте я вам исправлю вашу технику, а потом уже спрашивайте меня о моем последнем желании!»

Панамы стали популярны после того, как 16 ноября 1906 года президент США Теодор Рузвельт был сфотографирован в панаме во время своего путешествия по Панамскому каналу. Панама Рузвельта была сделана из соломки кремового цвета и была невесома. Стоила панама в то время 200 долларов, и носили ее государственные мужи. А теперь этой же формы носят панамки дети, и это самый дешевый головной убор, но тоже преимущественно от солнца…

В Англии нет мышей: англичане любят кошек (впрочем, мыши, может быть, и есть, но так считают сами англичане).

Когда мне давали звание почетного доктора в Оксфорде, я останавливался в «The Randolf Hotel» и оттуда шел пешком на церемонию по Хай-стрит в Тейлоровский институт в мантии и в шапочке. Никто не обращал на меня внимания. Во-первых, правила английской вежливости – не разглядывать незнакомых людей; во-вторых – это вполне обычное одеяние.

В начале XVIII века в Англии карикатуры считались по преимуществу итальянским занятием. Затем карикатуры заняли большое место в искусстве Англии. И это связано с особой терпимостью англичан к чужому мнению и к юмору.

Термин «caricature» появился в Англии в 1750-х годах. Расцвет английской карикатуры приходится на конец XVIII века. Англичанин по пути в свой клуб рассматривал витрины книжных магазинов, где выставлялись свежие карикатуры, и очень надеялся увидеть себя (свою личность, удостоившуюся карикатуры).

Карикатуры, кроме книжных магазинов, выставлялись в кафе, ресторанах, фойе театров, тавернах, в станциях дилижансов. Карикатуры собирались в альбомы, и их можно было получить напрокат.

Когда я был в Англии в 1966 году, в Нью-колледже меня поразила профессорская комната: она была сплошь увешана карикатурами – старыми и совсем свежими. Никто из преподавателей не обижается, когда способные студенты рисуют на них карикатуры.

В Средние века, а вероятно и раньше, была распространена игра в марелль. Доска к этой игре изображена на шпалере начала XVI века, хранящейся в Лувре (инвентарный номер 0A 9407). На этой шпалере мужчина-секретарь (судя по чернильнице и перу, которые он носит) предлагает господам игральную доску с

расчерченными линиями. Чертеж на этой доске точно такой же, как на доске в Новгородском музее, которую Б. А. Рыбаков считает архитектурным пособием. Англичане возобновили выпуск этой игры. Она пользуется успехом. Игра довольно быстрая, двуэтапная: достигнув упрощения положения фигур на доске (путем выигрыша фигур), правила в игре меняются. Название ее «мельница». Я предложил в Новгороде выпускать эту игру вместо глупых сувениров – одинаковых во всех древних городах нашей страны, но… предложение мое осталось без ответа.

Что может быть несбыточнее гадания на кофейной гуще. Недаром выражение это («гадание на кофейной гуще») употребляется как поговорка нелепых и беспочвенных предположений о будущем. Гадают так: когда чашка с кофеем допита, ее опрокидывают в свою сторону, а затем смотрят по разводам растекшейся по чашке гущи. И вот расположение гущи («география» гущи) многознаменательно. Сердечные дела – на дне чашки. Они, следовательно, самые важные и самые «глубокие». Выше по стенкам – служебные дела. Сторона чашки, ближайшая к губам, – это будущее (здесь мы пьем). Противоположная сторона – прошлое (оно ушло от нас). А сторона у ручки – настоящее (им мы управляем). Никто не верит, но все гадают, потому что гадание на кофейной гуще дает повод к разговорам. Можно друг над другом посмеяться. Если бы верили в кофейную гущу – верно бы, гадали меньше, и то в одиночестве.

Виктор Шкловский сказал, демонстративно уходя с вечера знаменитого отгадчика мыслей Вольфа Мессинга: «Вольф Мессинг будет отгадывать за пять рублей (цена билета) мысли Виктора Перцова, а я не хочу знать их и бесплатно».

Освободить свое время от пустяков.

Два портрета одного лица в одинаковых размерах, расположенные рядом (в альбоме, в рамках), создают удивительную иллюзию движения. Даже просто одна и та же фотография, снятая в движении и расположенная рядом в двух экземплярах, создает ту же иллюзию.

Выписка из журнала «Connoisseur» (1984, August, p. 17). Вопрос: «Когда подделка не является подделкой?» Ответ: «Тогда, когда это честная репродукция».

Английская поговорка: «Людям, живущим в стеклянном доме,

нельзя бросаться камнями».

Лидия Михайловна Лотман спросила меня, «как я поживаю». Вместо того чтобы кратко, как полагается воспитанному человеку, ответить в неопределенной форме, я начинаю распространяться на этот сюжет: «Устал, мол, некогда заниматься научной работой, все время отнимает „Фонд культуры“» и т. д. Лидия Михайловна со смешком ответила мне на это (и очень точно): «Одного портного спросили, что бы он делал, если бы стал царем?» – «И шил бы еще немного», – ответил портной.

В XVII–XVIII веках часовой мастер мог сделать за всю жизнь 70–80 часов. На одних из часов XVII века в львовском музее мастер с гордостью начертал, что это его 134-е часы. Это был его подвиг, знак исключительного трудолюбия!

Анатолий Дуров вышел на сцену без объявленного в программе слона. Его спрашивает партнер: «А где же слон?» – «У него грыжа». – «Как, отчего?» – «Надорвался, поднимая сельское хозяйство». На этом, говорят, закончились выступления Дурова в цирке вообще. Ни слона, ни Дурова.

П. Л. Капицу принял в Кембриджский университет Резерфорд. Впоследствии, несколько лет спустя, когда Капица выдвинулся, он спросил Резерфорда: «Почему вы меня приняли тогда: и знал мало, и английским владел плохо?» Резерфорд ответил: «Я и сам удивляюсь – почему я вас принял тогда».

Поверие: Рим будет стоять до той поры, пока на Капитолии стоит статуя Марка Аврелия. Я был на Капитолии в мае 1986 года: статуи Марка Аврелия не было – взята на реставрацию.

В Новгороде существовало поверие (оно записано и в Новгородской третьей летописи), что Вседержитель в куполе храма Софии держит в руке судьбу Новгорода: первый же немецкий снаряд в 1941 году попал в купол, в фреску. А может быть, действительно в каком-то смысле нет ни старого Рима, ни старого Новгорода? Один «взят на реставрацию», другой застроен нелепо.

Польская поговорка: «„Посмотрим“, – сказал слепой».

Питер Устинов (в автобиографии «Уважаемый Я») замечает: «Англичанам принадлежит авторство поразительного количества международно признанных игр» – и далее объясняет в своем

ироническом стиле: «И стоит иностранцам превзойти англичан в одной из их же собственных игр, как англичане хладнокровно изобретают другую, в которой какое-то время могут удерживать первенство, поскольку никто, кроме них, не знает ее правил». Устинов шутит, но любовь играть характерна для англичан. Пристрастие англичан к играм происходит от того, что они в основном «большие дети», вернее, подростки. И подростки – мужчины. Основные игры англичан преимущественно мужские. У них нет ни одной игры, отвечающей характеру девушек, – вроде русской игры в горелки. Вообще Англия преимущественно мужская страна. Женщины-преподаватели колледжей подражают мужчинам-преподавателям: в поведении в профессорских клубах, в поведении за общими со студентами обедами и пр.

В Оксфорде, в женском «Леди Маргарет колледже», я был приглашен к обеду. Женщины-преподаватели перед обедом в отдельной комнате пили аперитив и курили – как мужчины. Они вели себя по мужским «стандартам». Даже рассказывали вполне мужские анекдоты.

Сон

Жена утром, просыпаясь, говорит мужу: «Знаешь, ужасно глупый сон приснился. Будто бы продается по комнатам Гатчинский дворец и я купила большую комнату, прямо зал. И такой был ажиотаж – выложила все свои деньги, почему-то у меня были с собой в пачках. Потом думаю: отдала 24 тысячи, зачем? Все деньги, что у нас скоплены».

Утром, за кофе, муж говорит своей жене: «Ты даже во сне глупости делаешь». Жена успела забыть сон: «Какие?» – «Да покупаешь на все наши деньги какие-то проходные комнаты». – «Но ведь это же не комната, а во дворце!» – «Но дворец-то давным-давно не существует – теперь там какой-то „ящик“!» – «Но все равно комната большая». – «Вот я и говорю, что ты дура: не думаешь, что покупаешь. Тебе бы только большое!» Поссорились на целый день.

Для кулинарной книги. Способ сохранения винограда в Болгарии: хвостик кисти винограда втыкают в свеклу; сохраняется несколько месяцев (сам не проверял). И еще болгарское наблюдение: город Самоков – «курорт для вина». Испорченное вино восстанавливается в Самокове (температура, климат?). (Разумеется, и это я сам не проверял.)

Тишина каждый раз разная. В каждой комнате своя, на

открытом воздухе своя – и всегда особая. Это открыли для меня звукооператоры телевидения. Они записывают тишину для пауз в передачах. Тишина не может быть «глухой».

Тишина звучит. Все знают, как выражает ночную тишину скрип половицы в деревянном доме, а тишину летнего дня – жужжание мухи, бьющейся об оконное стекло.

Пение соловья ночью – это громкая тишина, тишина, разразившаяся громом, гигантским щелканием, великанскими руладами. Тишина ночи, разорванная…

Так в старых галантерейных магазинах рвали, отмерив аршином, коленкор приказчики для покупателей.

Вхожу в гостиницу с одним известным ученым. Швейцар спрашивает его: «Живете?», имея в виду – «живете в гостинице». Тот сразу понимает комичность вопроса, театрально медленно поднимает руку кверху, вращает кистью над головой и отвечает: «Пока да!»

Успехи медицины

Наконец-то медицина сделала благодатные открытия для всего человечества: оказалось возможным пересаживать человеку вместо больного сердца два здоровых (если, конечно, человек этого заслуживал), пересаживать печень, мозг, не говоря уже о таких пустяках, как кожа и кости. Просто удивительно! И как хорошо: теперь не страшны любые болезни, лишь бы вовремя, вовремя…

Потребность в здоровых органах возросла до крайности. И цена тоже. И все-таки «запчастей» не хватало. Велся строгий учет всем здоровым людям, всем здоровым органам. Ни один здоровый орган не должен был пропасть. Вовремя перехватить у умершего, лучше всего внезапно погибшего, опустить эти органы в особую жидкость, держать все это при особых условиях и… пересадить их достойному больному.

И как изменился весь социальный строй жизни. Общество разделилось на «бессмертных» (номенклатурные работники с хорошими анкетными данными) и на «запчасти», как называло себя в шутку остальное население. Правда, «бессмертные» представляли собой как бы некие комбинации, которые все время несколько перестраивались внутри (особенно когда пересаживался мозг или какие-нибудь железы), но зато анкетные данные, «автобиография», награды, ордена оставались вечно, а следовательно «комбинация» могла вечно занимать свой ответственный пост.

Прогрессировала не только медицина. Прогрессировало и идейное воспитание. Церквей и в помине не стало, но некоторые «традиции» всё же остались. Почему-то отмечали девятый и сороковой день после смерти. И в годовщину тоже ходили на кладбище, где в стройных буфетиках, как хрустальные бокалы, хранились урны с прахом «населения».

Наступила годовщина смерти попавшего в аварию молодого спортсмена. Но матери его некуда было пойти: все тело его разошлось по живым людям. И решила она отдать дань старому обычаю и пойти по тем людям, в которых «схоронен» был ее сын.

И первым решила навестить знаменитого литературоведа, которому пересажено было сердце ее сына. «Все-таки человек, верно, гуманный, литературой занимается. Поймет он материнское сердце. Не так страшно и разговор завести».

Позвонила. Открыли. Удивленно посмотрели. «Вы, наверно, рукописи предложить пришли?» – «Нет, но поговорить, повидать, по-родственному!»

Позвали профессора. Профессор сидел в столовой перед телевизором. Устал, выполнял срочное задание: готовилось новое собрание сочинений Достоевского и надо было доказать, что «Бесы» подделка. Сложно – рукописи остались, но справился. И вот теперь отдыхал, наблюдая, как на экране мускулистая дама, стоя на голове, делала шпагат.

Когда позвали, недовольно крякнул: «И отдохнуть не дадут», но пошел и даже пригласил в кабинет. Придвинул стул. Сам сел напротив в уютное кресло.

«Петров, говорите? Иван Петрович? Олимпийский чемпион? Согласитесь однако, что знать это неприятно». Схватился рукой за сердце: от жеста этого уже давно отвык, но теперь вспомнилось. Слегка затошнило, закружилась голова. «Нет, нет, избавьте, пожалуйста, от подробностей. В конце концов это совсем неделикатно с вашей стороны».

Когда мать ушла и знаменитый литературовед вернулся к телевизору, под конец выступлений мускулистой дамы он почти успокоился и подумал: «Но если чемпион, олимпийский, значит до следующей пересадки сердца еще очень не скоро.

Надо будет подумать: «Записки из подполья» тоже бы печатать не следует. И черновиков не сохранилось! Из поликлиники Двадцать четвертого управления, наверное, уже не открепят».

Сколько зерен, рассыпанных на столе, может человек охватить взором сразу и не считая, не деля на группы – определить их число? Одно зерно – ясно, что одно. Два зерна – тоже не требует мысленного счета. Три – тоже. Четыре – уже

возникает соблазн разбить на две группы по два зерна, чтобы лучше уяснить число. Но еще не считает. Пять – труднее, и счет в уме возможен. То же шесть. А семь и последующее число зерен, пожалуй, требует уже счета. Познание превращается в процесс. Во всяком случае, вы не можете сказать сразу, «не думая», – сколько лежит на столе.

И вот, если бы меня спросили – как представить себе «Высший разум», я бы сказал – это то, что способно охватить мысленным взором сразу всю Вселенную, и не только ту, что есть сейчас, но и ту, что была и будет, – во всех измерениях – и держать ее в сознании с такою же ясностью, «не считая», как мы можем осознать наличие одного, двух или трех зерен, лежащих на столешнице.

Вопрос о том, существует ли всевидящий «Высший разум» или не существует, может решаться только с осознанием невероятной сложности его существования – сложности, показанной мною на трех зернах, лежащих на столе, но раздвинутой на всю Вселенную.

«Эталонная личность» – то есть личность с определенной системой званий, степеней, должностей и хорошими анкетными данными. В результате – «ученый функционер» или «функционер в науке» (какое из двух выражений здесь уместнее – не знаю).

О тонкости икебаны (японского искусства подбирать цветы в группы, «коллективы») свидетельствует хотя бы следующее. Во время приведения в порядок цветов в букете мечеобразные листья ирисов (эти листья символизируют сами по себе мужество) следует располагать так, чтобы они имели положение плоской стороной к зрителю. Если листья обращены к зрителю острой стороной, то это означает плохую манеру составителя, ибо конец меча направляется только на врага (Trivedi, Devika, Ikebana. Delhi – Bombey, 1975, p. 49).

Бумажные обои были во второй половине XVIII века дорогой новинкой. В 1781 году они только начали входить в употребление, но в Павловском дворце ими решались оклеивать только комнаты дочерей.

Дягилев на своих визитных карточках писал себя «De Diagileff» и играл роль «un grand seigneur en voyage» (путешествующего большого барина), его называли «un vrai boyard russe» (настоящий русский боярин). Может быть, это и правильно: он был представителем русского искусства на Западе

и без этого самоощущения ему бы не удалось организовать Русские сезоны.

Мужской романовский полушубок (я такой носил в 1928–1932 годах и в ленинградскую блокаду) застегивается на крючки по-женски – с левой стороны. Так удобнее действовать правой рукой: если бы крючки были справа, пришлось бы натягивать борт полушубка левой рукой. Но на русских косоворотках (удивительно удобная одежда) застежки тоже были на левой стороне, а под мышками – ластовицы, позволявшие свободно поднимать руки в работе.

В горьковском Музее деревянного зодчества есть прекрасный образец русской косоворотки: темно-красной с черной вышивкой, очень широкой и с черными ластовицами под мышками.

В царской армии полагалось носить фуражку чуть набекрень: над левым ухом – околыш на три пальца, над правым – на один (для «удобства» воображаемого взмаха саблей с коня).

Юбилей балетомана. После каждого тоста играет бодрый короткий отрывок балетной музыки. Например: па-де-де из «Спящей» или «Лебединого». Почти как в гражданской панихиде, когда после очередного выступления играют несколько тактов похоронного марша.

То, что сегодня хлам, завтра может оказаться антикварной редкостью.

«Для того чтобы мышца развивалась, она должна уставать» (Сеченов).

Когда легче полоть грядку? После дождя, когда сорняки сыты водой и «довольны».

«Аэронавтический опыт» француза Гарнерена (Garnerin) в Павловске в присутствии императрицы Марии Федоровны в 1803 году. Гарнерен запустил шар с привязанной кошкой, а шнур, на котором висела кошка, поджег. Кошка спустилась на парашюте и «была представлена императрице» (из книги: Павловск. Очерки истории и описание. СПб., 1877, с. 22.). Превосходно! Но интересно – как вела себя кошка во время этого «представления» ее императрице? По ритуалу?

Умение смеяться присуще человеку, отличает его от всех других живых существ. Какое бы положение ни занимал человек,

он должен смеяться.

По Петергофской дороге были две дачи Нарышкиных, первая Льва, вторая Александра. Одна называлась «Ага!», другая – «Ба, ба!».

Остроумие было в XVIII веке обязательным для государственных деятелей. Остроумной была и Екатерина II. При ней в математике π в квадрате обозначалось ππ, а «к» в квадрате – «кк». Когда Эйлер ехал морем в Санктпетербург, у него во время кораблекрушения утонул сундук со всеми бумагами. Екатерина сказала ему на приеме: «Какое несчастье! У нас погиб сундук со всеми вашими „пипи́“ и „кака́“».

Богиня Нике (Победа) изображалась без меча, но с крыльями. Победивший должен оставить меч, быть великодушным и «воскрыленным» гуманными идеями.

Из прошлого и о прошлом

Рано или поздно все разрушится, все исчезнет. Да, но лучше, чтобы «поздно», чем «рано». Когда-то человек жил только в настоящем. Но в большом настоящем, помня – кто у него родители и откуда. Открытие истории произошло несколько тысяч лет назад: открытие – в обе стороны: о прошлом легенды, для будущего курганы.

Курганы – лучшая память. Носитель истории – земля. Ведь нужно столько же работать, чтобы разнести курган, сколько чтобы его насыпать. Бульдозеров не было…

Человеку тесно жить только в настоящем. Нравственная жизнь требует памяти о прошлом и сохранения памяти на будущее – расширения туда и сюда.

И детям нужно знать, что о своем детстве они будут вспоминать, а внуки будут приставать: «Расскажи, дедушка, – как ты был маленьким». Такие рассказы дети очень любят. Дети вообще хранители традиций.

Когда Владимир Мономах закладывает Успенский собор в Киеве (1073 г.), в Смоленске (1101 г.), в Суздале (1101 г.), во Владимире (1108 г.), в Чернигове (вскоре после 1113 г.) – он закрепляет центр и границы государства Руси, он борется с «пустотой» огромной Русской земли. Одинаковые по посвящению Успению и по внутренним соотношениям храмы в середине кремлей в разных концах Руси необходимы для «преодоления пространства», для закрепления единства Руси.

Мы очень часто находимся во власти исторических предрассудков. Одним из таких предрассудков является убежденность в том, что древняя, «допетровская» Русь была страной со сплошной малой грамотностью.

Тысячи и тысячи рукописных книг хранятся в наших библиотеках и архивах, сотни берестяных грамот найдены в Новгороде – грамот, принадлежащих ремесленникам, крестьянам, мужчинам и женщинам, простым людям и людям высокого социального положения. Печатные книги показывают высокий уровень типографского искусства. Рукописи «цветут» изумительными заставками, концовками, инициалами и миниатюрами. Печатные шрифты и рукописные буквы поразительны по красоте. Все новые и новые центры книжной культуры обнаруживаются в монастырях Древней Руси среди лесов и болот, на островах – даже вдали от городов и сел. В

рукописном наследии Древней Руси мы все больше и больше открываем новых оригинальных произведений и переводных. Уже давно ясно, что болгарское и сербское рукописное наследие шире представлено в русских рукописях, чем у себя на родине. Высокое искусство слова окружено открытиями в области древнерусской музыкальной культуры. Всеобщее признание во всем мире получили древнерусские фрески и иконы, русское прикладное искусство. Древнерусское зодчество оказалось целым огромным миром, изумительно разнообразным, будто принадлежащим разным странам и народам с различной эстетической культурой. Мы получили из рукописей представление о древнерусской медицине, о русской историософии и философии, о поразительном разнообразии литературных жанров, об искусстве иллюстрирования и искусстве чтения, о различных системах правописания и пунктуации… А мы все твердим и твердим: «Русь безграмотная, Русь лапотная и безмолвная»!

Почему так? Догадываюсь: может быть, потому, что в XIX веке носителями древнерусской культуры оставались по преимуществу крестьяне, историки судили о Древней Руси главным образом по ним, по крестьянам, а их давно уже скрутило крепостное право, все большее обнищание, отсутствие времени на чтение, непосильная работа, нищета.

В любом историческом сочинении мы привыкли читать об усилении эксплуатации, классового гнета, обнищании народных масс. И ведь это правда, но почему же тогда мы не делаем и другого вывода, что культура народа в этих условиях нарастающего гнета должна была падать? Судить по безграмотности крестьянства XIX века о его неграмотности (еще большей!) в веках XI–XVI нельзя. Нельзя думать, что письменная культура населения непрерывно возрастала. Нет, она и падала. И именно крепостное право принесло с собой ту неграмотность, как «лапотность» народа XIX века, которая даже историкам показалась исконной и типичной для Древней Руси.

Одна фраза в Стоглаве о неграмотности новгородских попов служила и продолжает служить этому убеждению в неграмотности всего населения. Но ведь Стоглавый собор, призванный установить единый порядок церковных правил для всей Руси, имел в виду только новгородский обычай избирать уличанских попов всей улицей, в результате чего в попы попадали лица, не имевшие точного представления о церковной службе.

Одним словом: обильнейший материал превосходных рукописных и печатных книг, хранящихся или героически собираемых нашими энтузиастами-патриотами на Севере, на

Урале, в Сибири и других местах, требует от нас признания высокой письменной культуры первых семи веков русской жизни. Грамотность народа помогает нам понять высокую культуру слова в русском фольклоре, высокие эстетические достоинства народного зодчества, изделий народных ремесел, высокие моральные качества русского крестьянства там, где его не коснулось крепостное право, – как, например, на Русском Севере.

В истории русской культуры бывают периоды трагических катаклизмов, когда кажется, что все начинается сначала.

Так было с принятием христианства. Казалось, что языческая культура кончилась, кончился фольклорный период русского словесного искусства. Но вот прошли столетия, и сейчас мы знаем – культура слова не исчезла, но перешла в другие формы – не исчез фольклор, не исчезли и фольклорные достижения в новых формах – формах письменного слова.

Периодом перемен была эпоха царствования Грозного. «Неполезная» литература, литература беллетристического характера как будто бы была обрублена. Но прошло полвека, и в начале XVII века мы видим, что опыт остался. Он стал даже выше, несмотря на молчание второй половины XVI века.

Почти что апокалипсическим катаклизмом в истории русской культуры была эпоха «Петровских реформ». Все началось сначала. Но сейчас специалистам по многовековой русской литературе ясно – перерыва не было. Линии развития пережили кризис, но возродились и продолжали развиваться на новом уровне – на уровне усвоения западноевропейского опыта.

Каждый из этих катаклизмов, когда казалось – все должно начаться с самого начала, своеобразен по своему характеру. Перерывы были с задержками, перерывы были перед новым скачком вперед. Задержки шли изнутри, и задержки вызывались внешними событиями. Все по-разному.

К таким внешне обусловленным перерывам принадлежит и середина XIII века – время монголо-татарского завоевания.

Что, собственно, произошло в это время? Евразийцы были склонны преуменьшать значение восточного нашествия, другие, напротив, преувеличивали. Однако ни те ни другие не пытались охарактеризовать события в их существе, а это безусловно важнее, чем все попытки оценить перерывы количественно.

Р. Г. Скрынников в своей книге о Грозном приводит хорошую цитату из Энгельса, объясняющую настроения Грозного, его страх смерти. Скрынников пишет, что «эпоху террора» нельзя отождествлять с господством людей, внушающих ужас. «Напротив

того (здесь начинается цитата из Энгельса), это господство людей, которые сами напуганы. Террор – это большей частью бесполезные жестокости, совершенные для собственного успокоения людьми, которые сами испытывают страх» (Письмо Ф. Энгельса к Карлу Марксу от 4 сентября 1870 г. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 33, с. 45).

Самозванчество – это не только факт активности отдельных личностей, но и характерная черта общества. Проявления личностного начала для Древней Руси все были сродни самозванчеству. Появление самозванцев – это состояние общества, больное проявление индивидуализма. Его можно найти в разных явлениях культуры XVII века.

Марина Мнишек была настолько маленького роста, что для нее в Успенском соборе были сделаны скамеечки, чтобы ей прикладываться к иконам. Но это делает вероятным, что и Дмитрий Самозванец был невысокий. Не отсюда ли его «наполеонизм»?

По мнению Б. Б. Пиотровского, пирамиды строились потому, что власть фараонов была слаба. Все части Египта выстраивались цепочкой вдоль Нила, и выпадение хотя бы одного звена развалило бы всю государственную власть. Необходимо было обожествить власть фараонов.

К старине должно быть бережливое уважение, а не культ. Мы должны жить со старым, а не молиться на старое. На коленях жить невозможно (больно и неудобно).

Пушкин удивительно написал о Петре: «Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости; вторые нередко жестоки, своенравны и кажутся писанными кнутом».

Рассматривая мнения нашего общества о Петровских реформах, В. О. Ключевский писал: «Любуясь, как реформа преображала русскую старину, недоглядели, как русская старина преображала реформу». Ключевский назвал последнее явление «встречной работой прошлого» (В. О. Ключевский. Памяти С. М. Соловьева, – журнал «Научное слово», 1904, кн. VIII, с. 127).

Письмо о Петровских реформах

Глубокоуважаемый Дюла Свак!

Мне очень жаль, что наш разговор о Петре Первом в фойе Будапештского форума культуры нам не удалось довести до конца: меня звали звонки на заседание. Вопрос о том, была ли деятельность Петра I прогрессивной или гибельной для русской культуры, чрезвычайно запутан в литературе и общественной мысли XVIII–XX веков, но запутан он вовсе не безнадежно. В коротком ответе на Ваше письмо по этому поводу моим мыслям будет тесно для мотивированного изложения своих взглядов, но подвести все-таки некоторые основания под будущие ответы возможно.

Прежде всего вопрос должен быть поставлен так: совершил ли Петр I некий переворот в общих тенденциях русской культуры, или деяния Петра I шли в общем русле ее развития? Я стою на последней точке зрения. Петр продолжил и ускорил то, что было заложено в русской культуре. Европеизация России началась со Смутного времени, и Россия всегда была связана с другими странами: Скандинавией, Византией, западнославянскими странами, южнославянскими странами и пр. Петру не пришлось «прорубать окно» в Европу. Он открыл широкие двери главным образом на северо-запад Европы. Но и здесь он не произвел «открытия». Интерес к Англии начался еще в XVI веке, интерес к Голландии был широк еще при Алексее Михайловиче. Первоначально Петр I вводил в России венгерское платье, но и это не новшество. Интерес к Венгрии существовал на Руси уже в XI–XII веках.

Идея «просвещенной монархии», «царя-труженика» была изложена еще до Петра в стихах Симеона Полоцкого – учителя детей отца Петра, Алексея Михайловича.

Петр сменил в России всю знаковую систему (символы, эмблемы, гербы, знамена), познакомил с идеями басен Эзопа, перенес столицу поближе к естественным путям в прибалтийские страны и пр. Но уже в XVII веке эта смена «знаковой системы» была глубоко подготовлена в России.

Второй Ваш вопрос: не слишком ли дорогую цену заплатил народ за все «благодеяния» Петра? Да, слишком дорогую. Не говоря уже о многом другом, Петр устлал трупами болота, на которых строился Петербург. Можно было бы, не так торопясь, прийти к таким же результатам несколько медленнее, – растянув реформы на весь XVIII век. Но это мы рассуждаем с современной точки зрения, – мы, умудренные большим историческим опытом. А реально, если бы и не было «торопливого» Петра, то легко возникли бы другие исторические деятели, только менее талантливые и менее способные к государственному творчеству.

Дело в том, что деспотизм – одна из отрицательных сторон любой «просвещенной монархии». «Просвещенная монархия» не просто стремилась осуществить счастье народа – она навязывала это счастье часто насильственными способами. «Король-солнце» Людовик XIV тоже не был ягненком. Да это было бы и невозможно в системе «идеологического государства», какой представлялась Франция при Людовике XIV. Можно было бы привести и другие примеры.

Петру удалось провести сближение России с северо-западной Европой, сближение, которое было неизбежным и зародилось ранее. На Западе в эпоху Петра существовало два стиля – классицизм и барокко. В России со второй половины XVII века господствовало только барокко, которое приобрело формы, позволившие барокко стать заменителем Ренессанса. Барокко было типичным не только для искусств, но для характера науки, мышления, поведения человека и т. д. Петр был типичным представителем барокко. Петр – «человек барокко» со всеми его противоречиями, контрастами, темпераментом, загадочностью и т. д.

Обвинять в чем-либо Петра нельзя. Его следует понимать, как следует понимать его эпоху и нужды, перед которыми очутилась Россия на грани столетий.

Можно ли считать Петра типичным для русской истории? Только в той мере, что в огромной России все реформы, все исторические перемены требовали больших усилий и совершались с бóльшим трудом и бóльшими жертвами.

С уважением,

Ваш Д. Лихачев.

* * *

По поводу жалоб на Петра за основание столицы в краю гнилого климата С. М. Соловьев в своих «Публичных чтениях о Петре Великом» удачно говорит: «Что касается неудобств климата и почвы, то нельзя требовать от людей, физически сильных, чтоб они предчувствовали немощи более слабых своих потомков» («Чтение восьмое»).

Кто были деятели Петровской эпохи? Да, всё люди, родившиеся в Московской Руси. Разве этого недостаточно, чтобы понять органичность у нас явления Петра?

Кто были нашими учителями? Одни голландцы? Нет, Петр

учился во многих странах и у многих учителей. Из них первым был швейцарец. Разве этого недостаточно, чтобы понять самостоятельность Петра?

Наш алфавит называют кириллицей. Да, письменность наша восходит к делу Кирилла и Мефодия. Но алфавит, который в ходу у нас и у болгар, по составу букв и по их начертаниям создан и указан к употреблению Петром. И мы должны были бы его называть петровским. Но о Петре в этой связи никто и никогда не вспоминает.

С. М. Соловьев говорил в своих «Публичных чтениях о Петре Великом»: «В нашей истории выдаются две великие войны, в начале обоих веков нашей европейской жизни: великая Северная война и война 12 года; к обеим Россия не была готова» («Чтение седьмое»). Сейчас бы он добавил третью великую войну: Отечественную 1941–1945 годов.

Молодой Карл XII предавался буйным забавам, охотился за зайцем в сеймовой зале. Карл XII тоже деспот, только более «неоправданный» в своем деспотизме, чем его противник Петр, который его и победил.

Суждение Льва Толстого о Петре I: «Про Петра говорят, что он был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был вести Россию в сношение с Европейским миром» (С. А. Толстая. Мои записи разные для справок. Ясная Поляна, 14 февраля 1870 года. – Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860–1891. М., 1928, с. 30).

Хорошо сказано С. М. Соловьевым: «Прикрепление крестьян – это вопль отчаяния, испущенный государством, находящимся в безвыходном экономическом положении» (С. М. Соловьев. Публичные чтения о Петре Великом. М., 1984, с. 23). Хорошо сказано и дальше: «Прошедшее, настоящее и будущее принадлежат не тем, которые уходят, но тем, которые остаются, остаются на своей земле, при своих братьях, под своим народным знаменем» (с. 27).

Дворянская империя все-таки боялась дворян. Вот один пример. Директор Павловска (тогда еще села), ведавший его строительством, К. Кюхельбекер «просил начальствующих лиц при Ладожском канале о пропуске строевого леса для Павловского, по-мимо прочих лесных гонок, не в очередь. Извещенный об этом цесаревич <Павел> писал ему <К. Кюхельбекеру> из Вены, от 11-го декабря 1781 г.: „что касается

до ваших распоряжений, все, как мне кажется, очень хорошо, кроме пропуска не в очередь, по-мимо других <«по-мимо» здесь и выше означает – не в черед, минуя>, материалов, нам назначенных. Кроме того, что это, по-моему, несправедливо, – оно возбудит ропот в других“» (Павловск. Очерк истории и описание. 1777–1877. Составлено по поручению е. и. высочества государя великого князя Константина Николаевича. СПб., 1877, с. 22).

Кюстин не страшен. Он типичен как иностранец и как человек своего времени. Но вместе с тем его произведение любопытно.

Графиня Шуазель-Гуфье в своих «Воспоминаниях об императоре Александре I и императоре Наполеоне I» замечает после отступления Великой армии из России: «Наполеон только сам себя мог победить». И это очень верно: победить себя ошибкою своего похода на Россию! А вместе с тем что нового сообщает эта остроумная мысль?

«Вызвонить грех» – отлить колокол, чтобы он своим звоном вымолил у Бога прощение. Или – отлить колокол в чью-либо память. Таков был обычай.

Граф Аракчеев отлил колокол на память о своей убитой крестьянами любовнице – Настасье со следующей надписью: «В поминовение усопшей рабы Божией Анастасии. Г. А. <то есть «Граф Аракчеев»> в село Оскую 1828-го году. Весу в колоколе… пуд». Это колокол «на память». Но одновременно он отливает колокол по казненным им убийцам Настасьи: «За упокой усопших рабов Божиих крестьян Грузинской вотчины. Г. А. <т. е. «Граф Аракчеев»>. В церковь Грузинского кладбища, 1828 году. Весу в колоколе… пуд». Следовательно, одновременно: и «вызвонить» и «помянуть»!

В имении Аракчеева Грузине на Волхове было на роскошных памятниках огромное количество надписей, в которых Аракчеев изливался в своей любви к сослуживцам, к любовнице Анастасии, к родителям и прежде всего, конечно, к Александру I. Но когда Александр вызвал его перед смертью в Таганрог, Аракчеев не исполнил предсмертной воли императора – не поехал. Не поехал и к горячо любимой им умирающей матери по ее предсмертному вызову. А 14 декабря 1825 года отказался пойти за Николаем I на Сенатскую площадь.

В центре Грузина высился памятник Александру I, стоивший около 30 000 рублей на тогдашние деньги. К. К. Случевский

пишет о доме Аракчеева: «Большого внимания заслуживают хранящиеся здесь знаменитые часы; они, после кончины императора, были заказаны Аракчеевым в Париже за громадную, по тому времени, сумму – 29 000 рублей ассигнациями и должны были бить только один раз в сутки: в 10 час. 50 мин. – час кончины государя <Александра I>; в этот час медленно открывается медальон императора Александра I и раздаются грустные звуки „вечной памяти“. Уныло разносится звон часов по небольшой комнате, где все сохранилось в первоначальном виде, только нет более на кушетке самого Аракчеева: говорят, во время боя часов он всегда сидел на ней. Небольшая, но мастерски исполненная фигура его <Аракчеева> на часах полна неописуемой грусти» (К. К. Случевский. По северо-западу России. Т. I. СПб., 1897, с. 14–15).

Может существовать историческая память даже при исчезновении самих памятников. Так было, например, в Ярославле. «В Ярославле сохранился очень оригинальный, невидимый след этого рубленого города <деревянного города, построенного еще, возможно, при Ярославе Мудром>, о котором нет более и помину: это крестные ходы с иконою Владимирской Божией Матери, которые совершаются будто бы как раз по тому пути, где стояли некогда давно позабытые деревянные стены тогда еще <при основании Ярослава> небольшого Ярославля. В те дни, во дни Ярославовы, люди обходили в действительности существовавший город; теперь обходят они не существующий, но невидимо присущий призрак его» (К. К. Случевский. По северо-западу России. Т. I. СПб., 1897, с. 152). Было бы правильно отмечать места памятников культуры и истории, разрушенных в 30–50-е годы, да и в последующее время небольшими памятными знаками (досками, обелисками и пр.). Это было бы хорошей воспитательной мерой для наших часто слишком ретивых градостроителей, заслуживающих названия градоразрушителей.

Петр Иванович Трубецкой (род. в 1871 г.) был «большой барин». Большой барин – это не тот, кто играет в щедрость, в широту и пр. В настоящем большом барине должна быть доля наивности.

Когда открылась Московско-Ярославская железная дорога и ехать в свою Ахтырку стало удобнее не на лошадях, а через станцию Хотьково, П. И. Трубецкой сердился: «Как это, – бывало, еду когда хочу в Ахтырку, а теперь и в свое имение должен ехать непременно в два часа дня, когда прикажут, по какой-то чугунке».

Едучи в Москву, он говорил кондуктору: «Скажи, любезный,

машинисту, чтобы скорее ехал, а то я опоздаю в Сенат». Кондуктора знали старика, брали на чай и говорили: «Слушаюсь, ваше сиятельство».

Особенно неприятно Трубецкому было то, что не всегда можно было иметь отдельное купе I класса и со стариком заговаривали незнакомые пассажиры. «Где изволите служить, ваше превосходительство?» – «Вы спрашиваете, где я служу, – вы спросите, где мне служат! В правительствующем Сенате, милостивый государь» (Кн. Евгений Трубецкой. Из прошлого, с. 19).

С вышкой Пашкова дома (Румянцевского музея) в Москве связано интересное воспоминание. Н. Федоров писал: «Вспомним про забытый исторический факт преклонения в 1818 г. перед Кремлем с вышки Московского Румянцевского музея трех императоров – одного настоящего и двух будущих: прусского короля Фридриха Вильгельма III и двух его сыновей: будущего короля Фридриха Вильгельма IV и будущего короля и императора Вильгельма I, – в благодарность за спасение Россиею Пруссии и Европы от ига Наполеона» (Философия общего дела, т. II, 1913, с. 221). Много ли москвичей знает об этом факте – как-никак заставляющем гордиться русское сердце.

Байрон писал в поэме «Бронзовый век» (1822):

> Moscow!..
> . . . . . .
> Thou stand’st alone unrivall’d, till the fire
> To come in which all empires shall expire!

(Москва!.. Ты стоишь одна непревзойденная, пока не придет пламя, в котором исчезнут все державы!)

Случайно или не случайно М. Булгаков в «Мастере и Маргарите» поместил своих инфернальных героев на вышке того же Пашкова дома перед их отлетом из Москвы?

Вологодское масло изобрел и стал производить брат художника Верещагина, офицер Скобелева, принимавший участие в освободительной войне 1877–1878 годов. Что в его жизни самое важное (это независимо от того, что вологодское масло было в детстве моим любимым)?

Из рассказов С. С. Гейченко. У каждого государя были сундуки с памятными вещами. Был, например, сундук и у Николая I. Были там пеленки, туфельки младенцев, какие-то сувенирчики. При этом Николай I нумеровал вещи и давал

разъяснения в списке. По содержимому таких сундуков многое можно было бы установить. Если бы Николай I был влюблен в Наталию Николаевну Пушкину, то он сохранил бы какие-либо ее вещи (бантики, цветочки, заколки и т. п.), которые она могла обронить или подарить ему на балу. Но этого не было.

Все эти вещи были уничтожены в Зимнем по распоряжению Иосифа Абгаровича Орбели, сказавшего: «Довольно нюхать царские штаны».

Старый лакей Петергофского дворца показал С. С. Гейченко секретный шкаф, а там были материалы француза-спирита, устраивавшего спиритические сеансы, и была «машина для управления государством». В нее закладывались сведения, и она давала ответы. Например: может ли такой-то быть министром? Эту машину С. С. Гейченко восстановил, и она пользовалась громадным веселым успехом у экскурсантов. А потом кто-то сделал такую же машину, и она «гадала» на Александровском рынке в Петрограде (он помещался на проспекте Майорова – бывшем Вознесенском – угол Садовой). После этого машину и все к ней материалы увезли, и она бесследно пропала.

Александра Федоровна знала наизусть всего «Евгения Онегина» и настолько верила в реальность персонажей, что на спиритических сеансах пыталась вызвать дух Татьяны. Спиритические сеансы происходили у великого князя Петра Николаевича на мысе Ренелла (по южному берегу Финского залива), вдававшемся глубоко в море. У Собственной дачи в Петергофе, где жили Николай II и Александра Федоровна, был также мол. Николая и Александру доставляли в Ренеллу тайно.

Анекдот начала XIX века. Когда пастуха спросили, что бы он стал делать, став королем, он ответил: «Я бы стал пасти своих овец верхом». Теперь такого пастуха не сыщешь.

Старые грунтовые деревенские дороги под вечер жаркого дня пахли ванилью: запах пыли, большую долю которого составлял конский навоз. Теперь это забыто. Только, может быть, один я продолжаю помнить этот запах. Удивительно! А ведь это было таким обычным.

В старой России говорили про роды войск:

Умница в артиллерии,
щеголь в кавалерии,
пьяница во флоте,
а дурак в пехоте.

Несомненно, сочинено либо кавалеристом, либо артиллеристом.

Поразительно, как могут ошибаться умнейшие люди. Это надо всегда иметь в виду, ссылаясь на «авторитеты». Владимир Сергеевич Соловьев всерьез писал в книге «Национальный вопрос в России» (СПб., 1888): «Что касается до современных писателей, то при самой доброжелательной оценке все-таки остается несомненным, что Европа никогда не будет читать их произведений» (с. 140). А ведь сейчас в общемировом плане русская литература наиболее читаемая! Далее: «Нужно выставить возрастающих талантов и гениев более значительных, нежели Пушкин, Гоголь или Толстой. Но наши новые литературные поколения, которые имели, однако, время проявить свои силы, не могли произвести ни одного писателя, приблизительно равного старым мастерам. То же самое должно сказать о музыке и об исторической живописи: Глинка и Иванов не имели преемников одинаковой с ними величины. Трудно, кажется, отрицать тот очевидный факт, что литература и искусство в России идут по нисходящей линии…» (с. 140–141). То же Соловьев говорит и о русском «научном творчестве». Предрассудок своего времени? Но сколько еще имеем мы предрассудков, унаследованных от XIX века и выращенных нами самими и о нас самих!

В той же книге Вл. Соловьева есть и такое место (с. 139, примечание): «Только в архитектуре и скульптуре нельзя указать ничего значительного, созданного русскими. Древние наши соборы строились иностранными зодчими; иностранцу же принадлежит *единственный* (курсив мой. – *Д. Л.*) высокохудожественный памятник, украшающий новую столицу России (статуя Петра Великого)».

Мифические представления чрезвычайно распространены в отношении прошлого. Ричард III, как известно из источников, был строен и красив. Только спустя много лет после его смерти был пущен слух о том, что он был безобразен и уродлив. Это понадобилось, чтобы сделать более правдоподобным обвинение его в убийстве племянников. Шекспир изобразил его также отвратительным, и теперь каждый знает Ричарда III Шекспира и не знает, каким он был в действительности.

Сейчас против искаженных представлений о наружности человека есть превосходное средство – фотография. Для культуры фотография явилась самым значительным изобретением XIX века.

Но как быть с репутациями исторических деятелей? Шекспировские Брут и Гамлет – благородные люди. Однако Данте задолго до Шекспира отправил их в ад – туда же, где Иуда.

«Настоящее – это последний день прошлого». Для Древней Руси так оно и было: «переднее» (начало) и «заднее» (самое последнее во временном ряду). Мы *позади,* в «обозе» совершавшихся и совершающихся событий. Настоящее – результат, итог прошлого. Поэтому дурное прошлое никогда не может повести к хорошему настоящему, если… если мы не осознаем все ошибки прошлого. Устремляясь в будущее, мы сами станем прошлым. Никакие жертвы и разрушения во имя «прекрасного будущего» недействительны и аморальны.

Мода очень часто бежит за чем-то серьезным, поверхностно отражает какие-то глубинные явления. Сейчас мода на историю: на исторические романы, на мемуары, на Ключевского, Соловьева и Карамзина. Интерес к истории (пусть часто неглубокий) – явление в основе своей очень важное, значительное и нужное для нашего времени. Интерес к истории связан с необходимостью (духовной необходимостью) искать свои корни, ощущать в нашем шатком мире стабильность, прочность, свое место и предназначение. И это же учит уважению к другим народам, другим культурам и одновременно самоуважению. История приучает ценить современность как результат тысячелетних усилий, подвигов, а иногда и мученичества наших предков. История показывает, сколько ошибок было совершено в прошлом «ради счастья подданных». Она воспитывает чувство ответственности перед будущим.

Ощущать себя в истории крайне важно. Этому ощущению в истории помогают памятники культуры и истории. Особую роль играет в этом ощущении исторический облик наших городов, исторический ландшафт, рядовые застройки целых районов.

Ощущению себя в истории помогает литература, искусство, традиции, обычаи.

Недаром дети так тянутся к старым обычаям, любят рассказы о старине. Это здоровый и крайне важный инстинкт.

Ощущать себя наследником прошлого – значит осознавать свою ответственность перед будущим.

Иду с кладбища в Комарове – дорога «не скажу куда» в сосновом лесу. Двое спилили сосну. Неумело пилят дальше – на баланы (по-соловецки – длинные бревна), чтобы можно было

увезти сосну домой для топки.

Иду дальше. Дачник везет на финских саночках уже отпиленный балан (той сосны). Навстречу лыжники и весело приветствуют пыхтящего саночника:

«Откуда дровишки?»

«Дачник» (полуответственный работник) мрачно отвечает (не останавливаясь, не задумываясь – буквально «с ходу»):

«Из лесу, вестимо».

В этой сцене все: и сила русской поэзии (она въелась в сознание, служит *языком*), и пошлость, тяжесть, грусть нашей жизни. Ведь сцена повторяет Некрасова карикатурно. Там, у Некрасова, – мальчик, живой, нравственный, занятый нравственным делом. А здесь – браконьер, «нарушитель», полуответственный работник, дачник, непривычный к труду, занимающийся физическим трудом ради воровства.

На мальчике-то со временем Россия стоять будет. Он отцу помощник, а потом на могилу отца ходить будет, крестьянином будет, Европу накормит. Или солдатом станет.

А этот? Будущего нет. Настоящее – воровство, «дачный уют». Позади кладбища нет – он на «родные могилки» небось не ходит. Печку топит, и то – плохую, сложенную руками халтурщиков.

Красота древнерусской жизни во многом, и прежде всего в самой красоте, в развитии эстетического начала. Человеческий мозг не может не работать. Если он меньше, чем в других странах, занят естественными науками, зато весь быт там, где может, организуется эстетически. Об этом свидетельствуют не только искусства, но и бытовые предметы, находимые археологами. Наши обывательские представления о «некультурности» древнерусской жизни неверны. Прислушайтесь к традиционному фольклору, присмотритесь к сложной обрядности, прочтите свадебные тексты песен, учтите всю истовую вежливость стародавнего поведения. Фильм «Андрей Рублев» основан на обывательских представлениях. Только нищета и бесправие, развившиеся в XV и XVII веках, унизили народ. Крепостное право и деспотизм – вот виновники «некрасиво обнищалого народа».

И все-таки там, где могла, – красота продолжала существовать и в XVI, и в XVII веках. Русский Север, не знавший крепостного права, доказывает мою мысль.

А основная мысль моя в следующем – облегчает творчество устоявшийся уклад, именно он создает «стиль эпохи» – то, что обеспечивает красоту жизни, если можно так выразиться. Все-таки я рискую быть непонятым. Объясню подробнее в какой-либо

будущей работе.

Чаадаева стыдно прятать. Те, кто прячут его, очевидно, втайне верят, что в своем отрицании значения России Чаадаев, «может быть, и прав». Неужели не понять, что Чаадаев писал с болью и эту боль за Россию сознательно растравливал в себе, ища возражений. Ему ответила русская историческая наука.

Самое значительное время то, что сейчас (а не будущее).

О природе для нас и о нас для природы

Идея прогресса сопутствует истории человечества в ее обозримом участке (не таком большом). С конца XVIII века она имеет определяющее значение в большинстве исторических учений. В своих примитивных формах она рассматривает прошлое и настоящее как жертву, приносимую во имя будущего. Но получилось так, что в реальной жизни она начала жертвовать будущим во имя короткого настоящего. Современная промышленность начинает «эксплуатировать будущее»: уничтожает природу, запасы полезных ископаемых, все ресурсы, которые нужны не только нам, но которые будут нужны будущим поколениям. Теория – «во имя будущих поколений», практика – «берем от природы и то, что будет нужно будущим поколениям». Так обстояло дело уже в XIX веке и по всему миру. Вот что пишет В. И. Вернадский в одном письме об американской технике: «Та новая техника – американская техника, которая так много дала человечеству, имеет и свою тяжелую сторону. Здесь мы ее видели вовсю. Красивая страна обезображена. Леса выжжены, часть – на десятки верст – страны превращена в пустыню: растительность отравлена и выжжена, и все для достижения одной цели – быстрой добычи никеля» (Страницы автобиографии В. И. Вернадского. М., 1981, с. 258 и 259).

Ф. Энгельс писал: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит» (Ф. Энгельс. Диалектика природы. – К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 495).

У нас слишком мало включали историю садовых стилей в историю культуры. Сады бывают не только регулярные и пейзажные: это очень примитивное деление. В садовом искусстве отражается смена всех великих стилей. Мне хотелось это показать в своей книге с достаточной степенью ясности.

Не только «озеленение» городов (скверы, бульвары), но и строительство больших прогулочных парков, в которых можно было бы гулять и наслаждаться переменами целый день, отвлекаться от повседневных забот, – задача будущих паркостроителей. Города растут, а площади, занятые в них прогулочными парками, катастрофически уменьшаются. Пути прогулок прерываются новым строительством. Большие цепи прогулочных парков превращаются в цепи скверов. Примеры тому – Ленинград и Москва.

Надо брать под охрану не только архитектурные памятники,

но и целые пейзажи, так, как это делается, например, в Шотландии, где сохраняется весь «вид» до горизонта. Выдающиеся пейзажи должны быть учтены и сохраняемы, как памятники культуры (человеческой и природной). Одним из первых должна быть взята на учет вся зона города Плёс на Волге. Центром пейзажной зоны следовало бы в таком случае избрать либо дом, в котором жил И. Левитан, либо березовую рощу на горе.

Другой охраняемый пейзаж – это от земляного вала Новгорода к югу: Красное поле по правому берегу Волхова и от Новгорода до Аркаж, Витославиц и Юрьева монастыря по левому берегу Волхова.

Бородинское поле должно быть также охраняемым пейзажем, Куликово поле, заливные луга по Десне Новгорода-Северского, пейзаж Лесковиц в Чернигове и многое другое. Пейзажи России должны быть учтены.

Особую ценность представляют собой как историко-архитектурные заповедники Соловецкий архипелаг, Валаам, Ферапонтово (многих пейзажей России я просто не знаю). Соловецкий архипелаг интересен тем, что в нем каждый остров имеет свой климат и свой тип растительности, а кроме того – это единственный в России полностью сохранявшийся до XX века, а частично сохранившийся до сих пор музей древнерусской техники (каналы, канализация, водопровод, поварня, хлебопекарня, кузня, портомойня, сушило и пр., и пр. – вся эта техника, а всей и не перечислишь, работала безотказно еще тогда, когда на Соловках был Соловецкий лагерь особого назначения – СЛОН).

Кий – остров целиком искусственный, ибо богомольцы в мешках привозили туда с собой лучшую землю, и на этой привезенной земле выросли целые леса. Земля завозилась богомольцами и на Валаам.

Самые красивые деревья – старые маслины. Поразительные, двухтысячелетние маслины, полные здоровья, я видел в 1964 году в Приморской части Черногории около Будвы и Святого Стефана. В книге Осии в Библии: «и будет красотою, как красота маслины», то есть выше нет. Маслина сама себя лечит. Она лечит образующиеся в ее стволе дупла, и стволы эти похожи на огромные косточки их плодов.

Святой Франциск Ассизский: «Пожалуйста, братцы, будьте мудры, как братец наш одуванчик и сестрица маргаритка. Они никогда не пекутся о завтрашнем дне, а у них короны как у

королей и императоров, и у самого Карла Великого во всей его славе». Особенно трогает служба для птиц, которую совершал Франциск, «птичья месса».

Природу следует регулировать методами самой природы (учась у нее). Если задаться целью регулировать литературу, – это надо делать методами самой литературы (учась у нее, а не стоя над ней).

Испить воды из реки на земле врагов, напоить коней из вражеской реки было в Древней Руси знаком победы, символом завоевания: так в «Слове о полку Игореве», во втором послании Грозного Курбскому.

А теперь не так-то просто найти реку, из которой можно было напиться воды. Вот она, символическая непобедимость!

На московском интернациональном Форуме за безъядерное человечество в секции, где председательствовали С. П. Залыгин и я, выступил японец Нобуюки Накамото, который рассказал о пьесе, в которой действуют рыбы, самые безмолвные существа на свете («нем как рыба»), погибающие от радиации в океане. Как там разворачивается сюжет, он не говорил. Но я как председатель подхватил эту тему. Я говорил: человек единственное живое существо в мире, которое может говорить. Весь остальной живой мир лишен возможности выразить свои нужды, требования, свое отношение к происходящему. Весь живой мир в этом смысле беззащитен. Человек должен защищать словом не только самого себя, но говорить за все живое вокруг него. А затем перешел к той мысли, что должен быть составлен кодекс прав животных. Ибо живое обладает своими правами. Человек должен защищать права животных, независимо от того, нужны они ему в его хозяйстве или нет. Дельфины, киты, слоны, собаки – мыслящие, но бессловесные существа. За них человек обязан говорить, писать, даже судиться. Потребительское отношение к живому в мире безнравственно.

Каким-то образом эти мои мысли проникли в печать. И вот письмо, полученное мною от Евгения Федоровича Ковтуна. Оказывается, в этих своих беспокойствах я вовсе не оригинален.

«Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Мне так близко то, что Вы сказали на Московском форуме: „Слово дано человеку, чтобы он был заступником и за животных, потому что животные имеют свои права. Имеют права и растения. Имеет свои права все живое. Я предложил, чтобы юристы подумали о создании кодекса прав животных“ («Советская

Россия», 19.02.87).

Помните огромное Лахтинское болото, на которое с треском и грохотом надвигается город. Это было заповедное место, где тысячные стаи перелетных птиц кормились и отдыхали при своем движении на север и потом обратно на юг. Таких крупных перевалочных мест не много во всей Европе. Все уничтожили, птиц разогнали, и не было у них защитников. Вот здесь и нужен кодекс защиты, нужны юристы-естественники, чтобы сохранить то, что еще не успели уничтожить. Неужели непонятно, что, защищая животных, мы защищаем себя – и физически и духовно.

Велимир Хлебников это понимал еще в 1921 году: „Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое «нет». Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи. Построили в сердце звериные города. Казалось, человек захлебнется в углероде себя. Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида“ („Утес из будущего“).

Филонов в своих антиурбанистических картинах показал эти „звериные города“.

Все это прямо относится к фонду духовной культуры.

Необходимо, чтобы Ваша идея о кодексе защиты животных и растений стала реальностью.

22.02.87

Е. Ковтун»

Природа – поразительной одаренности художник. Стоит оставить ее без человеческого вмешательства на десяток лет, и она создает красивый пейзаж. Посаженные в «коробочном» городе деревья быстро его облагораживают.

Спросим себя – в каком же стиле работает этот «художник»? Классицизм? – нет! Барокко? – нет! Романтизм – это уже ближе. Ландшафтные романтические парки ближе всех к эстетическим устремлениям природы, а природа ближе всего к ландшафтным романтическим паркам.

В романтических парках естественнее всего может быть выражена природа разных стран, разных ландшафтных зон природы.

В поэзии для «открытия» природы больше всего сделал

романтизм. Романтическая поэзия отчетливее всех других насыщена описаниями природы. Во всем этом многое говорит в пользу романтизма и в пользу его роли в истории литературы и живописи.

Для меня загадка в природе – это эстетическая согласованность цветов: например, цвет цветка и его листвы, цвета полевых цветов, растущих на одной поляне, цвет осенних листьев. На кленовом дереве – всегда разный, но согласованный. Если цвет – это колебания, ничего общего не имеющие с тем, что видит человеческий глаз, то как рассчитываются цвета цветов на их восприятие человеком?

Там, где природа предоставлена самой себе, краски ее всегда согласованы по оттенкам.

Природа – великий пейзажист.

О языке устном и письменном, старом и новом

Русский язык

Самая большая ценность народа – его язык, – язык, на котором он пишет, говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей многозначности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком.

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит.

Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение, и по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека – гораздо более точный показатель его человеческих качеств, его культуры.

Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык отдельного человека как показатель его личных качеств – качеств человека, который пользуется языком народа.

Я хочу писать не о русском языке вообще, а о том, как этим языком пользуется тот или иной человек.

О русском языке как о языке народа писалось много. Это один из совершеннейших языков мира, язык, развивавшийся в течение более тысячелетия, давший в XIX веке лучшую в мире литературу и поэзию. Тургенев говорил о русском языке: «… нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

А ведь бывает и так, что человек не говорит, а «плюется словами». Для каждого расхожего понятия у него не обычные слова, а жаргонные выражения. Когда такой человек с его словами-плевками говорит, он выявляет свою циническую сущность.

Русский язык с самого начала оказался в счастливом положении, – с момента своего существования вместе в недрах единого восточнославянского языка, языка Древней Руси.

1. Древнерусская народность, из которой выделились в дальнейшем русские, украинцы и белорусы, населяла огромные пространства с различными природными условиями, различным хозяйством, различным культурным наследием и различными степенями социальной продвинутости. А так как общение даже в

эти древние века было очень интенсивным, то уже в силу этого разнообразия жизненных условий язык был богат – лексикой в первую очередь.

2. Уже древнерусский язык (язык Древней Руси) приобщился к богатству других языков – в первую очередь литературного староболгарского, затем греческого (через староболгарский и в непосредственных сношениях), скандинавских, тюркских, финно-угорских, западнославянских и пр. Он не только обогатился лексически и грамматически, он стал гибким и восприимчивым как таковой.

3. Благодаря тому что литературный язык создался из соединения староболгарского с народным разговорным, деловым, юридическим, «литературным» языком фольклора (язык фольклора тоже не просто разговорный), в нем создалось множество синонимов с их оттенками значения и эмоциональной выразительности.

4. В языке сказались «внутренние силы» народа – его склонность к эмоциональности, разнообразие в нем характеров и типов отношения к миру. Если верно, что в языке народа сказывается его национальный характер (а это безусловно верно), то национальный характер русского народа чрезвычайно внутренне разнообразен, богат, противоречив. И все это должно было отразиться в языке.

5. Уже из предыдущего ясно, что язык не развивается один, но он обладает и языковой памятью. Ему способствует существование тысячелетней литературы, письменности. А здесь такое множество жанров, типов литературного языка, разнообразие литературного опыта: летописи (отнюдь не единые по своему характеру), «Слово о полку Игореве», «Моление Даниила Заточника», проповеди Кирилла Туровского, «Киево-Печерский патерик» с его прелестью «простоты и выдумки», а потом – сочинения Ивана Грозного, разнообразные произведения о Смуте, первые записи фольклора и… Симеон Полоцкий, а на противоположном конце от Симеона протопоп Аввакум. В XVIII веке Ломоносов, Державин, Фонвизин, далее – Крылов, Карамзин, Жуковский и… Пушкин. Я не буду перечислять всех писателей XIX и начала XX века, обращу внимание только на таких виртуозов языка, как Лесков и Бунин. Все они необычайно различные. Точно они пишут на разных языках. Но больше всего развивает язык поэзия. От этого так значительна проза поэтов.

Какая важная задача – составлять словари языка русских писателей от древнейшей поры!

* * *

В «Повести временных лет» 3729 слов; из них 2000 слов употреблены по одному разу. Следовательно, сколько слов пропало. Если подумать о киевской литературе, то можно думать, что литературных произведений пропало от того времени еще больше. Сохранились только те, что были нужны для многократного употребления (в церковном или светском обиходе).

Чем был церковнославянский язык в России? Это не был всеобщий для нашей письменности литературный язык. Язык очень многих литературных произведений просто далек от церковнославянского: язык летописей, изумительный язык «Русской Правды», «Слова о полку Игореве», «Моления Даниила Заточника», не говоря уже о языке Аввакума. Это язык, которому доверяли самые высокие мысли, на котором молились, на котором писали торжественные слова. Он все время был «рядом» с русским народом, обогащал его духовно.

Потом молитвы заменила поэзия. Памятуя молитвенное прошлое нашей поэзии, следует хранить ее язык и ее «высокий настрой».

О хорошем языке научной работы

1. Требования к языку научной работы резко отличаются от требований к языку художественной литературы.

2. Метафоры и разные образы в языке научной работы допустимы только в случаях необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь мысли. В научной работе образность – только педагогический прием привлечения внимания читателя к основной мысли работы.

3. Хороший язык научной работы не замечается читателем. Читатель должен замечать только мысль, но не язык, каким мысль выражена.

4. Главное достоинство научного языка – ясность.

5. Другое достоинство научного языка – легкость, краткость, свобода переходов от предложения к предложению, простота.

6. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть короткие, переход от одной фразы к другой – логическим и естественным, «незамечаемым».

7. Каждую написанную фразу следует проверять на слух; надо прочитывать написанное вслух для себя.

8. Следует поменьше употреблять местоимения, заставляющие думать – к чему они относятся, что они «заменили».

9. Не следует бояться повторений, механически от них избавляться. То или иное понятие должно называться одним словом (слово в научном языке всегда термин). Избегайте только тех повторений, которые приходят от бедности языка.

10. Избегайте слов-паразитов, слов мусорных, ничего не добавляющих к мысли. Однако важная мысль должна быть выражена не «походя», а с некоторой остановкой на ней. Важная мысль достойна того, чтобы на ней автор и читатель взаимно помедлили. Она должна варьироваться под пером автора.

11. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать «напротив» лучше, чем «наоборот», «различие» лучше, чем «разница». Не употребляйте слова «впечатляющий». Вообще будьте осторожны со словами, которые сами лезут под перо, – словами-«новоделами».

* * *

Изучение иностранных языков обостряет чувство языка – и своего в первую очередь. Это воспитательное средство. Особенно важно изучение грамматики и идиом иностранного языка. Русская литература сама воспиталась на изучении церковнославянского и латинского, а в давние времена – греческого.

Главный недостаток современной литературы – ущербное чувство языка.

Мне написал письмо некто, не оставивший на письме своей подписи и адреса. Боюсь, что мнение его имеет распространение, и поэтому, хотя я и не отвечаю на письма без подписей, на это я отвечу печатно.

Смысл письма сводится к следующему: надо, мол, упразднить все нации, все национальные различия в культуре, писать и говорить только по-русски, а тогда, мол, и русский язык перестанет быть русским, а станет «советским». Все проблемы разрешатся, и единая культура на чудном русском языке будет развиваться ускоренным порядком. А в конце письма утверждение: «Все равно к этому дело идет!»

Нет, к этому дело не должно идти. Этому следует оказывать противодействие. Ни один язык не должен забываться. Многообразие языков в Советском Союзе – это огромное богатство, – богатство, которое необходимо для развития литератур, культур, науки – чего хотите, что только соприкасается со словом.

Своеобразие и разнообразие языков – это огромное богатство.

Любовь к своему национальному языку – необходимый двигатель словесного творчества. Безнациональный язык (в который неизбежно превратится и русский язык, если у него не будет дружеского соседства с другими языками) – все равно что цветные фломастеры для живописи. Говорить на нем придется с пересохшим горлом; язык во рту будет шуршать и ерзать, утратит гибкость.

Спросите: «почему?». Да потому, что для языка нужна его история, нужно хоть чуточку понимать историю слов и выражений, знать идиоматические выражения, знать поговорки и пословицы. Должен быть фон фольклора и диалектов, фон литературы и поэзии. Язык, отторгнутый от истории народа, станет песком во рту, негодным даже для создания новой научной и технической терминологии, ибо и для последней необходима образность, традиция…

Язык не может не быть национальным. Конечно, должен быть один язык межнационального общения. В Средние века таким был латинский, для восточных и южных славян – церковнославянский, арабский и персидский для народов Ближнего и Среднего Востока.

Но дело не только в общении, нужен единый язык для научной терминологии, технической, специальной. Русский язык для этого хорошо приспособлен. Но изучение его не должно вести к ущербу в знаниях своего языка для различных нерусских наций и народностей.

Двуязычие никогда не мешало своему языку. Пушкин был двуязычным. В лицее у него было прозвище Пушкин-француз. Думаю, что превосходное чувство русского языка, точность и правильность языка Пушкина неразрывно связаны с его двуязычием. Он видел словесный мир «в цвете».

Факт, однако, в том, что отдельные национальные языки страдают в нашем школьном образовании. Надо, мне кажется, больше втягивать семью в изучение своего языка. Беседы педагогов с родителями, обучение родителей языковой грамотности чрезвычайно важно. Преподаватели же русского языка должны знать и тот язык, на котором говорят учащиеся: сравнивать, пропагандировать знание своего языка, стимулировать любовь к изучению всех языков, а своего в особенности.

Выразительность русскому языку придают обилие суффиксов и префиксов, предлогов, окончаний и пр. и легкость, с которой с их помощью образуются слова, например: догнать, выгнать, согнать, пригнать, угнать, нагнать, отогнать, изгнать, погнать,

разогнать, подогнать и просто гнать.

Но это же явление имеет и обратную сторону. Кажется, что предлоги смягчают предложение или вопрос: «не *под*скажете ли вы мне, как пройти…», «*по*председательствуйте за меня…», «пожалуйста, *по*присутствуйте на этом заседании…», «я *при*болел».

Пушкин в одном из писем Вяземскому писал: «Ты достаточно умен, чтобы писать просто» (цитирую по памяти).

Старайтесь не говорить вычурно. Не говорите «объя́снить», «волнительно». Не надо употреблять милиционерских терминов или выражений, пришедших из детективных романов: «получать прописку» – в смысле «поселить» какое-либо растение, рыбу, животное в новом месте («сиг получил прописку в озере N»), «выходить на кого-либо» в значении «связаться с кем-либо» или «получить доступ к кому-либо». И не употребляйте штампованных выражений (если то или иное слово часто употребляется в газетах – бойтесь его): «высвечивать», «высвечиваться», «эмоциональный настрой», «контакты» вместо «связи» и некоторые др.

И еще надо думать о конкретном значении тех выражений, которые употребляешь. Вот выписки из газет: «…находят простор злые языки», «однако есть отдельные злостные шептуны и прочие антиподы, проявляющие свое истинное лицо именно в такие переломные моменты».

Парадоксы нашей издательской практики. Авторы обычно ругают своих редакторов (за редкими исключениями), редакторы в равной мере бранят авторов (тоже за редкими исключениями). Недоумевают: чему может «научить» опытного автора редактор, не издавший ни одного произведения и часто не написавший ни одной строки?

А у меня обычно отношения с редакторами издательства «Наука» хорошие. Во-первых, я стремлюсь получить себе редактора, с которым я уже работал, которого я знаю. Во-вторых, я сам говорю своему редактору, что следует проверить в моей рукописи. Вообще говоря, я не всегда внимателен… Но предупреждаю: у меня есть свои принципы в стилистическом оформлении мыслей, есть своя расстановка слов, не люблю длинных фраз и, когда речь идет об одном и том же, стремлюсь употреблять одно и то же слово. «Разнообразить» мои мысли каждый раз новыми словами не надо. Мы разделяем наши функции, уславливаемся о принципах, и все идет хорошо. Но бывает, что в издательстве, где меня не знают и где за мой текст

берется молодой редактор, которому хочется «показать свою работу», как можно больше направить, у нас возникает взаимное раздражение, и тогда я хочу (внутренне) обратиться к своему редактору со словами, с которыми как-то обратился мой учитель акад. В. М. Жирмунский: «Я пишу уже полвека, а у вас какой опыт авторской работы?»

Я как-то спросил акад. А. С. Орлова, как бы он определил сущность некоторых знаменитостей. Он был очень меток и зол на язык. Вот что мне запомнилось:

Блок – тоскун.

Маяковский – оратор.

Пастернак – гурман.

Екатерина II – мадам Помпадур, добившаяся трона.

Пушкин – солнышко.

Никитин – песнь ямщика.

А других я не называю. Тут шли такие определения: «ярмарочный зазывала», «запевала», «прихлебала». Иных прозвищ, данных им моментально, я и не называю: сразу можно узнать – кому они даны.

Длинные слова в древнерусской литературе XV–XVI веков иногда необыкновенно выразительны именно трудностью своего прочтения и произношения: «мертвотрупогладательные псы» (псы, которые искали мертвечину), «богонадежное слово», «мудродруголюбные советы», «драгоценномудроплетенны», «светосиятельный», «грехоозябший», «люботоржественный», «всездравственный» и «всеизряднейший»; выражения: «многотщательный попечитель», «ненасыщаемая очима сладость», «всерадостное веселие», «предивный сиротского стадовождения сирокормитель»…

У Гоголя поразительно созданные сложные слова можно сравнить со сложными словами периода «плетения словес»: «умно-худощавое слово» («Мертвые души»), «обоюдно-слиянный поцелуй» («Тарас Бульба»), «глухо-ответная земля» («Тарас Бульба»), «длинношейный гусь» («Сорочинская ярмарка»), «короткошейная бутылка» («Коляска»), «древнеразломанные горы» («Страшная месть»), «зеленолиственные чащи» («Мертвые души»), «трепетнолистные купола» («Мертвые души»), «дюженогие запорожцы» («Тарас Бульба»). Многие из этих сложных слов отмечены в замечательной книге о Гоголе Андрея Белого.

«Да» и «нет» в нашем языке… Но как много синонимов мы можем подобрать к «да» («конечно», «безусловно» и т. д. и т. п.) и как мало к «нет». Соглашаемся всевозможными способами, а отвергаем немногими.

Различные записанные мной «удачные» ошибки: «Безобразие, которому цены нет». «Облицован доверием». «Задорный (вм. «здоровый») интерес». «Желаю вам плодородной работы» (из приветствия участникам съезда). «Прокрустова рожа».

Другая оговорка в речи официального лица: вместо «мы можем приступить к прениям» – «мы можем приступить к премиям».

Про одну даму сказали: «Она совершенно разочаровательна!»

Удачные выражения: «Его нос – подарок для карикатуристов». «Мечта отрубленной головы» (польская поговорка о совершенно несбыточной мечте), «Сам на себя облизывается» (о Лебедеве в «Идиоте» Достоевского). «Красота входит не спрашивая».

Еще одна смешная оговорка: «…переполнила каплю воды». Непонимание значения слова: «огрехи» вместо «грехи», «погрешности».

Интересные выражения: «музееспособные картины», «дары и удары судьбы», «неблагополучие благополучия» (с религиозной точки зрения), «мучительная обстоятельность слога», «молитвенно верить».

Вл. Набоков о действии хорошего стиля: «не столько грамматически, сколько ароматически».

Не люблю глупо претенциозного языка многих искусствоведов, изощряющихся в разных «красивостях». Вспоминается – «О друг мой, Аркадий Николаич! – воскликнул Базаров, – об одном прошу тебя: не говори красиво». И тем не менее у очень талантливых искусствоведов есть и в этом искусственном языке свои удачи. В каких-то работах Е. Ф. Ковтуна я читал о ксилографии Фаворского: «черное у него помнит, что было куском», «не плоскостное изображение, а уплощение», «штихель вспахивает», «мыслить в материале». Вспомнил: это у меня запись из превосходной статьи Е. Ф. Ковтуна «Плоскость и пространство» (журнал «Творчество», 1964).

Терминология охотничья, военная, морская – удивительно меткая. См. «Записки мелкотравчатого» Дрианского и рукопись охотничьего словаря, которую передали наследники в Институт русского языка АН СССР.

В кавалерии не оркестр, а «хор трубачей».
Острые шпоры назывались «строгие шпоры».

Слово в его одиночестве сильнее слова, перегруженного дополнительными определениями. «Я вас люблю» – сильнее, чем если сказать – «я вас очень люблю». Можно сказать при встрече «привет!». И это будет серьезно. Но произнести «горячий привет» – почти насмешка.

Л. Я. Гинзбург приводит такой пример из стихов Н. А. Заболоцкого:

На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках.

Эти стихи вызывающи по своей энергии. Но, замечает Л. Я. Гинзбург, «если бы, скажем, в *серых штанах,* уже ничего не было бы удивительного; энергия слова здесь именно в отсутствии эпитета» (Воспоминания о Н. Заболоцком. М., 1984, с. 149).

По образцу слов «аспиранты», «докторанты», «лаборанты», «адъютанты» можно создать слово «чертанты» (служители и ученики черта). Наверное, у чертантов есть и аксельбанты.

Характерные ошибки в современном русском языке: *за*жарил яичницу, *по*жарил картошку.

Ребенок о царапающемся котенке: «Я его люблю в другой комнате».

Подходит мальчик к «чужой тете», несущей яблоки: «Я люблю яблочки». Тетя отвечает: «Придешь домой – мама тебе даст». Мальчик: «Нет, я сейчас люблю яблочко».

Я сижу в саду без рубашки. Подходит Бобик: «Ты почему голый?» Объясняю: жарко. Он тянет свою рубашечку и говорит: «А я под рубашкой голенький».

В языке петербургской интеллигенции было очень много иностранных слов прежде всего потому, что были некоторые явления быта и просто блюда, заимствованные у немцев и англичан, но прежде всего у немцев: «фрыштыкать» (завтракать),

«арме ритер» (сладкая яичница с вымоченной в молоке булкой), «шарлотка» (обычно с яблоками), «форшмак» (особая запеканка из картофеля с селедкой) и пр.

Довольно много было полужаргонных словечек полусветской молодежи: «жолимордочка» (хорошенькая девица), «бакфиш» (девочка, становящаяся барышней), «шармёр» (светский очарователь). Эти и другие слова воспринимались и произносились как русские. Однако было принято пересыпать русскую речь французскими выражениями. Это не совсем то, что подразумевалось под смесью французского с нижегородским. Смесь та была стародворянской, принятой среди людей, хорошо говорящих по-французски, но к русскому языку привыкших от нянюшек и дворовых мальчишек, с которыми эти баре играли в детстве. «Смесь» петербургская была другой, в других пропорциях и по другим причинам (вернее, с другим назначением). Было много понятий, которые плохо передавались по-русски (даже на хорошем, интеллигентском русском языке), и эти понятия привычнее было определять французскими словами, произнесенными именно как французские слова: «faire des conquêtes» (одерживать любовные победы), «fausse pruderie» (ложная стыдливость), «prude» (недотрога, «чистоплюйка»), «une soirée dansante» (в вульгарном варианте по-русски – «танцулька», или «une sauterie»), «talents de société» (талант веселить, развлекать общество), «beaux esprits» (острословие), «á la longue» (со временем), «distingués» (изысканные), «le mot pour rire» (смешные замечания на заседаниях, делать которые вменялось в обязанность председательствующему), «grand seigneur» (большой барин). Или немецкие: «Abendbrod» (ужин).

Для петербургского языка. Обгонять на своих санях другие на Невском называлось «обжигать».

В дореволюционное время слово «фронт» означало только строй солдат. Сообщения же с фронта военных действий назывались «сообщениями с театра военных действий».

Не было слова «продукты» в современном смысле этого слова, а говорили «провизия». На рынке (на юге – на базаре) покупали провизию. Для армии закупали провиант.

Говорили – «скурильность»: грубое шутовство, пошлость, жалкое паясничанье.

«Укромное местечко», снабженное водопроводом, – английское изобретение, ставшее прививаться в Петербурге в начале 50-х годов XIX века. Отсюда его эвфемистические

названия из английского языка – «ватерклозет», «клозет», «ватер» и даже «Биконсфильд» или «англичанин». Последние два быстро исчезли, а первые три слова были основными для обозначения «кабинета уединения» в дни моей молодости. Теперь говорят иначе: «туалет» или «уборная».

Поразительна способность старой аристократии во всех случаях выразиться «прилично», никто, даже покойного, не обижал своей прямотой. Графиня Шуазель-Гуфье в своих «Воспоминаниях об императоре Александре I и императоре Наполеоне I» в одном месте пишет: «В Петергофе я осмотрела любимый дом Петра Великого, его спальню, шлафрок, ночной колпак и башмаки Екатерины, доказавшие мне по своему размеру, что она хорошо и прочно *стояла на своем месте*» (несомненно, в двух значениях).

Напрасно существует мнение, что сокращения по буквам или по слогам появились только после революции. Сокращения существовали в вензелях в XIX и начале XX века. Больше того, существовали и шутливые их истолкования.

ППКК – «Петровский Полтавский Кадетский Корпус». Полтавские кадеты читали его слева направо и справа налево: «Петр Позволил Кадетам Курить», и в обратном направлении – «Кадеты Курили Петра Похвалили».

Наталья Евгеньевна Маясова (искусствовед) сказала про Георгия Карловича Вагнера на обсуждении его работ 14 июня 1983 года, выставлявшихся на премию: «*Он сумел улыбнуться всем»,* то есть всем сделал, написал что-то нужное, что-то для их работы необходимое – искусствоведам, источниковедам, литературоведам, археологам и пр. Прекрасно сказано, особенно уместно в отношении именно Г. К. Вагнера – милого, доброжелательного, доброго, справедливого (мост между личностью исследователя и его трудами – улыбка).

Те, кто выступает против сложной научной терминологии в литературоведении, сами часто пишут так: «Конкретное претворение намеченных мероприятий в практическую деятельность позволит сосредоточить работу правления Союза писателей на ключевых направлениях литературной работы…» и т. д., и т. д. Нет уж!

В разбойничьей шайке Робин Гуда самый сильный и высокий имел прозвище Маленький Джон (кажется, так), и это прозвище

«по противоположности» считается типичным для английского юмора. Но вот на Волге наш громадный теплоход «Владимир Ильич» сел на мель, и вытягивать нас был прислан сильнейший буксир – «Череповецкая пионерия». Я думаю, это название дано не без юмора. Впрочем, юмористические названия у нас редкость. Мы очень «серьезные» люди. Естественное юмористическое название, которое я еще знаю, – это столовая на Кронверкском проспекте в Ленинграде: «Демьянова уха». Если вспомнить, что Демьян угощал так, что его гость бежал от него без памяти, «схватив кушак и шапку», то юмор этого названия покажется даже смелым для коммерческого предприятия.

Юмор очень национален. Стоит только вспомнить различные анекдоты, сочиняемые обычно про себя же в народной среде. Чем грубее юмор, тем он меньше считается с национальными границами. Как кажется, самый тонкий, но и самый «трудный» юмор – английский. Выразитель этого юмора – английский журнал «Punch». Он стал своего рода «представителем» английской нации. Но понятен почти что только самим англичанам.

О карьеристе в Болгарии говорят: «службагон».

Вот о чем не пишут историки и что производило в свое время очень большое впечатление: это «атмосфера обращений» друг к другу.

1. Когда в 1918 году всюду стали говорить друг другу вместо «господин», «госпожа» (на юге – «мадам») – «товарищ». Это производило такое впечатление:

А. Амикошонство. Человек, обращавшийся к незнакомому «товарищ», казался набивающимся в друзья, в собутыльники. Часто отвечали: «Гусь свинье не товарищ!» И это было не классовое, а исходило как бы из самосохранения. Профессор, говоривший студентам «товарищи», казался ищущим популярности и даже карьеристом, ибо ректора университета избирали студенты. Таким избранным ректором и в самом деле был будущий академик Н. С. Державин. Поэтому серьезные ученые (Жирмунский даже демонстративно) продолжали обращаться к студентам «коллеги» (Жирмунский плохо произносил «л»).

Б. Поражало в этом обращении и то, что женщины и мужчины не различались. К женщинам тоже обращались «товарищ» (теперь этого нет, и все женщины стали «девушками», вернее, остались без способа обращения).

2. Постепенно к концу 20-х годов к обращению «товарищ» привыкли. И это стало даже приятно – все люди были если не

товарищами в подлинном смысле этого слова, то, во всяком случае, равными. Со словом «товарищ» можно было обратиться и к школьнику, и к старухе. Но вот начались сталинские чистки (кстати, чистки «классово чуждых» были и раньше, и массовые расстрелы заложников, «подозреваемых» и пр. – тоже, но в «сталинских» была видимость преодоления каких-то государственных препятствий: брали любых, любых категорий – и «хорошо одетых», и бедно одетых, и вот в какую-то неделю не помню какого года жители стали внезапно замечать, что милиционеры, кондукторы, почтовые служащие прекратили говорить слово «товарищ» и стали обращаться «гражданин» и «гражданка». А эти слова носили отпечаток отчужденности, крайней официальности (сейчас это исчезло и появилось даже слово «гражданочка»). И это обращение, по существу новое (хотя редко бывало и раньше, когда злились друг на друга или задерживали нарушителя законов), стало заполнять улицы, официальную жизнь, создало атмосферу. Каждый человек оказался подозрительным, под подозрением; над всеми нависла угроза возможного ареста; в словах «гражданин» и «гражданка» мерещилась тюрьма.

Приказ прекратить употребление слова «товарищ» был, видимо, секретным, но его все сразу ощутили. Одновременно исчезли списки квартирантов, до того висевшие в подворотнях и очень облегчавшие поиски живущих в доме. Одновременно стали запирать лестницы, чтобы бездомным и скрывающимся негде было ночевать. Одновременно в издательствах стали бояться печатать имена авторов глав и статей (их выносили в отдельные листки, которые, в случае ареста кого-либо из авторов, легко могли быть вырваны, перепечатаны и вклеены на место прежних). Одновременно прекратили печатать библиографии и началось гонение на сноски с упоминанием живых авторов. Одновременно… Да много еще было этих «одновременно», когда люди перестали себя чувствовать людьми, а самые умные стали переезжать из одного города в другой, менять адреса и таким образом действительно избегали неизбежного как будто бы ареста (А. Обновленский, предупрежденный на улице в Ленинграде, с ходу переехал в Житомир, через полгода в Казань и т. д. – и остался жив, на свободе, хотя и был ордер на его арест).

Боже! Что это была за атмосфера. Чуть-чуть она передана в повести Л. К. Чуковской «Опустелый дом» (другое название этой хорошей повести «Софья Петровна»).

Раньше говорили не «симпозиум» (на латинский лад), а «симпозион» (греческое слово) и подразумевали вечернюю

пирушку. В университете говорили не «семинар», а «семинарий».

Почему в народе и до сих пор претензия на ум выражается в манере говорить загадками, обиняком? Ср. прямую речь героев «Дома» Федора Абрамова. Но загадками говорит и «мудрая дева» Феврония в «Повести о Петре и Февронии Муромских». В чересчур «ученой» речи некоторых гуманитариев, пересыпающих свой язык «умными словами», есть поэтому что-то лакейское (ср.: Петрушка у Гоголя или Смердяков у Достоевского).

О нашем языке. Мы почти забыли о склонении числительных. Поразительно, что даже в Академии наук в отчетных докладах, где постоянно фигурируют цифры, эти цифры не склоняются. «Более триста», а не «более трехсот»; «до пятьдесят», а не «до пятидесяти». А когда дело доходит до сложных числительных и докладчик в самом деле попытается склонять их, – затыкай уши.

Отказ от склонения названий населенных пунктов особенно интенсивно пошел во время Великой Отечественной войны. В сводках с фронта: «Наши войска освободили город Рига», а не «город Ригу». Признаться, эта тенденция ведет к обеднению языка. Я предпочитаю вместо «живу в городе Ленинград» слышать – «живу в городе Ленинграде».

А женский род должностей или жен должностных лиц? Когда говорят «генеральша», ясно, что это о жене генерала. А «докторша»? – Что это такое: жена доктора или сама доктор? Можно ли сказать «докторша наук» или «кандидатша»? Я думаю, что правильно за последние годы почти исчезло «докторша». Иногда шутливо говорят «докторесса», но не шутливо повторят «поэтесса», а я думаю, что о женщине-поэте, если она настоящий поэт, следует говорить «поэт», а не «поэтесса». А. Ахматова это слово ненавидела.

Но вот еще один вопрос. Чехи говорят «чиновничка» вместо «женщина-чиновник». По-русски сказать так нельзя. Мы говорим «секретарша», а не «секретарка». Почему же в Москве появилось словцо «швейцарка»? Уж лучше бы «швейцарша», если не «швейцар».

По-видимому, только старые женские профессии сохраняют и будут еще долго сохранять женский род – «парикмахерша», «маникюрша», «кухарка», но в целом постепенный отказ от женского рода в названиях профессий – процесс естественный и не режущий уха.

Сочиненная мною «под древнерусскую» поговорка: «Не только „днесь“, но и тамо взвесь».

Справка: слово «нигилизм» было богословским термином и означало атеизм. В политическом и общественном смысле оно впервые было употреблено Н. И. Надеждиным (1804–1856) в статье «Сонмище нигилистов» в «Вестнике Европы» за 1829 год.

Древняя русская письменность (именно письменность, а не только литература) – неисчерпаемый кладезь богатств русского языка. В одном только совсем небольшом «Поучении» Владимира Мономаха сколько чудесных выражений: «мыслити безлепицу» (думать о чепухе), «управити сердце свое» (совладать со своими чувствами), «больного присетити», «привечать» человека («и человека не минете не привечавше»), «ни свереповати словом, ни хулити беседою», «старыя чти яко отца, а молодыя яко братью» и т. д.

Но дело не только в языке, но и в умении рассказа. Шедевры выразительной краткости: летописный рассказ о смерти Олега, о четырех местях Ольги, о походах Святослава, о его смерти и многое другое. Один из лучших рассказов – это «Повесть о разорении Рязани Батыем» или «Повесть о Петре и Февронии Муромских». И еще я люблю «Повесть о Тверском Отроче монастыре». Что касается до протопопа Аввакума, то это вообще первый гений в русской литературе. Не оттого первый, что до того просто не было, а потому, что литература как фольклор была не личностной.

В поликлинике для слепых не говорят «слепой», а говорят «незрячий». В нашей обыденной терминологии много таких же слов и выражений, считающихся более «приличными» или, вернее, «менее ранящими» сознание.

Когда мне был 21 год, я написал маленькое эссе (на одной-двух страничках). Называлось оно «Феноменология вопроса». Я описал «жизнь вопроса» как слова. Подборка у меня не сохранилась, но было в ней десятка три выражений: что делается с «вопросом» в течение его «жизни». Примерно так: «Вопрос зарождается, поднимается, выдвигается, касается, разрабатывается, излагается, ставится на обсуждение, будируется, ставится ребром, становится наболевшим, исчерпывается, снимается». Я подбирал эти «идиомы» с неделю, а чем больше их я находил, тем смешнее и «сатиричнее» становилась вся жизнь «вопроса».

Е. В. Тарле в своем «Наполеоне» очень хорошо пользуется скобками для своих иронических замечаний.

Многие поговорки известны у нас в укороченном виде. Сперва все знали их в полном и потому понимали с начальных слов, а потом поговорка казалась понятной и без продолжения: поговорка – и все тут. Так, например: «Лиха беда начало…» Почему беда? А вот что сказал Петр, по преданию, когда первым в 1702 году стал вбивать свайку в особенно бурной реке, переводя свои фрегаты из Белого моря в Онежское озеро: «Лиха беда первому оленю в гарь кинуться, остальные все там же будут». А вот другая поговорка: «Не выметай из избы сору»; полный ее вид: «Не выметай из избы сору к чужому забору».

Кстати, восстановление первоначальной полной формы поговорок могло бы быть темой особой научной работы (и очень важной).

Графика и орфография могут выражать экспрессию. Пример тому – «Письма русского путешественника» Карамзина, где большими буквами выражен целый ряд понятий (Республика, Народ и пр.).

Меня интересует психология сознательной порчи языка. Этому вопросу посвящена моя работа 1964 года: «Арготические слова профессиональной речи». Как мне кажется, мне удалось объяснить появление экспрессивных выражений в языке тех или иных профессий или учащихся. Жаль, что положения статьи не используются практически в воспитательной работе. На нее как-то не обратили внимания, а я сам придаю ей серьезное значение.

Завет Гоголя: «Со словом надо обращаться честно».

Заметки об архитектуре

В современной архитектуре утомительно отсутствие значимости. Значимость придается ей временем, событиями, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением, людскими судьбами, внесенными литературными темами и т. д. Но значимость вносится и самим строителем. Мы должны «узнавать» назначение здания по его архитектурным формам. Мы должны сразу видеть, что перед нами вокзал, а не больница, не гостиница, не школа, не жилой дом. Назначение здания должно быть выделено в нем. Но, помимо назначения здания, мы должны ясно ощущать вход, подъезд, лестничную клетку. Вместе с тем фасад не должен быть однообразным. Однообразие окон (особенно «ленточных») утомляет не менее, чем однообразие улицы, дороги (на отчетливо прямых магистралях водители засыпают). Районы должны быть разные, разнообразные, разноэтажные.

Проектировать надо фасад не с отдаленной и серединной точки зрения, а с точки зрения прохожего, идущего по тротуару или переходящего улицу. Макеты тоже не годятся, они дают «вертолетный» взгляд на будущие строения. И особенно важны первые, цокольные этажи, мимо которых мы проходим и которые видим «в упор» и чаще всего сбоку. Первые этажи улицы воспринимаются с комнатной точки зрения, они должны быть чистыми, прибранными и… интересными (витрины с чистыми стеклами и интересной экспозицией; подъезды с лакированными и полированными дверями, дорогими ручками, за которые можно «поздороваться» с домом, и пр.).

Архитектура первых этажей находится сейчас в полном небрежении. Ее не понимают архитекторы. И это связано с другим непониманием – непониманием значения в архитектуре деталей. Все, что не умещается на генеральном общем плане здания, которое чертежник видит с уровня среднего этажа, – все это современному зодчему кажется неважным. А между тем на дом смотрит прежде всего прохожий, и на своем уровне – уровне своих глаз. Он может пройти мимо дома, даже не взглянув на второй, третий и следующие этажи. Но прохожий видит витрины магазинов, входные двери, подъезды и пр. Эркеры очень украшают вид на дома сбоку, с тротуаров.

В начале 20-х годов был объявлен в Петрограде сбор меди. Медную посуду сдавали в обязательном порядке. Комбеды или управхозы, домхозы (не помню – кто тогда был) снимали изящные медные ручки с парадных подъездов и заменяли их деревянными

палками с какими-то прикреплениями из белого металла. Они и до сих пор стоят на большинстве старых ленинградских домов. Входные двери, которые полагалось полировать, и перила лестниц стали красить масляной краской, иногда грубой – половой. Это сразу изменило вид первых этажей. А в блокаду вылетело во время обстрелов большинство зеркальных витрин в магазинах. А какие были до войны в Ленинграде «Елисеев», «Александр» и многие другие магазины, которыми славился когда-то Невский.

Принято называть современные дома «коробками». Это неправильно – они чемоданы; старинного скучного фасона, все одинаковые. Около них есть и краны, чтобы их поднимать и переставлять на другое место – переставлять, заставлять, расставлять, выставлять, просто «влять». Понятно и так. Большие носильщики – архитекторы. Они в любой город готовы перенести их. Только надо «привязать к местности»: это так, кажется, называется на языке этих «чудо-носильщиков».

Высунешься на вокзале из тамбура вагона и крикнешь: «Эй, носильщик, вези мой чемодан в чемодан вашего города». – «В какой?» – «Да в любой – они все одинаковые». А чемоданы входят в них, как куклы в матрешку, только без всякой экономии места.

А то построят для библиотеки в самом центре Москвы огромный книжный шкаф. И он стоит на улице – точно хозяева переезжают. Но шкаф разваливается, потому что улица не место для мебели.

«А это что? Крытый рынок?» – «Нет, это Курский вокзал». – «Тот самый, на который приезжал в Москву Лев Толстой, Тургенев, Бунин? Вся русская литература?» – «Нет, тот сломали». – «А почему построили такой скучный?» – «Да, знаете, некому теперь из писателей приезжать: писатели изволят прибывать в Москву самолетами и больше из-за границы».

Каждый наш исторический город обладает своим индивидуальным лицом, красив по-своему. Но красоту нужно разгадывать. Она не дается прямо в руки.

Наши предки, меньше, чем мы, занятые техникой, больше уделяли внимания красоте, понимали ее с «полуслова» и сохраняли столетиями.

Два города в Древней Руси стали центрами ее культуры – Киев и Новгород. Новгород, оказавшийся в XIX веке в стороне от железной дороги, больше сохранился. Отчетливо сохранились и следы его красоты. Это единственный город в Европе, в котором до сих пор существует земляной вал, по которому когда-то шли

деревянные укрепления с каменными башнями. И какой вид открывается с этого вала. На некотором расстоянии от Новгорода шло кольцо церквей, частично сохранившееся до сих пор. Позади Красного (т. е. «красивого») поля было видно шествие белых строений: Рюриково городище, Нередица, Кириллов монастырь, Андрей на Ситке, Ковалево, Волотово, Хутынь. Именно «шествие», обращенное алтарями на восток, они как бы двигались навстречу солнцу. В самом городе выделялся златоглавый Софийский собор, выше которого не строилась ни одна церковь. Выше строились церкви только за пределами города – Георгиевский собор Юрьева монастыря, Антониев монастырь и Хутынь на горушке. Планировка также была продумана, и, согласно «закону градскому», нельзя было загораживать вид на озеро и на Волхов. Согласно былине о Садко в древнейшей ее версии Кирши Данилова, Садко выходит из Кремля и кланяется Ильмень-озеру, передавая ему привет от Волги.

Можно было бы долго рассказывать о том, как продуманно с художественной точки зрения строились древнерусские города. До сих пор следы этой продуманности видны в Новгороде-Северском, в Путивле, в Ярославле, во Владимире. В отличие от Новгорода, они строились на высоком берегу реки, и прямо из центра города открывался вид на заливные луга. Это была ландшафтная связь с природой. А как строились монастыри или небольшие городки типа Плёса на Волге!

И вот к чему я клоню. Нынешние градостроители, прежде чем заниматься составлением генеральных планов развития исторических городов, обязаны прожить в этих городах достаточно долго, изучить их историю, их эстетическую сторону. В исторических городах должны быть созданы художественные советы из художников, педагогов, музейных работников, местной общественности. Задача этих советов – изучать художественные особенности своих городов, выпускать труды, публиковать статьи в местной прессе. Пусть эти работы будут казаться в какой-то своей части субъективными: уверен, что ошибок и расхождений в оценке красоты своих городов будет меньше, чем у составителей «генеральных планов».

Задача таких художественных советов состоит не столько в сохранении отдельных зданий, сколько в сохранении *облика городов.* Ведь здания, построенные в разные времена, очень часто хорошо сочетаются друг с другом. Есть стили «социальные» и «антисоциальные». Допустим, здание в эклектическом стиле может отлично сочетаться с храмом XVII или XVI века. Эклектика (стиль, выборочно бравший, выбиравший, отсюда и название стиля) «социальна» по своей природе, то есть она сочетается со

зданиями других эпох. То же можно сказать о скромных зданиях XIX и XVIII веков. Они составляют средостение между пышными церквами XVI и XVII веков и строениями современного интернационального, денационализированного стиля второй половины XX века. Но все это должны оценить художественные советы, чтобы сохранить не только красоту отдельных строений, но весь район или весь город как единое самостоятельное художественное целое.

Сразу после Великой Отечественной войны, в 50–60-х годах, я часто выступал в печати со статьями в защиту исторической красоты Новгорода. И с гордостью должен сказать, что хотя в те времена аргументировать в пользу сохранения городов было трудно (обычное возражение – «людям негде жить» – сильно действовало), тем не менее под влиянием моих статей удалось сохранить земляной вал, по которому проектировали провести объездную дорогу, сохранить от застройки Красное поле и район между Новгородом и Аркажами. Строительство удалось направить по шоссе в сторону Ленинграда, где порча города была бы менее заметна. Удалось добиться переноса моста ниже по течению Волхова, сохранив Кремль с его бесценными музеями от превращения его в проходной двор. И т. д.

Но вот новая угроза нависла над Новгородом. Вот письмо местных жителей Новгорода в защиту их родного города от некомпетентного вмешательства ленинградских проектировщиков. Если бы только их письмо дошло до новгородского руководства. Если бы только художественные советы были созданы в других наших чудных русских городах. Если бы художественные советы, охрана памятников были выведены из подчинения главным архитекторам и были бы подлинными и независимыми органами общественности.

В защиту древнего Новгорода!

Средства массовой информации – газеты, журналы, телевидение и радиовещание – в условиях гласности и демократизации нашего общества почти ежедневно сообщают о крайне неблагополучном состоянии, в котором находятся памятники национального прошлого. При этом все чаще речь заходит уже не об отдельных памятниках, а о целых городах и районах. Особенно тревожное положение сложилось в Новгороде. Два года назад Новгороду исполнилось 1125 лет. Но торжественная дата никак не соответствует виду как самого города, так и памятников новгородской архитектуры, живописи и природы. Более того, есть все основания думать, что мы стоим на

пороге дальнейшей порчи города, сохраняющихся в нем произведений искусства, изумительных по красоте пригородных пейзажей.

Недавняя публикация в газете «Известия» очерка «Судьба Ясной Поляны» показала, какой непоправимый ущерб усадьбе Льва Толстого нанес неподалеку от нее расположенный Щекинский химкомбинат. Но мало кто знает, что в двенадцати километрах от Новгорода, а по существу на окраине города, находится такое же химическое предприятие, как и завод в Щекине. И предполагается дальнейшее наращивание мощностей новгородского комбината, причем держатся упорные слухи, что производство капролактама, закрытое наконец в Щекине, компенсируется увеличением его производства в Новгороде. Выбрасываемые новгородским химкомбинатом агрессивные газы и образующиеся в атмосфере кислотные соединения оказывают отрицательное воздействие на естественные камни, растворы и кирпичную кладку памятников архитектуры, меняют колорит всемирно известных новгородских фресковых росписей, вызывают коррозию металлических предметов в музее. Не за горами, по-видимому, и порча бронзового памятника «Тысячелетие России» в Новгородском кремле. Загрязняются воздушный и водный бассейны в городе и пригородах, в частности Ильменское озеро. По данным главного санитарного врача Ленинградской области, новгородское объединение «Азот» оказывает отрицательное влияние на качество воды даже в Ладожском озере (газета «Правда» от 11 ноября 1986 года).

Разработанный и находящийся теперь в стадии утверждения генеральный план развития Новгорода до 2005 года предусматривает не сокращение, а расширение промышленных районов, которые уже сейчас в процентном соотношении равны жилым зонам и зонам отдыха и туризма. Непродуманное, недальновидное планирование хозяйственной деятельности в Новгороде оказывает разрушительное воздействие на все виды исторических ценностей древнейшего русского города, которые по праву входят в сокровищницу отечественной и мировой культуры. Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры признал увеличивающуюся производственную деятельность различных министерств и ведомств в Новгороде, в частности объединения «Азот» Министерства по производству минеральных удобрений, прямым нарушением статей 53 и 54 Закона РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и культуры». Жители Новгорода в сентябре 1986 года обратились в Совет министров СССР с письмом, призывающим прекратить всякую хозяйственную

деятельность, которая наносит ущерб городу-памятнику. Только путем решительных государственных постановлений, обязательных для всех учреждений, министерств и ведомств, Новгород может быть спасен для будущих поколений.

Недавнее обсуждение упомянутого плана в Министерстве культуры РСФСР показало поразительное равнодушие официальных властей города к судьбе его исторического облика. Да и сами планировщики скорее приспосабливают историческое ядро Новгорода к новому городу, а не новый, растущий город к древнему, что было бы здесь естественно так же, как это делается, скажем, в Суздале. Преданы забвению основные положения первого послевоенного генерального плана, разработанного академиком А. В. Щусевым в 1945 году. Научная общественность, представители которой были приглашены на обсуждение в Министерство культуры РСФСР, высказались, в частности, против постройки железобетонного пешеходного моста через Волхов в центральной части города. Строительство этого моста, проект которого выполнен в Ленинграде, ведется полным ходом, и председатель Новгородского горисполкома решительно заявил, что он будет сдан в эксплуатацию 7 ноября 1987 года. Речь идет о крупном инженерном сооружении, которое в осуществленном виде не может не испортить всей панорамы Новгорода.

Исторический центр Новгорода разделен на две равные половины рекой Волхов: на левом берегу находится кремль с Софийским собором XI века, на правом – Торговая сторона с вечевой площадью и соборами XII–XVI веков. Деление города, впрочем, относительное, условное, поскольку с древнейших времен обе его половины соединялись мостом. Первое летописное известие о Великом мосте через Волхов относится к 1138 году, когда он был поставлен взамен обветшавшего старого, из чего нетрудно сделать вывод, что мост существовал и в XI столетии. И какой мост! Это была едва ли не самая оживленная улица города. Мост неоднократно горел, его сносили полая вода и ледоходы. Его множество раз разбирали во время социальных распрей Торговой стороны с Софийской стороной. Здесь собирались вечевые собрания, происходили публичные казни и дипломатические встречи. Без всякого преувеличения можно сказать, что история Великого моста – это история самого Великого Новгорода. Вот почему проектировать и строить новый мост через Волхов следовало бы с величайшей осторожностью, с оглядкой на прошлое, предусматривая по возможности наиболее полное соответствие его форм старому мосту. Ведь речь идет, по существу, о реконструкции одного из древнейших исторических памятников Новгорода!

Деревянный мост через Волхов просуществовал вплоть до начала XIX века, когда городу понадобилась более удобная транспортная магистраль, которая функционировала бы независимо от разливов реки и напиравших со стороны Ильменского озера льдов. Так в 1820-х годах возник первый полукаменный-полудеревянный мост, повторявший своими очертаниями все ранее бывшие мосты. Маломощный, он продержался около восьмидесяти лет, пока петербургские инженеры не возвели в 1902 году куда более монументальное сооружение, железные фермы которого поднялись почти до куполов поблизости стоящего Софийского собора. Знаток истории города, горячий защитник его старины А. И. Анисимов оценил это творение нового века как «полуазиатское-полуевропейское чудовище», испоганившее самое сердце древнего Новгорода. В годы Второй мировой войны мост был взорван, а в 1954 году новый транспортный мост был разумно поставлен в стороне от Кремля. Не обладая никакими архитектурными достоинствами, он исправно несет свою нелегкую службу до сих пор. Но городу нужен еще один, пешеходный мост. Требуется он и постоянно нарастающему туристическому потоку. Так возникла мысль о восстановлении старого моста, который напрямую соединил бы кремль и Ярославово дворище на Торговой стороне. Можно было бы приветствовать это решение, если бы новый мост строился горизонтальным на уровне тех каменных устоев, которые сохранялись по обоим берегам Волхова от моста XIX и XX веков. Ссылаясь, однако, на то, что Волхов при большой воде судоходен и по нему плавают мелкие суда местного назначения и один весьма скромных размеров пароходик, соединяющий центр города с близлежащим Юрьевым монастырем, проектировщики предложили выстроить дугообразный железный мост. Проверочные построения, основанные на теодолитных съемках, выполненных Центральным научно-исследовательским институтом градостроительства и Московским архитектурным институтом, показывают, что стрела его подъема почти равна высоте древних стен Кремля. Конкурс на постройку нового моста не проводился. Предложение построить низкий горизонтальный разводной мост, исходившее от лиц, заинтересованных в сохранении исторического облика города, было отклонено на том основании, что разводные мосты нигде, кроме Ленинграда, теперь не строят, а если сооружать его в Новгороде, он будет стоить дорого. Как будто не дорог сам Новгород! Не подумали даже о том, что, например, в Голландии разводные мосты – простейшее явление, и они пропускают суда по обычному дорожному светофору. Споры о новом мосте продолжались много лет, но ни

разу он не сделался предметом широкого обсуждения. В конечном счете Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, от которого еще в какой-то мере зависело, какой именно мост будет сооружен в центре Новгорода, проголосовал за осуществление ленинградского проекта – совершенно иного, но не менее примитивного, чем его предшественник 1902 года. Устои и одна пролетная арка нового моста уже заготовлены. Но еще есть время отказаться от этой непоправимой потом затеи. Ведь приостановлено же строительство гиганта-мемориала на Поклонной горе в Москве! Пора ставить заслон самодеятельности местных руководителей, для которых Новгород всего лишь город, каких у нас сотни, а не один из древнейших городов России, требующий к себе особо бережного отношения. Новгород не только достояние русского народа. Мы несем ответственность за сохранение его облика и его памятников перед всем образованным человечеством.

Подлинным бедствием для Новгорода является прогрессирующая утрата исторических ландшафтов в черте самого города и в его ближайших окрестностях. Московское шоссе к востоку от древних городских валов еще в 1950-х годах перерезало низменную местность мощной насыпной дамбой, на которой совсем недавно возникла автозаправочная станция. При строительстве дороги был засыпан исторический Федоровский ручей, память о котором осталась лишь в названии церкви Феодора Стратилата «на ручью». Обочины московского шоссе застраиваются неказистыми хозяйственными зданиями. А ведь еще на нашей памяти отсюда открывался изумительный по красоте вид в сторону церкви Рождества на поле, Волотова и Ковалева – с бесконечными стожка́ми собранного сена на заливных лугах. В пригородной деревне Волотово, одном из самых поэтических мест под Новгородом, где до войны стояла и, несомненно, будет восстановлена церковь XIV века, вовсю разрастается новое городское кладбище, а напротив расположенная церковь Спаса на Ковалеве для удобства туристов соединена с московским шоссе насыпной дамбой.

Еще более удручающим является пренебрежение местных властей к единственному в своем роде историческому ландшафту к югу от города, где находятся Юрьев монастырь, Перынь, Спас-Нередица, Благовещение на Городище и Липна. До 1916 года вид в сторону Ильменского озера сохранялся точно таким, каким он был сотни лет назад. Начавшееся без согласования с местными деятелями культуры строительство поблизости от Нередицы железной дороги вызвало в 1916 и 1917 годах многомесячную полемику в газетах и журналах. Вся передовая печать выступила

тогда в защиту Новгорода от посягательства проектировщиков, за отмену южного варианта и за перенос новостроящегося железнодорожного полотна к северу от города. Но Совет министров царской России утвердил уже осуществлявшийся проект с оговоркой, что после окончания войны новгородский участок дороги Нарва – Валдай будет изменен на северный вариант. В условиях поражения России в Первой мировой войне и начавшейся затем революции дорога не была закончена, но памятником этого преступного проекта являются монументальные железобетонные опоры для железнодорожного моста и песчаная насыпь в непосредственной близости от Нередицы. Дамба пересекла речку Нередицу и низину на противоположном берегу Волхова, что вызвало стремительное заболачивание местности и последующую порчу нередицких фресок XII века. Казалось бы, исторический опыт должен был подсказать самое бережное отношение города к окружающим его природным ландшафтам и к его южным окрестностям, в частности, где все находится в естественном равновесии и не терпит грубого вмешательства человека. Но нет! У подножия одной из опор построена безликая водокачка, а к ней протянута железнодорожная ветка. На западном берегу Волхова, напротив церкви Петра и Павла XII века, возникли производственные постройки, а на восточном берегу – скучнейшая туристическая гостиница. Недавно в печати промелькнуло сообщение, что возможен проект возобновления железнодорожного полотна и строительство моста на существующих опорах около Нередицы. В таком случае Новгород навсегда лишится остатков своей былой славы города-памятника: его исторический центр будет наглухо изолирован от окрестностей и будет существовать в кольце железобетонных мостов и дамб. Необходимо тщательно изучить гидрологическую обстановку в городе и пригородах, строить не дамбы, а эстакады, чтобы не нарушать сложившееся равновесие водного бассейна. Пока не поздно, следует разобрать опоры 1916 года, снести полуразмытую насыпь около Нередицы, восстановить русло речки Нередицы, демонтировать водокачку, убрать свалки и хозяйственные постройки на западном берегу Волхова, запретить всякое строительство к югу от Ярославова дворища на Торговой стороне и к югу и юго-западу от кремля на Софийской стороне (где предполагается новый микрорайон с 5– и 9-этажными панельными домами). Иными словами, сделать все возможное для сохранения историко-художественного ландшафта в южной оконечности города. Сделать это необходимо, иначе, как было заявлено Новгородским обществом любителей древностей еще в 1916 году, «Русская земля лишится одного из самых

замечательных видов своих, с которыми могут сравниться только виды с набережной Невы на Зимний дворец, Петропавловскую крепость и Биржу, виды из Замоскворечья на Москву-реку с Кремлем и храмом Василия Блаженного и на Днепр от памятника св. Владимиру в Киеве, то есть такие исключительные по своей цельности сочетания природы и культуры, которые характеризуют собою целые эпохи в истории народа и которые надлежит оберегать как самые дорогие национальные памятники».

Сохранение исторических ландшафтов – одна из задач всеобщего, всенародного дела охраны памятников. И одна из наиболее осуществимых, поскольку для этого требуется только одно: оградить подобные ландшафты от бездумной, близорукой застройки. В преддверии исполняющегося в 1988 году тысячелетия русской культуры мы уже потеряли вид на Днепр в центральной части Киева. Медленно и неуклонно теряется замечательная первозданность Ферапонтова, давно требующего создания здесь обширного архитектурно-художественного и природного заповедника. Нельзя допустить и окончательной порчи новгородских ландшафтов. Сохранение подобных исторических зон – не прихоть чудаков, желающих приостановить ход истории, а настоятельная необходимость, наша национальная задача. Выдающийся педагог К. Д. Ушинский высказал в свое время очень простую и правильную мысль: «Я вынес, – говорил он, – из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога». А другой великий русский человек, Петр Ильич Чайковский, сказал так: «Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства». Природа беззащитна, и уродовать ее так же безнравственно и преступно, как избивать ребенка или старика. Если в нас еще сохраняется совесть и чувство национального достоинства, если мы не на словах, а на деле любим свою Родину, нужно принимать немедленные меры против тех, кто уничтожает лучшее из созданий нашего мира – природу и один из самых величественных памятников отечественной и мировой культуры – Великий Новгород.

На этом кончается длинное письмо новгородцев, написанное в 1987 году. Хотя оно длинное и написано не сегодня, о нем не следует забывать. Многие проблемы остались теми же или будут вновь и вновь возникать со сменой руководителей. Соблазн забывать ошибки и повторять их вновь и вновь в почти неизмененном виде всегда очень велик. У ошибок тоже есть

«традиция». Есть свои «традиции» и у простого невежества.

* * *

«Мне пришлось говорить на Ярославщине со многими руководителями местных отделов культуры. Однако искренней заинтересованности в судьбе обременительного, хотя и славного наследства, которое досталось Ярославщине от прошлого, я не встретил почти ни у кого.

Товарищ из областного отдела культуры жалобно сказал:

– К глубокому сожалению, время сохранило на Ярославщине очень мало памятников гражданской архитектуры…

Можно очень многое возразить этому товарищу. Можно отослать его к популярным изданиям по истории древнего ярославского искусства, где он почерпнет несколько азбучных истин. Но еще уместнее припомнить в связи с этим блестящее высказывание покойного польского юмориста о том, что людям, не имеющим отношения к искусству, лучше не иметь к нему отношения. Однако этот товарищ имеет. И самое непосредственное. И другие, ему подобные, тоже имеют. Один из них вынашивает идею о том, чтобы снести как можно больше ярославских памятников, а потом все средства бросить на какой-нибудь один. Другой с облегчением сказал мне, что Рыбинское море затопило, к счастью, очень много церквей: „И так у нас в области больше, чем в других областях. Стыдно перед товарищами“. Третий сказал раздумчиво, когда мы проезжали с ним в автобусе мимо церкви в селе Крест:

– Эту мы скоро снесем. И построим тут небоскреб, восьмиэтажный дом.

Здесь добавлю только, что церковь эта в десятке километров от Ярославля, кругом полно пустырей, и кому там нужен первый ярославский небоскреб, да еще на месте старинного храма, – это уж и совсем понять невозможно.

В начале прошлого века… Бетанкур предложил разобрать Ростовский кремль и построить из этого кирпича гостиный двор в Ростове. Последняя книжка о Ростове, как и прежние издания, заслуженно клеймя этого человека с нерусской фамилией, замечает, что он „не оценил национальной красоты ансамбля“. Наверняка не оценил. Однако потом было много других людей с исконно русскими фамилиями, которые разбирали древние угличские и переславские храмы… Эти люди, не понимавшие ни искусства, ни традиций, громили древние здания в Ростове, Великом Устюге, Ярославле. Они всегда ссылались на насущные

задачи, на текущий момент и потребности настоящего, иногда даже будущего. Это их имел в виду Пушкин, говоря: „Дикость, подлость и невежество не уважают прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим“» (Из книги Б. М. Носика «По Руси Ярославской». – М., 1968, с. 116–117).

Знаменитый финский архитектор Сааринен жил в детстве в Гатчине. Его отец был там пастором в финской кирке. Великолепная гатчинская архитектура, может быть, воспитала его?

Дело не только в том, что Александровская колонна на Дворцовой площади – самый большой монолитный монумент в мире: не перестаю удивляться ее красоте – красоте пропорций ее самой и соотношению размеров статуи, постамента, колонны и площади и т. д. Монферран – великий архитектор.

Интересна идея колонны. Мне кажется (не знаю, писал ли уже об этом кто-нибудь раньше), что памятник Александру противостоит памятнику Наполеону – Вандомской колонне в Париже. Но там Наполеон поставлен на чужую колонну, статуя Наполеона в соотношении с колонной мала, и вряд ли стоило на такую «негазглядимую» высоту ставить натуралистическое изображение Наполеона. Монферран умно поставил на Александровской колонне лишь символ Александра, понятный для своего времени.

Удивительно, что Монферран, воздвигший такой великолепный памятник Александру, был в юности короткое время (но все же…) солдатом в армии Наполеона (не то в Италии, не то в Испании).

Кстати, раз речь зашла о Вандомской колонне, то для размышлений совсем другого порядка интересно было бы вспомнить о стихах какого-то англичанина, написанных на постаменте после свержения Наполеона:

Tyran, juché sur cette échasse,
Si le sang que tu fis verser
Pouvait tenir en cette place,
Tu le boirais sans te baissér.

(«Тиран, поднятый на эту ходулю! Если бы пролитая тобою кровь могла устоять здесь, ты мог бы пить ее, не наклоняясь»). Большинство бы сказало – «ты бы в ней захлебнулся», но безвестный англичанин написал лучше – «мог бы пить ее, не наклоняясь» – куда более сильный образ. Наполеон

действительно любил кровь, восхищался (считал «великолепным») полем сражения «под Можайском» (Бородинское), усеянным убитыми и умирающими. И Наполеон не склонял головы («мог бы пить ее, не наклоняясь»).

Самое трудное для архитекторов – создать площадь. В мире не так уж много хороших площадей. Какие я знаю? Конечно, Дворцовая площадь в Ленинграде. Конечно, площадь на Капитолии с конной статуей Марка Аврелия. Конечно, площадь Навонна с фонтанами в том же Риме. Судя по всем снимкам, площадь Святого Марка в Венеции (я там не был). Но самая поразительная площадь, которую я знаю, – это Соборная площадь в Московском Кремле. Она удивительна. Все здания стоят как бы отдельно и совершенно свободно, но человек чувствует себя в замкнутом пространстве. Пространство замкнуто, но вместе с тем и раскрыто – главным образом в сторону Москвы-реки. На Москву-реку через площадь смотрит умиротворенным и торжественным взглядом и Успенский собор – главный властитель площади, хотя далеко не самый большой и высокий.

А ведь здания площадей все разновременные, но, очевидно, у архитекторов было самое драгоценное для архитекторов чувство – чувство ансамбля. И еще одно свойство было у архитекторов – умение понять, как ощутит себя человек среди зданий. Последнее в Соборной площади Московского Кремля удивительно. Человек на этой площади не принижен, он возвышен и окружен историей. Повсюду здания обращены к нему. Ни одно здание не отвернулось от человека, не пропускает его мимо себя. Торжественность площади не надменна. Русская история, с которой связана площадь, не подавляет человека, а включает его в себя, делает пришедшего на площадь участником истории. Он становится как бы даже выше ростом.

Архитектура сейчас онемела, не имеет своего языка. Вокзал может быть выстроен как крытый рынок, крытый рынок как цирк, дворец как один из корпусов завода Форда и т. д. А вот что писал в XVIII веке М. Е. Головин: «Выбор ордена зависит от намерения, с коим здание сооружается. Тосканской орден служит для городских ворот, арсеналов и проч. Дорической орден пригоден наипаче для храмов и церквей. Ионической посвящен миролюбию и правосудию и употребляется при судебных зданиях, увеселительных домах, внутри покоев и извне строения. Коринфской орден служит украшением дворцов, словом, там, где красота и великолепие предпочитаются твердости и простоте. Наконец, римской орден украшает здания, богатство

изъявляющие» (цит. по книге: Н. А. Евсина. Архитектурная теория в России второй половины XVIII – начала XIX века. М., 1985, с. 43). А что говорить о знаковой системе цветов, деревьев, скульптур, павильонов, планировки садов? – здесь мы совершенно неграмотны. Попытка моя намекнуть на существование и такой стороны в книге «Поэзия садов» среди садовых реставраторов успеха не имела.

Графиня Шуазель-Гуфье в своих «Воспоминаниях об императоре Александре I и императоре Наполеоне I» восхищенно описывает Петербург при первом своем знакомстве с ним. Вот несколько удачных фраз из ее описания. Подъезжая к Петербургу: «Окрестности Парижа, за исключением королевских резиденций, не имеют того великолепия, как окрестности Петербурга, где между тем все создано искусством». Действительно, кольцо пригородов Петербурга основано одновременно с городом. Это единственная в мире столица, так строившаяся. Описывая Неву, «ее сапфировые волны», большую часть года покрытые судами с разноцветными флагами всех народов, она замечает: «Нева составляет красоту Петербурга, его славу, богатство и ужас». И далее: «Вечером этот красивый и пустынный город, при полусвете, не похожем ни на дневной, ни на лунный <были уже белые ночи> и дающем всем предметам какое-то волшебное освещение, казался мне настоящею панорамой».

М. П. Погодин где-то сказал: «Город есть книга, в коей всякая улица занимает страницу. Будем прибавлять новые листы, но не станем вырывать старых».

Ошибки архитекторам прощать нельзя. Новое здание МХАТа строил архитектор Кубасов.

26.11.86

Понятие реставрации следует соединить с понятием integrity – нетронутость, цельность. «Нетронутость» истории, всей жизни объекта реставрации (по возможности) должна быть правилом реставрации. Если жизнь тронула объект (именно жизнь, а не случайность), то и это следует оставить.

Реставраторы часто задаются вопросом: «на какое время реставрировать» то или иное здание? Например, такой вопрос стоял перед Меншиковским дворцом в Ленинграде в 70-е годы. И сами искусственно создали проблему – Меншиковский дворец или размещавшийся там впоследствии Кадетский корпус? Но и то и другое ценно во многих отношениях, а единого времени и тут

найти нельзя: Меншиков постоянно перестраивал и так и не достроил свой дворец, а Кадетский корпус существовал до самой Октябрьской революции, и с ним связано много событий, театральная жизнь, музыкальная жизнь; он описан у Лескова. В нем учились многие выдающиеся полководцы. Надо было найти способ не утратить памяти ни об одном из значительных периодов в жизни этих зданий, а также его связи с городом (при Меншикове дворец не был окружен зданиями, как сейчас).

Почему, спрашивается, нельзя разрушить какой-нибудь дом-коробку из силикатного кирпича или панелей (точное слово «панель», обозначающее и тротуар, и материал стены дома; тут и там «истоптанность»), а ничего не стоит получить разрешение Общества охраны памятников культуры и истории на разрушение в миллион раз более ценного исторического здания?

А вообще-то, у меня такое впечатление, что общество существует главным образом для того, чтобы выдавать разрешения на снос «в виде исключения» или «закрывать глаза». Я бы изобразил символ общества в виде человеческого лица с завязанными глазами.

Кстати, общество бахвалится огромными суммами, истраченными на реставрацию, но из этих сумм следовало бы вычесть деньги, пошедшие на ремонт и благоустройство начальственных кабинетов, начальственных зданий и… на установку лесов вокруг разрушающихся исторических строений (самое легкое и выгодное дело; и общественное мнение успокоено: меры приняты).

Архитектурные мечтания. Сидя в летнем плетеном кресле на башне Пушкинского Дома (именно одну из этих башен имел в виду Пушкин, когда в «Медном всаднике» написал «дворцов и башен» – башен тогда было только две – Кунсткамеры и нашей Таможни, отведенной потом под Пушкинский Дом), я думал часто: каким мог бы быть красивым Ленинград, – и сочинял в воображении свои «градостроительные» проекты. Это «сочинительство» время от времени нарушалось звуком «мессершмиттов». Помню: один из них пролетел настолько низко, что я успел даже увидеть фигуру летчика. «Кто вам теперь целует пальцы?..»

И вот грандиозный проект, пришедший мне в голову. Снести все безобразные склады на Ватном острове напротив, кроме, разумеется, самого Тучкова буяна, который можно великолепно приспособить под дворец спорта, – лучше всего под дворец водного спорта. «Почистить» от лишних зданий Петровский

остров и, в частности, от бедного еще тогда стадиона. Тогда будет создана превосходная цепь парков для больших воскресных прогулок ленинградцев. У Финляндского вокзала зеленые массивы Военно-медицинской академии, затем через мост зеленый парк мимо китайских шидз и дворца Николая Николаевича, Кронверкский парк с двойным охватом – одним по задней стороне Петропавловской крепости мимо Артиллерийского музея (эта часть моего проекта осуществлена, и даже лучше, чем мне мечталось), другим – по Кронверкскому проспекту (теперь этот проспект, кажется, официально называется «проспектом Максима Горького»; ох уж это мне обилие Горького! – вызывает одно раздражение). Потом со сносом трех-четырех доходных домов зеленый переход против Биржевого моста («Моста строителей»). Затем снова парк на Ватном острове, парк Петровского острова, парк Крестовского острова и парки Каменного и Елагина островов с выходом на Стрелку, чтобы вечерами смотреть закаты, гулять белыми ночами. А начавшееся к тому времени строительство Крестовского стадиона – да ведь это великолепно! Все ложилось в мою схему большого прогулочного парка, доступного без утомительного транспорта всем ленинградцам. Детали: велосипедные дорожки, различные зоологические садики, выставочные помещения, вольеры, спортивные площадки! Все было хорошо: город приобретал фантастическую красоту.

Более спорными и более дорогими были мои проекты преобразования и выявления красоты южного берега Невы. С некоторыми деталями я не мог справиться в воображении. Надо было сносить надстройки над старыми домами и дворцами конца 20-х – начала 30-х годов. Но уже тогда мечталась мне прогулочная зона Невского проспекта с разными (не удовлетворявшими меня полностью) выносами уличного движения.

Как-то в 70-е годы я встретился с бывшим главным архитектором Ленинграда Барановым: оказывается, и у него были уже такие проекты. Значит, проект был органичным для Ленинграда!

Как было бы легко и дешево осуществить хотя бы мой проект большой парковой зоны. Каждый ленинградец мог бы совершать большие пешеходные (самые полезные для здоровья) прогулки из любой части города к морю – на Стрелку, любоваться закатом. Мог бы идти туда зимой на лыжах, не пользуясь никакими выматывающими силы и нервы видами транспорта. Можно было бы даже проложить велосипедные и пешеходные проходы под тремя-четырьмя трассами (у трех-четырех мостов – в зависимости

от деталей проекта).

И теперь еще я думаю: а почему не строить новые города по схеме круга с внедряющимся в центр длинным прогулочным парком, ведущим обратной стороной к реке, морю, озеру или, еще лучше, в лес и луга? Не пользоваться транспортом для того, чтобы доезжать до прогулочной зоны, а просто доходить и продолжать прогулку.

За мою жизнь Петербург – Ленинград вырос раза в четыре. И не к лучшему. Жизнь становится все неудобнее. А Москва, а Киев и т. д.

Должен быть создан новый тип населенных местностей, где жить было бы удобно и с доступом во все культурные центры: в лучшие библиотеки, в лучшие театры, в лучшие концертные залы. Один из проектов такой населенной местности давно мечтается мне в часы отдыха от основной работы.

Москволенинград.

Москва и Ленинград соединены между собой идеальной линией: прямой железной дорогой, которую можно как угодно превращать в скоростную магистраль. Проходит эта магистраль по пустынным местам: леса, леса, поля, болота, опять леса, мелкие населенные пункты. Только старая Тверь стоит на этой трассе, да поблизости – Вышний Волочёк.

По этой трассе строятся, как мне кажется, линейные города. Длинные, с легким доступом в леса и поля, с сохранением всех памятников культуры (особенно это касается района Селигера, Вышнего Волочка, Клина и пр.). Из такого города на день можно съездить по магистрали в Москву или Ленинград – посмотреть музеи того и другого города, побывать на интересных постановках тут и там. По этой «культурной магистрали» строятся только те учреждения, которые имеют отношение к библиотекам, к музеям, к театрам. Для заводов, фабрик, шахт – строится другая магистраль городов, где-нибудь поближе к промышленному сырью. Или несколько промышленных магистралей.

Хорошо это или плохо, если учреждения культуры будут все связаны между собой скоростной трассой различных типов, способов передвижения (автомобиль, однорельсовая дорога, электричка скоростного типа и пр. – я говорю примерно)?

Ленинград и Москва сохраняют свои названия, а в целом их соединение носит название Москволенинград.

Фантазия? Может быть…

Самое страшное для меня в современном градостроительстве – это одинаковые, поставленные «забором» дома – «точечные»,

высотные или спичечными коробками. Этим как бы подчеркивается отрицание индивидуальности у здания: «все одинаковые, и довольствуйтесь этим». Апофеоз этих «заборов» – печально знаменитая «вставная челюсть Москвы». Как это не додумаются еще соединить эти столбы между собой какими-нибудь горизонтальными перекладинами типа колючей проволоки? На худой конец, можно по ним пропустить линию электропередач. Ряды одинаковых серых домов без малейших признаков их отличий друг от друга. Это кошмар, которого и во сне не увидишь, но увидишь почти в каждом «растущем» городе.

Какой бы термин придумать для этой «системы» современной архитектурной практики – «простолбить» улицу, «зазаборить» ее, «зазубрить» город? А самое явление это назвать от слова «обнесение» улицы домами-столбами – «обноской». «Обноски» во всех городах…

Придумать прозвище для этого явления было бы хорошо. Слово – величайшая сила. Вот прозвали москвичи Новый Арбат «вставной челюстью Москвы», и никуда уже от этого не денешься. Так и будет это клеймо на архитекторах, его создателях: «протезисты» Москвы.

Самые бесчеловечные стройки обычно огромные – те, что воздвигаются во имя человека – абстрактного человека. Самые губительные для природы проекты те, что стремятся в грандиозных размерах «улучшить природу». Только то, что строится для конкретного человека и для небольшой конкретной местности, идет им на пользу. Абстракции по большей части ужасны, особенно грандиозные, то есть не «стелющиеся» по местности, а искажающие местность, высотные, поворачивающие реки и т. д.

В ряде исторических древнерусских городов явно стремление новых градостроителей заслонить современными домами старые церкви. Таковы «градостроительные лицемерия» в Пскове, где «спрятана» церковь Сергия с Залужья, в Горьком (Нижнем), где застройка по гребню горы стремится заслонить церкви, в Астрахани, где совершенно очевидна попытка заслонить вид с Волги на древний кремль и его изумительный Успенский собор с помощью гостиницы «Лотос» и других «коробок».

Однако эффект достигается этим совершенно обратный: древняя красота оказывается противопоставленной современному безобразию (безобразности), и вместо того чтобы заставить жителей и посетителей городов забыть о старой красоте, они вызывают сильнейшую по ней ностальгию. Даже разрушенные

здания все же стоят призраками красоты перед нашими современниками, все более интересующимися прошлым. Их изображения смотрят на нас в историях искусства, со старых картин, с открыток. Они остались в памяти старых людей.

О жизни и смерти

Коран: «Обязательно посади дерево, – даже если завтра придет конец света».

Жить в нравственном отношении надо так, как если бы ты должен был умереть сегодня, а работать так, как если бы ты был бессмертен.

Предсказания и предвидения в науке и пророчества не так далеки друг от друга: и те и другие – не суть утверждения неизбежности, а прогнозы на данный момент и в данных условиях. Неизбежность всегда разрушительна для морали. Человек способен в той или иной мере изменять будущее – хотя бы свое.

Когда святого Гонзаго, римского семинариста, спросили во время его игры в мяч со своими сверстниками, что бы он делал, если бы ему сказали твердо, что сейчас наступит конец мира, – он сказал: «Продолжал бы играть в мяч». Но это, конечно, в случае полной неизбежности. А настоящий ответ его перед своею совестью, когда он что-то мог изменить, был другой, – он был дан его смертью: он скончался 23 лет, ухаживая за чумными больными.

Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
. . . . . .
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.

Счастье может быть только боевое – только завоеванное нами. Вечного, постоянного счастья не бывает. Нельзя быть счастливым, когда есть страдающие. Но можно быть счастливым чем-то, что сейчас добыто, получено.

Диктор телевидения в одной из передач останавливал людей на улице и спрашивал: в чем, по-вашему, состоит счастье? В ответ миллионы людей слушали детский лепет. Что-то вроде того: «Счастье – это когда дома достаток и на службе хорошо» или «Счастье – это когда мои девочки подрастут красивыми, здоровыми и хорошо выйдут замуж». Это все мещанство. И даже

когда большие люди твердили: «Это гармония между чем-то и чем-то» – недалеко ушли.

Счастливым можно быть только короткий промежуток времени чем-то достигнутым, а после начинаются новые заботы, ибо, повторяю, нет счастья ни для кого, пока есть несчастие рядом.

Мне восемьдесят лет. Как к этому относиться? Респектабельный возраст!

Жизнь была бы неполна, если бы в ней совсем не было печали и горя. Жестоко так думать, но это так.

Можно ли выскочить из своей эпохи в своем мировоззрении? Конечно – нет. Всякая попытка вернуться в какое-либо столетие или перескочить далеко вперед – в будущее – невозможна. Человек живет в своей эпохе, в свои годы, и только в свои. Но это не означает, что он должен слепо следовать за эпохой, за господствующим мировоззрением. Человек обладает свободной волей и обязан выбирать, обязан создавать новое. Он – творческое существо. Если он перестает быть творческим существом и быть устремленным в будущее (свое и своей страны), он перестает быть Человеком. В жизни надо уметь парить над эпохой и в эпохе, выбирая те воздушные течения, которые идут снизу вверх, или, в какие-то моменты, скользить по воздуху, не падая.

Утешают: переселение душ! Но какое может быть утешение, когда душа переселяется одна, в чужую семью, в другой быт, а с детства ничего не помнит из прежней жизни (если бы даже могла) и кричит только: «Уа, уа!!»

Вызывают духов, занимаясь столоверчением. Покойники, даже самые знаменитейшие и архигениальные, говорят вызвавшим их людям вполне на их уровне: ничего интересного, невероятного, никаких гениальных советов, наставлений, указаний, кроме банальнейших.

А вместе с тем что-то же должно остаться?

Закон сохранения энергии касается же энергии душевной и духовной. Но эта энергия все же недолго имеет личностную форму. Сперва (более года) Вера мне снилась и утешала меня, но теперь – нет. Энергия ее растворилась, и там, где была Вера (дочь), я ощущаю пустоту… Девять дней, сорок дней, год – и все. Не могут же люди, жившие миллион лет назад, продолжать существовать загробно и сейчас? Это непредставимо. «Места не хватит», даже не изобретая для них расселения по Вселенной: способ, предложенный Н. Федоровым.

Если человек ни о ком и ни о чем не заботится, его жизнь тоже «бездуховна». Ему нужно страдать от чего-то, о чем-то думать. Даже в любви должна быть доля неудовлетворенности («не все сделал, что мог»).

Жизнь человека – это не отдельные события, связывающиеся в незакономерную последовательность, а своего рода организм, «биографическое целое». Поступки и события – только звенья цепи, имеющей свою форму, свою одухотворенность и свою индивидуальность. Существует индивидуальность – как человек, и есть индивидуальность – как его жизнь. Последняя зависит от первой, но обе законченные цельности. И человек должен это знать, а не жаловаться («не повезло в жизни»).

Пастух, которому 110 лет, но который никогда или редко сходил со своих гор, прожил короткую жизнь.

«Разве нет у вас вечности для отдыха…»

«Et in Arkadia ego» («И в Аркадии я»). Смысл этого широко известного, но и неясного по происхождению изречения толковался различно. В эпоху рококо считали, что «я» (ego) – это смерть. Смерть заявляет о своем присутствии даже в счастливой Аркадии. В садах рококо при всей их «счастливой сущности» очень часто бывали могильные памятники или памятники, посвященные умершим – друзьям, родным. Такие памятники есть, например, в Павловском парке. В имении «Узком» под Москвой на одной из картин, изображающей сад, написан саркофаг с такой же надписью. Человек в самые счастливые моменты своей жизни должен был не забывать о своей смертности. В Этнографическом музее в Будапеште мне рассказывали, что женщина в первый же день своего замужества должна была делать первые стежки на своем саване. Этот саван делался красным. Через двадцать пять лет он должен был быть готов, и женщина начинала вышивать синий саван. Еще через двадцать пять лет она готовила себе белый саван. «Народное искусство не только красиво, – оно мудро», – сказала мне сотрудница музея.

Атанас Далчев с необыкновенной мудрой примиренностью относился к смерти. Вот одно наблюдение над старостью как переходом в небытие: «Достигнув известного возраста, начинаешь понимать, что жизнь, в сущности, непрерывная утрата. Теряешь не только зубы, волосы, блеск глаз, но и все силы и богатства

души: способности, привязанности, воспоминания, чувства и даже желания. Один за другими падают, перерубленные, тросы, прикреплявшие дух к земле, и, почти освобожденный, он трепещет от собственной легкости». И еще: «Со смертью наших близких постепенно умираем и мы».

А вот на ту же тему замечательное стихотворение Атанаса Далчева «Вечер» в переводе Марии Петровых:

Бреду один по улицам, где вечер
над рдяно-красной черепицей кровель
такой же рдяно-красный догорает.
И, глядя на закат, я вспоминаю:
сейчас и над Неаполем он рдеет,
и блещут окна верхних этажей,
пылающие блики отражая,
и Неаполитанского залива
светлеют волны, тронутые ветром,
и зыблются, как на лугу трава,
и возвращаются мычащим стадом
в шумливый порт под вечер пароходы.
На набережной пестрая толпа
благословеньем провожает этот
минувший день, прожитый беззаботно,
но в той толпе меня теперь уж нет.
Закат сейчас горит и над Парижем.
Там запирают Люксембургский сад.
Труба звучит настойчиво и страстно,
и словно на ее призыв протяжный
нисходит сумрак в белые аллеи.
Толпа детей за сторожем идет
и слушает в молчанье, в упоенье
повелевающую песню меди,
и каждому хотелось бы поближе
к волшебному пробиться трубачу.
Из тех резных ворот, открытых настежь,
выходят люди весело и шумно,
но в их толпе меня теперь уж нет.
Зачем не можем мы одновременно
быть там и здесь, всегда и всюду, где
клокочет жизнь могуче и бескрайно?
Мы непреодолимо умираем,
вседневно умираем, исчезая
оттуда и отсюда – отовсюду,
пока совсем не сгинем наконец.

1930

Я встретил А. Далчева в 1973 году стариком на углу Русского бульвара и улицы Раковского – в самом шумном месте Софии. Нас познакомил П. Н. Динеков. Я не помню, какими словами мы обменялись, но живо помню только то ощущение покоя и тишины, которым вопреки шуму софийских вечерних улиц был окружен Атанас Далчев… А на следующий год, 1974-й, он прислал мне свою книжечку «Избранное».

Мне приснилось, что я сочиняю рассказ

Пожилой, изможденный мужчина стоит на грязной лестнице и кричит в форточку:

«Ира, Ира!

Храни мои деньги. Только сшей себе пальто. Лучше не модное, чтобы долго носить. Нейтральное! Чтобы перешивать можно было. Сшей обязательно. И добротное. А остальные деньги храни. Мне они нужны будут. Нам! Ты меня слышишь?

Я буду о тебе думать. Здесь не стареют. Так говорят. Мы будем хорошо жить. Я почти привык. Это не так страшно.

Храни тебя Господь!»

Всё…

14. III.68

Человек-художник

И был день один.

Однажды.

На улице шел дождь.

Пришел человек с работы и сказал: «Жена (он всегда называл жену женой), не грей обед. Дай чаю!»

Лег на диван, не снимая сапог.

И умер.

Когда кончилась суматоха, жена взяла в руку остывший стакан чаю, поразилась, что стакан такой холодный, и тут только заплакала, поняла. И с этой минуты горе ее стало расти.

Старость – это тоска. Так важно в старости понимание другими – твоего стариковства.

Общаться со стариками нелегко. Это ясно. Но общаться

нужно, и нужно делать это общение легким и простым.

Старость делает людей ворчливее, болтливее (вспомните поговорку: «Погода к осени дождливей, а люди к старости болтливей»). Нелегко для молодых переносить и глухоту старых. Старые люди недослышат, невпопад ответят, переспрашивают. Надо, разговаривая с ними, повышать голос, чтобы старики расслышали. А повышая голос, невольно начинаешь раздражаться (наши чувства чаще зависят от нашего поведения, чем поведение от чувств).

Старый человек часто обижается (повышенная обидчивость – свойство старых людей). Одним словом – трудно не только быть старым, но и трудно быть со старыми.

И тем не менее молодые должны понимать: все мы будем старыми. И еще должны помнить: опыт старых ох как может пригодиться. И опыт, и знания, и мудрость, и юмор, и рассказы о былом, и нравоучения.

Вспомним пушкинскую Арину Родионовну. Молодой может сказать: «Но моя бабушка совсем не Арина Родионовна!» А я убежден в обратном: всякая бабушка, если ее внуки захотят, может быть Ариной Родионовной. Не для всякого Арина Родионовна стала бы такой, какой ее сделал для себя Пушкин.

У Арины Родионовны были признаки старости: например, она засыпала во время работы. Вспомните:

И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.

Что значит слово «медлят»? Она не всегда медлила, а «поминутно», время от времени, то есть так, как это бывает с время от времени засыпающими стариками. И Пушкин умел находить в старческих слабостях Арины Родионовны милые черты: прелесть и поэтичность.

Обратите внимание, с какой любовью и заботой Пушкин пишет о старческих чертах своей няни:

Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь,
То чудится тебе…

Стихи остались неоконченными.

Арина Родионовна стала для всех нас близкой именно потому, что рядом с ней был Пушкин. Не было бы Пушкина – осталась бы она в короткой памяти окружавших ее болтливой,

поминутно задремывающей и озабоченной старухой.

Но Пушкин нашел в ней лучшие черты, преобразил ее. Муза Пушкина была доброй. Люди, общаясь, создают друг друга. Одни люди умеют разбудить в окружающих лучшие их черты. Другие этого не умеют и сами становятся неприятны, докучны, раздражительны, тоскливо скучны.

Старики не только ворчливы, но и добры, не только болтливы, но и отличные рассказчики, не только глуховаты, но обладают хорошим слухом на старые песни.

В каждом почти человеке совмещаются разные черты. Конечно, одни черты преобладают, другие – скрыты, задавлены. Надо уметь разбудить в людях их лучшие качества и не замечать мелкие недостатки. Спешите установить с людьми добрые отношения. Почти всегда добрые отношения устанавливаются с первых слов. Потом – труднее.

Старые деревья служат предметом усиленного ухода и почитания в Прибалтике, на Кавказе, на Балканах…

В Черногории двухтысячелетние оливковые деревья – поразительные по красоте (около г. Будвы). В Болгарии распространяются изображения «одного старого дерева», растущего около местечка… забыл какого. Год его «рождения» – 16… Тоже забыл, – ясно помню, XVII века. А у нас в селе Коломенском деревья (дубы) имеют по 500 лет и не пользуются должным почитанием и вниманием. Гибнут. Может быть, это явление вообще типичное для нас, русских, когда старикам не уступают место в транспорте?

Какой контраст с Кавказом! Мы путешествовали в 87-м году по Волге на теплоходе, на котором было много пассажиров-грузин с детьми. Грузинский мальчик лет 13, которого все на теплоходе считали большим шалуном, на каждой пристани выходил одним из первых и помогал у трапа выйти нам с женой и другим пожилым людям!

Один канадец рассказывал мне, что у них старые деревья, именно старые, получают медали, и эти медали прикрепляются к ним. Есть деревья-рекордсмены: самые старые в своей местности, самые высокие, самые толстые в стволе. В Эстонии, в Латвии все старые деревья на учете.

В языческие времена на Руси существовало поклонение старым деревьям и были священные рощи. Около Новгорода до сих пор существует «священная роща» в урочище Перынь (от «Перун» – тут стоял его идол). Но сохранность рощи никого не волнует, и самовозобновление сосен прекратилось. Устроили какой-то дом отдыха, а может быть, туристический центр (не

помню), и корни сосен вытаптываются, земля вкруг сосен уплотняется, и никого это не беспокоит.

Почему в некоторых местностях старики живут до 100 лет и больше? На Кавказе, в Абхазии, в Болгарии! Ищут ответы то в горном воздухе, то в привычном образе жизни, то в болгарской простокваше и пр., и пр. А дело, мне кажется, проще: живут старики дольше там, где их уважают, где они себя чувствуют лучше, где, как им кажется, больше приносят пользу своими советами.

Вокруг разговоров об интеллигентности

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью.

Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового.

Больше того… Лишите человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, вкус в искусстве, уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов и богатство и точность своего языка – разговорного и письменного – вот это и будет интеллигентность.

Конечно, образованность нельзя смешивать с интеллигентностью, но для интеллигентности человека огромное значение имеет именно образованность. Чем интеллигентнее человек, тем больше его тяга к образованности. И вот тут обращает на себя внимание одна важная особенность образованности: чем больше знаний у человека, тем легче ему приобретать новые. Новые знания легко «укладываются» в запас старых, запоминаются, находят себе свое место.

Приведу первые пришедшие на память примеры. В двадцатые годы я был знаком с художницей Ксенией Половцевой. Меня поражали ее знакомства со многими известными людьми начала века. Я знал, что Половцевы были богачами, но если бы я чуть больше был знаком с историей этой семьи, с феноменальной историей ее богатств, – сколько интересного и важного я мог бы от нее узнать. У меня была бы готовая «упаковка», чтобы узнавать и запоминать.

Или пример того же времени. В двадцатые годы у нас была библиотека редчайших книг, принадлежавших И. И. Ионову. Я об этом как-то писал. Сколько новых знаний о книгах я мог бы приобрести, если бы в те времена я знал о книгах хотя бы немного больше.

Чем больше знает человек, тем легче он приобретает новые знания.

Думают, что знания толкутся и круг знаний ограничен какими-то объемами памяти. Совсем напротив: чем больше знаний у человека, тем легче приобретаются новые.

Способность к приобретению знаний – это тоже интеллигентность.

А кроме того, интеллигент – это человек «особой складки»: терпимый, легкий в интеллектуальной сфере общения, не подверженный предрассудкам – в том числе шовинистического характера.

Многие думают, что раз приобретенная интеллигентность затем остается на всю жизнь. Заблуждение! Огонек интеллигентности надо поддерживать. Читать, и читать с выбором: чтение – главный, хотя и не единственный, воспитатель интеллигентности и главное ее «топливо». «Не угашайте духа!»

Изучить десятый иностранный язык гораздо легче, чем третий, а третий легче, чем первый.

Способность приобретать знания и самый интерес к знаниям растут в каждом отдельном человеке в геометрической прогрессии. К сожалению, в обществе в целом общая образованность падает и место интеллигентности заступает полуинтеллигентность.

Воображаемый разговор «впрямую» с моим воображаемым противником-академиком в гостиной «Узкого». Он: «Вы превозносите интеллигентность, а сам в своей встрече, передававшейся по телевидению, отказались точно определить – что это такое». Я: «Да, но я могу показать, что такое полуинтеллигентность. Вы часто бываете в „Узком“?» Он: «Часто». Я: «Пожалуйста, скажите: кто художники этих картин XVIII века?» Он: «Нет, этого я не знаю». Я: «Конечно, это трудно. Ну а какие сюжеты этих картин? Ведь это легко». Он: «Нет, не знаю: какая-нибудь мифология». Я: «Вот это отсутствие интереса к окружающим культурным ценностям и есть неинтеллигентность».

На своем вечере в Останкине, показывавшемся по телевидению, я высказал мысль по поводу того, что нельзя притвориться интеллигентным. Можно притвориться добрым, щедрым, даже глубокомысленным, мудрым, наконец (особенно если цедить слова, попыхивая трубочкой), но интеллигентным – никогда.

По этому поводу я получил интересное письмо от Н. Н. Кладона – члена Союза писателей и Союза кинематографистов. Приведу выдержку из этого письма.

«Наверное, многие пишут Вам с благодарностью за высказанные спокойно и серьезно мысли и оценки на встрече в Останкино. Они мне важны и близки. Как и многим. Но я пишу о частности, правда очень важной. Среди прочего Вы привели

привлекшее Вас определение интеллигентности, как сказали, – услышанное недавно.

Именно недавно, этой зимой я его высказал на вечере артиста Леонида Оболенского (выводя из него потребность зрителей видеть на экране интеллигентного человека). Мне доводилось его приводить неоднократно, и неизменно так же бурно, как и в Останкине, на него реагировала аудитория.

Пишу об этом не для „восстановления авторства“ своего, ибо оно мне не принадлежит. Но, зная Вашу дотошную требовательность ученого к цитатам, – сообщаю имя автора.

Лет двадцать пять назад, а то и более, в личных беседах с Александром Петровичем Довженко, споря с отождествлением интеллигентности с образованностью, он сказал: „Вот мой дед, неграмотный крестьянин. Но была в нем народная интеллигентность“. И, посетовав на возросшую приспособляемость людей, с горечью добавил: „Ведь трус может притвориться храбрым, злодей – добрым, негодяй – героем, праведником… и лишь нема возможности никак притвориться интеллигентным…“ И последовали примеры.

С тех пор я часто приводил это поразившее меня высказывание великого писателя и режиссера… Рад был его слышать и от Вас».

Непосредственность культуры и культура непосредственности. Культура всегда искренна. Она искренна в самовыражении. И человек культурный не притворяется чем-то и кем-то, разве только тогда, когда притворство входит в задание искусства (театрального, например, но и в нем должна быть своя непосредственность). Вместе с тем непосредственность и искренность должны обладать своего рода культурой, не превращаться в цинизм, в выворачивание себя наизнанку перед зрителем, слушателем, читателем.

Всякого рода произведение искусства делается для других, но истинный художник в творчестве как бы забывает об этих «других». Он «царь» и «живет один».

Одно из самых ценных человеческих качеств – индивидуальность. Она приобретается от рождения, «дается судьбой» и развивается искренностью: быть самим собой во всем – от выбора профессии до манеры говорить и до походки.

Искренность может быть в себе воспитана.

Письмо к Н. В. Мордюковой

Глубокоуважаемая Нонна Викторовна!

Простите, что пишу Вам на машинке: очень испортился почерк. Ваше письмо доставило мне большую радость. Хоть я и получил много писем, но получить письмо от Вас значило для меня очень многое. Это и признание того, что я мог держаться на сцене! И действительно, со мной произошло чудо. Я вышел на сцену совсем усталый: ночь в поезде, потом отлеживался в гостинице, случайная еда, приезд в Останкино за полтора часа для переговоров, установки света; а мне 80, и полгода в больнице перед тем. Но через пятнадцать минут зал меня «подкормил». Куда девалась усталость. Голос, перед тем совсем севший, вдруг выдержал – три с половиной часа говорения! (В передаче осталось полтора.) Как я почувствовал расположение зала – не пойму. Теперь о «блошках». Это не «блошки», а самое важное. И как Вы ухватили это самое важное?!

Во-первых, об интеллигентности. Я сознательно пропустил ответ на вопрос: «Что такое интеллигентность?» Дело в том, что у меня по ленинградскому телевидению была передача из Дворца молодежи (тоже полтора часа), и я там говорил много об интеллигентности. Эту передачу смотрели московские работники ТВ, по-видимому, именно они повторили этот вопрос, а я не захотел повторяться, имея в виду, что московскую передачу будут смотреть и в Ленинграде те же зрители. Повторяться нельзя – это душевная бедность.

Школьником я был на Севере у поморов. Они поразили меня своей интеллигентностью, особой народной культурой, культурой народного языка, особой рукописной грамотностью (старообрядцы), этикетом приема гостей, этикетом еды, культурой работы, деликатностью и пр., и пр. Не нахожу слов, чтобы описать мой восторг перед ними. Хуже получилось с крестьянами бывших Орловской и Тульской губерний: там забитость и неграмотность от крепостного права, нужды. А поморы обладали чувством собственного достоинства. Они размышляли. До сих пор помню рассказ и восхищение главы семьи, крепкого помора, о море, удивление морем (отношение как к живому существу). Убежден: был бы Толстой среди них, общение и доверие установились бы сразу. Поморы были не просто интеллигентные – они были мудрые. И никто из них не захотел бы переселиться в Петербург. Но когда Петр брал их в матросы – они обеспечили ему все его морские победы. И побеждали на Средиземном, Черном, Адриатическом, Азовском, Каспийском, Эгейском, Балтийском… – весь XVIII век! Север был страной сплошной грамотности, а записывали их неграмотными, так как они (северяне в целом) отказывались читать гражданскую

печать. Благодаря высокой культуре они сохранили и фольклор. А ненавидят интеллигентов полуинтеллигенты, которые очень хотят быть полными интеллигентами. Полуинтеллигенты – это самая страшная категория людей. Они воображают, что все знают, обо всем могут судить, могут распоряжаться, вершить судьбами и пр. Они никого не спрашивают, не советуются, не слушают (глухи и морально). Для них все просто. Настоящий же интеллигент знает цену своим «знаниям». Это у него основное «знание». Отсюда его уважение к другим, осторожность, деликатность, осмотрительность в решении судеб других и крепкая воля в отстаивании нравственных принципов (стучит кулаком по столу только человек со слабыми нервами, неуверенный в своей правоте).

Теперь о неприязни Толстого к аристократам. Здесь я плохо объяснил. У Толстого была во всех его писаниях «стыдливость формы», нелюбовь к внешнему лоску, к Вронским. Но он был истинным аристократом духа. То же Достоевский. Он ненавидел самую форму аристократизма. Но Мышкина сделал князем. Князем называет и Грушенька Алешу Карамазова. В них есть аристократизм духа. Лощеная, законченная форма ненавидима русскими писателями. Даже у Пушкина поэзия стремится к простой прозе – простой, краткой, без украс. Флоберы не в русском стиле. Но это тема большая. Об этом у меня немного есть в книжке «Литература – реальность – литература».

Интересно: Толстой не любил оперу, а признавал кинематограф. Цените! В кинематографе больше жизненной простоты и правды. Вас бы Толстой очень признал. Вы были бы этому рады?

И я не путаю роль с актером. Уже из Вашего письма и из Вашего понимания ролей для меня ясно: Вы одарены внутренним аристократизмом и интеллигентностью.

Спасибо!

Ваш Д. Лихачев.

Нация, которая не ценит интеллигентности, обречена на гибель.

Люди, стоящие на низших уровнях социального и культурного развития, имеют такой же мозг, что и люди, окончившие Оксфорд или Кембридж. Но он «не загружен» полностью. Задача состоит в том, чтобы дать полную возможность культурного развития всем людям. Не оставлять у людей «незанятого» мозга. Ибо пороки, преступления таятся именно в этой части мозга. И потому еще, что смысл человеческого

существования в культурном творчестве всех.

Прогресс часто состоит в дифференциации и спецификации внутри какого-то явления (живого организма, культуры, экономической системы и пр.). Чем выше на ступенях прогресса стоит организм или система, тем выше и объединяющее их начало. В высших организмах объединяющим началом является нервная система. То же самое и в культурных организмах – объединяющим началом являются высшие формы культуры. Объединяющее начало русской культуры – это Пушкин, Лермонтов, Державин, Достоевский, Толстой, Глинка, Мусоргский и т. д. Но захватываются не только люди, гении, но и гениальные произведения (особенно важно это для древнерусской культуры).

Вопрос состоит в том, каким образом высшие формы могут возникнуть из низших. Ведь чем выше явление, тем меньше в нем элементов случайности. Система из бессистемности?

Уровни законов: физический, выше физического – биологический, еще выше – социологический, самый высокий – культурный. Основа всего – в первых ступенях, объединяющая сила – в культурном уровне.

История русской интеллигенции есть история русской мысли. Но не всякой мысли! Интеллигенция есть еще и категория нравственная. Вряд ли кто включит в историю русской интеллигенции Победоносцева, Константина Леонтьева. Но в историю русской мысли хотя бы Леонтьева включать надо.

Русской интеллигенции свойственны и определенные убеждения. И прежде всего: она никогда не была националистической и не имела ощущения своего превосходства над «простым народом», над «населением» (в его современном оттенке значения).

О русском и чужестранном

Для Запада и для нас характерно преувеличение специфичности русской истории. Искать специфичность следует, но только там, где она действительно может быть научно установлена. Все тычут нам в нос Грозным. Однако в то время, когда у нас свирепствовал Грозный, герцог Альба кроваво расправлялся со своими врагами в Голландии, а в Париже была Варфоломеевская ночь.

Русь X–XII веков, когда составлялось летописание, была не только славянским, но финно-угорским объединением с единым восточнославянским языком, из которого в дальнейшем произошли языки русский, украинский и белорусский, но в быту существовал и угро-финский. И очень важно, что древнейшие письменные памятники финского языка найдены именно на территории Новгорода – одного из двух политических и культурных центров Древней Руси. Один из пяти районов Новгорода назывался «Чудин конец». Чудь была финно-угорским племенем. В Киеве был Чудин двор, который упоминает летописец, описывая топографию Киева. Возможно, это был двор знатного чудина, а может быть, какое-то финское подворье, достаточно богатое и известное, на которое летописец ориентировался, чтобы быть понятым своими читателями.

Автор «Повести временных лет» был хорошо осведомлен о народах, соседивших с Русью и входивших в состав Руси. В начале «Повести», описывая расселение славянских племен, он пишет: «В странах же Иафета <сына библейского Ноя> сидят русские, чудь, и всякие народы: меря, мурома, весь (вепсы), мордва, заволочьская чудь, пермь, печора, ямь, угра, литва, зимигола, корсь, летгола <предки латышей>, ливы». И далее летописец снова возвращается к вопросу о том, какие народы где живут: «А на Бело-озере живет весь, на Ростовском озере меря, а на Клещине озере тоже меря. А по реке Оке – там, где она впадает в Волгу, – мурома, говорящая на своем языке, и мордва, говорящая на своем языке. Вот кто только говорит по-славянски на Руси: поляне, древляне, новгородцы, полочане, дреговичи, северяне, бужане, прозванные так потому, что сидели на Бугу, а затем ставшие называться волынянами. А вот другие народы, дающие дань Руси <замечу: дань княжескому роду Руси давали и славяне>: чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печора, ямь, литва, зимигола, корсь, нарова, ливонцы, – эти говорят на своих языках, они – потомство Иафета, живущее в

северных странах». До появления князей, согласно рассказу «Повести», северные славянские племена и финно-угорские платили дань варягам (норманнам) за море, а когда решили призвать к себе князей из варяжских стран, то в союзе выступали и славянские племена, и финно-угорское племя весь. И снова напоминает летопись о том, что на севере Руси варяги пришельцы, а постоянное население славянское и угро-финское, указывая на то, где живут какие племена.

Когда умер Рюрик, владевший после смерти своих братьев один всем многонациональным Русским Севером, его преемником стал Олег, и он в 882 году пошел походом на юг Руси во главе войска, состоявшего из славянских и финно-угорских племен: «Выступил в поход Олег, взяв с собой много воинов: варягов, чудь, славян, мерю, весь, кривичей…» Этим походом Олег утвердил Киев центром своего государства. А затем в 907 году Олег пошел походом на Византию и снова взял с собой войско из всех племен – славянских и финно-угорских: «И пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве, взял же с собой множество варягов, и славян, и чудь, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, хорватов, и дулебов, и тиверцев…» Этот многонациональный характер Киевского государства, подчеркиваемый «Повестью временных лет», замечателен. Государство Руси было самым большим государством, когда-либо существовавшим в Европе: от Карпат на западе до Волги на востоке, от Балтийского и Белого морей на севере до Черного моря на юге, где располагалось Тмутороканское княжество, связанное с Чернигово-Рязанской областью. Естественно, что такое огромное государство не могло долго сохранять свое единство. Экономический рост отдельных городов и областей усиливал центробежные силы. Государство Руси стало распадаться, но распадаться не путем выделения отдельных племен, населявших Русь и находившихся первоначально в союзе друг с другом, а по княжествам, образовавшимся вокруг отдельных городов. Скандинавы не случайно называли Русь Гардарикией – страной городов. Династические и княжеские интересы, концентрировавшиеся вокруг городов, оказались в разделении Руси на княжества сильнее, чем племенные и национальные.

Два сильных центра существовали в Русском государстве: Новгород на севере и Киев на юге. Постепенно роль государственного переходила на юг – в Киев, захваченный, как мы уже видели, Олегом. И это решило национальную судьбу Руси. Киев был славянским городом со славянским окружением. Новгород был также в основном славянским городом, но в

окружении сельского населения, состоявшего из славян и финно-угров. Последних, возможно, было даже больше, чем первых. Но решали все города, ставшие усиленно развиваться. В результате славянский язык (вернее, восточнославянский, разговорный и деловой, и церковнославянский, по происхождению своему староболгарский) естественно стал языком Киевского государства. На *русьском* языке говорили князья, сохранявшие только в отдельных случаях норманнские имена (Олег, Ольга, Ингварь – Игорь), на русском языке велись летописи, писались литературные произведения, на церковнославянском молились и писались возвышенные сочинения. В союзе восточнославянских и финно-угорских племен с самого начала, при всем равноправии племен, перевес получили славяне – перевес культурный и государственный. То, что князья никак не ущемляли права неславянских племен, явилось великим благом для государства, воспитало у славян исконное чувство дружелюбия к другим народам, в соседстве с которыми они жили и в пределах государства и в окружении этих народов, а когда на южных границах Руси появились племена тюркского происхождения, войны с ними носили скорее междоусобный характер, чем национальный. Так было первоначально – до появления на юге сильных национальных объединений тюрков, а затем монголо-татар.

Для современной русской советской культуры не случаен интерес к художественному наследию Древней Руси. Здесь особенное значение имеют отдельные стороны искусства Древней Руси, ответившие потребностям ее бурной истории и национальному подъему: ее стремление к монументальности содержания и форм, чувство величия мира и чувство возвышенного, ощущение связей всех и всего с судьбами мира, способность подниматься над узкими интересами одной национальности до осознания своего единства со всем человечеством.

Подлинное освоение культуры прошлого не терпит подражательности. Оно требует творческого преобразования ценностей прошлого, точного понимания этого прошлого.

Своеобразное и индивидуальное лицо культуры создается не путем самоограничения и сохранения замкнутости, а путем постоянного и требовательного познавания всех богатств, накопленных другими культурами и культурами прошлого. В этом жизненном процессе особое значение имеет познание и осмысление собственной старины.

Обращение новой русской культуры к культуре Древней Руси

началось тогда, когда культура Древней Руси окончательно отступила в прошлое в результате Петровских реформ и решительного поворота к Западной Европе в XVIII веке. Но это обращение было «донаучным». Ранние славянофилы стремились вернуться к Древней Руси, понимая ее недостаточно и ограниченно.

Древнюю Русь искали только в живых остатках прошлого: в общинно-патриархальном быте крестьянства, в одеждах и домашнем быте купечества и старообрядцев, в религиозности современной им церкви.

Эти поиски Древней Руси в живых остатках привели к характерным искажениям представлений о ней.

От Древней Руси, естественно, оставалось лишь косное, неизменяемое. Отсюда косность и неподвижность казались характерными свойствами древнерусской культуры вообще.

Остатки Древней Руси обнаруживались лишь в низших слоях современной славянофилам России, и поэтому культура Древней Руси представляется как культура, близкая крестьянству и не разграниченная социально.

И. В. Киреевский писал: «…этот русский быт, созданный по понятиям прежней образованности и проникнутый ими, еще уцелел, почти неизменно, в низших классах общества: он уцелел, – хотя живет в них уже почти бессознательно, уже в одном обычном предании…» («О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России (Письмо к гр. Е. Е. Комаровскому)». – Полн. собр. соч. И. В. Киреевского в 2 томах, т. I. М., 1911, с. 203). Ср. ниже: «И князья, и бояре, и духовенство, и народ, и дружины княжеские, и дружины боярские, и дружины городские, и дружина земская, – все классы и виды населения были проникнуты одним духом, одними убеждениями, однородными понятиями, одинакою потребностию общего блага» (там же, с. 206).

Оставалось от Древней Руси по преимуществу то, что не было затронуто европейской культурой, и поэтому Древняя Русь воспринималась как замкнутая, «китайски обособленная» и отделенная от Запада Великой Китайской стеной.

Больше всего остатков Древней Руси дожило в новой России от XVII века, и поэтому именно XVII век вытеснил собой в представлениях о Древней Руси все остальные века. Любую эпоху Древней Руси художники и писатели рядили в одежды XVII века, обставляли архитектурными формами XVII века, бытом XVII века, нравами XVII века. XVII век оказался той эпохой, в формах которой были канонизированы представления о всех семи веках Древней Руси в целом.

При этом казалось, что древняя Россия «не блестела художествами» (И. В. Киреевский. В ответ А. С. Хомякову. Там же, с. 118).

Эти представления о Древней Руси широко проникли в литературу, изобразительное искусство, драму, оперу и даже в архитектуру второй половины XIX века (в так называемый ропетовский стиль). Они сочетались с официальной идеологией и идеями национальной нетерпимости.

Но наука никогда не могла быть славянофильской и не могла мириться с этими обывательскими представлениями о Древней Руси.

Научное представление о Древней Руси, создававшееся в результате широкого фронта открытий и исследований начала и всей первой половины XX века, решительно разрушало эти представления о Древней Руси.

В результате открытий и исследований XX века Древняя Русь предстала не как неизменное и самоограниченное семивековое единство, а как разнообразное и постоянно изменяющееся явление.

История древнерусского зодчества – это история коренных смен стилей, и в отдельных областях Руси, и в ее целом. Это история ее разнообразных связей, взаимодействий и история разнообразных архитектурных форм, различного понимания образа отдельных зданий и целых ансамблей.

История древнерусской живописи позволяет по признакам стиля определять памятники живописи с точностью до полустолетия и видеть различные местные школы: не только, скажем, новгородскую, московскую, тверскую, но даже кашинскую или каргопольскую.

История древней русской литературы столь же разнообразна и пестра, несмотря на все присущие ей общие черты и объединяющие все ее произведения единые типологические признаки.

Резкие социальные различия сказываются в культуре Древней Руси, как и в культурах других стран.

Древняя Русь – это целый мир, мир с широкими культурными связями и сложными процессами развития, разнообразившими ее лицо по векам и областям.

И вместе с тем Древняя Русь была полна поисков и устремлений. В ней жила неудовлетворенность своим настоящим: верный признак жизнеспособности и жизнедеятельности. В ней жила боль по поводу социальной несправедливости, жила скорбь по поводу народных бедствий, жила великая совесть. В ней не было ни самоудовлетворенности, ни благодушия. Вопросы,

поднимавшиеся в ее публицистике, были для своего времени самыми острыми, самыми основными, всеобъемлющими. Они не ограничивались мелкими бытовыми неурядицами. Публицистов, писателей, художников волновали коренные вопросы мировоззрения и мироустройства. И в этом смысле художественное наследие Древней Руси зовет не к подражанию своему статусу, а требует творческого усвоения своих устремлений.

Бессмысленно механически подражать тому, что само было полно неудовлетворенности и искало разрешений в будущем.

Культура обладает своим объединяющим ее стилем. В этом стиле всякое ценное явление прошлого должно найти свое творческое и органическое применение. Но самое главное состоит в том, что познание культур других народов и культур прошлого обогащает культуру, поднимая ее уровень, расширяя ее базис, делая ее еще более многообразной и гибкой, увеличивая ее общечеловеческую значимость.

Последнее особенно важно: человеческие ценности, заключенные в культуре, должны быть как можно более многообразными и охватывать собой самый широкий круг достижений человечества. Чем больше культура вбирает в себя, тем больше она отдает.

В моих «Заметках о русском» сделана попытка описать как бы народный идеал русских – их лучшие качества, как они представляются самим русским. Сейчас для меня ясно одно серьезное упущение в «Заметках». Говоря о «лучшем» для характеристики русских (лучшее всегда выделяется в историях искусств или историях литератур, и именно по нему судится и об искусстве и о литературе), в «Заметках» ничего не говорится о тех вершинах, которые существуют и в самих вершинах – в искусстве, в литературе, в философии, в национальных особенностях религии.

Что можно о них сказать совсем кратко? Выразителями «вершин» всегда являются мыслители (философы, богословы, критики). С западноевропейской точки зрения философов и богословов в России как бы и нет. Они растворены в художественном творчестве всех родов: в иконописи, в музыке, в поэзии и т. д. Наиболее сильные и оригинальные мыслители на Руси – это Андрей Рублев, Дионисий, безвестные творцы церковной музыки, Иларион, князь Владимир Мономах, протопоп Аввакум, Ломоносов и Державин, Пушкин, Тютчев, Лермонтов, Чаадаев, Достоевский, Владимир Соловьев, Мусоргский, Скрябин, Рерих и др.

В чем причина такой особенности русской философии?

Русская философия очень конкретна, чуждается абстрактной мысли и направлена прежде всего на познание мира, а не на гносеологические проблемы. Познание же мира как целого связано прежде всего с художественным его осмыслением.

Важно подчеркнуть, что великие стили – романский (а на Руси монументально-исторический), готический (а на Руси предвозрожденческий), барокко (и в его русской форме), классицизм – это стили, познающие мир, стремящиеся обнаружить в мире единство, подчиненность мира единым мировоззренческим принципам (содержательно-формальным). По одному этому история философии должна учитывать стилистическое осмысление мира, которое легко понять, изучая единые признаки стиля в разных областях художественного творчества (в архитектуре, живописи, скульптуре, литературе, музыке, даже – модах и обычаях).

Поэтому и отдельные поэты, писатели, живописцы (и иконописцы), композиторы являются мыслителями, отражающими в своем творчестве собственное понимание мира. Это художественное понимание мира отличается гораздо более сильным внутренним ощущением общего в мире, чем логическое его познание.

И вот характерно, что хотя во все века и у всех народов существовали и существуют художники-мыслители (Гёте, Бетховен, Моцарт, Вагнер, Пуссен и т. д.), в России познание мира больше всего стремилось увидеть в мире его единство, цельность, увидеть, ощутить, эмоционально передать другим это свое ощущение.

Но характерно и другое: художественное познание мира русскими художниками почти во всех случаях было связано с ощущением трагичности совершающегося в мире – в истории (Мусоргский), в современности (Достоевский), в природе (Тютчев), во всем мире (Владимир Соловьев), трагическим восприятием будущего (Лермонтов, Соловьев, Блок).

Если вернуться теперь к тому простому, о чем я писал в своих «Заметках о русском», – к доброте, воле, свободе и пр., то и там в конечном счете мы найдем эту трагичность. Трагична русская доброта, русское понимание воли, удали. Трагична основа русской беспечности и беззаветной (то есть существующей без завета) удали.

Но это все требует особого и очень сложного осмысления. Явления эти далеко не просты.

В «Заметках о русском» я пишу о слове «воля» как о типично русском («воля» – это свобода плюс простор и природа).

Характерно, что в словаре Даля (обнаружил уже после публикации «Заметок») слово «свобода» разъясняется и занимает меньше половины страницы. Слово же «воля» имеет статью на две страницы. В словаре Ожегова словам «на волю» и «на воле» отмечено, что они принадлежат разговорному языку. Характерно, что у Пушкина, типично русского человека и писателя, герои его «ищут волю». Степан Разин у него «вольный человек». В 1968 году Шукшин публикует в журнале «Искусство кино» сценарий о Степане Разине: «Я пришел дать вам волю».

Возвращаясь к характеру русской философии, обратим внимание на то, что главным аргументом в пользу выбора из всех религий византийского православия был аргумент эстетический: красота богослужения в константинопольском храме Софии. И пошли отсюда храмы Софии, Премудрости Божией, в Киеве, Новгороде, Полоцке. Главный аргумент в пользу истинности – красота.

Русский Север! Мне трудно выразить словами мое восхищение, мое преклонение перед этим краем. Когда впервые мальчиком тринадцати лет я проехал по Баренцеву и Белому морям, по Северной Двине, побывал у поморов, в крестьянских избах, послушал песен и сказок, посмотрел на этих необыкновенно красивых людей, державшихся просто и с достоинством, я был совершенно ошеломлен. Мне показалось – только так и можно жить по-настоящему: размеренно и легко, трудясь и получая от этого труда столько удовлетворения. В каком крепко слаженном карбасе мне довелось плыть («идти» – сказали бы поморы), каким волшебным мне показалось рыболовство, охота. А какой необыкновенный язык, песни, рассказы… А ведь я был совсем еще мальчиком и пребывание на Севере было совсем коротким – всего месяц, – месяц летний, дни длинные, закаты сразу переходили в восходы, краски менялись на воде и в небе каждые пять минут, но волшебство оставалось все тем же. И вот сейчас, спустя более шестидесяти лет, я готов поклясться, что лучшего края я не видел. Я зачарован им до конца моих дней.

Почему же? В Русском Севере удивительнейшее сочетание настоящего и прошлого, современности и истории (и какой истории – русской! – самой значительной, самой трагической в прошлом и самой «философской»), человека и природы, акварельной лиричности воды, земли, неба, грозной силы камня, бурь, холода снега и воздуха.

О Русском Севере много пишут наши писатели-северяне. Но

ведь они северяне, многие из них вышли из деревни («вышли», но в какой-то мере и остались), – им стеснительно писать о своем. Им самим иногда кажется, что, похвали они свое, и это будет воспринято как бахвальство. Но я родился в Петербурге и всю жизнь прожил только в этих трех городах: Петербурге, Петрограде, Ленинграде, может быть, еще и в Питере – это особый, рабочий город, выделившийся из Петербурга. Мне-то писать о моей бесконечной любви к Русскому Северу вовсе не стеснительно…

Но самое главное, чем Север не может не тронуть сердце каждого русского человека, – это тем, что он самый русский. Он не только душевно русский, – он русский тем, что сыграл выдающуюся роль в русской культуре. Он не только спасал Россию в самые тяжкие времена русской истории – в эпоху польско-шведской интервенции, в эпоху первой Отечественной войны и Великой, он спас нам от забвения русские былины, русские старинные обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую музыкальную культуру, русскую великую лирическую стихию – песенную, словесную, русские трудовые традиции – крестьянские, ремесленные, мореходные, рыболовецкие. Отсюда вышли замечательные русские землепроходцы и путешественники, полярники и беспримерные по стойкости воины.

Да разве расскажешь обо всем, чем богат и славен наш Север, чем он нам дорог и почему мы его должны хранить как зеницу ока, не допуская ни массовых переселений, ни утрат трудовых традиций, ни опустения деревень. Сюда ездят и будут ездить, чтобы испытать на себе нравственную целительную силу Севера, как в Италию, чтобы испытать целительную силу европейского Юга.

Сколько существует названий одной и той же народности!

Немец (нейтральное), немчура (презрительное), немчина, германец (воплощение физически сильного и красивого человека в германском «правильном» типе). Турка, турок. Русский, русак (воплощение русской, простой красоты). Болгарка и болгарыня (почти что вроде боярыня – красивая болгарская женщина).

Интересно следующее: все похвальные названия различных народностей рисуют нам физически красивого человека и обязательно крупного. «Десять русаков» сказать нельзя. «Десять болгар» – только в каких-то особых обстоятельствах (при исполнении ими какого-нибудь степенного танца), «Десять турчанок» можно, а «десять туркинь» – странно. «Десять германцев» можно было сказать только во время Первой мировой

войны, когда говорили «германцы», чтобы отличить их от «своих» немцев – прибалтийских, поволжских и пр.

Из английских впечатлений. Английский дом развивался и приобрел свой типичный для XIX века вид в течение столетий. Характерная черта внутреннего убранства типичного богатого английского дома: эклектизм – вещи разных эпох и стилей, накапливавшиеся в семьях, связанные с семейными воспоминаниями и типичным английским бытом. Обилие картин на стенах (особенно типичны – акварели и карикатуры). Вещи, привезенные в столетие колониальных завоеваний из Индии, Китая, Японии, Персии, Америки.

Внутренним убранством английского «country house» («загородный дом») много занимались архитекторы Вильям Кент и Роберт Адам, Генри Холланд, Вильям Чеймберс, сэр Джон Стоун – создатели палладианского стиля, столь же типичного для английских загородных домов, как екатерининский классицизм и ампир для русских усадебных домов. Этот стиль еще более развил эклектизм, смешение стилей, эпох и стран в английских богатых домах, объединенных, однако, любовью их английских хозяев к уюту (камины почти во всех комнатах), к садам и паркам (цветы живые в горшках и вазах и изображения цветов на картинах, растительные орнаменты и цветочные букеты на английских обивочных ситцах). И вместе с тем – любовь англичан к «скромной элегантности»: ковры слегка потертые, кожа слегка поношенная, ситец чуть блеклый. Ничто не должно выглядеть новым, ярким, реставрированным или только что купленным.

В Кембридже я несколько дней провел в типично английском гостеприимном доме. Он был двухэтажным с лифтом во второй этаж, с комнатой для гостей (на полке над кроватью – Библия и детективы). Одна дверь открывалась на двор, соединенный с улицей, где подъезжали машины. Другая вела в сад прямо на газон, без дорожек. Сад разделен кустами на две половины: одна – ближайшая и другая – отдаленная. С боков кусты, за которыми ухаживает садовник (садовник обязателен, но нет другой прислуги). Садовник же сажает цветы. Был март, и на вечнозеленом газоне цвели желтые нарциссы (daffodils). Цветы были в комнатах – в вазах и в горшках. Англичане впускают природу в свои дома.

Но дело не в этом. Хочу сравнить с русскими загородными усадьбами. Приведу описание большой русской усадьбы Трубецких «Ахтырка» (недалеко от Абрамцева; сейчас не существует): «Это была величественная барская усадьба Empire, один из архитектурных chefs d’œuvres начала XIX столетия.

Усадьба эта и сейчас <речь идет о 1917 годе> славится как одна из самых дивных подмосковных старинного типа. Как и все старинные усадьбы того времени, она больше была рассчитана на парад, чем на удобства жизни. Удобство, очевидно, приносилось тут в жертву красоте архитектурных линий.

Парадные комнаты – зал, биллиардная, гостиная, кабинет были великолепны и просторны; но рядом с этим – жилых комнат было мало, и были они частью проходные, низкие и весьма неудобные. Казалось, простора было много – большой дом, два флигеля, соединенные с большим домом длинными галереями <так же, как и в «Узком» под Москвой>, все это с колоннами Empire и с фамильными гербами на обоих фронтонах большого дома, две кухни, в виде отдельных корпусов Empire, которые симметрично фланкировали с двух сторон огромный двор перед парадным подъездом большого дома. И, однако, по ширине размаха этих зданий помещение было сравнительно тесным. Отсутствие жилых комнат в большом доме было почти полное… жизнь должна была подчиняться… стилю. Она и в самом деле ему подчинялась. Характерно, что стиль этот распространялся и на церковь, также с колоннами, также Empire, и как бы сросшуюся в одно бытовое и архитектурное целое с барской усадьбой. Это была архитектура очень красивая, но более усадебная, чем религиозная». Даже о быте Трубецкой говорит, вспоминая обед: «Этот обед… был слишком стильным» (Кн. Евгений Трубецкой. Из прошлого, с. 8–9).

Отмечу, что центр английского загородного дворца – «drawing room» (гостиная) был полной противоположностью танцевального и музыкального залов русских усадеб.

Русское ли все это? Я как-то еще до войны спросил академика А. С. Орлова – в какой социальной среде был лучший, самый правильный и красивый русский язык? Александр Сергеевич подумал и не сразу, но уже уверенно ответил: у среднего дворянства, в их усадьбах. В тех же воспоминаниях Евгения Трубецкого я нашел описание такой «средней» усадьбы Лопухиных – Меньшова, где царила «стародворянская уютность жизни, которая нашла себе гениальное изображение в семействе Ростовых толстовского романа» (там же, с. 22 и след.). «Дом городской и деревенский был для них не местом парада, – а уютным и теплым семейным гнездом» (с. 24), «все комнаты всегда неизменно полны гостей, переполняющих дом до последних пределов вместимости» (с. 26). Соответственной была планировка и обстановка. Кстати, очень часто стены были из некрашеных тесаных бревен, на которых выделялись прекрасные картины,

главным образом пейзажные. Изображения таких интерьеров сохранились.

И кстати еще – обилие диванов во всех комнатах, чтобы было где уложить всех гостей. Диваны были и обычные, и длинные, и угловые, где удобно было разговаривать или играть.

Саксонский диалект всегда казался немцам комическим. Но поразительно, что этот комический эффект использовался в XIX веке русскими писателями при изображении того, как немцы говорили по-русски.

Обаятельный образ Франциска Ассизского связан с нищетой. И то же – Сергий Радонежский. Но Франциск – нищенствующий святой, а Сергий – нищий крестьянин. И в этом существенное различие.

Сергий сам плотничал, ставил кельи, таскал бревна, носил воду в двух водоносах, пек хлебы, сам шил одежду и тачал обувь – делал всю черную работу и даже нанимался плотничать за гнилые хлебы. Когда слава его прошла уже по всей Руси, он все же не изменял своего трудового образа жизни. Именно поэтому он получил в народе огромную славу и непререкаемый авторитет, с которым вынуждены были считаться самые верхи Московского государства и Русской церкви.

Приходившие к нему на поклонение люди принимали его за простого работника и не хотели верить, что перед ними сам прославленный по всей Руси игумен. К нему приезжает сам великий князь Дмитрий Донской за советом и помощью. И помощь его действенна. Когда нижегородский князь Борис не покорился Москве, по слову Сергия были затворены в Нижнем все церкви, и Борис, опасаясь народа, вынужден был покориться. Дмитрию Донскому перед выступлением в поход против Мамая Сергий дает в войско двух иноков, веля им сражаться. Это было против церковных обычаев, запрещавших инокам воевать. Тем самым Сергий освятил поход против Мамая как святое дело и способствовал подъему духа в войске Дмитрия.

Самые большие коллекции этнографических материалов по Аляске – в Ленинграде – Петербурге, а другая – в Хельсинки – Гельсингфорсе. Последний губернатор русской Аляски был финн по происхождению. Интересом к этнографии он обязан Леннроту – собирателю Калевалы. Любовь к своему народу подсказала ему любовь к американским индейцам.

Очень верная мысль высказана С. М. Соловьевым в его

«Публичных чтениях о Петре Великом» по поводу пресловутой, популярной в обывательских представлениях мысли об «отсталости» России: движение народов по историческому пути нельзя сравнивать… с беганьем детей взапуски или конскими бегами, к которым прилагается слово «отстать». Внутренние силы могут быть больше у того, кто движется медленнее. Я добавлю к мысли Соловьева и следующее: дело может быть и в возрасте – тот, кто моложе, тот может быть и менее образован того, кто старше, может отстать от старшего по возрасту и на служебной лестнице. А потом обогнать…

«Россия, нищая Россия». И это совершенно верно. Но какое богатство в дворцах знати, императорской фамилии. Достаточно сравнить пригороды Петербурга с Шенбруннским дворцом Франца-Иосифа под Веной. А богатства монастырей, библиотек! И все-таки Россия – нищая, ибо богатство или нищета – это богатство или нищета народа, общего уровня жизни.

А вот неверное, избитое, набившее оскомину, несколько раз с бахвальством повторенное в докладах на общих собраниях Академии наук СССР ее президентом академиком Александровым утверждение: «Наша страна из страны почти сплошной неграмотности при царском правительстве…» Откуда взято это утверждение? Из старых статистических данных? Но тогда записывали в неграмотные всех старообрядцев, отказывавшихся читать книги гражданской печати. А эти «неграмотные» любили книгу, знали свои книги лучше, чем сборщики сведений – свои. И читали больше.

Наши представления об истории и о прошлом – это по большей части мифы. Один из мифов – «потемкинские деревни». А князь Потемкин населил Новороссию и строил Одессу, Николаев и многие другие города как раз там, где он якобы строил свои «деревни».

Тем не менее истина в этом мифе о «потемкинских деревнях» была: в России очень любили строить для «начальственного ока».

Эпоха воздействует на человека, даже если он ее не принимает. Нельзя «выскочить» из своего времени. Некоторые считают, что Максим Грек противник Возрождения, а потому вне Возрождения. Да, противник Возрождения, но и в этом типичный его представитель, как и учитель Максима – Савонарола.

Леруа-Больe, полемизируя с мнением – «поскребите русского, и вы найдете татарина», ответил – «снимите налет татарского ига,

и вы найдете в русском европейца». Исторически ведь он несомненно прав: татарское иго вторично!

Кто были столпами русской государственности в ее хорошем повороте: капитан Миронов, Максим Максимович, Тушин…

Термин «мещанство» идет от Герцена, который разумел под ним коллективную посредственность, умеренность и аккуратность, ненависть к яркой индивидуальности. Подобного понятия нет в других языках. Уж очень ненавистно было всегда мещанство в России. Поэтому и утвердилось это понятие.

Мне уже приходилось говорить и писать об умении русских сочувствовать врагам в их несчастьях и об отсутствии у русских чувства национального превосходства. Так видно по всем литературным произведениям вплоть до XVII века. Самое удивительное в этом отношении произведение – обширная «Казанская история». Поразительно прежде всего то, что присоединяется к Русскому государству не просто земля и население, присоединяется царство с его историей. Завоевание Казани ознаменовано составлением на русском языке для русских читателей истории Казани. И эта история Казанского царства, «разбойничьего гнезда», по выражению современных историков, составлена внимательно и с полным уважением к самим казанцам. В описании сражений и штурмов Казани воздается похвала храбрости казанцев – и это не один раз. «Един бо казанец биящеся со сто русинов, и два же со двема сты». Гибель воинов оплакивается автором без разбора их национальной принадлежности. «И мнози ото обою страну падоша, аки цветы прекрасныя». Это о врагах-то – «цветы прекрасныя». Это удивительно. Как бы прося извинения у читателей за восхваление врагов, автор пишет: «Да нихто же мя осудит от вас о сем, яко единоверных своих похуляющи и поганых же варвар похваляющи: тако бо есть, яко и вси знают и дивятся мужеству его <казанского царя Шигалея>, и похваляют».

Вся «Казанская история» наполнена восторженным описанием красоты Казани и крепости ее стен. Но самое удивительное – это лирические плачи царицы Сююмбеки, уводимой из Казани в Москву. Три плача могут сравниться с ними в русской литературе: плач Ярославны, плач Евдокии по Дмитрии Донском и плач Евпраксии по погибшим от Батыя.

Удивительно сопереживание автора с нею: Сююмбека называет русских людей «незнаемыми», Иван Грозный для нее «некий царь». И все-таки все плачи Сююмбеки целиком сочинены

автором «Казанской истории» в духе русских народных песен. Но их нужно прочесть – они большие.

Рассказывают, что на невольничьих рынках Средиземноморья особенно ценились русские женщины в няньки. И ведь няни из крепостных так и остались у нас самыми сердечными и умными воспитательницами. Помимо Арины Родионовны, см.: Шмелев, «Няня из Москвы»; кн. Евгений Трубецкой, «Воспоминания». София, 1921; кн. С. Волконский, «Последний день. Роман-хроника», и пр.

«Бытовая демократия» всегда была более сильна в России, чем на Западе. Несмотря на крепостное право! Помещики, особенно их дети, часто дружили с дворовыми. Были и няньки и дядьки из крестьян – Арины Родионовны, Савельичи. На этом фоне и Лев Толстой не был удивителен.

Англичанин Грахам в книге «Неизвестная Россия» писал: «Русские женщины всегда стоят перед Богом; благодаря им Россия сильна».

Вл. Соловьев сказал, перефразируя Евангелие: «Люби все другие народы как свой собственный». Для развития культуры чрезвычайно важно сочувственное вживание в культуру других народов.

В последнее время много и горячо спорят о том, следует ли *народу* обижаться на то, что в литературном произведении другого народа один из его представителей выведен в отрицательном виде. Возьмем пример не из советской литературы (чтобы не растравлять раны), а из старой русской, классической. В «Братьях Карамазовых» в Чермашне Митя называет пана Врублевского «подлайдак» и «подлеченочек». На что Калганов «сентенциозно» замечает Мите: «Перестали бы вы над Польшей-то насмехаться». На что Митя отвечает ему: «Молчи, мальчик! Если я ему сказал подлеца, не значит, что я всей Польше сказал подлеца. Не составляет один лайдак Польши». Вряд ли эти слова Мити случайны. Здесь скрыто и мнение Достоевского.

И тем не менее, не желая упрекнуть Достоевского, скажу: если народ обижается тем, что его представитель («представитель» не в собственном смысле, а один из его людей) выведен в дурном виде, то писатель должен это учитывать. Пусть русские, как это утверждают некоторые, не обижаются, когда их выводят в отрицательном свете в инонациональных литературах (а может быть, все-таки немного обижаются именно за то, что в

«инонациональных»?), надо для сохранения нормальных отношений не обижать тех, кто обижается.

И попутно одно замечание вообще об обидах. Обижаться следует только тогда, когда вас *хотят* обидеть, если же говорят что-то невежливое по невоспитанности, по неловкости, просто ошибаются – обижаться нельзя.

Интересуясь вопросом о том, как Достоевский относился к Польше и полякам, нужно прежде всего задаться вопросом: хотел ли Достоевский в сцене в Чермашне обидеть *«всю Польшу»*?

Будем поступать в аналогичных случаях так, как поступают в обществе: обижается человек на какой-то, с нашей точки зрения, пустяк, – не будем этот «пустяк» применять в разговоре, в литературном произведении – где угодно.

А вообще-то, лучше и не обижаться тоже…

Бисмарк был одно время послом в России и путешествовал по ней. Его опросили – как он путешествовал? Ответил: «Запрягают долго, ездят быстро».

Поразительно преклонение у нас перед иностранцами. Казалось – разденься голым, укрась себя перьями или надень пеструю скатерть и начни лопотать бессмыслицу, и перед тобой откроются двери любой гостиницы, музея, бара. Тебя встретят с почетом и поклонами.

В Англии на аэродроме (это было в 1967 году) паспортный контроль первыми проходили пассажиры с британскими паспортами, вторыми – с любыми другими. Иностранцы там – люди второго сорта.

Хорошо ли это? Думаю, отношение к иностранцам должно быть равным: те и другие – люди. «Очередности» не должно быть. Преимущество должно быть за женщинами, детьми и стариками, независимо от национального паспорта.

Достоевский писал в заметке «Два лагеря теоретиков»: «… Народ наш с беспощадной силой выставляет свои недостатки и перед целым светом готов толковать о своих язвах, беспощадно бичевать себя. Иногда он даже несправедлив к самому себе, – во имя негодующей любви к правде, к истине.

Неужели это сознание человеком болезни не есть уже залог его выздоровления, его способности оправиться от болезни?..

Сила самоосуждения прежде всего – сила; она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру. Негодование на общественные язвы предполагает страстную тоску о здоровье».

Хорошо бы этими словами дополнить мои «Заметки о русском».

У всякого народа есть свои достоинства и свои недостатки. На свои надо обращать внимания больше, чем на чужие. Казалось бы, самая простая истина.

* * *

Из записных книжек сложилась книга. Записывая для себя разные разности, я никак не думал, что получится книга, то есть что-то очень важное. Впрочем, я не знаю – не всякая «печатная продукция» в форме кирпичика – книга.

Особенность того, что получилось у меня из моих записей, – в неожиданности. Книгу можно развернуть в любом месте и что-то прочесть: может быть, важное, может быть, пустяковое.

Может быть, пригодится.

notes

Примечания

1

О том, как строились древнерусские города, есть интереснейшая, хотя и сухо названная статья Г. В. Алферовой «Организация строительства городов в Русском государстве в XVI–XVII веках» (Вопросы истории. 1977. № 7. С. 50–60). *Ее же*. К вопросу о строительстве городов в Московском государстве в XVI–XVII вв. // Архитектурное наследство. 1980. № 28. С. 20–28. *Кудрявцев М. П., Кудрявцева Т. Н.* Ландшафт в композиции древнерусского города // Там же. С. 3–12.

2

Цит. по статье: *Гончар Н. А*. Путевая проза Андрея Белого и его очерк «Армения» // Русско-армянские литературные связи. Исследования и материалы. Литературные связи. Т. 2. Ереван, 1977. С. 156.

3

Гончар Н. А. Путевая проза Андрея Белого… С. 154.

Там же. С. 163.

5

См.: Декоративное искусство. 1982. № 11. С. 43–45.

Кстати, каравеллы – это тип двух из трех кораблей, на которых Колумб совершил свое открытие Америки (третий, и главный, корабль Колумба «Санта-Мария» был типа каракка), но в XVIII, а тем более в XIX веке каравелл не существовало. Между тем слово это вошло сейчас в моду, и каравеллами называют в Ленинграде корабль Адмиралтейского шпиля, ресторанчики, в которых подают блюда «Петровской эпохи», и т. д. Каравелл ни при Петре, ни после Петра уже не могло быть.

7

См. об этом: *Лотман Ю. М.* Статьи по типологии культуры. Тарту, 1970. С. 40. (Об отношениях между культурой и ее автомоделью.)

8

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. Л., 1980. С. 22.

9

Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 20. С. 19–20.

10

Современные исследования показали, что некоторые племена Южной Америки и сейчас спасаются от солевого голодания именно так. Оказывается, есть виды муравьев, которые при укусе вносят в человеческий организм небольшие порции соли. (Из письма И. С. Завалишина и Е. М. Соколовой в редакцию «Нового мира» по поводу моей статьи «Заметки о русском» в № 8 за 1980 г.)

11

Выступление в Киеве 3 декабря 1981 года на пленарном заседании конференции «Исторические традиции духовной культуры народов СССР и современная идеологическая борьба» в связи с 1500-летием Киева.

12

Под словом «древнерусский» здесь и в дальнейшем мы имеем в виду принадлежность Руси – общей восточнославянской народности в хронологических пределах примерно до середины XIII века. Слово «Русь» было самоназванием восточнославянской народности и земли, ею занимаемой.

13

Термин «стилистическая формация» был предложен в свое время загребским ученым проф. Александром Флакером.

Изборник Святослава 1076 г. М., 1965. С. 154.

15

Изборник Святослава 1076 г. С. 581–582.

16

Литература о культурных связях Руси с Востоком, и в частности с половцами, чрезвычайно обширна. Об этом писали Б. Мелиоранский, П. Зайончковский, В. Пархоменко, М. Приселков, а в последние годы В. Гордлевский и А. Робинсон.

17

См. подробнее: *Лихачев Д. С.* Культура Руси эпохи Андрея Рублева и Епифания Премудрого. М.; Л., 1962.

В составлении этих заметок большую помощь оказал Е. Ф. Ковтун, которому приношу глубокую благодарность. Им, в частности, сообщены мне основные факты относительно «Дома Мятлевых» и других творческих центров Петербурга, связанных с художественной жизнью.